

В. В. КРЕСТОВСКИЙ



ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ

«СОВЕТСКИЙ»

ТАМАРА БЕНДАВИД

Крестовский В. к80 Тьма Египетская. Тамара Бендавид. Торжество Ваала. Роман-трилогия. Деды. Историческая повесть: В 2 т. Том 1: Тьма Египетская. Тамара Бендавид. — М.: «Камея», 1993.— 592 с. //Камея, Москва, 1993

ISBN: 5-88146-016-2 (Т.1)

FB2: "rvvg ", 2011-03-04, version 1.0

UUID: 336F997E-8815-41BC-A338-9932FC595C7D

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Всеволод Владимирович Крестовский

Тамара Бендавид (Тьма Египетская #2)

В.В. Крестовский (1840–1895) — замечательный русский писатель, автор широко известного романа «Петербургские трущобы». Трилогия «Тьма Египетская», опубликованная в конце 80-х годов XIX в., долгое время считалась тенденциозной и не издавалась в советское время.

Драматические события жизни главной героини Тамары Бендавид, наследницы богатой еврейской семьи, принявшей христианство ради возлюбленного и обманутой им, разворачиваются на фоне исторических событий в России 70-х годов прошлого века, изображенных автором с подлинным знанием материала. Живой образный язык, захватывающий сюжет вызывают глубокий интерес у читателя, которому самому предстоит сделать вывод о «тенденциозности» романа.

Содержание

I. НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ	0005
II. КАК ВСЕ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ	0020
III. ПО-КАВКАЗСКИ	0057
IV. ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕР В ХЛОПОТАХ	0078
V. В ЗАПАДНЕ	0090
VI. ЧАС ОТ ЧАСУ НЕ ЛЕГЧЕ	0117
VII. СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК КАРЖОЛЮ	0150
VIII. НОВОКРЕЩЕНА	0171
IX. ПЕРЕД ВОЙНОЙ	0208
X. ПОД САМЫМ ПРЕДАННЫМ НАДЗОРОМ	0248
XI. НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ	0271
XII. СРЕДИ «ДРУЗЕЙ» И «СОЮЗНИКОВ»	0300
XIII. У ЕГО ЭКЦЕЛЕНЦИИ, ГОСПОДИНА МАРЗЕСКУ	0324
XIV. ПО ПРИМЕРУ СТРАУСОВ	0357
XV. ПРИ ПЕРЕПРАВЕ	0366
XVI. ВСТРЕТИЛИСЬ	0397
XVII. ПОСЛЕ СВИДАНИЯ	0426
XVIII. В ДНИ «ТРЕТЬЕЙ ПЛЕВНЫ»	0435
XIX. 30-Е АВГУСТА	0449
XX. ПЕЧАЛЬНАЯ НАХОДКА	0473
XXI. НАХОДКА БОЛЕЕ СЧАСТЛИВАЯ ДЛЯ КАРЖОЛЯ	0493
XXII. В БОГОТЕ	0523
XXIII. МИР	0568

XXIV. ПЛАНЫ АТУРИНА	0588
XXV. ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ В САН-СТЕФАНО . .	0597
XXVI. ЗА ВРЕМЯ ТОМЛЕНЬЯ ПОД ЦАРЬГРАДОМ	0614
XXVII. ПРАВДА СКАЗАЛАСЬ	0652
XXVIII. ПОЗДНИЙ ОТКЛИК	0666
XXIX. НА ОТЛЕТЕ	0679
XXX. ВОСХОДЯЩЕЕ СВЕТИЛО БЛУДШТЕЙНА .	0693
XXXI. НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ	0704
XXXII. В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ	0722
XXXIII. НОВЫМ ПУТЕМ — К СТАРОЙ ЦЕЛИ . .	0741
XXXIV. ПО «СПЕЦИАЛИСТАМ»	0761
XXXV. «СУДЬБА» ОПЯТЬ СТАВИТ БАРЬЕРЫ . .	0802
XXXVI. НА РАСПУТЬИ	0814
XXXVII. СВОБОДОМЫСЛЯЩАЯ ФИЛАНТРОПКА	0839
XXXVIII. СРЕДИ «УЧАЩИХСЯ» И «ПРОТЕСТУЮЩИХ»	0858
XXXIX. ЧЕГО НИ ТА, НИ ДРУГАЯ НЕ ОЖИДАЛА	0869
XL. В ОЖИДАНИИ РАЗВЯЗКИ	0887
XLI. ПЕРЕД АТАКОЙ	0895
XLII. АТАКОВАН	0913
XLIII. ПРЕЛИМИНАРЫ И КАПИТУЛЯЦИИ . . .	0933
XLIV. В НОВЫЙ ПУТЬ	0958

I. НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

Октябрь 1876 года. Слегка морозное утро. Реденький снежок мелькает в воздухе и ложится на первую порошу, мягко запушившую собою озимые поля и щеткою торчащие пожни.

Пассажирский поезд одной из второстепенных железнодорожных ветвей центральной России движется по широкой равнине, пересеченной небольшими сосновыми лесками. В отдельном купе первого класса сидят четверо пассажиров. Старик генерал, в «тужурке» с красными лацканами, на которой отсутствие погон прикрывалось накинутою сверху шинелью — маленькая невинная хитрость, к какой прибегают многие отставные военные, не желающие казаться отставными. В петлице тужурки у генерала видна полосатая оранжево-черная ленточка, и белеет георгиевский крестик. Рядом с ним, запрокинувшись головой в бархатную спинку дивана и вытянув вперед ноги, сидит молодая элегантная женщина, одетая в дорожное платье с широким *gaatine*, которое, однако, не в состоя-

нии скрыть ее интересное положение. На лице этой особы заметно некоторое утомление — быть может, от дороги, быть может, от этого ее «положения». Против этой пары сидят два молодых офицера, один — армейский улан, другой — гвардеец. Последний, с кислотоватым видом не совсем выспавшегося человека, апатично позевывает и равнодушно глядит в окошко на мелькающие мимо кусты и столбы телеграфа, тогда как чуткое внимание его соседа всецело сосредоточено на сидящей против него элегантною особе. Он старается незаметно для нее уловить в ее лице малейшее движение нервов, малейший взгляд или складку бровей, чтобы предугадать ее мысль, ее желание, ее каприз и стремительно исполнить все, что ей хочется.

Общее молчание. Генерал время от времени нервно поводит скулами, покусывая набегающие на губы кончики длинных седых усов, и пробегает глазами смятый номер «Голоса», но видно, что мысли его озабоченно вертятся на чем-то ином... Порою он нетерпеливо, с недовольным видом взглядывает то в окошко, то на свои часы и сердится на мед-

ленно ползущий поезд. Соседка его будто дремлет в своей покойной полулежачей позе, а, сама тоже думает о чем-то неотвязном и неприятном. В лице ее при этом сказывается порою как будто тень сомнения, сгоняемая затем выражением непреклонной, твердой решимости. В этом купе, по-видимому, сидят все «свои» — или родные, или близкие между собою люди, едущие в одно и то же место, за одним и тем же делом.

— Ага! Вот он, наконец! — громко произнес гвардеец, ни к кому собственно не обращаясь, и с более живым вниманием приблизил лицо свое к стеклу. Вслед за ним и все остальные устремили оживившиеся любопытством взгляды в то же окошко. — Где? Что такое?

— Город Кохма-Богословск — русский Манчестер, так нас в географии учили.

Пред вышедшем из леска поездом вдруг открылась оригинальная картина.

На склоне равнины, покатой к излучине левого берега реки Уходи, и на другом, приподнятом и несколько всхолмленном берегу ее раскинулся среди небольших садов город, производящий совершенно своеобразное впечатление.

чатление. Множество высоких фабричных и заводских закоптелых труб, попеременно с высокими белокаменными колокольнями и златоглавыми куполами старинных церквей, — это сочетание неугомной, кипуче-прогрессирующей промышленной деятельности нашего века с величавыми, вековыми символами «древнего благочестия», смешение грохочущего шума ткацких станков и паровых машин с гулом церковного благовеста — все это делает оригинальный город совсем непохожим на другие города России. Разве только в наших двух столицах встречается такое сочетание фабричных труб и церковных колоколен, но там оно, в общей картине, вовсе не кажется чем-либо особенным, среди обширных предместий и городских окраин, раскинувшихся на многие десятки-верст по окружности, — там оно как бы ступшевывается и расплывается в самой обширности и широте всей панорамы той или другой столицы; здесь же все это является скученным на весьма небольшом, сравнительно, пространстве, и все эти фабрики и заводы составляют самый город, самое ядро его, характернейшую

его черту как в центре, так и на окраинах.

Поезд замедленным ходом приближался к станции. Пассажиры первого класса купе, готовясь к выходу, принялись торопливо разбираться в своих дорожных вещах и помогать укладке в широкий плед подушечек и баулов своей спутницы. Еще минута, еще последний толчок от эластично столкнувшихся между собой буферов и — стоп, машина! Приехали.

Нагрузив вещами втиснувшихся в купе носильщиков, четверо первого класса пассажиров сошли, вслед за ними, на людную платформу, оглядываясь по сторонам с тем несколько недоумевающим и озабоченным видом, какой всегда является у людей, впервые приезжающих в совершенно незнакомый город, — к кому ж, мол, теперь обратиться? Куда рядить извозчиков, в какую гостиницу? — Черт их знает!

В эту самую минуту, откуда ни возьмись, навстречу им вынырнул из вереницы сновавших в обе стороны людей — молодой, жиденький еврейчик в «цивильном» костюме, и, с подобострастной любезностью приподни-

мая с головы свой котелок, бойко обратился прямо к улану.

— И здравствуйте вам, гасшпадин поручник! Не узнаете?

Тот с некоторым удивлением окинул его с ног до головы недоумевающим взглядом.

— И когда ж вы меня не узнаете? Я же с Украинску. Может, помните гасшпадин Блудштейн, Абрам Иоселиович? Ну, то я как раз буду его пильмянник, мордка Олейник... Олейник, — может, помните? Я даже очень довольно хорошо знаю вас, и гасшпадин енгирал знаю, и барышня знаю... Здраствуйте вам, ваше превосходительство! — говорил он с любезной улыбкой, кланяясь поочередно и остальным путникам, точно бы и в самом деле обрадовался старым знакомым. — Может, вам извозчики надо?.. Может, ув какая гасштиницу? — то все это зайчас!.. Позвольте вслужить... Я же издесь комиссионер и все знаю.

— Ну, вот и прекрасно, — согласился поручик. — Нанимай четырех извозчиков и вежи, — какая у вас тут лучшая гостиница?

— Московски нумера, купец Завьялов дер-

жит... Самый лучший гасштиницу, будете довольный.

— Валяй! Да гляди, живее!

Поручик даже обрадовался, что так неожиданно встретил знакомого человека.

Мордка Олейник добросовестно доставил новоприезжих в «московские номера» купца Завьялова, где он» заняли под себя четыре невзрачные комнаты, считавшиеся «лучшими». Суется более даже, чем следовало, и с необыкновенно значительным и самодовольным видом помогая вносить их вещи, Мордка успел мимоходом сообщить не только «номерному», но и торчавшему у подъезда полицейскому жалу, что это-де очень важные господа, и он-де их очень хорошо знает, старый знакомый с ними, и даже заранее знал, что они должны приехать, потому что ему нарочно телеграфировали об этом родные из Украинска, — он уже двое суток поджидал-де их на станции. Пускаясь в такие откровенности, Мордка тешил этим собственное самолюбие. Он вообще был очень доволен и даже горд собою по случаю приезда столь «важных гостей» и спешил поделиться своим гордым

чувством с «нумерным» и хожалым, дабы в их глазах поднять свое собственное значение, — вот мы-де с какими господами знакомы, вы что-себе думаете!

Хожалый, не дожидаясь дальнейших подробностей, тотчас же побежал доложить полицеймейстеру, что какое-то важное начальство наехало — генерал с двумя офицерами и при них барыня. В полиции это произвело некоторую сенсацию, и хотя усердному хожалому пришлось съесть дурака за то, что не узнал толком, какое начальство и как его фамилия, тем не менее, на всякий случай, полицеймейстер приказал приготовить себе мундир с орденами, — может, и в самом деле, кто-нибудь из важных экспромтом нагрянул — нужно будет явиться, значит, и представиться. Но, чтобы не зря натягивать мундир и не спороть горячку впустую, он наперед командировал более умного полицейского чина узнать обстоятельно, кто именно приехал и по какой надобности.

Этот же вопрос не менее интересовал и хозяина «нумеров», а потому, как только новоприезжие успели осмотреться и располо-

житься по-домашнему в своих комнатах, к генералу явился «номерной» с графленою книгой и почтительно потребовал «пачпорта» для записи в книгу и заявки в полицию.

Генерал сначала было поморщился. — На кой черт сообщать это сейчас же! Не успели приехать, уж и имена подавай, чтобы сорока на хвосте сию же минуту по всему городу разнесла! Генералу хотелось бы лучше сохранить, до поры до времени, полное инкогнито, и потому, с привычным ему начальническим апломбом, он коротко отрезал номерному, что это-де успеется и после. Но номерной заявил, что таков порядок — «очень уж ноне строго стало» — полиция, значит, требует и, чуть что, с хозяина штраф берет. — Нечего делать, пришлось генералу подчиниться местному «порядку».

— Пиши! — с досадой приказал он номерному. — Генерал-лейтенант Ухов с дочерью и племянником, гвардии корнетом Засецким.

Тот записал и даже с кляксой, вытащив, по нечаянности, на пере заплесневшую муху.

— А другой господин тоже с вами будут, или сами по себе? — осведомился номерной.

— С нами, — буркнул генерал. — Поручик Пуп, пиши.

— Пуп-с? — переспросил тот, не доверяя собственному слуху.

— Пуп, говорю. Кажется, ясно. Аполлон Михайлович Пуп, поручик... «Порядок» тоже, черт возьми, завели! — ворчал он себе под нос, похаживая по комнате, пока тот записывал. — Дохнуть людям не дают и уж с «порядками» лезут... Записал? — Ну, и убирайся к черту:

— Насчет пачпортов еще доложить осмелюсь, — пачпорта пожалуйста?

— Тфу ты, дьявол! Как банный лист пристаёт! — вспылil сердитый генерал, однако достал из бумажника свой вид и ткнул его нумерному. — На, и проваливай!

— А тех господ как же будет?.. Насчет пачпортов, то есть?

— У тех и спрашивай, болван! Нянька я тебе за ними, что-ли!?

Оторопелый нумерной поспешил убрать-ся.

Между тем у поручика Пупа в это время шла другая, весьма для него интересная бесе-

да. Мордка Олейник, покончив с переноской дорожных вещей, явился к нему в номер за получением «благодарности» и в то же время, осведомился, не будет ли еще каких приказаний? — Может, дело какое? Может, купить что, или сбегать к кому, или сведения какие господину угодно? — то за всеми такими комиссиями он просит обращаться к нему, Мордке Олейнику, — дать ему «заработать», — потому как он все это знает и все это может лучше всякого другого.

— Ты давно в Кохма-Богословске? — спросил его поручик.

— Кто? ми?.. Ми вже три месяцы издес, — с достоинством ответил Мордка, которого в душе коробило, что Пуп третирует его, такого цивилизованного еврейчика, на «ты», вместо того, чтобы говорить ему «вы» и «господин Олейник».

— Эк тебя куда шагнуло из Украинска? И чего ради?! — покачал на него поручик головою.

— Што делать, надо кушать, надо хлеба заработать, — вздохнул, подернув плечом Мордка. — Издес жить ничего, можно. Насши

тоже есть, за восемьдесят человек будет.

— За восемьдесят?! Ого! — удивился поручик. Даже и сюда пробрались... Ну, и что же, все восемьдесят шахруете?

— Нет, зачем шахровать, — увсе при деле: которово портные, которово часовщики, скорняки, юбелиры, мало ли там...

— Ну, и закладчики, конечно?

— Н-ну, и што я знаю?.. Я ж не закладовал, — неохотно и поеживаясь процедил Мордка сквозь зубы. — А издес тоже ваш старый знакомый ест, тоже з Украинску, — круто свернул он вдруг на другую тему, принимая прежнии развязно любезный тон.

— Кто ж такой? — притворно любопытствовал поручик, догадываясь о ком идет дело.

— Кто?.. Граф Каржоль. Помните?.. Издес!

— Да? — спросил Пуп, с видом полного равнодушия. — И давно он здесь?

— Три месяцы. А до того все на Москва жил, в гасштиничу.

— Хм... И что ж он здесь делает?

— Шахрует... Когда ж вы его не знаете, — увсегда шахрует. Ув Москва кимпаниона се-

бе найшол — богатый купец один — отец недавно помер... И дурак же такой, звините, — вместе теперь анилиновый завод строят за пятнадцать верстов от города, когда у нас и свой ест ув городу. За чиво?.. Глупый купец верит и всево дела ему передал, даже и чековая книжка, а сам больше все с арфянками на Москва гуляет... Совсем глупый купец, как ест глупый... А Каржоль уже и служащих найма-ет, берет задатков, обезпеченьев... Комэдия!.. Пфе!

— Что ж он там и живет, на заводе?

— Нет, живет издес, а только ехает на туды; каждаво дня почти ехает... Лошади завел, хорошаво квартэра, — этово он все умеет, сами знаете.

— И здешние фабриканты... ничего, верят ему?

— Кто ж его знает!.. Издес народ, звините, такой, чтог ему все равно. Ув карты з ним в хозяйском клубе займаются, — значит, верут.

И Мордка мало-по-малу рассказал про Каржоля всю поднаготную: и что он, сверх завода здесь делает, и как живет, и с кем знаком, и у кого бывает, даже за кем ухаживает. На этот

последний счет оказалось, что ухаживает он за женою мирового судьи, — «таково красшавенькаво мадам», — а сам «морозная сшудья» ничего этого не замечает, только спит себе после обеда, да пиво пьет; но есть у Каржолы соперник, и соперник этот никто другой, как сам полицеймейстер здешний — тоже большой «зух» насчет сердечных дел, — нужды нет, что сам женатый, только жена у него вечно больна, всегда с флюсом ходит, подвязанная. И полицеймейстер сначала имел было у судьи успех, пока не было здесь Каржолы, а появился Каржоль, и все это «перевертальось», судья дала полицеймейстеру отставку и занялась Каржолем. Полицеймейстер и рад бы ему какой ни-на-есть подвох устроить, подножку подставить, да все никак не удаётся. А между тем, со стороны поглядеть на них — друзья, совсем друзья, и в карты вместе играют, и друг у друга бывают, и даже покучивают порою.

Аполлон Пуп все это слушал и принимал к сведению, находя, что судьба послала ему в лице Мордки Олейника истинный клад.

Спустя около получаса, когда все прибыв-

шие собрались в комнате генерала пить чай и закусывать, нумерной доложил, что приехал полицеймейстер и просит позволения войти, желая представиться его превосходительству.

II. КАК ВСЕ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

Внезапное исчезновение Каржоля из Укринска прошло в местном обществе почти незамеченным, особенно в первые дни, ввиду почти совпавшего с ним еврейского погрома, который исключительно занял собою все умы, интересы и толки. Да и самим евреям не до Каржоля уже было. В обществе тем не менее обратили внимание на его отсутствие, что графу и прежде не раз случалось уезжать на время по делам в разные места, и потому внезапный отъезд его был сочтен за самое обыкновенное дело. Несколько странным показалось исчезновение это одной только Ольге Уховой: как в самом деле, удрать чуть не тайком, не предупредив ее ни словом, ни запиской, и особенно зная ее «положение», — это что-то подозрительное. Уж не вздумал ли милейший граф избавиться таким маневром от женитьбы на ней, и от нее самой, и от своего будущего ребенка?.. Но нет, это было бы слишком уж подло, на такой поступок он не способен. Так думала Ольга и в первое время все еще чего-то ждала, на что-то надеялась.

Но вот, улеглась сенсация и затихли толки, поднятые в Украинском обществе погромом; разбитые дома поспешно приводились в надлежащий вид, местное еврейство успело опомниться от страха, оправиться, успокоиться и вступить в колею обычной своей жизни, и вместе с сим, мало-по-малу, по городу пошли из еврейской среды кое-какие слухи и толки по поводу Каржолья и его участия в деле Тамары Бендавид. Евреям, на первых порах, казалось выгодным компрометировать его и всех предполагаемых его сообщников, подразумевая под таковыми игуменью Серафиму. Прежде всего, в обществе обратили внимание на то, что в окнах дома, который занимал Каржоль, появились белые билетки, свидетельствовавшие о сдаче его внаймы; стало быть, граф уехал окончательно или на очень продолжительный срок, если счел нужным сдать свою квартиру. Затем, в «Украинских Губернских Ведомостях», в отделе объявлений, появилась публикация о продаже лошадей и экипажей, принадлежавших графу — это еще очевиднее свидетельствовало, что граф Каржоль де Нотрек в Украинск более не

вернется. Что за странность?! Почему? Отчего? По какой причине? — задавались вопросы во всех гостиных и кабинетах украинского monda. Даже в канцеляриях разных присутственных мест интересовались этим-вопросом; всех невольно интриговала загадка такого странного исчезновения, всем хотелось знать, в чем дело?

Никто не ведал ничего положительно верного, но тут-то вот, тем охотнее и схватились все за нити разных слухов и толков, шедших под сурдинку из еврейского и польского мира. Заговорили, что граф, пронюхав о миллионном состоянии Тамары Бендавид, задумал на ней жениться и для того вскружил ей голову и убедил принять христианство; другие передавали, что мать Серафима была с ним в заговоре, и он обещал ей за пособничество огромный куртаж; третьи добавляли, что не только Серафима, но были подкуплены и консистория, и сам преосвященный, да кажись, и сам губернатор с Мон-Симоншей не совсем-то чисты в этом деле. Говорили, что тут была-де целая облава, на еврейские капиталы, целый комплот против Тамариных миллионов, но

что старик Бендавид успел вовремя предупредить интригу, скупив все векселя Каржоль, и только этим путем принудил его отказаться от дела и уехать из Украинска и, наконец, что Каржоль согласился-де на все, выговорив себе, однако, пятьдесят тысяч отступного, которые и были ему с рук на руки переданы Бендавидом. Все либеральные чиновники, адвокаты, судьи и великовозрастные гимназисты приходили в благородное негодование, — вот, дескать, каковы у нас представители православия и правительства! Ясно, что и то, и другое отжили свой век и находятся в процессе разложения, от которого может спасти только одна конституция, — конституция и ничего кроме конституции; другие же, и в том числе Охрименко, находили, что не конституция, а ничего кроме революции и «черного передела». Но дамы, — все акцизные, судебные и проч., и проч. дамы решали вопрос по-своему. Каржоль, в их глазах, не был виноват ни сколько, или — как крайняя уступка противному мнению — виноват несравненно менее прочих, даже менее Мон-Симонши. При чем тут, собственно, Мон-Симонша, этим вопро-

сом никто не задавался. — Разве при том только, что она губернаторша, задающаяся «тоном», перед которой все эти «шерочки», «дущечки» и «милочки» лебезят в глаза и всласть ругают ее заочно. По мнению акцизных «шерочек» и контрольных «милочек», Каржоль, как мужчина, вправе был увлечься Тамарой (ах, зачем только ею, а не ими!), но она... она, — о, для нее нет оправданий! Она преступна, она безнравственная, беспринципная девчонка, — вот он истинный нигилизм-то где, вот он! Удивительно, право, как это ее принимали в обществе, как это находились такие матери семейства, которые позволяли своим дочерям дружить с этакой тварью, с жидовицей... А все кто — все Мон-Симонша, все она, — она первая всегда ей протезировала. Но тут акцизные и контрольные дамы, кстати, вспомнили, что не совсем-то одна Мон-Симонша, что есть еще и барышня Ухова, которая сама рассказывала всем и каждому про то, как она была в заговоре вместе с Тамарой и Каржолем, как сама привела ее к нему ночью — horreur — (воображаем, что там было!..) и как жида застали ее утром в

квартире Каржолы. — Да, но позвольте, какими же судьбами могла она сводить его с Тамарой, если мы все — *entre nous soit dit* по секрету — очень хорошо знаем, что не только до Тамары, но и до последнего времени Каржоль ухаживал за Ольгой, и даже не просто ухаживал, а был так-таки прямо «в интишках» с нею, что уж греха-то таить! Ведь Ольгина горничная знакома с горничной Марии Ивановны и с прачкой Дарьи Степановны, и все, как есть все, разболтала им по секрету, — отсюда и узнали всё их мистэры. — Все это так, возражали этим милым дамам их мужья и поклонники, — все это так; но какая же цель могла быть в таком случае у Ольги сводить графа с Тамарой? — Как какая?! Как это какая?!? — кипятились дамы. — Очень понятная: Каржоль женится на Тамаре, прибирает к рукам все ее капиталы, а Ольга... Ольга с левой стороны пользуется и Каржолем, и капиталами. Но ведь у Ольги свое собственное состояние! — Фу, какой вздор! Состояние!.. Велико состояние, какие-нибудь несчастные сто тысяч, когда тут миллионы. Они бы составили между собою преинтересное трио, пока у этой еврей-

ской дурочки не открылись бы наконец глаза. Но что ж, ведь она нигилистка, и к свободе любви должна относиться сочувственно; зато у нее был бы графский титул... и красивый муж, добавьте, которым, время от времени, она все-таки могла бы пользоваться.

Расходившиеся дамы и матроны, в своем благородном негодовании не замечали даже, в какие нелепые противоречия становятся они сами с собою, среди вороха всех этих обвинений и предположений. Но это ничего не значит: сплетня, своим порядком, все разрасталась, разветвлялась во все концы, как пышное растение; вчерашние догадки и предположения сегодня превращались уже в непреложные факты, — и катилась эта сплетня по базару житейской суеты все дальше, забиралась все глубже, раздувалась все чудовищнее и дошла наконец не только до самой Ольги Уховой, но и до старика генерала, которому какие-то «ваши добродетели», как водится, сочли нужным написать об этом анонимное письмо, — принимайте, дескать, ваши меры.

* * *

Крутой генерал вспылил и опрокинулся

было всеми громами своего негодования на Ольгу, но...

Странное, хотя и зауряд встречающееся обстоятельство: этот храбрый кавказский воин, привыкший когда-то командовать полком, бригадой, дивизией и деспотически властвовать во вверенном ему округе над покоренными азиатами, а потому и в отставке сохранивший заматерелую привычку относиться к людям «по-генеральски», брюзжать, приказывать, кипятиться и обрывать их порою своим начальственным тоном, — пред Ольгой как-то смирялся и стихал, уступая ей во всем, чуть только она принимала с ним твердую и независимо настойчивую ноту. Генерал до обожания любил свою дочь и в то же время как будто боялся ее, пасовал пред нею, — он, человек, который не боялся ни турецких пуль, ни черкесских шашек, ни даже самого черта в образе известной всему Тифлису и сильно влиятельной в свое время восточной княгини Нины Мцхичварчшидзе, которой все боялись. Это бывает с людьми подобного закала. Ольга знала свою нравственную силу над отцом и широко пользовалась ею во всех

случаях, когда ей было надобно. Она командовала им, как хотела. Никто лучше ее не мог ему втереть какие угодно очки, заставить глядеть на все ее глазами, думать ее мыслями и укрощать порывы его вспыльчивости. Он сам поэтому называл ее своею командиршей и укротительницей. В одном только старик не уступал ей, — это во взгляде своем на графа Каржоля, в котором не только своим житейским опытом, но и отцовским инстинктом чувствовал неподходящего для Ольги и вообще ненадежного человека. — «Черт его-знает, от него как будто припахивает скамьей подсудимых!» — таково было интимное мнение генерала о графе, которого он если и принимал у себя, то потому лишь, что «все принимают» и что не находилось никакой достаточной причины не принимать его. Но когда Каржоль попросил у него Ольгиной руки, старик отказал ему очень вежливо, но наотрез и без объяснения причин, и не сдался потом на все настояния дочери. Это был единственный раз в его жизни, когда он сполна выдержал пред нею характер. Что же до позднейших сплетен и анонимного письма, то ей не стои-

ло особого труда направить гнев генерала в другое русло, — на безымянных «доброжелателей» и сплетников; но так как они безымянные, то генералу оставалось только платить им презрением, да и то молчаливым, потому что в глаза ему никто не отважился бы сказать и сотой доли тех мерзостей, что были наворочены в анонимном послании.

Ольга, как и прежде, продолжала показываться в обществе; но теперь она стала замечать, что большинство благородных матерей и дочерей разных гражданских ведомств и даже некоторые «военные дамы» относятся к ней очень сдержанно, сухо точно бы сторонятся от нее или стесняются ею. Одна Мон-Симонша — надо отдать ей справедливость — почему-то продолжала еще относиться к ней по-прежнему, — быть может, потому, что среди всех этих контрольных и акцизных аристократок, по воспитанию и рождению своему, она все-таки была более порядочным человеком. Но «шерочки», со свойственной им пронизательностью, объяснили себе это тем, что и Мон-Симонша-де была в заговоре, вместе с Каржолем и Ольгой, против Тамариных

миллионов. Заметив охлаждение к себе со стороны разных дам и барышень и странные взгляды, которые начинают кидать на нее в обществе мужчины, а также встречая порою от иных матрон приторно притворные выражения Сочувствия, вроде фраз; «как нам жаль вас, шерочка, как мы все вам сочувствуем; что делать, мы понимаем ваше положение», — заметив все это, Ольга более всего не выносившая никаких «сожалений» по отношению к своей особе, решила себе, во-первых, осаживать подобных ядовитых сердобольниц, а затем — не бывать больше в обществе. Последнее было благоразумнее всего, потому что беременность ее понемногу начинала уже сказываться и наружными признаками. Она подумывала, что надо бы во всем признаться отцу и уехать с ним поскорее за границу, чтобы там скрыть естественные последствия своего опрометчивого увлечения. Но как сказать, как признаться ему, — такой шаг даже и Ольге казался тяжело трудным, и она долго, но тщетно обдумывала, каким бы образом сделать его полегче, поудобнее, чтобы не слишком уж поразить старика этим ударом.

Ей все-таки было жалко его.

В первые недели по исчезновении Каржолы, она ждала от него какого-нибудь известия — письма или телеграммы, которая успокоила бы ее хоть тем, что она, по крайней мере, знала бы, где он, и потому могла бы написать ему, объяснить свое положение, потребовать, наконец, от него откровенного да или нет, — но он молчит, исчез куда-то, без следа, а время, между тем, идет да идет, и Ольга, наконец, убеждается, что она обманута и брошена. Не столько горе душило ее при этом сознании, сколько оскорбленное самолюбие, негодование и жажда, так или иначе, отомстить за себя графу Каржолу. Ее опасения, что он, того и гляди, в самом деле женится на Тамаре, усилились в особенности с тех пор, как по городу пошли слухи, выдаваемые за безусловную правду, что все документы Каржолы, скупленные Бендавидом, погибли во время разгрома, а потому граф теперь совершенно-де свободен от всех своих обязательств перед евреями, узда с него спала и, конечно, не дурак же он, чтобы не воспользоваться во всей широте своей свободой, чуть

лишь проведает об этом счастливом для него обстоятельстве. Этому же опасались еще в большей мере и сами евреи, в особенности Бендавид и члены Украинского кагала, которые готовы были рвать на себе «святые пейсы» от досады, что черт его знает как и через кого вышел из замкнутого круга еврейской общины и огласился среди гоёев ужасный факт гибели Каржолевских документов. Они всячески старались отрицать это и уверять в противном, но не могли представить ровно ничего в доказательство своих уверений, — и христиане им не верили. В христианском обществе, напротив, сложилось твердое убеждение, что не только графские, но и множества других лиц долговые документы совершенно погибли. По именам называли даже людей из местных мещан и рабочих, которые сами были в числе их истребителей, и не скрывают этого. Кагал чувствовал, что все его голословные отрицания бессильны и что Тамарин миллион висит для него на волоске, готовый достаться Каржолю, — стоит лишь ему протянуть руку, при помощи женитьбы и столичных «знаменитостей» адвокатского

мира. Самым лучшим, самым желанным исходом для кагала, конечно, была бы смерть Тамары или Каржоля; но смерть последнего устроить очень трудно и рискованно, раз что он выпущен из Украинска; о Тамариной же смерти нечего и мечтать: Тамара теперь оставлена в Петербургской Богоявленской общине так, что до нее не доберешься. Ввиду всего этого, кагал сознавал, что надо бороться против грозящей опасности, надо, во что бы то ни стало, одолеть ее, но только более тонкими и легальными путями.

К этому времени Абрам Иоселиович Блудштейн уже получил от Мордки Олейника известие, что Каржоль, кажись, окончательно оселся в Кохма-Богословске, занявшись там анилиновым заводом, а потому-де Мордка считает миссию свою законченной и просит выслать ему денег на возвращение в Украинск. Малая толика денег хотя и была послана Мордке, за счет Бендавида, но с тем, однако, чтобы Мордка и думать не смел пока о возвращении, а продолжал бы оставаться в Кохма-Богословске и еще зорче следить за Каржолем, давая своевременный отчет о каж-

дом его существенном шаге. В находчивой голове Абрама Иоселиовича уже назревал один план, который если — даст Бог — осуществится, то весь Украинский Израиль воспоет его творца и в гусях, и в тимпанах. Объектом этого плана был Каржоль, а средством к достижению — барышня Ухова.

Абрам Иоселиович знал, что она беременна и от кого; знали об этом и в кагале, и знали очень просто, как и все вообще, что творится в обществе гойев. благодаря обыкновенной системе пронырливого жидовского факторства и шахрования, содействием коих кагал искони пользуется, в случае надобности, ради собственных интересов.

Проживала в Украинске одна, пожилых лет, бездетная еврейская вдовица, Перля Лившиц, которая «шахровала» тем, что шлялась с заднего крыльца по всем дамам и барышням Украинского *monda* и брала у них старые платья, шляпки, башмаки и т. п. на комиссию до «предажи» или в обмен на разные принадлежности туалета, блонды и перчатки, попадавшие к ней в руки тоже на комиссию, по знакомству ее с содержателями контрабанд-

ных складов; мужчинам же, холостым и женатым, Перля носила безбандерольный табак и «щигарке контрабандове». Это была, так сказать, гласная сторона ее деятельности; негласная же состояла в том, что «мадам Перля», зная от разных «шерочек», из числа своих клиенток, и от их горничных, о том, кто за кем ухаживает и кто с кем в связи, «по дружбе» оказывала нуждающимся неоценимые услуги по части переноса от «предмета» к «предмету» любовных записочек, или передавала на словах об условном часе и месте секретного свидания и т. п. Дружескими услугами мадам Перли пользовались более или менее все, кто не безгрешны по части «фигли-мигли» и «закретных амуретов», и эти интимные услуги оплачивались ей обеими заинтересованными сторонами гораздо лучше и щедрее, чем ее гласная профессия. Благочестивые еврейские балбосты, конечно, относились за это к Перле с презрением, многие из них даже и на порог к себе не пускали ее; но благочестивый кагал смотрел на ее секретную деятельность более снисходительно, находя, что зазорное по отношению к своим —

не зазорно или, по крайней мере, допустимо по отношению к гойям, в разносторонней и всевозможной эксплуатации коих для еврея, в сущности, нет ничего зазорного. Кагал нашел, что секретная профессия Перли Лифшиц, при случае, может быть небесполезна и для каких-либо катальных целей и интересов, а потому негласным постановлением своим продал ей, за известный ежегодный взнос в катальную кассу, право меропии на этот род эксплуатации гойев, подобно тому, как он продает своим однообщественникам-евреям право на содержание разных гласных и негласных публичных заведений, шинков, ссудных касс и т. п. Благодаря такому отношению к негласной профессии мадам Перли, в руках кагала сосредоточивались, между прочим, сведения о всех тайнах и грешках Украинского общества; он знал, так сказать, всю поднаготную всех этих «шерочек» и «душечек», с их «ферлакурами», «хахалями» и «хлахонами», которые не подозревая ничего подобного, считали Перлю золотым человеком, за ее будто бы дознанную скромность, — на Перлю-де в их делах можно побожиться, как

на каменную гору, Перля никогда ни в чем не проболтается, это — сих дел могила.

Захаживала Перля со своими узлами и коробками, с заднего крыльца, и к Ольге Уховой, для комиссии по части старых тряпок, и она же была первою посредницею между ней и Каржолем, еще в самом начале их романа, переноса к ним взаимные записочки; продолжала захаживать к обоим и впоследствии, под тем же благовидным предлогом блонд и табаку, и не прекратила своих визитов к Ольге даже по исчезновении Каржоля из Украинска. Таким образом, мадам Перля, естественно, была посвящена во все перипетии их связи. Когда у Ольги обнаружили первые, заметные на глаз, признаки ее интересного положения, мадам Перля «по дружбе» предложила ей даже одно «закретное средство», такое хорошее, верное средство, что если принять его один только раз, то все ее «положение» как рукой снимет и ничего больше не будет, никаких последствий, и стоять это будет самые пустяки, всего каких-нибудь двадцать пять рублей. Ольга колебалась... ей и хотелось бы избавиться от своего «положе-

ния», а в то же время страшно было довериться фармацевтическим секретам мадам Перли, — она знала из книжки доктора Дебе, жадно поглощенной ею еще в гимназии, какими последствиями могут грозить такие «секреты», при мало-мальски неумелом их применении, и потому в конце концов отказалась. Она слишком любила себя и жизнь, слишком хотела еще жить и наслаждаться жизнью, и положение ее еще не казалось ей таким отчаянно безысходным, чтобы решиться подвергнуть себя столь рискованным экспериментам.

По получении Блудштейном известия из Кохма-Богословска о Каржоле, когда в мудрой голове Абрама Иоселиовича созрел уже его план, он повидался по секрету с мадам Перлей, поговорил с нею по душе и кое-что внушил ей. Вскоре после этого, сидя у Ольги, Перля, по обыкновению, завела с нею соболезнующий разговор о ее «положении» и вдруг, как бы экспромтом, говорит ей:

— А знаете, что я себе додумала? Вам бы надо, как наискорейш выходить замуж за Каржоль.

— Глупый совет, моя милая, — грустно усмехнулась ей Ольга. — Как же я выйду, если мне неизвестно даже, где он находится?

— Ну, вам неизвестно, а ми знаем где, — многозначительно подмигнула Перля. — Завернаво знаем, недавно узнали. То вже так. И как мы узнали, — продолжала она вкрадчиво, — то я тым часом и додумала себе. Хорошо бы, думаю, кабы барышню зараз поехала до него и з папіньком, з енгерал, тай покрутила его за себя! Ай, как хорошо бы!

Ольга так и встрепенулась. Счастливая мысль как нельзя удачнее была заброшена в ее голову.

— Где, же он? Где? — с живостью схватила она Перлю за обе руки.

— А, ув одном городе, в России... Постоите, как этово город называется... у меня записано.

И порывшись в своем заношенном ридикюле, мадам Перля достала оттуда сложенный клочок бумажки. — Читайте, бо я по русско не знаю.

На клочке было прописано мужским почерком: «Боголюбской губернии, город Кох-

ма-Богословск, Вознесенская улица, дом купца Исполатова».

— Он там, — с безусловной уверенностью подтвердила Перля. — Вже улоковалсе завсем до житья, фабриков заводит...

Обрадованная Ольга чуть не бросилась к ней на шею.

— Я напишу к нему! — было ее первою мыслью.

— Ай, нет! Боже збав!.. Когда же так можно!? — спохватилась еврейка. — Вы из таким манером всего дела скассуете.

Несколько сбита с толку, Ольга воззрилась на нее недоумевающим взглядом.

— Надо, штоб он а-ничего не знал, — внушала ей Перля даже с некоторой таинственностью. — А-ни-ничего! Понимаютю?.. Ехайте просто, тай захапайте. А то, каб он часом знов куды не заховалсе... Додумали?

— Да, это правда. — подумав, согласилась Ольга.

— Ага, правда?.. Мадам Лившиц наувсегда правда говорит. Вы только слушуйте мадам Лившиц, то увсе хорошо будет.

Мадам Лившиц вам злово не хочет.

С этого разговора, Ольга точно бы заручилась в игре крупными козырями. Чем дольше думала она об этом, тем более убеждалась, что и в самом деле не придумаешь лучшего исхода из своего фальшивого положения и лучшего мщения Каржолу, как заставить его на себе жениться. Какое бы это было торжество над ним, и над этой негодяйкой Тамарой (поделом, — не отбивай!), да и над всеми украинскими сердобольницами, над целым обществом! — Вернуться вдруг сюда графинею Каржоль де Нотрек... О, как бы тогда все заплясали перед нею! Какие со всех сторон посыпались бы уверения в дружбе, в преданности, в уважении!.. А он-то, он — все эти его махинации, все широкие замыслы и расчеты на Тамарины миллионы — в трубу!.. Да, это одно уже было бы ему достойным наказанием. Сбежал, и вдруг заставили жениться. — И все рухнуло!.. Что взял!? — Конечно, кроме полного презрения, этот милый супруг никогда уже ничего больше от нее не добился бы, но зато она носила бы громкое аристократическое имя, с которым сумела бы впослед-

ствии распорядиться собой и своею карьерой. Только бы имя, — для нее довольно и этого! Имя — и она отомщена. Да, выйти замуж, — кончено, так. Но как добиться, как исполнить это? — И Ольга стала серьезно думать над своею задачей.

Вскоре и в этом отношении помогло ей одно совершенно случайное обстоятельство.

* * *

Поручик Пуп, несмотря ни на что, по-прежнему, все еще был безнадежно влюблен в Ольгу и продолжал мечтать о ней, вполне сознавая впрочем, что для него такое счастье недостижимо. Это было даже несколько смешно в таком лихом улане, за которым бегали чуть не все украинские барыни, и маменьки, и дочки. Не сломила его упрямое чувство даже огласившаяся история Ольги с Каржолем. Любящее сердце упорного поручика нашло в себе достаточно извинений и оправданий для своего идола. — Она-де жертва, во всем виноват Каржоль, которого он с удовольствием вытянул бы на барьер и всадил пулю в лоб, — рука не дрогнула бы. Он давно уже, с самой первой встречи с ним на знаменитом Мон-Си-

моншином празднике, молча ненавидел этого счастливого своего соперника, который, однако, держал себя по отношению к нему и ко всем вообще «господам офицерам», с таким безукоризненным тактом, что решительно не оставлял поручику никакого повода придраться к нему и покончить дуэлью. Придраться, конечно, можно было бы и без повода, если уже на то пошло, но Аполлона Пупа удерживало от этого другое, более глубокое и великодушное побуждение: он видел прежде всего, что сама Ольга равнодушна к Каржолу, стало быть, что ж тут поделаешь? Оскорбить или убить его — это значило бы нанести оскорбление или жестокий удар ей, в ее собственном чувстве, заставить ее страдать, без всякой пользы для себя, а он слишком любил ее, чтобы решиться на такой поступок. В первое время, полагая, что граф все-таки порядочный человек и вероятно, вскоре женится на ней, Аполлон Пуп хотел уверить самого себя, что он может быть даже не настолько самоотвержен, чтобы желать ей полного счастья с ее будущим мужем, и старался дать понять ей это «тонким намеком», напевая ино-

гда пред нею с особенным выражением романс:

*"Нет, нет, не должен я, не смею,
не могу
Волнениям любви безумно преда-
ваться".*

Ольга слушала, как в этом романсе он желал ей «все... даже счастья того, кто избран ей, кто милой деве даст название супруги», — слушала и благосклонно, но не без коварства улыбалась певцу, посмеиваясь в душе над его странною сентиментальностью, которая — надо сознаться — менее всего шла к bravому улану. В таком положении оставалось это дело до самого бегства Каржоля.

Однажды, в конце сентября, в ресторане гостиницы пана Пушета, куда все уланы обыкновенно сходились обедать и ужинать, вышла «история», даже «сконапельная история», как выражались украинские шутники. Началось с того, что молодой чиновник из правоведов, сидевший за общим столом напротив Пупа, громко стал распространяться в пикантно-легком роде и вовсе недвусмысленных выражениях насчет «барышни Уховой»,

о ее «доступности» и «интересном положении». Побледневший Аполлон сдержанно и сухо остановил его, напомнив, что имеет честь считать себя в числе добрых знакомых госпожи Уховой и потому просит прекратить разговор на эту тему. Правоведах натопорщился и заметил в ответ, что если кому не нравится, тот может не слушать или уйти, но никто не имеет права запрещать ему иметь о ком бы то ни было свое собственное мнение.

— А я считаю, — возразил улан, — что каждый порядочный человек имеет не только право, но обязан остановить нахала, который позволяет себе позорить по кабакам имя девушки, и без того уже несчастной.

За слово «нахал» тот вломился в амбицию, и кончилось тем, что поручик бросил ему в лицо свою визитную карточку, заявив, что он всегда к его услугам, и затем немедленно удалился домой, в ожидании прибытия к себе секундантов от оскорбленного правоведа. Ожидание его продолжалось двое суток, но секунданты так и не явились; оскорбленный же ограничился тем, что перестал кланяться с «господином Пупом».

Между тем, история эта разнеслась по городу и, через ту же мадам Перлю дошла до Ольги. В настоящем своем положении, более чем когда-либо ценя подобное проявление участия к своей «компрометированной особе», она вспомнила, что этот самый Аполлон делал ей когда-то предложение и получил отказ, за что, казалось бы, более всех имел право теперь относиться к ней безучастно, и вдруг он-то первый и подымает единственный голос в ее защиту! В порыве благодарного чувства, Ольга написала к нему коротенькую записку, где высказала, что она искренне тронута благородным его поступком и от всей души благодарит его. Ответом на это со стороны улана было письмо, в котором он изъяснял уже давно известные ей свои чувства, не поддающиеся ни времени, ни обстоятельствам, и заявлял, что, несмотря на полученный однажды горький для него отказ, он все-таки отваживается еще раз сделать ей предложение своей руки и сердца, в надежде, что авось либо теперь она их не отвергнет, хотя бы только, ради того, чтобы этим путем сразу положить конец всем гнусным сплетням.

По прочтении этого письма, у Ольги блеснула новая мысль, в которой она увидела наконец возможность осуществить свою заветную задачу, лучше чем предполагала доселе, — и на другой же день Аполлон получил от нее в записке приглашение по поводу его предложения. В назначенный час улан явился.

Ольга приняла его одна, без родителя. Она сразу и прямо высказала ему горячую свою благодарность, говоря, что лучшего мужа и желать не могла бы, что быть его законной женой составило бы для нее счастье и гордость всей ее жизни, но...

— Вы видите, однако, в каком я положении, — смущенно продолжала Ольга. — Скрывать не приходится... Позднее раскаяние было бы напрасно, да я и не из тех, что каются и хнычат. Что делать, не сумела оценить вас раньше, а теперь... простите, но быть вашей женой не могу... теперь даже более, чем ко-ща-либо.

Бедный улан, за минуту еще полный самых радужных упований, вдруг затуманился и почти безнадежно опустил голову и руки.

— Если вас только это смущает... это ничего не значит... ровно ничего... поверьте... я все-таки..., повторяю мое предложение, — смущенно говорил он прерывавшимся от волнения голосом.

— Нет, Аполлон Михайлович. Спасибо вам, но это невозможно, — порешила Ольга.

При всей сердечности тона, каким были сказаны эти слова, в нем звучала твердая, бесповоротная воля, и поручик понял, что дальше добиваться нечего.

— Мой будущий ребенок должен носить имя своего отца, — продолжала она, — это моя цель, мое единственное желание, помогите осуществить его! Помогите мне выйти замуж за графа, и тогда — я ваша... берите меня, делайте со мной, что хотите, — я буду вам самой преданной рабой, самой горячей любовницей, но женой — никогда. Я должна быть графиней Каржоль де Нотрек, этого требует моя честь, мое оскорбление... Докажите же вашу любовь и помогите, мне нужна ваша помощь.

Выслушав все это молча и очень серьезно, точно бы взвешивая и запечатлевая в себе

каждое ее слово, улан сделал ей глубокий поклон и мог проговорить только одно:

— В огонь и в воду!.. Приказывайте.

Тогда Ольга взяла его за руку и повела в кабинет к отцу.

— Папа, — сказала она решительно и твердо, отчасти даже как бы приказывающим тоном, — потрудись, пожалуйста, выслушать... брось свою газету.

Старик послушно отложил в сторону газетный лист, поднял на лоб очки и повернулся в кресле к дочери.

— Что, дружок, прикажешь?

Но увидев стоявшего рядом с ней улана, он тотчас же «подтянул» самого себя, принял генеральскую осанку и, точно бы принимая своего адъютанта, явившегося к нему с докладом по службе, заговорил, протягивая ему руку, совсем уже иным, отрывисто военным тоном:

— А, поручик!.. Здравствуйте. Очень рад. Прошу садиться. Что скажете-с?

— Вот что, папа, — тем же своим тоном продолжала Ольга. — Аполлон Михайлович сделал мне предложение.

— Как?! Второе? — удивился генерал, откинувшись в кресло и окидывая взглядом обоих.

— Да, вот его письмо, — можешь прочесть его.

Генерал спустил на нос очки, осанисто насупился и быстро стал пробегать глазами отчетливые строки Аполлонова предложения.

— С своей стороны, ничего не имею против, — разрешил он по-военному, передавая письмо обратно. — Вы, друзья мои, стало быть уже порешили? Ну, что ж, очень рад. Поздравляю!

— Не в том дело, — остановила его Ольга. — Лучшего зятя, конечно, ты и желать не мог бы, но... к несчастью, я не могу быть его женой.

Генеральские очки опять очутились высоко на лбу, а лицо приняло выражение человека, совершенно сбитого с толку.

— Вот те и на!.. Что же это такое?

— Видишь ли, — продолжала Ольга. — Мне трудно... тяжело говорить, но надо же наконец решиться. Постарайся выслушать спокойно.

И наклонившись к отцу, она обняла рукой его шею и поцеловала в голову.

— Я скрывала от тебя, пока было можно, мое положение, думала, ты сам догадаешься. Ну, а теперь больше незачем. Прости, дорогой мой, я... я...

И Ольга, превозмогая себя, объяснила ему о своих отношениях с графом и о том, что она решила — во что бы то ни стало — заставить этого негодяя на себе жениться. Это должно быть так, и это будет. Аполлон Михайлович знает все и готов содействовать. — Помоги же и ты, если тебе дорого имя твоей дочери.

Старик до того был ошеломлен всем этим, что забыл даже рассердиться. Он только бессильно уронил руки на валики своего глубокого «вольтеровского» кресла и, весь как-то осунувшись — точно бы в нем что рухнуло — глубоко и тяжело задумался, устремив глаза на одну какую-то арабеску растянутого по полу персидского ковра, меж тем как Ольга, рассказав ему где и как находится Каржоль, продолжала развивать свой замысел и свои предположения, каким образом возможно осуществить его.

— Да, пожалуй, что другого ничего и не остается больше, — со вздохом проговорил наконец старик, после долгого, сосредоточенного раздумья. — Что ж тут!.. Снявши голову, по волосам не плачут. Хорошего, однако, муженька приготовила себе дочка, нечего сказать! — с горькой иронией покачал он на нее головой.

— Мой грех, мой и ответ, — покорно пожалала она плечами.

— Да, но ты должна будешь жить с таким мерзавцем.

— Я?.. Никогда! — гордо выпрямилась Ольга.

— То есть, как же так, однако?

— А, это уже мое дело.

— Но и его, полагаю. У него будут известные права на тебя, как у мужа.

— Повторяю тебе, — настойчиво подтвердила она, — я должна быть графиней Каржоль де Нотрек, а там уже, в остальном, предоставь распорядиться мне, как знаю. Ни тебя, ни себя я не обременю его особой.

Старик еще раз задумался.

— Так как же, папа? Могу я рассчитывать

на тебя?

— Делай, как знаешь, — развел он руками. — Господь с тобой! Мне, как отцу, бросать тебя, конечно, не приходится. Нужна моя стариковская помощь, я готов. В случае чего, и сам на барьер вытяну этого негодяя!

Решено было втроем ехать в Кохма-Богословск, а там... Там уже видно будет.

Стали готовиться к отъезду. Генерал взял, по текущему своему счету, из банка две тысячи рублей на дорожные и иные расходы. Он понимал, что медлить с этим делом нельзя — Ольга ходит на шестом месяце, — и удивлялся только самому себе, как это он, старый дурак, до сих пор не догадывался, в чем дело, а только радовался, что дочка-де так полнеет, здоровет, значит, слава Богу. — Вот-те и поздоровела. А ведь после анонимного-то письма, кажись, не трудно было бы раскрыть глаза себе. Так вот, поди ж ты, слепота какая! — и во сне даже не допускал подобной возможности.

* * *

Через день после этого, неожиданно для старика, но вполне жданно для его дочери, приехал к ним из Петергофа в двухмесячный

отпуск родной племянник генерала, корнет Засецкий, большой приятель Ольги, с которым она одно время росла в своем детстве. Незадолго до предложения Аполлона, явившегося для нее совершенной нечаянностью, Ольга предполагала осуществить свои замысел именно с помощью кузена Жоржа, и потому, по секрету от отца, написала к нему в Петергоф, чтобы он непременно брал возможно более продолжительный отпуск и как можно скорее приезжал к ним в Украинск, так как присутствие его здесь серьезно составляет для нее вопрос почти жизни или смерти; отец ничего-де пока не знает об этом, а в чем дело, она объяснит на месте. Кузен Жорж не заставил долго ожидать себя и явился к дяде как снег на голову, не предупредив о себе даже телеграммой, потому что Ольга попросила его не делать этого. Хотя роль, предназначавшаяся ею для Жоржа, была отдана теперь Аполлону, как наиболее подходящему для сего человеку, но раз кузен уже приехал, тем лучше: у Ольги вместо двух будет трое защитников. Гвардеец сразу же сошелся с уланом, как добрый малый и товарищ по оружию, а Ольга

объяснила Аполлону, что надо и его посвятить в дело, тем более, что отъезд отлагать нельзя, да и «положения» своего перед ним не скроешь, и наконец — не оставаться же ему одному в Украинске. Авось-либо и он на что-нибудь пригодится.

— Превосходно! — согласился поручик. — Взять, непременно взять и его! Вдвоем-то мы как приступим к его сиятельству такими архангелами, да еще с генералом в резерве, — много разговаривать не станет.

Мадам Лифшиц, между тем, продолжала с заднего крыльца навещать по утрам Ольгу и, таким образом, находилась в курсе всего, что делается в генеральском доме, помогала ей даже в приготовлении к дороге и знала заранее предназначенный день отъезда.

— А што, маво милаго барышню, и когда ж мадам Лифшиц не хорршаво совет вам давала?.. Ага!.. Ви только слушйите мадам лифшид, и у все гунц-хишш будет!.. Зер хишш! Вот посмотритю!.. Бо мадам Лифшиц любит вас, как свово дитю.

И после каждого своего визита к Ольге, она аккуратно захаживала, с заднего же крыльца

к Абраму Иоселиовичу Блудштейну, «до кабинету», и секретно докладывала ему о положении дела. Тот уже заранее потирал себе руки от удовольствия, — как все это пока хорошо налаживается, — ну, точно бы они по нотам разыгрывают его музыку!

Спустя около недели после того, как в генеральском доме произошло решительное объяснение, четверо спутников экспромтом нагрянули в Кохма-Богословск, где Мордка Олейник, вовремя извещенный Блудштейном, уже два дня поджидал их, бегая каждый раз на станцию к приходу пассажирского поезда.

III. ПО-КАВКАЗСКИ

Мы оставили наших путников за чаем и закуской в номере генерала Ухова, в тот момент, когда «номерной» доложил его превосходительству о приезде полицеймейстера. За несколько минут перед этим, все они с живейшим интересом внимали Аполлону Пупу, который, в отличнейшем расположении духа, сообщал им целый ворох новостей о Каржоле, только что почерпнутых им из рассказов Мордки Олейника. Генерал однако слушал скептически, далеко не разделяя розовых надежд поручика, вообразившего, что теперь все пойдет прекрасно, лишь бы поскорей захватить Каржоль. Он понимал, что, сколь ни подробны Мордкины сведения, сколь ни близки они, пожалуй, к истине, но одних только этих «сведений» слишком еще недостаточно для того, чтобы немедленно же приступить к надлежащему действию в совершенно чужом и незнакомом городе. — Что ж из того, что Каржоль открывает где-то там завод, или ухаживает, в ущерб полицеймейстеру, за какою-то судыхой?! — Тут главный во-

прос в стратегии — с какой стороны ловчее подойти, чтобы прямо взять этого быка за рога и принудить его венчаться немедленно без отговорок и отвиливания. Для этого, конечно, нужен прежде всего целый план, и план настолько хорошо и верно рассчитанный, чтобы не получилось ни малейшей осечки. А такого-то плана и не имелось еще в голове ни у генерала, ни у его спутников. Поэтому генерал даже впал в ипохондрическое настроение, полное мрачных сомнений. Он стал испытывать такие сомнения еще в дороге, и чем ближе подвигался к цели, тем сильнее начинал глодать его этот червяк, но генерал хранил пока свои думы про себя, даже боялся высказываться, чтобы не раздражать и не печалить преждевременно Ольгу, у которой и без того на душе было несладко. Но тут его уже, что называется, прорвало: не совладал с собой и высказался весь наружу. — «Заставить!» Легко сказать «заставить», но как это исполнить на деле?.. Не возьмешь же человека за шиворот и не потащишь прямо к аналою! Да и аналой-то надо еще наперед приготовить — попа найти, который согласился

бы... Дуэль;— Прекрасно. А если этот негодяй как-нибудь извернется и улизнет из города до дуэли, даже раньше объяснения с ним, чуть лишь пронюхает о приезде генерала с ассистентами? — Ведь это так возможно, особенно в таком городишке, где каждый шаг на виду у всех, и где поэтому приезд их не может остаться тайной, а стало быть и молва о нем легче легкого дойдет до Каржоля, пожалуй, прежде еще, чем тут успеют сообразить насчет плана. Генерал тем более чувствовал себя не в духе, что теперь по прибытии на место, ему вдруг представилось с поразительной для него самого ясностью — насколько, в самом деле, легкомысленно была задумана и исполнена сгоряча вся эта поездка, и насколько нелепо было ему на старости лет, поддаться сумасбродной идее своей дочери, не взвесив наперед всех шансов за и против ее осуществления. Там, в Украинске, под влиянием Ольги и в пылу собственной негодования против Каржоля, это «заставить» казалось ему не только осуществимым, но и довольно легким делом — возьмем, мол, да и заставим! — Но тут, на месте, оно превратилось в огромный

знак вопросительный. Как его заставишь?.. А если не удастся, тогда что?.. В Украинск вернуться на смех добрым людям, — поехали-де не по что, приехали ни с чем! Здравствуйте!.. Вся эта затея казалась ему теперь более чем сомнительной, даже глупой, и он чувствовал себя в дурацком и беспомощном положении. — Ну, вот и приехали, и сидим в каких-то «московских номерах», ну, и узнали, положим, кое-что, — а дальше-то что же?.. Не к судьихе же этой обращаться за помощью и советом!.. Но к кому-нибудь да надо, — надо непременно, без этого не обойдешься. К кому же?!.. Если бы еще тут был хоть один знакомый человек более или менее своего круга, или если бы можно было, по крайней мере, предварительно пожить здесь несколько дней в полнейшем инкогнито, поосмотреться, поразмыслить, — но ведь об этом и думать нечего! Ольга и слушать никаких резонов не хочет, — наладила себе одно «сейчас» да и basta! — Сейчас-де отправляться всем к Каржолу на квартиру и ждать; или же пускай Аполлон Михайлович отправляется один и поджидает его приезда на улице, около дома, и ко-

гда даст нам знать, — мы все и нагрязнем. Генерал только руками отмахивался, точно бы от назойливых мух, жужжащих у него над ушами.

— Это только в водевилях так бывает! — говорил он с горечью и досадой.

— Ну, да однако что же иначе? — раздраженно возражала ему Ольга. — Раз, что мы уже здесь, сидеть и ждать сложа руки еще глупее!

В эту-то минуту как раз и вошел «номерной» с докладом.

— Кто такой, говоришь ты? — с неудовольствием обернулся на него Ухов.

— Полицеймейстер здешний... Вашему превосходительству представиться желают, — повторил тот у дверей, понижая голос до какой-то особенной таинственности, проникнутой почтительностью.

— Эх, черт возьми, вот уж некстати! — досадливо проворчал про себя генерал. — Тут едва кусок в рот, а он «представиться»... Скажи, что я извиняюсь... А впрочем, — передумал он вдруг, — постой... Где он?

— Тут-с, в коридоре дожидаются, — еще та-

инственнее кивнул тот на дверь головой и глазами.

— Хм... в коридоре?.. Нечего делать, проси!

Генерал хотя и был недоволен, что посторонний человек набивается к нему со своим визитом в такую неподходящую минуту, но в то же время, как «отставной», он остался в душе приятно польщен изъявлением такой «аттенции» к своей превосходительной особе, тем более, что отставные на этот счет у нас далеко не избалованы. Это даже предрасположило его в пользу «почтительного» полицеймейстера, да и кроме того, генерал сообразил, что авось-либо он может быть в чем-нибудь полезен «по делу».

В комнату вошел представительный и несколько дородный мужчина — что называется в провинции, «бэль-ом», — лет сорока «с хвостиком». Это был высокого роста курчавый брюнет, с высокоподстриженным, воловьим, красным затылком, и тщательно расчесанными, надушенными подусниками, которые вполне можно было назвать роскошными. Полицейский мундир его, с гражданскими жгутами вместо погон, был украшен

несколькими орденами и, в том числе, крестом за покорение Кавказа.

— Позвольте иметь честь представиться вашему превосходительству, — заговорил он несколько катаральным, но приятным баском, щелкнув по-военному шпорами. — Надворный советник Закаталов, местный полицеймейстер... Узнав о прибытии вашего превосходительства, счел долгом...

— Очень приятно, — поднялся навстречу ему генерал, с достоинством протягивая руку, — оччень приятно... Прошу извинить, — застаете нас несколько в неглиже, в такой... обстановке, по-семейному... Прошу садиться.

Полицеймейстер снова прищелкнул шпорами.

— Ваше превосходительство, не узнаете меня? — задал он вдруг вопрос, ослабляясь приятно мистифицирующей улыбкой. — Неужели не узнаете?!. А я так вот сразу узнал вас.

На лице генерала отразилось некоторое замешательство, вместе с вопрошающим недоумением.

— Позвольте... виноват, — пробормотал он,

пожимая плечами. — Судя по вашему кавказскому кресту, вероятно, мы с вами когда-нибудь на Кавказе встречались?

— Так точно, ваше превосходительство. Не изволите ли припомнить, когда вы еще командовали 1-м батальоном Шушенского полка, я у вас в батальоне был юнкером. — Закаталов... Под вашим начальством, так сказать, службу свою начал.

Лицо генерала вдруг озарилось радостью, точно бы он сделал необычайную находку.

— Батюшки-светы!.. Дорогой мой!.. Да неужели это вы?!.. Вот встреча-то!.. — И он от всей души заключил «бэль-ома» в свои широкие объятия и расцеловался с ним совсем породственному, вlepив в его здоровенные щеки три звонких поцелуя.

— Старый боевой товарищ!.. Закаталов!.. юнкер Закаталов!.. Как же, как же! — восклицал Ухов, радушно взяв его за руки и как бы дивясь на него ласковыми глазами. — Вот, уж подлинно гора с горой, говорится... Да какой же вы молодец еще!.. Хо-хо!.. Присаживайтесь-ка к нам, без церемоний, — по-нашему, по-кунацки!.. Позвольте вам представить мо-

их.

И генерал познакомил его с дочерью и офицерами.

— Мне как только доставили ваши виды. — объяснял меж тем полицеймейстер, — смотрю, что такое!? — «генерал-лейтенант Орест Аркадьевич Ухов». — Батюшки, думаю себе, да ведь это мой отец-командир!.. Сейчас же разумеется, мундир на плечи и самолично... самолично-с к вашему превосходительству. Какими судьбами, скажите пожалуйста?

— Ну, о судьбах мы потом. А пока — рюмку водки и... чем Бог послал... по-бывачному. Помните, как бывало в Дагестане-то?.. а?..

Завтрак прошел, как и всегда в подобных случаях: отрывочные и смешные воспоминания о том, о сем, о прежней службе и сослуживцах прерывались разными расспросами о самом Закаталове, о его житье-бытье, о городе Кохма-Богословске, а промежутки между такими разговорами восполнялись обычными восклицаниями, вроде «так-тос!» «так вот как, батюшка!» — восклицаниями, в сущности, бесцельными, но в общем изъяслявшими обоюдное удовольствие и удивление по

поводу столь неожиданной и приятной встречи.

После завтрака полицеймейстер стал уже было откланиваться, но генерал удержал его, сказав, что хочет переговорить с ним по одному делу. Остальные, по самому тону этого предупреждения, поняли, что будут, пожалуй, лишними при предстоящем разговоре и потому удалились из комнаты. От старика не ускользнул несколько удивленный, недоумевающий взгляд, мимолетно орошенный Закаталовым на фигуру Ольги, когда та поднялась со своего места. Он понял причину и значение этого, быть может, нечаянного взгляда, и его невольно передернуло. Затрудняясь первым приступом к такому щекотливому делу, — как и с чего начать, — генерал сам взглянул в коридор — нет ли там кого лишнего — и плотно затворил дверь. А затем, наступая с серьезным, обдумывающим видом, стал озабоченно и медлительно скручивать себе папиросу. Ему было и неловко, и совестно, и в то же время он чувствовал, что иначе нельзя, что это надо, потому что никто лучше Закаталова не может помочь ему, на первых

порах, хотя бы насчет необходимых справок и точных сведений. Надо было превозмочь, переломить самого себя, и — сколь ни трудно — старик решился на это.

— Скажите, пожалуйста, — начал он деловым тоном, — проживает у вас тут некто граф Каржоль де Нотрек, Валентин Николаевич?

Полицеймейстер отвечал утвердительно.

— Вы его знаете сколько-нибудь?

— Как не знать! Очень хорошо знаю. А что?

— Да видите ли... Впрочем, может быть, он вам приятель?

— Приятель, это слишком много сказать, а так, знакомый.

— Как по-вашему, что это за человек?

— По-моему?.. Как вам доложить? — пожал Закаталов плечами, — по-моему, человек легкий и... едва ли обстоятельный.

— Ну-с, а по-моему, просто-таки мерзавец, — резко порешил генерал своим обычным безапелляционным тоном. — Скажите, что он здесь делает? Завод какой-то, слышал я, открывает?

— Да, анилиновый, на счет купца Гусятни-

КОВА.

— Хм... А затем?..

— А затем, что ж ему делать? С фабрикантами в мушку играет, жуирует, за барынями ухаживает...

— И только?

Закаталов опять пожал плечами.

— Другого пока ничего не замечено, — сказал он, — по внешности, по крайней мере.

— Хм... Ну, а насчет женитьбы?.. Думает, на ком жениться?

— Насчет женитьбы не слыхал... Впрочем, едва ли думает, — непохоже на то.

Генерал озабоченно потер лоб рукой, как бы облегчая этим внутренние потуги какой-то тяжелой, беспокоящей его мысли. По выражению его лица можно было заметить, что ему очень трудно комбинировать свои дальнейшие вопросы, которых впереди у него еще очень много и которые, тем не менее, далеко не исчерпывают собой главный, заботящий его предмет, а все только бродят вокруг да около, не решаясь, или не зная, как подойти к нему прямо.

— Видите ли, дело вот в чем... Как старый

сослуживец, я буду говорить с вами откровенно и, надеюсь, вы мне поможете? — сказал он, наконец, крепко пожав Закаталову руку.

— Готов, ваше превосходительство, — отвечал тот, прищелкнув, с коротким поклоном, шпорами.

Генерал, в явном затруднении, насупясь и нервно поводя скулами, прошелся по комнате.

— Дело очень серьезное, — веско начал он, обдумывая, как бы лучше объяснить его и, в то же время путаясь в собственных мыслях, потому что должен был перемогать внутренний конфуз, претящий ему высказать наголо самую суть этого дела.

Полицмейстер, между тем, стоял в полном молчании, изображая всей фигурой своей готовность почтительного внимания, и это молчание смущало старика еще более.

— Н-да-с... очень серьезное... очень серьезное?.. Оно конечно... бывает и хуже, н-но... все же как порядочный человек вы меня поймете, — отрывисто бормотал старик, шагая по комнате и избегая при этом глядеть прямо в глаза собеседнику — Давеча, просматривая

наши виды, — продолжал он, круто повернувшись вдруг к Закаталову и чуть не в упор остановясь перед ним, — вы... вы, конечно, заметили, что дочь моя показана девицей?

— Так точно, ваше превосходительство, — с тем же коротким поклоном подтвердил Закаталов.

Н-да... девицей... А между тем, — вы ее видели, в каком она положении.

И для пущей изобразительности, генерал округло развел перед собственным животом руками.

Полицеймейстер промолчал, только строил очень серьезную, сострадающую мину и скромно потупил взор.

— Н-да-с... Так вот, этим самым ее положением мы обязаны графу Каржолю, — поклонился вдруг Ухов.

Закаталова, при этом имени, точно бы что отшатнуло назад, и он невольно вскинул на генерала изумленные глаза.

— Может ли быть?! Скажите пожалуйста!.. Каржоль?!?

— Да-с, как видите. Сорвал банк и удрал... Тайком удрал, как самый последний трус и

негодяй!.. Мерзавец!., мерзавец, говорю вам!

Генерал начинал уже кипятиться и пофыр-кивать сквозь натопорщившиеся усы. Полицеймейстер сочувственно покачивал головой.

— Что ж теперь делать предполагаете вы? — озабоченно спросил он.

— Хм!.. В этом-то и вопрос, что делать! — Одно из двух: или заставить его жениться, или убить, как собаку, — что ж тут больше! Мы для этого и приехали.

— Первое, конечно бы, лучше всего, — раздумчиво заметил Закаталов, — но... боюсь одного: как бы он не пронюхал да не удрал бы загодя. Если уж удрал из Украинска, пожалуй, удерет и отсюда... Тут надо действовать живо.

— Так, так, — подхватил генерал. — Именно, как вы говорите, живо, немедленно. — Это и моя мысль. — Чтоб и опомниться не успел! Главное, никаких оттяжек и проволочек! Никаких!

Закаталов задумался. В глубине души, ему очень улыбалась заманчивая мысль — поставить своего счастливого соперника в критическое положение перед коварной судьбой:

это и ей было бы мщением. Нагрянули вдруг, — трах! — и окружили молодца, как мокрую курицу. Вот-те и Дон Жуан! Прелестно!.. Это было бы истинное торжество и для самого Закаталова, для его уязвленного самолюбия. Весь город потешался бы над графом, и уж, конечно, после такого сюрприза, едва ли бы он остался в Кохма-Богословеке. — Нет, уж ему тут не жить! Всеобщим посмешищем быть не захочет, это верно. Ну, а после его провала, полицеймейстер останется единственным «бэль-омом» в городе, и тогда ему не трудно будет помириться с легкомысленной судьихой, утешить ее, возобновить старую дружбу... Теперь он пока только друг с ее мужем, но это тем легче поможет ему опять подружиться и с ней. О, да это просто сама судьба посылает Закаталову такой счастливый случай, — надо им воспользоваться, надо помочь бедному генералу. И ему тем приятнее будет помочь, что этим он оказывает существенную услугу бывшему своему отцу-командиру. — «Черт возьми, тут надо по-военному!»

— Так как же вы думаете, ваше превосход-

дительство? — обратился он к Ухову, который, между тем, ажитированно похрустывая пальцами, продолжал ходить по комнате.

— Я? — круто повернулся тот на каблуках к Закаталову. — Да что ж тут думать!.. Я полагал бы сейчас же ехать к нему и объясниться решительным манером: или в церковь, или на барьер!

— Это напрасно, теперь вы его все равно не застанете, — предупредил полицеймейстер. — Он теперь на заводе и, вероятно, раньше как к вечеру не возвратится.

— Все равно! Будем дожидаться у него в квартире.

— Ну, это, я полагал бы, неудобно. Ведь у него люди дома, лакей... Мало ли что, — предупредят, пожалуй, на завод-то смахать недолго.

— Ах, черт возьми, и в самом деле! — хлопнул себя генерал по лбу. — Но как же быть тогда?

Полицеймейстер опять призадумался.

— Мне казалось бы, не лучше бы вот как, — начал он, поразмыслив с минутку, — во-первых, я сейчас же отдам строжайшее

приказание здешнему хозяину и всей прислуге — не выставлять на доску ваших фамилий и никому, ни под каким видом, не сообщать, кто приехал и сколько, — чтобы ни гу-гу! Это первое. Во-вторых, попросил бы вас и всех ваших не показываться пока на улицах, потому лакей ведь у него из Украинска, — не ровен час, как-нибудь встретится, узнает в лицо, — и весь план тогда, пожалуй, насмарку! Тут, по-моему, важнее всего — сохранить до поры до времени строжайшее инкогнито. Да кстати! — как бы вспомнив что-то, прибавил Закалатов. — В коридоре здесь я видел комиссионера-еврейчика... Он, помнится мне, тоже из Украинска?

Генерал подтвердил, что этот их знает и даже сам в номера их доставил, и Каржоля знает также.

— Прекрасно! В таком случае, я его, без разговоров, прямо с места в кутузку и продержу, пока будет нужно, чтобы часом гоже не проболтался где. Ну, а свадьбу надо будет сыграть сегодня же.

— Вы полагаете? — спросил генерал, как будто даже оторопев несколько от такой стре-

нительной поспешности.

— Обязательно-с, — подтвердил полицеймейстер. — Обязательно. Сами же вы изволили согласиться, что надо как можно живее.

— Да, но разве это возможно? Ведь тут же должны быть предварительно разные формальности, оглашение там, и прочее?..

— Насчет формальностей не изволите сомневаться, все будет в порядке, — поспешил успокоить старика Закаталов, — у меня тут по соседству батька-приятель есть, в селе Корзухине — это всего в четырех верстах. Катеринку в руку — и готово!

Генерал даже развеселился. — Только-то?! Я готов и две дать!

— Зачем? Баловать не нужно, — возразил полицеймейстер. — Ведь сомнений насчет правильности брака возникнуть не может, потому тут на лицо, во-первых, вы сами, как родитель невесты и, наконец, я, как лицо официальное; со стороны вашей дочери двое свидетелей есть, со стороны жениха буду я... Ну, а четвертым, если позволите, приглашу мирового судью здешнего — тоже приятель и, надеюсь, не откажет. Кстати, как раз и будет

четверо шаферов.

— Дорогой мой! Голубчик! Отец-благодетель просто! Это вот по-нашему, по-кавказски!.. Вот что значит кавказцы-то! — восклицал обрадованный старик, заключая Закаталова в свои объятия и снова влепляя в обе его щеки по сочному поцелую. — Нет слов благодарить! Ведь это просто само провидение принесло вас ко мне! Бй-Богу, провидение!

— Документы вашей дочери, конечно, с вами? — продолжал Закаталов. — Позвольте-ка мне их сюда, я сейчас же духом смахаю в Корзухино и подготавливаю всю музыку заблаговременно.

— Да, но как же насчет мерзавца-то, будущего зятка моего, — спохватился вдруг генерал. — Ведь надо же предварительно встретиться где-нибудь с ним, объяснитьсь?..

— Об этом опять же не беспокойтесь, вы встретитесь у меня, — предупредил его самым уверенным тоном полицеймейстер. — Это я уже все обработаю, чтобы к назначенному часу все было готово... Положитесь на меня и ждите моего возвращения.

Генерал тут же передал Закаталову метри-

ческие документы Ольги, и они расстались.

IV. ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕР В ХЛОПОТАХ

Арестовав мимоходом, в коридоре, Мордку Олейника и сдав его городовому для отвода в кутузку, Закаталов от генерала на минуточку только заехал к себе домой — переоблачиться в сюртук и сказать два слова жене, чтоб она, на всякий случай, приготовилась, так как у них будут сегодня или обедать, или ужинать гости — человека четыре, а может и шесть, — поэтому чтобы все было хорошо, в порядке, уха стерляжья, прекрасный ростбиф, дичь и прочее, а главное, не забыть послать в погреб к купцу Харлашкину, чтобы прислал вин да бутылок шесть шампанского, — полицеймейстер-де требует!

М-ме Закаталова, страдавшая вечными флюсами и насморками, не любила вылезать из своего фланелевого капота и потому кисло поморщилась при этом, не совсем-то для нее приятном, известии, тем более, что оно так неопределенно, — или обедать, или ужинать! Уж что-нибудь одно бы! Она сочла себя впра-

ве узнать, по крайней мере, что за гости, ради которых такие вдруг хлопоты? — Но заторопившийся супруг, впопыхах, только руками замахал на нее. — После, матушка, после! Теперь некогда... лечу, стремлюсь... Не до тебя!.. Одним словом, важные гости, очень важные, — смотри, лицом в грязь не ударь... Да чтобы шампанское-то заморожено было!

И лихой полицеймейстер полетел в село Корзухино.

* * *

Корзухинский батюшка был дома и, конечно, только руками развел от приятного удивления, при виде такого редкого и неожиданного гостя. — Откуда мне сие? — говорит, — и чем чествовать? Рябиновкой или вишневкой?

— Ну, батя, выручай! — изображая из себя повинную голову, обратился к нему гость. — Выручай, голубчик, будь другом!

— Кого, из чего и как? — систематически отозвался ему на это хозяин, довольный посещением своего городского и столь сановного друга.

— Это тебе все равно кого, — заметил по-

лицеймейстер. — А главное, можешь ты мне сегодня покрутить одну пару?

— Одну? Могу и десять, только не сегодня.

— Вот те и на!.. Почему не сегодня? День ведь не под праздник и не постный!

— Не постный, а только не порядок. Надо наперед оглашение троекратное сделать, без того нельзя.

— А ты без оглашения валяй, — лукаво подмигнул ему Закаталов.

— Эво что выдумал!.. Без оглашения!.. Нашему брату за это и под запрещение попасть можно.

— Да ведь никто ж на тебя доказывать не пойдет.

— Не в том сила, а не порядок, говорю, — вот что.

— Да плюнь ты на свои порядки. Чего там! — шутливо махнул тот рукою.

— Эге! Не бойсь, ты на свои не плюешь, голова-то одна на плечах... Ну, да уж что с тобой антимионии разводить! — согласился, подумав, батюшка. — Уж если тебе и в самом деле так до зарезу пришло, можно будет нарочно отслужить сегодня вечерню и огласить еди-

ножды, да завтра дважды, после заутрени и обедни, — уж так и быть, нарочно отслужу. Дело-то, по крайности, в порядке будет, а после литургии и повенчаем.

Закаталов наморщился и озабоченно закусил губу.

— Необходимо сегодня, — проговорил он серьезно и решительно. Но батюшка на это только пожал плечами да руками развел.

— Слушай, батя, не ломайся, — продолжал он дружески убеждающим тоном. — Оглашение вовсе уж не такая важная формальность, если все остальное в порядке. Не брата же на родной сестре венчать будешь и не жену от живого мужа, — за это я тебе головой ручаюсь, и подводить ни тебя, ни себя, конечно, не стал бы. А дело вот в чем: хочешь заработать сотнягу рублей так венчай сегодня. Детишкам на молочишко годится. Подумай-ка сам, когда-то еще тебе благодетельная такая перепадет! Ведь сто рублей не шутка!

«Батя» с каким-то сладко меланхолическим выражением, раздумчиво устремил взор в пространство и медленно стал поглаживать себе сивенькую бородку.

— Милый человек, ведь я это только по дружбе к тебе, — сердечно продолжал доказывать ему полицеймейстер, — потому мужик ты хороший и приятель к тому же. Люблю я тебя, вот что!.. А станешь артачиться, к другому поеду, — другой и ахти не молвя повенчает. Сотня рублей на голодное поповское брюхо, особенно вашему брату, попу деревенскому, сам понимаешь, что значит!

— Так-то так, а все же... как будто сомнительно, — тряхнул бородкой батюшка.

— Ну, вот те и здравствуй!.. Что же тут «сомнительного»? Да и чего опасаться-то?! Документы, говорю тебе, все в порядке, жених с невестой совершеннолетние, при венчании будет сам отец невестин — почтенный, заслуженный генерал, четверо свидетелей налицо, да и я сам — понимаешь ли, — сам буду в свидетелях-то, вместе с мировым, — уж чего тебе, значит, законнее?! Приедем без шума, вечером, попозже, — село-то ваше все спать, поди чай, будет, — в церкви, значит, лишнего народу ни души, освещения парадного не надо, — ну, и знать никто не будет, да и про оглашение никто не домокнется, — было ли, нет ли,

Господь его знает! Раз в книгу записано, стало быть, было, вот и конец. Ну, а уж хочется оглашать, огласи, пожалуй, за вечерней, — полторы старухи услышат, и удовольствуйся!

Батюшка уже не возражал, а только головой порою потряхивал, с выражением, которое ясно говорило: «ишь ты, поет-то как, соловушком курским!»

— Документы невестины можешь хоть сейчас получить, — продолжал между тем Закалатов, — ну, а жениховы с собой привезем. Ведь запись-то в метрику сделать и пятнадцати минут работы не надо, — и все будет в порядке! В полчаса всю свадьбу отваляешь и получишь радужную... Дьячку с пономарем тоже ублагоотворим хорошо, останутся довольны, и все это, как говорится, по-тиху, по-сладку, самым душевным манером... Подумай-ка, право!

Батюшка, все с тем же сладко меланхолическим выражением продолжал глядеть в неопределенное пространство и поглаживать бороду.

— Что уж больно таинственно? Роман, что ли, какой? — спросил он наконец, со скром-

ной, но несколько лукавой усмешкой.

— Последствия романа, — вздохнул с такой же усмешкой Закаталов. — Главная причина, что невеста-то с кузовом, — добавил он, выразительно понизив голос. — Понимаешь?

— Ясно. Грех, стало быть, прикрыть законом желают?

— Во-вот, оно самое и есть! Ты у меня, батя, догадливый! — подмигнул ему полицеймейстер, весело потирая руки. — Именно, прикрыть его, аспида, пока еще время.

— Хе-хее... Понимаем. Что же они, здешние будут, аль как?

— Приезжие, и даже издалека... Ну, да тебе-то что!

— Повенчаются и укатят себе восвояси, поэтому и желательно без огласки, — пояснил полицеймейстер. — Тебе даже лучше: уехали и с плеч долой!.. Так как же, батя? Согласен?

— Ну, да уж-что с тобой поделаешь! — покорно вздохнул батюшка. — Змей-искуситель ты, одно слово! Иерея в соблазн привел, греходник эдакой! — с шутливой укоризной покачивал он головой. — Разве уж для тебя только, для друга, а то ни за что бы!

— Ну, ладно, разводи бобы-то!.. Стало быть к вечеру приготовься.

* * *

Несколько минут спустя, полицеймейстер уже катил обратно в город. На этот раз, его лихая пара впристяжку остановилась перед домиком, на стене которого была прибита известной формы овальная вывеска «мирового судьи», а на дверях подъезда блестела медная дощечка с надписью «Аристарх Иванович Сычугов». Зная, что в этот час мировой судья обыкновенно разбирает дела, Закаталов прошел к нему прямо в камеру и выразительно перемигнулся с ним, — дело, мол, есть. Судья сейчас же объявил перерыв заседания, — ибо здесь это делается патриархально, — и удалился с полицеймейстером в свой кабинет «покурить».

— Большая просьба к вам, любезный друг, — приступил к нему Закаталов, не забыв предварительно вплотную притворить дверь в гостиную, на случай излишнего женского любопытства. — Можете вы не поспать сегодняшней вечер?

— Не поспать вечер... хм... трудновато! —

усомнился мякишеобразный и белотелый судья. — Трудновато-с... А впрочем, было бы из-за чего. Дело, что-ли, какое?

Закаталов объяснил, что оно, пожалуй, и дело, а вместе с тем и пикничок выйдет пресвеселый, соединенный с маленькой экскурсией за город, потому что парочку одну повенчать ему надо экспромтом, преинтересную, — так вот, не угодно ли вместе с ним в свидетели, — «по женихе, мол, ручаюсь».

Сычугов, естественно, любопытствовал узнать наперед, кого с кем венчать предполагается? Но Закаталов решительно заявил, что это пока секрет, а только свадьба будет прекурьезная, — конечно, с выпивкой, — и как судья потом будет сам хохотать, да пухляшки свои потирать от удовольствия, так просто мое почтение! Ему же спасибо скажет!

Усомнившийся Сычугов принял, однако, все это предложение за приятельскую мистификацию, потому что, в самом деле, кому с кем у нас венчаться? Невесты все наперечет, женихи тоже, и ежели бы взаправду предстояло что-либо подобное, то заранее всему городу было бы известно.

— Да уж стало быть есть кому, коли говорю! — с жаром твердой уверенности вступился за себя Закаталов и принялся убеждать и упрашивать судью — сделать это в личное ему одолжение, за которое он и в свой черед отслужит при случае. — Ведь не трудно же! А уж зато какая потешная штука выйдет, и как кутнем-то! Напропалую!

— Да что ж, я бы пожалуй, — согласился податливый судья, — вот, как жена только, не знаю...

— Нет уж вы, пожалуйста, жене ни гу-гу! — поспешил серьезно предупредить его Закаталов. — Попридержите пока про себя... А ежели спросит, скажите, по делу, мол, нужно; полицейместер нарочно сам заезжал... Я и мою бабу в это не путаю. Повенчаем, — тогда пускай их звонят хоть на весь город!

И он взял с Сычугова честное слово, что тот не проболтается, а затем уговоренный судья дал ему окончательное свое согласие быть свидетелем на неизвестной ему свадьбе. Для судьи тут были три подкупающих обстоятельства: во-первых, любопытство, — что за таинственная свадьба такая? Затем друже-

ское одолжение приятелю и, наконец, заманчивая перспектива чего-то потешного с хорошей выпивкой.

— Ну, вот и прекрасно! М-манифик! — горячо потряс ему за это руку Закаталов, и предупредил, что в достодолжную минуту придет за ним, экипаж и вестового; костюмов-де не нужно никаких: в чем есть, в том и валите, — поезжайте прямо в Корзухино, к батеньке в дом, а мы следом за вами.

* * *

От Сычугова полицеймейстер отправился к Каржолю и, не застав его, конечно, дома, настрочил на клочке бумаги самое дружеское приглашение приехать к нему тотчас же по возвращении с завода, по крайне спешному и очень интересному для самого Каржоля делу, а затем полетел в «московские нумера», к генералу.

— Готово, ваше превосходительство, все готово! — объявил он, сияя весь радостью и, как нельзя более, довольный самим собою. — Теперь только распорядиться на почте насчет лошадей и экипажей, но это плевое дело, это мы мигом!

Обрадованный старик с чувством протянул ему обе руки для энергичного пожатия.

— Не имею слов и прочее... вы понимаете, — пробормотал он своей обычной отрывистой манерой.

Закаталов тут же пригласил генерала пожаловать к нему, вместе с остальными-его спутниками, в четыре часа, откусать попросту чем Бог послал, и предупредил, что после обеда они, по всей вероятности, встретятся у него с графом, объяснение с которым гораздо лучше-де иметь в частной квартире, чем здесь, в «нумерах»; дом же Закаталова, на этот случай, весь к услугам его превосходительства. Генерал, за себя и за своих, с благодарностью принял это любезное приглашение, — и полицеймейстер полетел домой приготовиться к надлежащему приему своих гостей и распорядиться насчет кое-чего к вечеру.

V. В ЗАПАДНЕ

Возвратясь домой в седьмом часу вечера, Каржоль нашел у себя на столе записку полицеймейстера и пробежал ее глазами не без некоторого недоумения.

— Сами заезжали, — пояснил ему камердинер, — и мне даже наказывали доложить вашему сиятельству чтобы непременно пожаловали, очень просят.

— Не говорил, зачем?.. Игра верно? Гости?

— Не могу знать, а только сказывали, что очень нужное дело и просили, чтобы сейчас же.

Граф призадумался. — Что за экстренность такая? И по какому такому делу могло бы это быть?.. Что-нибудь неприятное верно? — И он стал перебирать в уме, какая неприятность и с какой стороны могла бы угрожать ему? Долг кому-нибудь, что ли? Вексель, взыскание? Уж не жида ли опять что затеяли?.. Или кто-нибудь из нанятых для завода должностных лиц, у которых он для верности забрал денежные обеспечения... может, кто из них подал на него? Или рабочие с какими-нибудь жало-

бами и претензиями? — Но нет; кажись, ничего такого быть не должно бы, — по крайней мере, граф даже и припомнить не может себе чего-либо подходящего, да и наконец, со всеми такими делами обратились бы к судье, а не к полицеймейстеру. Не политическое ли что-нибудь? — Но это последнее предположение показалось ему даже смешным, — что он за политический человек, и какая такая политика вообще может у него быть! Знакомств таких он тоже не помнит за собою... Нет, тут что-нибудь другое. И что за дурацкая манера писать загадками какими-то! — «по крайне спешному и очень интересному для вас самих делу». — Ну, напиши хоть в двух словах, по какому! А то заставляет человека только тревожиться и черт знает из-за чего ломать себе голову, тогда как, может быть, это сущие пустяки. Да и вернее всего, что пустяки, ничего серьезного и быть не может.

В нерешительности, как быть, граф снова перечитал записку, на этот раз внимательнее первого, и убедился теперь, что совершенно дружелюбный, даже несколько легкий тон ее, по-видимому, исключает всякую возмож-

ность какой бы то ни было неприятности, — скорее напротив, даже приятное что-нибудь, веселое. А это одна только глупая мнительность его создает себе такие вздорные предположения. Это все жида виноваты, все они. с тех пор, как граф попал к ним в лапы, он стал гораздо мнительней и подозрительней, чем прежде, — нет-нет да вдруг и представится ему что-нибудь скверное, — а что, мол, если они возьмут да и сделают с ним то-то или то-то?.. И пойдет его фантазия разыгрываться на эту тему, и он создает в уме своем планы, каким образом мог бы быть отпарирован им тот или другой воображаемый удар. Но в данном случае, кажись, никакого такого удара и быть не может. Вернее всего, что милейший Закаталов устраивает экспромтом какую-нибудь пирушку, или веселый пикник, — и вообще, затевает что-нибудь в приятно легкомысленном роде, — это так на него похоже. Стало быть, беспокоиться и поддаваться первому безотчетно неприятному впечатлению нет решительно никаких резонов. Напротив, будем думать, как Панглос, *que tout est pour le mieux dans ce meilleur des mondes!*

— Скажи кучеру чтоб отпрягал лошадей, а мне пошли за извозчиком и дай умыться и переодеться, — приказал он своему человеку.

* * *

Орест Аркадьевич Ухов и остальные гости Закаталова, приехавшие вместе с генералом, сидели после обеда в гостиной, рассеянно рассматривая от нечего делать альбомные карточки совершенно незнакомых им лиц и слушая через пятое в десятое слово какие-то, во все для них не интересные рассказы хозяйки дома. М-ме Закаталова, известная в городе более под названием «флюсовой дамы» (на том основании, что существуют же дамы трефовая и пиковая, так почему же не быть и флюсовой?), все еще оставалась в полной неизвестности насчет цели-приезда в Кохма-Богословск своих «важных гостей» и, несмотря на все свое желание, не решалась спросить их об этом, потому что предусмотрительный супруг еще загодя попросил ее вовсе не касаться этой темы и вообще избегать всяких подобного рода вопросов, — «иначе ты мне, матушка, ужасно напортишь». Это донельзя заинтриговало флюсовую даму и подстрекнуло ее любо-

пытство, в особенности когда она увидела «интересное положение» m-те Ольги, — но, помятуя зарок своего мужа, покорная супруга превзошла даже самое себя в борьбе с собственным любопытством и, пересиливая себя, выдерживала все время роль скромной, ничего не замечающей и любезной хозяйки.

Ольга ввиду предстоящей встречи с Каржолем, — сколь ни был он ей теперь ненавистен, все же, по чисто женскому чувству, не упустила позаботиться о том, чтобы показаться перед ним поинтереснее, тщательно обдумала свой наряд и даже стянулась, насколько было возможно, шнуровкой.

За исключением хозяйки, все сидели теперь как на иголках, в ожидании, что вот-вот сейчас должен появиться Каржоль... Всех заботила в душе одна и та же мысль — приедет ли? и что, как вдруг не приедет?., и как произойдет первая с ним встреча?., и чем то все разыграется? Чем дольше тянулось время, тем нетерпеливей становилось это ожидание; у Ольги же оно доходило чуть не до нервной тоски и едва сдерживаемой тревоги, тем более что в присутствии непосвященной в дело

хозяйки нельзя было и поделиться ни с кем своими мыслями и сомнениями, поэтому нет ничего мудренного, что флюсовая дама под конец даже устала «занимать» своих малоразговорчивых, видимо озабоченных чем-то гостей и уже подумывала про себя, да скоро ли унесет их нелегкая?!

Но вот, около семи часов вечера в прихожей раздался звонок.

Гости с хозяином многозначительно переглянулись между собой, и все невольно как-то подтянулись. У Ольги екнуло и забилось сердце; Аполлон Пуп закусил губу и мрачно нахмурился, с решительным, на все готовым видом; генерал, нервно побряхтывая, заерзал на своем кресле; полицеймейстер, с чувством автора хорошо поставленной пьесы, одобрительно и несколько лукаво улыбался, поглядывая в некоторой ажитации то на дверь в залу, то на своих гостей; даже корнет Засецкий принял серьезный и строгий вид, и только одна флюсовая дама, с выражением какого-то индюшечьего недоумения, вытянув шею по направлению к двери, думала про себя — кого это еще принесла нелегкая?..

Минута напряженного, но сдержанного ожидания.

Ничего не подозревая, Каржоль довольно быстрыми шагами, развязно и даже весело вошел в гостиную — и вдруг, в тот самый момент, как хозяин радушно поднялся к нему навстречу, он точно бы запнулся на полушаге и стал, совершенно озадаченный, посреди комнаты. Беззаботная улыбка мигом слетела с его оторопевшего лица, которое вдруг побледнело и даже осунулось как-то под гнетом полной растерянности и недоумения. В остановившихся глазах его, сквозь мгновенно заволокнувший их туман, у него смутно выделялись глядящие на него лица и фигуры Ольги, генерала и еще кого-то. Он не понимал даже, как будто спросонья, что все это значит, какими судьбами они вдруг, здесь, у Закаталова, зачем и почему, — и только чувствовал, как упало в нем сердце, да зазвенело в ушах, точно бы ему дали пощечину. Это было не более как одно мгновение, но мгновение для него в полном смысле ужасное. Ни вперед, ни назад. — Исчезнуть бы, провалиться лучше на месте!.. Он чувствовал, что все взоры обра-

щены исключительно на него, как бы говоря — «нут-ка, что, брат?!» — что все смотрят и чего-то ждут от него, что ему в эту минуту надо что-то такое сделать, или сказать, но что именно и, вообще, как быть теперь, — этого он не знал и не мог сообразить. Внутреннее сознание говорило ему только, что положение его отчаянно глупое, смешное, подлое и безысходное.

— Я, граф, хотел нарочно сделать приятный сюрприз, — любезно заговорил Закаталов, подходя к нему, в качестве хозяина, — поэтому уж извините, не предупредил вас ни словом... Но надеюсь, вы рады такой неожиданной встрече со старыми добрыми знакомыми?

Лицо Каржоля исказилось вынужденной и потому донельзя глупой улыбкой, с которой он издали поклонился общим поклоном гостям и поспешил к хозяйке дома, чая почему-то в ней одной свой якорь спасения в эту отвратительную скверную для него минуту. Та усадила его подле себя и не нашла ничего лучше, как спросить:

— А разве вы, граф, знакомы?! Я и не подо-

зревала.

Каржоль пробормотал ей в ответ что-то невнятное и, чувствуя, что надо же наконец обратиться с какою ни на есть фразой к своим «добрым, старым знакомым», повернулся к Ухову все с тою же вынужденной улыбкой:

— Давно изволили пожаловать?

— Сегодня, — отрывисто буркнул ему генерал.

— И надолго?

— Не знаю, смотря как.

Каржоль чувствовал, что все эти ненужные вопросы выходят у него ужасно глупыми и совсем некстати, а между тем нужно же ему говорить о чем-нибудь, чтобы хоть этим прикрыть свое смущение. Сознательнее всего царило в нем теперь одно лишь помышление, — как бы удрать, удрать отсюда скорее, под каким ни на есть благовидным предлогом. Он уже стал было объяснять хозяевам, что заехал лишь на минутку, так как ему необходимо, к сожалению, спешить по одному неотложному делу, но едва лишь заикнулся об этом, как Закаталов, сделал вид, будто не расслышал его слов, любезно захопотал о

чем-то около генерала и сейчас же поспешно обратился к жене:

— Душечка, ты бы распорядилась насчет чая, поди-ка, пожалуйста, — предложил он ей, выразительно показывая глазами на дверь, а затем, повертевшись с минутку в гостиной, пока предлагал Каржолю и другим гостям папиросы да спички, поспешил и сам, с озабоченным видом радушного хозяина, выйти вслед за женою из комнаты.

С уходом их, Каржоль почувствовал, что он покинут, одинок, беспомощен и совсем уже предается на жертву чему-то ужасному, неизбежному, как рок, что должно наступить для него сию минуту, — и он сидел, как истукан, в своем кресле, не зная, куда глядеть, куда девать свои руки и ноги, почти не смея шевельнуться. Несколько секунд общего тяжелого молчания, вслед за уходом притворившего за собой дверь Закаталова, показались ему целой вечностью невыносимого нравственного гнета.

— Мне надо с вами объясниться, граф, — сказала ему, наконец, Ольга сухим и довольно твердым тоном, а затем обратившись к

остальным, попросила их удалиться на некоторое время в залу, — она позовет их, когда понадобится. Те молча поднялись со своих мест и вышли в смежную комнату. Каржоль сообразил, что этим выходом ему отрезается всякий путь отступления как от объяснения с Ольгой, так и из дома полицеймейстера. Он понял теперь, что тут была устроена ему западня, в которой очутился он, как пойманный мышонок, — и мятущееся чувство какой-то заячьей тоски и почти страха невольно овладело им при этом. Что Ольга с отцом здесь, это ему еще понятно; но с какой стати с ними эта свита, эти молчаливые офицеры, Аполлон Пуп с его зловещим каким-то видом?.. Им-то что надобно? Чего хотят они? Зачем, зачем они здесь и что все это значит? Но все-таки среди своего мятущегося чувства, граф был смутно рад и тому уже, что объяснение с Ольгой произойдет, по крайней мере, с глазу на глаз. — Оно все же легче как-то...

— Надеюсь, вы угадываете цель нашего приезда, — начала Ольга тем же сухим и сдержанным тоном. — Отцу моему известно все. Я не могла, да и не имела надобности скрывать

от него... Точно так же и мне, граф, известно не только ваше отношение к Тамаре Бендавид, но и все, что заставило вас бежать из Украинска... Об этом теперь весь Украинск знает, — знает и то, что вы в кабале у евреев и за какую цену...

При этих словах, удивленный Каржоль невольно откинулся назад, и лицо его вспыхнуло краской стыда от жгучего сознания, что он пойман и обличен в самых сокроенных и постыдных для его самолюбия обстоятельствах, о которых знают теперь все, — и она, и даже эти офицеры.

— Укорять вас за ваши поступки, за весь обман ваш я не стану. Но...

При этом последнем слове Ольга выпрямилась и глубоко вздохнула всей грудью, как словно бы ей нехватало воздуха.

— Я имею право потребовать от вас одного, — размеренно продолжала она голосом почти задыхающимся от волнения, чувствуя, как оно все более и более спазматически подступает ей к горлу! — наш будущий ребенок должен быть вашим законным... Понимаете ли, законным, — я этого требую.

— Что ж, — покорно склонил граф голову, — если вам так угодно, я... я против этого ничего не имею... Я готов усыновить его.

— Усыновить? — с презрительной иронией повторила Ольга. — Нет, граф, это слишком мало. Он должен быть уже рожден законным, — вы обязаны на мне жениться, — твердо добавила она, как свою последнюю и непреложную боль.

Каржоль молча потупился, видимо, соображая что-то. Он начинал мало-помалу оправляться от ошеломившего его смущения и овладевать собой и своими мыслями.

— Ольга Орестовна, я прошу вас, однако, вспомнить, — залепетал он, все еще не смея взглянуть ей прямо в глаза, — однажды я уже имел честь просить вашей руки, но... не моя вина, если вашему батюшке угодно было отказать мне. У каждого человека есть тоже свое самолюбие, и не могу же м...

— Да, отказать, — прервала его Ольга, — и вы после отказа не задумались, однако, воспользоваться мною. Но не в этом дело, — продолжала она. — Теперь, зная мое положение и что; этим я обязана вам, отец не откажет, —

он потребует, напротив, чтобы вы женились.

— То есть, как же это «потребовать», — усмехнулся Каржоль с деланной иронией. — Извините меня, но вы, мне кажется, употребляете не совсем точные выражения... Поступить так или иначе, — это дело моей доброй воли, моей совести, и обратиться к моей доброй воле, — это я понимаю; но «требовать»... Требовать, Ольга Орестовна, можно от человека только имея против него веские юридические доказательства.

— Ах, так вы вот на какую почву становитесь! — нервно усмехнулась она. — Прекрасно!.. Так не угодно ли же вам припомнить, что у меня в руках целая коллекция ваших писем и записок, которые вы пересылали мне через Перлю Лифшиц.

— Да, но что ж?.. Записки мои я очень хорошо помню и знаю, что в них нет ничего компрометирующего вас или меня с этой стороны, — почему же вы непременно хотите сделать ответственным за свое положение меня?!

— Как? У вас еще хватает духу оскорблять меня?! — встрепелась Ольга, сверкнув на

него гневными глазами.

— Нет, не оскорблять, — поспешил увильнуть Каржоль. — Боже меня избави!.. Зачем?.. Вы не так меня поняли, — я только защищаюсь, я ни от чего не отказываюсь, ничего не отрицаю, но желаю только, чтобы вы поняли, что подобные вопросы разрешаются не путем насилия, а доброй волей человека... Если вы обращаетесь к моей доброй воле, — извольте, я готов говорить с вами.

— Я, со своей стороны, сказала все, и говорить мне более не о чем. А не угодно ли вам поговорить теперь с моим отцом и с этими господами. Папа! — кликнула в залу Ольга. — Ступай сюда!.. Аполлон Михайлович! Жорж! — Войдите...

Только что оправившийся Каржоль опять почувствовал приступ тоскливого заячьего страха. — Что же теперь хотят еще с ним делать?

— Мои разговоры с вами, сударь, будут коротки, — круто приступил к нему, чуть не в упор, генерал, — или под венец, или на барьер.

— Позвольте, — заикнулся было граф.

— Без позволений-с! — прервал его Ухов. — Объяснений не нужно. Я все знаю и так. Достаточно и того, что вы сейчас говорили, — я слышал. В церковь, или на барьер, — выбирайте!.. Я, сударь, сумею постоять за честь моей дочери... Посчастливится убить меня, на мое место станет он, — указал генерал на Жоржа, — его убьете, будете продолжать с поручиком. Выбирайте, говорю, сейчас же — то или другое!

— Позвольте, генерал, — попятился от него Каржоль, брезгливо обтирая платком брызги слюны, попадавшие ему на лицо сквозь усы раскипятившегося старика. — Позвольте, вы напираете на меня и слова сказать не даете... Я уже сказал Ольге Орестовне, что ни от чего не отказываюсь, но дайте наперед сообразиться!.. Нельзя же так, с ножом к горлу...

— Без отговорок, сударь! Без уверток!.. Я вам отлынивать не позволю-с! — грозил генерал пальцем перед самым его носом. — Вам предлагается на выбор честный исход: или дуэль, или свадьба; откажетесь, — суди меня Бог и мой государь, — убью вас на месте, как паршивую собаку! Выбирайте!

— Авенир Адрианович! — возопил отчаянным голосом граф, взывая к отсутствующему хозяину и поспешно ретируясь за спинку тяжелого кресла, на случай покушения на свою особу. — Авенир Адрианович!.. Авенир Адрианович!! Пожалуйте, наконец, сюда... Что ж это такое!

— Что-что?.. Что такое?.. Что случилось? — вбежал на его призыв Закаталов. — В чем дело, граф?.. Что с вами?

— Помилуйте! Да что ж это такое! — взмолился к нему граф, с негодующим протестом, — на меня нападают, мне угрожают здесь... Я прошу вас оградить меня от насилия в вашем доме... Ваши гости... Это ни на что не похоже!.. Я обращаюсь к вам, наконец, как к официальному лицу и прошу защитить меня от их оскорблений!

Голос его нервно дрожал, и слышались в нем даже подступающие слезы — слезы испуга, обозленности и обиды.

— Успокойтесь, успокойтесь, граф, Бога ради! — ублажал его полицеймейстер. — Никто и ничто вам не угрожает, — решительно ничто!.. Если генерал и погорячился немнож-

ко, — это так понятно... Вы даже должны извинить ему, потому, согласитесь, поставьте себя на его место... Он имеет на это право...

— Но нет, позвольте мне объяснить вам, — вступился было за себя Каржоль.

— И объяснять ничего не нужно, — поспешно перебил его Закаталов, — ничего не нужно... Я все знаю, граф, — поверьте, все, все решительно и понимаю ваше положение, но вхожу также и в положение генерала... Прежде всего, успокойтесь, — воды сельтерской не хотите ли?

— Я предлагаю одно из двух, — вмешался тоном ультиматума расходившийся генерал, носясь, как кот с салом, с понравившейся ему лаконичной фразой. — Одно из двух: или под венец, или на барьер! Сейчас же!

— Ну, вот видите, граф, что ж тут оскорбительного? — мягко принялся уговаривать полицеймейстер. — Вам предлагают, как джентльмену, — прохвостов ведь на дуэль не вызывают, а прямо бьют — выбор зависит от вас и, как порядочный человек, вы, конечно, не задумаетесь... Вы сами понимаете, что нужно.

— Или в церковь, или на барьер, — повторял меж тем генерал в азарте.

— Ну, конечно, в церковь, ваше превосходительство! — конечно, в церковь! Зачем тут барьер?! Бог с ними, с барьерами! — поспешил ответить за Каржоля Закаталов. — К чему нам рисковать и доводить дело до крови, когда можно кончить к общему удовольствию... Не так ли, граф?

— Я уже говорил им, что не отказываюсь, ни от чего не отказываюсь, повторяю еще раз и при вас, — с жаром принялся оправдываться Каржоль, — но позвольте же, дайте мне собраться, спокойно обсудить мое положение, приготовиться, наконец... Теперь я ничего не в состоянии... Я слишком потрясен и взволнован... Завтра я весь к услугам этих господ; но сегодня... я вас прошу, Авенир Адрианович, избавьте меня от этой сцены и позвольте мне удалиться.

И Каржоль, взявшись за шапку, направился было решительными шагами из комнаты, но генерал заступил ему дорогу и стал, вместе с офицерами, между ним и дверью.

— Нет-с, вы не выйдете отсюда, не поре-

шивши, — заявил он графу настойчиво и твердо.

— Но что ж это!.. Опять насилие! — расставив руки и чуть не плача, — взмолился Каржоль к Закаталову.

— Эх, граф, извините меня, я вас право не понимаю! — с дружески досадливой укоризной стал уговаривать его последний. — Ну, и чего тут ломаться? Человек вы холостой, свободный, ну, увлеклись, положим — кто Богу не грешен!.. Но вам представляется случай исправить свое увлечение. В чем же дело? Над чем тут думать-то еще?.. Как честный человек, — конечно, тут нет иного выхода, — вы должны жениться.

— Но я... я ведь и не отказываюсь... Я готов... чего ж еще хотят от меня!? — оправдывался Каржоль, окончательно, что называется, припертый к стене. — Я прошу только дать мне время — не сейчас же я буду венчаться!

Нет, сейчас, сейчас, — замотал на него головой и замахал руками полицеймейстер. — Именно сейчас, сию минуту! Надо эту историю кончать сегодня же. Раз вы уже решились — медлить нечего.

— Но позвольте, сегодня уже поздно, полагаю?

— Это не ваша забота, мы за вас уже тут позаботились обо всем. Еще и восьми нет, — успеем!

— Однако, надо же подготовиться? Нельзя же так!..

— Все, все, все уже готово. Об этом не беспокойтесь, все уже заранее, говорю, приготовлено, остается только сесть и ехать в церковь. Тройки во дворе, — не будем терять времени.

Каржоль даже рот разинул от удивления и обвел всех вопрошающим взглядом, точно бы желая удостовериться, не морочат ли его, в самом деле?

— Вы меня изумляете, Авенир Адрианович, — обратился он, пожав плечами, к Закалалову, — ей-Богу, все это на мистификацию какую-то похоже... Нельзя ли отложить хоть до завтра, по крайней мере?!

Полицеймейстер даже уши себе закрыл ладонями.

— Ни-ни-ни, ни под каким видом! — заговорил он дружески-безапелляционным тоном. — Сегодня, сегодня, дорогой мой, сейчас

же! Все уже готово, говорят вам, и священник в церкви ожидает.

— Но без документов венчать ведь не станут... Со мной нет моих документов, попытался Каржоль еще раз вильнуть в сторону.

— Ничего не значит, — отразил и эту попытку Закаталов. — Заедем к вам по дороге и захватим, а в крайнем случае, на слово поверят.

— Да я и не одет, наконец... Позвольте же мне хоть переодеться-то!

— Лишнее, батюшка, лишнее! В чем есть, в том и венчайтесь, — народу в церкви никого не будет.

Окончательно сбитый с позиции, Каржоль только хлопнул себя об полы руками и покорно опустил голову. Он был точно в чаду каком-то.

Закаталов, между тем, пользуясь моментом, озабоченно засуетился, потирая себе от удовольствия руки.

— Марья Ивановна! — кликнул он в дверь супругу, — готов, что ли, у тебя там хлеб-соль-то?.. Неси скорей сюда, вместе с образом! — Благословить жениха с невестой, — пояснил

он, обратившись к Ухову.

Но против этого восстали одновременно и Каржоль и Ольга, почувствовав оба какую-то неловкость и конфуз перед перспективой подвергнуться такой церемонии. В их положении оно казалось им даже комичным.

— Зачем еще?! Полноте, что за благословение! — сконфуженно возражали они упрашивая и протестуя. — Нельзя ли, право, без лишних церемоний?.. Это смешно даже будет...

— Нет, нет, невозможно! — наотрез им взбудоражился полицеймейстер. — Как это! Помилуйте! Без благословения?! Не-ет, мы это уж по-обычаю, по-божески, как след... Чтобы Бог дал любовь да совет молодым... Вам жить, а нам на вас радоваться... Нет-с, уж это не извольте кобениться, — это святое дело. Пожа-луйте-с!

И, приняв из рук жены покрытый чистой салфеткой поднос с положенным на него образом и ржаным караваем, в который была сверху врезана серебряная солонка, Закатов обратился к Ухову:

— Ну-с, ваше превосходительство, приступите. Станьте сюда вот и берите в руки образ,

а ты, Марья Ивановна, — уж извините, жена будет за мать посаженую, — ты бери хлеб-соль... Станьте рядышком, — вот так. Прекрасно!.. Теперь, ваше сиятельство, пожалуйста вы. — Ольга Орестовна, не угодно ли?.. Нет, нет, пожалуйста уж вы конфуз отбросьте в сторону... Становитесь рядом с женихом на ковер, — против папаши... Становитесь, становитесь, нечего уж тут!.. Дело законное. Вот так. Ну-с, теперь опуститесь на коленки и — ваше превосходительство, не угодно ли!

И генерал вместе с флюсовой дамой, благовословили Каржоля С Ольгой по всем правилам извечного обычая.

— Ну-с, а теперь в церковь... Пора, пора, господа, — торопитесь! Мой батюшка уже, поди-чай, замерз, ожидаючи! — хлопотал и весело суетился полицеймейстер. — Вы, граф, поедете вместе со мной. Аполлон Михайлович, вы тоже с нами, — ничего, что втроем, — сани широкие, как-нибудь усядемся, а то я и на киндерзиц приткнуся, — кстати, буду за мальчика с образом. Ольга Орестовна, вы с батюшкой и братцем. Ну, с Богом! Господи благослови! Пожалуйте!

Через пять минут после этого, двое больших саней, покрытых коврами и запряженных почтовыми тройками, с «малиновыми» бубенцами, лихо выкатили из ворот полицеймейстерского дома и взяли по направлению к селу Корзухину.

* * *

По дороге заехали только к Каржолу за документами. Закаталов, однако, себе на уме — не спустил его с глаз и, из предосторожности «на случай дерка», вылез сам, вслед за ним из саней и вместе вошел в квартиру. Мрачный и убитый, граф при нем достал из шкатулки свои документы, и полицеймейстер не постеснялся даже попросить у него поглядеть их, — точно ли те, которые в данном случае нужны, что-бы не вышло в церкви какой ошибки. Каржоль испытывал против него чувство бессильной придавленной злобы и, наедине, решился, наконец, высказаться.

— Это я вам должен быть обязан всей этой комедией? — саркастически спросил он. — Благодарю покорно. Когда-нибудь сочтемся...

— Полноте, граф! — возразил ему Закаталов, принимая на себя добродушнейшую ли-

чину. — Чего там «сочтемся»! Вы мне еще спасибо скажите, что кончается водевилем, а не трагедией, — шутки-то с ними плохие были бы. И подумайте сами, рассудите-ка: вы покрываете, во-первых, ваш собственный грех, — поступок вполне благородный, честный... Ну-с, а затем, — красивая жена, хорошей фамилии, с солидным состоянием, — Господи, Боже мой, да чего же вам еще-то надобно?! Какого рожна?.. Ведь это просто завидный брак и, не будь я жнат, да я, на вашем месте, считал бы себя счастливейшим человеком!

Сколь ни странно, но эти доводы Закаталова подействовали на Каржоля успокоительно и как бы примиряющим образом. И в самом деле, если уж этот проклятый брак неизбежен, то что же остается человеку, как не утешиться хотя бы и на таких существенных данных? Но, покоряясь силе обстоятельств внешне, граф все-таки питал в душе какую-то смутную, ровно ни на чем не основанную и даже нелепую надежду, что авось-либо в эти роковые полчаса и, может быть, в самую последнюю минуту, случится еще что-нибудь

внезапное, непредвидимое, что помешает свадьбе, и он опять почувствует себя свободным... Увы! — граф сознавал рассудком, что это глупая, ребяческая надежда, а все ж таки надежда! И почему бы ей не осуществиться? — Так, приговоренный к виселице, до последнего мгновения, надеется и думает, что его не повесят. В таком-то смешанном душевном настроении, доехал он молча весь остальной путь, до самой паперти Корзухинской церкви.

VI. ЧАС ОТ ЧАСУ НЕ ЛЕГЧЕ

Одна из троек, вместе с полицейским вестовым, заблаговременно, еще до сцены благословения жениха с невестой, была отправлена Закаталовым к Сычугову. Но тут вышло нечто такое, что и сам Закаталов никак не мог предвидеть. Надо же было случиться так, что госпожа Сычугова, по поводу каких-то хозяйственных распоряжений, находилась в кухне как раз в ту минуту, когда под окнами раздался веселый звяк бубенцов подкатившей к крыльцу тройки и, вслед за тем, в кухню вошел примчавшийся на этой тройке вестовой полицеймейстера.

— Что тебе? — не без удивления обернулась на него госпожа Сычугова.

— К господину судье от их высокоблагородия, — отрапортовал полицейский.

— С бумагами?

— Никак нет-с, прислали доложить, что лошади готовы.

— Какие лошади:

— Почтовые-с, три тройки... Одну со мной за господином прислали.

— Куда же это ехать?

— Не могу знать, а только давеча посылали меня на почту рядить в Корзухино, чтобы, значит, беспременно три тройки были.

Судьихе все это показалось довольно странным: три тройки... в Корзухино... с ее мужем и в такую пору, — зачем это? Уж наверное какой-нибудь кутеж затевается, — Закалатов ведь без этого не может... И она спросила у вестового, есть ли у полицеймейстера гости, и кто да кто именно?

— Не могу знать, приезжие какие-то... Сказывали, генерал с офицерами и барышня с ними.

— А из здешних никого нет?

— Граф Каржоль недавно приехали.

«Каржоль? — Наверное, какой-нибудь пикник», подумала себе судьиха, и с самым невинным, якобы ничего не подозревающим видом, прошла в кабинет к супругу, только что вставшему от послеобеденной высыпки.

— Мои друг, за тобой тройка какая-то приехала.

— Ах, тройка? — встрепенулся Сычугов. — Это от полицеймейстера.

И он поспешно стал одеваться.

— Куда это ты намерен ехать? — спросила супруга, спокойно усевшись в кресло.

— Мм... с полицеймейстером тут, недалеко, по делу, — вяло проговорил Сычугов, с кислою гримасой, долженствовавшей наглядно изобразить собою перед супругой, сколь неохотно он снаряжается в эту досадную, скучную поездку.

— Какое ж это «дело» вдруг вечером? — скептически продолжала супруга.

— Ах, матушка, мало ли у нас дел-то есть!.. Известно, судебно-полицейское... Акт составлять.

— Хм... Акт? Какой же это акт?

— Ах. Бог ты мой! Ну, что тут интересного! Не все ли равно тебе какой!.. Ну, по беспатентной торговле, — легче тебе от этого?

— Кто же да кто поедет?

— Как кто? — Он да я разумеется; письмоводителя, может, прихватим, — кому ж больше!

— Аристарх Иванович, вы лжете! — вымолвила судьяха, вдруг переменив невинно благодушный тон на торжествующий и стро-

гим. — Вы собираетесь не по делу, а у Закаталова теперь гости, с которыми вы на трех тройках едете в Корзухино.

Ошарашенный судья попался, как кур во щи и, не находя слов для возражения, уставился только на супругу виновато улыбающимися глазами да усиленно засопел от волнения.

— Зачем это вы едете?.. Отвечайте мне, зачем? для какой цели?

— Ах, матушка!.. Ну, просто так! Пригласил человек, и еду, какая там цель еще!

— Те-те-те, позвольте! Так вы «так»? Просто «так»?.. Скажите, какой агнец! — А для чего ж это вы сочли нужным скрывать от меня, если это так невинно?

— Что такое скрывать? Ничего я не скрываю, — слабо оправдывался судья. — Не все же я обязан докладывать тебе... Просили не говорить, — ну, я и молчал... Не понимаю даже, что тут для тебя интересного!

— А то, что же вы, женатый человек, едете кутить с какой-то веселой компанией, что вам вовсе не к лицу ни как судье, ни как мужу! — веско отчеканила каждое слово судьи-

ха. — Извольте мне сознаться, с кем и для чего вы едете?

— Голубушка, право, и сам не знаю.

— Вот это прекрасно! Он и сам не знает!..

Да что вы меня за дуру считаете, что ли?

— Ей-Богу же не знаю! Вот тебе крест, не знаю! — от искреннего сердца побожился судья.

— Ну, это уже слишком. В таком случае, вы, Аристарх Иванович, не поедете.

— Вот те и раз!.. Как же это... Извини, мамочка, но этого я не могу, я дал слово.

— А я вам говорю, вы не поедете, и я сейчас же велю отправить тройку назад и сказать, что вы благодарите, но ехать не можете, — вот и все.

— Ну, уж нет! Бога ради, прошу тебя не делать таких скандалов, — взмолился к ней супруг. — Это уж ни на что не похоже будет... Это выходит, просто срамить меня!.. Что я вам, мальчишка дался, что ли?

— Ого?.. Что это за тон такой!.. Откуда это вы прыти такой набрались, разговаривать со мной подобным тоном?

— Ну ну, мамочка... ну голубушка... ну, не

сердись, пожалуйста! — масляно и сладко за-егозил вдруг перед женой испугавшийся супруг. — Ну, прости меня, дурака, — не буду больше!.. Ну, полно же!

— А, так изволь говорить, зачем, если хочешь, чтобы я тебя пустила. Зачем ты едешь? Зачем? — настойчиво пристала к нему неподатливая супруга, — и бедный мякиш должен был наконец сознаться ей, что Закаталов просил его быть свидетелем на чьей-то таинственной свадьбе. Судьиха даже с места подскочила — что за свадьба такая? Кто с кем? Почему так таинственно? — Но ни на один из этих вопросов он не мог уже ответить ей ровно ничего, за исключением разве, что венчается, по словам Закаталова, какая-то «интересная парочка» и что свадьба будет «прекурьезная».

— Прекрасно, в таком случае я еду вместе с тобою, — быстро решила супруга. Этого только и не доставало к довершению всех удовольствий. Сычугов чуть не в ужас пришел и снова взмолился к жене пощадить его, не делать этого, так как Закаталов просил именно ей-то и не проговориться на этот

счет, и она своим появлением там поставит его, Аристарха, черт знает в какое неловкое положение перед приятелем. Но судьяха и слышать ничего не хотела.

— Еду, еду и еду! Или мы едем вместе, или ты останешься дома, — делай как знаешь, а в крайнем случае, я могу и одна поехать. Паша! подай мне пуховый платок и рогонду!

Как ни бился, как ни упрашивал и что ни доказывал ей Аристарх, — любопытная судьяха поставила-таки на своем. — Еще бы! Каржоль вдруг там будет, да чтобы она не поехала!.. Однако, и граф тоже хорош — не сказал ей ни слова!.. Что ему там делать между нами? Зачем и он туда? С какой стати?.. Нет, — думала она себе, — это штуки какие-то, тут что-то есть!.. Гм... Секреты вдруг завелись!.. Может, он там за кем ухаживать вздумал? — Ну, нет, это мы посмотрим!..

Покорившемуся Аристарху, в конце концов удалось склонить ее лишь на одну уступку, что в церкви она не станет выставляться напоказ, а пристроится в каком-нибудь более темном уголку, потому что иначе — почему знать — быть может, присутствие ее, как по-

стороннего человека, смутило бы венчающихся и было бы им неприятно. Судьиха согласилась на это, и они покатили вдвоем в Корзухино. Сычугов беспокоился только об одном, что из-за этих глупых пререканий он потерял ужасно много времени и заставил людей ожидать напрасно себя, а может, и совсем опоздал к венчанию.

* * *

Войдя вместе с Каржолем и остальными спутниками в слабо освещенную церковь, где уже поджидал их за свечным прилавком священник с дьячком и пономарем, Закаталов не без досады увидел, что Сычугова еще нет. — Экой пентюх! ни в чем-то на него нельзя положиться! Пропал задаром эффект нового сюрприза для Каржоля, на который он так рассчитывал!.. Но все равно, не ждать же из-за этой сонной тетери. И он озабоченно отвел священника в сторону — посоветоваться, как быть без судьи, потому что поджидать его нет времени? Но тот успокоил, что это ничего не значит, — за четвертого свидетеля, по крайности, может-де расписаться и дьячок. После этого тотчас же приступили к записи, а затем

и к венчанию. За графом, в качестве шафера, стал Закаталов, за Ольгой — Жорж с Аполлоном. Генерал поместился несколько поодаль, в полумраке левого клироса.

Каржоль с момента прибытия в церковь, ни одним словом еще не обмолвился ни с Ольгой, ни с остальными, держась все время в стороне, как человек несправедливо оскорбленный, но знающий себе цену, и только на дрогнувших губах его принужденно замелькала саркастическая презрительная усмешка, когда ему пришлось расписаться в метрической книге, под непосредственно наблюдавшими за ним взглядами Закаталова и Пупа, которые, стоя над ним у стола, зорко глядели, чтобы он и в своей подписи не вздумал как ни на есть вильнуть или умышленно сделать какую-либо неточность. Каржоль понял это их побуждение, которое было принято им как явное и оскорбительное недоверие к нему, — точно бы он мазурик какой! — и потому постарался с молчаливым достоинством показать им свое презрение. Но те ни мало не смутились, а Закаталов, как ни в чем не бывало, счел даже уместным подбодрить его после

этого приятельским кивком с добродушно веселую улыбкой.

Во время венчания граф стоял перед аналоем рядом с Ольгой, печальный, бледный и сумрачный, с сосредоточенным видом оскорбленного благородства. Пока не надели на них венцы, он все еще ждал в душе, что вот-вот сейчас случится то неведомое нечто, которое должно спасти его и сделать вновь свободным. Когда священник обратился к нему с обычным вопросом — добровольно ли берет он за себя свою невесту и не обещался ли кому другому? — он всем существом своим порывался было протестующе крикнуть: «нет, меня венчают насильно!» и на этом, в последний еще возможный к отступлению момент, прервать дальнейший ход обряда; но вместо, того, на первый вопрос сконфуженно и тихо ответил да, а на второй едва слышно нет, точно бы губы его прошептали эти два слова помимо собственной его воли и сознания. Здесь ему впервые показалось пред самым собой, что он как-будто смалодушничал в последнюю решительную минуту, что стоило бы сказать «не хочу», и с ним ничего бы не поде-

дали, но... перспектива дуэли, — неужели же он боится их угрозы дуэлью?! При этом сознании вся кровь бросилась ему в голову, но тем не менее, он не возмутился против собственного своего малодушия, не нашел в душе сил побороть его, и даже не шевельнулось в нем ни малейшего презрения к самому себе, — нет, он видел в себе только несчастную жертву рокового и грубого случая, даже шантажа, — жертву, над которой совершается возмутительное нравственное насилие и которая, по безвыходности своего положения, поневоле должна подчиниться ему. Когда же почувствовал он над собой венец, коснувшийся своим краем его лба, ему показалось, точно бы голову его охватило холодным металлическим обручем, прикосновение которого пронизало весь организм его нервной дрожью. Он знал, что теперь все уже кончено: важнейшая для него часть обряда, в течение которой в нем жила еще смутная надежда на что-то, долженствующая спасти его, даже помимо его самого, — эта часть уже совершена, и вот, ничего такого не случилось... За что же, за что такая несправедливость судьбы?! — Те-

перь, он знает, назад уже нет возврата, — конец всем мечтам и надеждам, ради которых он жил и боролся!.. А какие это были золотые, радужные надежды! Как прекрасно все шло и развивалось согласно его планам, на пути к задуманной цели! Когда он встретился в Москве с молодым купцом Гусятниковым (точно бы сама судьба столкнула их!) и так удачно подбил его в компаньоны на предприятие, обещающее, как казалось графу, по крайней мере двести процентов на каждый затраченный в него рубль (граф сам совершенно искренно верил в это) и когда тот с полупьяна имел наивность тоже поверить всем его «вернейшим расчетам» и выдал ему, ничтоже сумняшеся, доверенность и средства на постройку завода, Каржоль был твердо убежден, что к концу года, а может и раньше, он «совершенно честным образом» сколотит необходимые ему сто тысяч, чтобы сразу выручить все свои векселя у Бендавида, и тогда... тогда между ним и Тамарой не будет более никаких преград: он явится к ней свободным и влюбленным, он сумеет оправдаться пред нею, опять покорить ее сердце и волю,

если бы оказалось, что она стала к нему холоднее, — затем, сейчас же обвенчается с нею и, с помощью знаменитых адвокатов, начнет громовой процесс против жидов за ее миллионы. А что он их выиграет, в этом для него не было сомнений! — Только этой мыслью граф и жил, только на нее и надеялся, ради нее боролся и энергично работал, решившись даже на такое «самопожертвование», как жизнь в глуши, на заводе, или в этом невозможном Кохма-Богословске, не имеющем понятия ни о порядочном обществе, ни о порядочных привычках... Да, он героически решился на все эти «лишения», он «сократил» себя и свои потребности и вкусы, на сколько лишь было возможно, он якшался «на ты» с разными здешними Кит Китычами, играл в мушку и трынку с этими хамами, отравлял черт знает чем свой желудок в их клубе, — и что же!.. Вдруг все надежды и планы его лопаются как мыльный пузырь и, вместо всех этих радуг и блеска заманчивой будущности, он — насильно обвенчанный муж Ольги Уховой! Где же, где же после этого справедливость!

Да, то были мечты, а это действитель-

ность — горькая, обидная, безобразная, но с нею надо считаться, — мало того: надо мириться с нею.

Он тупо глядел на огонь своей свечи, и ему с горькой иронией думалось, что для него в ее пламени горит не воск, — горят Тамарины миллионы и все его лучшие надежды, все его счастье... Надо считаться, надо мириться с действительностью. — Что ж, быть может, Закалатов и прав, говоря, какого рожна еще ему надо?!.. Сто тысяч Ольгиного приданого — тоже деньги, небольшие, положим, но и не малые... Можно и с ними кое-что поделаться. Сто тысяч в кармане, — это, при умении, значит на пятьсот тысяч кредита. У генерала земля есть к тому же, целое имение, да дом в Украинске, — все это, по оценке, гляди, составит капитал более двухсот тысяч... И странное дело, ведь был же граф даже рад, как счастливой находке, этому самому капиталу всего лишь несколько месяцев назад, до встречи с Тамарой! Оборотливый, находчивый человек, каким он считал самого себя, разве не сумеет и из такой малости создать себе целое состояние?! Все-таки это более чем ничего. Надо, в

самом деле, мириться с действительностью, ничего не поделаешь!.. Сто тысяч наличных, да в перспективе, по смерти старика, остальные сто в земле и в доме, — ну, а затем, в приданое к этому, жена, хоть и не Бог-весть какой громкой, но все же дворянской фамилии, дочь заслуженного генерала, элегантная, красивая женщина, — что ж, в крайнем случае, можно помириться и с этим. Ведь Ольга же в самом деле красива, даже теперь, в настоящем своем положении; ведь нравилась же она ему и — что греха таить пред самим собою! — красота ее всегда говорила его чувственности несравненно более, чем красота Тамары — даже до самого последнего времени в Украинске... Ольга всегда казалась ему красивее, пластичнее, пикантнее этой жиденькой нервной евреечки... В Ольге есть рисунок, и рисунок очень изящный, плавный, округлый — теперь даже слишком округлый, но ведь месяца через два все это кончится, пройдет, и пред ним явится прежняя Ольга, всегда для него столь обаятельная, столь умеющая заставить человека желать себя...

И в самом деле, раз что Тамарины миллио-

ны горят, — какой интерес в ней без этих миллионов и какого рожна еще ему надобно?! — Можно помириться с судьбой и на Ольге. — «Рожна» — *cest le mot!* — Это мне даже нравится, усмехнулся про себя Каржоль. — Конечно, можно помириться и на Ольге. Тут самая простая логика. То — журавль в небе, а это — синица в руках. Правда, Ольга зла теперь на него, но... тем не менее, она сама же захотела идти за него, даже заставила на себе жениться, — стало быть, как ни как, а все же любит его (так думалось Каржолю), а раз что в ней есть еще это чувство, разве ему будет стоить большого труда оправдаться пред нею, объяснить свои обстоятельства, представить причины своего несчастного бегства из Украинска в «истинном», а не в таком подлом свете, в каком она смотрит на них и на него теперь? И разве он в самом деле так виноват во всей этой истории с Тамарой? — Ведь он же не более как жертва гнусной жидовской интриги, жертва клеветы и мщениия родных этой жалкой девочки, — побуждения его были самые чистые и бескорыстные... Ольга смотрит на него сквозь жидовские очки; но

когда он объяснит ей наконец всю истину, она поймет, она увидит свое заблуждение и оценит в нем человека, всегда столь ей преданного, никогда не перестававшего любить ее... Да, это все он сумеет сказать и оправдать себя, а там... там уже само время возьмет свое и довершит остальное. И размышляя таким образом, Каржоль слегка покосился на профиль рядом стоявшей Ольги. — «А ведь она, в самом деле, не вредная, даже и теперь!» — лукаво подумалось ему не без плотоядно сластолюбивой *argiere-pensee*, и тут же вспомнились хорошие минуты их первых таинственных свиданий и восторгов...

Но глядя на Ольгу, Каржоль вдруг почувствовал, что с левой стороны на него пристально уставились и смотрят неотводно чьи-то два посторонние глаза. Он быстро и не без некоторой тревоги перевел взгляд с профиля Ольги в ту сторону, зорко взгляделся в постороннюю фигуру, которой там не было в начале венчания, да вдруг так и обмер, побледнев и конвульсивно сжав свою свечку. На него насмешливо и зло глядели сквозь золотое пенсне удивленные глаза хорошенькой

судьихи. Да, это она, — несомненно она стоит и нагло смотрит в упор, точно бы издевается молча над ним и его «интересною» невестой. Что ж это значит? Каким образом она здесь? Кто сказал ей? Кто впустил ее сюда? Зачем, с какой стати?

Встревоженный и сбитый с толку всеми этими, столпившимися в нем, вопросами, Каржоль, недоумевая, обернулся с вопрошающим взглядом назад, на Закаталова, — но что ж это такое? — Закаталов стоит уже не за ним, а несколько в стороне, и с явным самодовольством, весело и точно бы торжествуя, глядит на судьиху. Кто ж, однако, держит вместо него венец? — Граф еще раз нервно оглянулся назад и — о, ужас! — не веря собственным глазам, увидел вдруг мякишеподобную пивоналивную фигуру господина Сычугова. Это уже показалось ему ударом жесточайшей насмешки над собой. — Как! этот самый Сычугов, счастливый рогоносец, которому с такой спокойной совестью, как бы совершая даже нечто должное, он наклеивал его супружескую «прическу», стоит теперь за его спиной, с глупо удивленною и лукаво улыбающеюся

рожей, и держит в поднятой руке над его головой «эмблему супружеского счастья», точно бы пророча и ему такую же участь в будущем. — Нет, это уже слишком!.. Каржоль невольно и злобно отшатнулся было из-под венца в сторону, но в этот самый миг священник повернулся лицом к нему, взял в епитрахиль его руку, соединил ее с рукою Ольги и повел их вокруг аналоя, подпевая дребезжащим голосом дьячку с пономарем «Исайя ликуй». Граф шел за ним машинально, как автомат, всецело подавляемый чувством какого-то жгучего, всепроникающего стыда и унижения. Ему казалось, что он должен быть смешон и жалок в эту минуту, как никогда еще в жизни, смешон до последней степени смешного, до крайней оскорбительности. Не помня себя, почти не давая отчета во всем окружающем и происходящем около него, достоял он кое-как до конца обряда. И когда священник, поздравляя молодых, предложил им в заключение поцеловаться между собой, Каржоль, машинально следуя его предложению нагнулся было к лицу Ольги, но та холодно от него отвернулась. Он так и клюнул впустую

воздух на несостоявшемся поцелуе, и это сконфузило его еще более. Ольга отошла от него в сторону, к своим, а он между тем все еще продолжал стоять на своем месте, ошеломленный всем случившимся и, с совершенно безразличным, тупым выражением в лице, принимал обращенные к нему поздравления и рукопожатия Сычугова и Закаталова. Подошла к нему и судьяха.

— Поздравляю вас, граф, с супружеским счастьем! — нагло сказала она с саркастически любезной улыбочкой, в упор оглядывая его сквозь свое пенсне. — Вы, однако, недобрый, даже не предупредили. Впрочем, все это, кажется, случилось для вас довольно неожиданно?

— Что ж, и отлично! — добродушно подхватил Сычугов. — Покрайности, нашего полку прибыло.

— «Вашего»? — иронически подчеркнула судьяха. — Да, это, кажется, несомненно... По крайней мере, я — от всей души желаю вам, граф, быть «одного полку» с Аристархом Ивановичем.

Окончательно растерявшийся Каржоль

проглотил без ответа и эту горькую пилюлю. Он был так пришиблен в особенности неожиданным появлением в церкви четы Сычуговых, и до того чувствовал над собою тяготение какой-то беспощадной, точно бы извне приходящей иронии, что ему казалось будто все вокруг него — и эти люди, и эти лики, глядящие со старинных образов, и даже самые стены, как бы уходящие в сыроватый мрак, враждебно и холодно издеваются над ним и его положением. Точно бы все замкнулось пред его внутренним состоянием в каком-то каменном безучастии, и он стоит одинокий, оплеванный... Под гнетущим давлением этого нравственного ощущения, всю его элегантную внешность, всю привычную манеру держать себя с непринужденным достоинством и выдержкой светского человека — как рукой сняло. В данную минуту это была какая-то мокрая курица, с которой без сопротивления можно сделать все, что угодно.

Закаталов, между тем, отойдя к свечному прилавку, помогал пока генералу рассчитывать с причтом, как вдоуг в это время подошел к нему Аполлон Пуп, сказать, что Ольга

Орестовна просит его на два слова. Полицеймейстер предупредительно поспешил к Ольге, и та отвела его подальше в сторону.

— Я бы хотела получить сепаратный билет, — тихо обратилась она к нему. — Как это сделать?., и нельзя ли устроить сегодня же?

— Мм... Сегодня? — в затруднении замялся несколько Закалатов. — Сегодня-то оно довольно мудрено, — поздновато уже, да и письмоводитель мой, не знаю, дома ли. Не удобнее ли отложить до завтра?

— Но завтра утром мы рассчитываем уже выехать в Москву, — возразила Ольга.

— Так скоро?! — удивился полицеймейстер.

— Непременно, — подтвердила она и попросила, нельзя ли ему будет по возвращении домой, нарочно послать за письмоводителем и, вообще, распорядиться насчет этого дела, чтобы поскорее?

— Отчего же, всегда возможно, — согласился Закалатов. — Но ведь об этом деле вам, полагаю, надо бы переговорить сначала с супругом? — Это ведь от него зависит.

Ольга попросила, не может ли Закалатов

взять переговоры на себя, и тот отвечал, что со всем удовольствием, но, быть может, супруг пожелает сам объясниться с нею? — Теперь ведь между вами это дело, так сказать, семейное-с... Во всяком случае, — продолжал он, — я попрошу вас теперь к нам в дом, выпить, как водится, по бокалу, поздравить вас, пожелать всего лучшего, а там, заодно уже, и поговорим... Кстати, вы мне позволите представить вам моих друзей, — судью здешнего и... его супругу?

Ольга никак не ожидала последнего. В особенности неприятно поразило ее это открытие насчет «супруги», сделанное каким-то полусмущенным, как бы извиняющимся тоном. Заметив еще во время венчания какую-то вошедшую женщину, она тогда же подумала себе, что это, вероятно, попадья или поповна, явившаяся просто поглазеть на свадьбу из бабьего любопытства, и хотя непрошеное присутствие посторонней зрительницы пришлось ей и не совсем-то по душе, но ее можно было еще игнорировать, — не все ли равно, если там поглазеет какая-то совершенно неизвестная особа! А тут оказывается вдруг

судьиха, — в некотором роде, ее «соперница». Эта стало быть, пожаловала сюда неспроста, а нарочно, с какой-нибудь предвзятой и, быть может, даже враждебной для Ольги целью! Поэтому Ольга, не без удивления, но вполне деликатно дала понять Закаталову, что никак не рассчитывала на встречу с этой особой. Тот несколько смутился и стал усиленно заверять и божиться, что появление Сычуговой было для него самого полнейшею неожиданностью, что он приглашал, в качестве четвертого свидетеля, судью, но никак не судьиху, даже нарочно просил его не говорить ей, а уж каким образом и почему она попала сюда, он пока еще сам не знает, и не понимает даже, и что это для него, поверьте, крайне неприятно, — более неприятно, чем кому-либо, и потому ему остается — только принести Ольге тысячу самых искренних извинений за эту не совсем удобную случайность и уверить ее своим честным словом, что он тут решительно ни при чем. Но раз уже так случилось, не гнать же ее, согласитесь сами...

Ольга подумала и согласилась в душе, что и в самом деле ей теперь это все равно. — Она

ведь достигла своего и во всяком случае, если кто и в проигрыше, то уж никак не она, а скорее «соперница», с которой, впрочем, из-за обладания «таким сокровищем» Ольга спорить никак не станет (слишком много чести!) и предоставляет ей графа всецело.

Закаталов, меж тем, повторил ей свою просьбу пожаловать к нему на бокал шампанского и ужин. Она попыталась было уклониться от этого приглашения. И в самом деле, ей очень неприятно было таскать свое «положение» в чужой дом, да еще как бы напоказ посторонним свидетелям, причем, конечно, она служила бы мишенью для их пытливых взглядов и темой их интимных перешептываний, скабрёзных догадок и разных предположений насчет этой «странной свадьбы». Положим, никто и в глаза ничего не выскажет, даже, и виду не покажет, но все же... для самой-то себя, по отношению к другим, ужасно все это шероховато как-то будет, неловко, совечно, даже комично как-то. Поэтому, поблагодарив полицеймейстера за его любезное приглашение она стала было отговариваться усталостью и нездоровьем, прося уволить ее с

отцом от этого церемониала, и выразила желание ехать из церкви прямо домой, в номера купца Завьялова. Но Закаталов энергично воспротивился этому. — Как! Помилуйте! Там уже все приготовлено, жена ждет, ужин на столе, шампанское... Как угодно, конечно, настаивать не смею, — предупредительно продолжал он деликатным покорным тоном, в котором однако чувствовалась некоторая обиженность. — Но ведь подумайте, если вам желательно сегодня же получить отдельный вид на жительство, то как, же я устрою это без вашего батюшки и без вас? Извините, но один я не беру на себя уговорить графа... Тут необходимо именно ваше присутствие, чтобы вы сами лично переговорили с ним, а без вас невозможно, воля ваша. Мне и то дай Бог уломать его, чтобы он ко мне-то теперь поехал, — заартачится, пожалуй, не захочет.

Ольга сообразила все это и согласилась, что Закаталов прав. Если добывать сепаратный билет сейчас же, то надо ехать. А ждать, — чего же тут, в самом деле, ждать, в этом Кохма-Богословске? Лишних сплетен да пересудов, а может, и лишних сцен с гра-

фом? — Да Бог с ним и со всем! А лучше окон-
чить все разом, сегодня же!.. А что если эта
судьиха будет там, так что же!.. Какое ей дело
до этой особы и ее мужа! — Ну, встретимся
случайно и разойдемся, чтобы никогда потом
не встречаться, и не знать друг друга, и не
слышать, и позабыть даже, что существуют
такие-то на свете. В сущности, не все ли рав-
но?! — И Ольга дала свое согласие ехать в дом
к Закаталовым.

Обрадованный этим, полицеймейстер сей-
час же хлопотливо побежал приглашать всех
остальных, не исключая и m-me Сычуговой, а
затем подхватил под руку Каржоля, шепнув
ему на ходу, что Ольга Орестовна желает дру-
жески переговорить с ним о чем-то важном, и
усадил его в сани, вместе с собой и Аполло-
ном Пупом, так что граф опять очутился как
бы под конвоем этих двух своих «арханге-
лов». Закаталов был очень рад и даже счаст-
лив, — счастлив вдвойне: во-первых, тем, что
так быстро удалось ему обработать все дело и
повенчать графа, а во-вторых, тем, что сюр-
приз, приготовленный им для него в лице Сы-
чугова и неудавшийся вначале, увенчался,

благодаря неожиданному приезду судьи, самым эффектным и полнейшим успехом, какого он и предполагать не мог бы. Он не сомневался, что после этого вся позолота графа и все его донжуанские шансы у судьи провалились окончательно.

* * *

Три тройки, между тем быстро катили по первопутку из села Корзухина в город. Генералу тоже не хотелось ехать к Закаталову: он стеснялся не менее дочери присутствием посторонних лиц, его коробило как-то перед чужими и за нее, и за себя, и за всю эту скоропалительную свадьбу — право, лучше бы домой! — но Ольга убедила его, что эта жертва (даст Бог, последняя!) нужна ей ввиду необходимости добыть сегодня же сепаратный билет, чтобы завтра ничто уже не задерживало их отъезда, — куй железо пока горячо! — и генерал, по обыкновению, должен был подчиниться ее воле, тем более, что и сам сознавал на этот раз ее резонность.

В городе всех поезжан ожидал новый сюрприз, подготовленный, по распоряжению расторопного полицеймейстера, еще днем, а те-

перь лишь объявившийся во всем своем блеске. Весь полицеймейстерский дом был ярко иллюминирован: по бокам ворот пылали площадки, на подоконниках снаружи горели стеклянные шкалики, крыльцо было унижено рядами цветных бумажных фонариков, а внутри двора, по самой середине, трещал целый костер, усердно поддерживаемый пожарными. Против дома стояла уже и глазела на иллюминацию целая толпа любопытных зевак из обывателей-мещан и фабричных, которые, по собственному своему почину, дружно орали «ура!» когда трое саней с поезжанами, одни за другими, лихо вкатили в полицеймейстерские ворота. Но и этим еще не кончилось. Едва «молодые» вступили в прихожую, как на встречу им грянул из залы «фестиваль-марш». Несколько местных евреев-музыкантов, «зарабатывавших» обыкновенно на «семейных вечерах» в «хозяйском» клубе, дружно, со всеусердием и во всю еврейскую прыть наяривали теперь общеизвестные звуки самого популярного у наших евреев «Константин-марша» на своих «виолях», «секундах», «флютках» и цимбалах. Даже тромбон

откуда-то появился. И между ними, к удивлению Аполлона Пупа, торчал сам Мордка Олейник, еще к вечеру выпущенный из кутузки. Забыв оказанную ему «нессправедливость», он с истинным энтузиазмом гудел теперь намусленным слюною пальцем по туго натянутой шкуре бубна и не только выколачивал на ней всей пятерней барабанную дробь, но ухитрялся еще ударять и локтем, в подражание турецкому барабану.

Все эти сюрпризы, а в особенности последний, очень не понравились генералу, и не только генералу, но и Ольге, и офицерам, и более всех Каржолю. Генерал даже нахмурился и стал пофыркивать, находя, что все это во все некстати и просто бестактно со стороны Закаталова, который мог бы, кажись, сообразить, что свадьба вовсе не такого сорта, чтобы радоваться ее и праздновать. Нашел что праздновать, дурак! Думали кончить все тихо, в секрете, а тут вдруг — на-ко-тебе! — выходит скандал на весь город! Просто черт знает что!.. Закаталов, по мнению генерала, чересчур уже пересолил в своем усердии и — сколь ни крепился старик, однако же не вы-

держал и обратился к нему с просьбой — нельзя ли сейчас же прекратить все эти музыка и иллюминации, потому, сами согласитесь, радости тут никакой, а только лишний шум да чесанье языков по городу. Тот принял всячески извиняться и с добродушным видом уверять генерала, что он никак не думал, чтобы это могло стеснять или не понравиться, — напротив, он это все от чистого сердца любя и желая угодить бывшему отцу-командиру, доставить дорогим гостям удовольствие, но если его превосходительству не угодно, то, конечно, все эти плошки и Мошки сейчас же будут спроважены к черту, чтоб и духом их тут не пахло, хотя отчего бы, в сущности, и не повеселиться, раз что все дело устроилось самым счастливым образом, к общему удовольствию?

Генерал так и принял, что Закаталов устроил все это хотя по недомыслию, но от чистого сердца. Зато Каржоль понял его выходку совсем иначе. Он хоть и не высказывался, но про себя знал очень хорошо, что шельмоватый полицеймейстер подстроил все эти штуки нарочно, с той целью, чтоб насолить

ему еще больше, до конца, чтобы скандал его подневольной женитьбы с наибольшим треском и блеском распространился по всему городу и дальше... Пожалуй, еще в газетах, скотина эдакая, хватит, — с него станется!.. Недаром графу так не хотелось ехать к нему после венца, словно бы предчувствуя что-то скверное, но он склонился на его уговоры и убеждения, единственно в силу уверений, что сама-де Ольга Орестовна этого желает, так как она намерена переговорить с ним о чем-то очень важном и сама-де поручила Закаталову просить его. Не следовало бы соглашаться, но опять же и самому ему хотелось объясниться с Ольгой, оправдать себя, насколько возможно в её глазах, предложить ей известный *modus vivendi*, — словом, выйти как ни-на-есть из настоящего неопределенного и крайне фальшивого положения. Граф понимал, что со стороны Закаталова, все эти иллюминация и «фестиваль-марши» не более как грубое мщение ему за успех у судьи, и он не ошибся: «гроссскандал» действительно был устроен полицеймейстером именно ради его и именно с этой целью. Теперь же цель была

достигнута, скандал произведен, а потому желание генерала, чтобы иллюминацию погасить и жидов отпустить, было исполнено немедленно. Вся работа жидовского оркестрика только и ограничилась одним «фестиваль маршем», — даже торжественный туш не удалось ему сыграть в честь «молодых», когда флюсовая дама встретила их с подносом, уставленным бокалами шампанского.

VII. СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК КАРЖОЛЮ

Каржоль отказался от бокала, но Закаталов до того пристал к нему с «усерднейшими» просьбами, что граф вынужден был чокнуться с ним и с Сычуговым, лишь бы только отвязались. Безучастный ко всему, что делается вокруг, он удалился в кабинет хозяина и сидел там один, с выражением тупой и скучающей покорности на утомленном лице, — дескать, что ж делать, надо пить чашу до конца, хуже, кажись, ничего уже не будет.

В это время подошла к нему Ольга и села рядом.

— Поговоримте, граф, пока мы одни, без желчи и раздражения, — начала она тихо и даже кротко, с серьезной, но почти благоклонной улыбкой. — Теперь, когда я уже графиня Каржоль де Нотрек, ссориться с вами, без особых причин, мне не к чему, и я готова поддерживать с вами самые мирные отношения. Зла против вас я нисколько больше не имею и желала бы даже, чтобы это было вза-

ИМНО.

При этих словах, граф невольно вскинул на нее взгляд, полный удивления. После всего, что произошло в этом самом доме каких-нибудь два часа назад, он менее всего мог ожидать с ее стороны такого приступа и тона. Этим тоном своим и смыслом сказанного ею она как будто первая шла навстречу тем примирительным соображениям, какие впервые закрались в него самого во время венчания.

— Еще раз прошу вас верить, граф, — продолжала между тем Ольга, — что если я стала вашей женой, то это лишь ради нашего будущего ребенка; но затем... раз что вы по каким бы ни было причинам, предпочли разойтись со мной, — я не хочу стеснять вас собою, и знайте наперед, что не стану предъявлять к вам никаких своих супружеских прав и претензий ни на вашу личность, ни на ваши средства, будь вы сам Крез... Живите себе, как жили, любите, кого любили, — это ваше дело; я сюда не путаюсь. Я не хочу мешать вам и... надеюсь, что и вы мне мешать не станете. Будемте жить каждый сам по себе, своею особою жизнью, не портя ее больше друг другу.

Что было, то прошло, и за прошлое мы уже с вами сквитались, — сегодня мы его ликвидировали. Согласны вы на такие условия?

Судя по началу, Каржоль ожидал вовсе не этого. Смущенно запинаясь в словах, отчасти даже путаясь и делая скачки в мыслях, он стал высказывать ей, что она жестоко заблуждается насчет причины его отъезда из Украинска, что он готов открыть ей истинную суть этого дела, и тогда она сама оправдает его... что он не переставал любить ее, любит и теперь, как тогда, и думает, что если уж судьба соединила их, то расходиться незачем, — лучше жить вместе, на те скромные средства, какие он может предоставить ей пока своим честным трудом, в надежде на лучшее будущее... Если она считает его в чем виноватым пред нею, он просит простить его, как и сам он готов простить и забыть оскорбления, нанесенные ему сегодня стариком, готов искренно примириться с ним, — словом, забыть все прошлое, все горькое и начать вместе с нею новую жизнь, как муж с женою.

В свою очередь, и Ольга менее всего ожидала с его стороны подобного предложения.

Но оно пришлось ей вовсе не по вкусу, — планы ее были совсем иные, и надежды насчет будущего витали в совершенно других сферах. Ей нужно было только громкое, титулованное имя Каржоля; а вовсе не сам Каржоль, готовый, со своими будто бы «средствами», трутнем посетить к ней на содержание. Настолько-то она его уже раскусила, а потому все его уверения и оправдания оставались для нее только словами, бьющими в воздух, не задевая сердца. Но раз уже взяв с ним мягкий тон, в том предположении, что этим скорее достигнешь его добровольного согласия на выдачу сепаратного билета, ей не хотелось резко и круто обрывать и осаживать этого жалкого человека, в особенности после только что принесенного им покаяния. В искренность этого покаяния она не совсем-то верила, так как недостойная уклончивость и изворотливость его поведения во время первого сегодняшнего объяснения с нею слишком живо еще стояла в ее памяти, но все же ей стало немножко как будто и жаль его. Поэтому, поразмыслив несколько, она отвечала ему, что не отвергает его предложения безусловно, но

думает, что сразу и сейчас оно едва ли осуществимо: для этого прежде всего нужно время, нужна проверка самих себя, — и не столько для нее, сколько для самого графа, — действительно ли он в состоянии переломить самого себя и начать ту новую жизнь, какую ей предлагает? Не есть ли это с его стороны один минутный порыв увлечения и великодушного самопожертвования, за который, быть может, вскоре он сам бы стал раскаиваться и укорять ее, что она связала его свободу?.. Жертв с его стороны она никаких больше не хочет, — довольно и той, какая принесена им сегодня. Надо дать теперь всему улечься, успокоиться, придти в себя, — а для этого нужно время...Пройдет год, другой, а может и меньше, и если граф убедится в душе, что побуждения и чувства его действительно серьезны, — ну, тогда другое дело... тогда можно будет подумать об этом... Вообще время, даст Бог, все уладит и укажет, как сделать лучше, — А пока, заключила Ольга, — не будем мешать жить один другому и расстанемся друзьями.

Каржоль припал к протянутой ему руке и поцеловал ее, по-видимому, с чувством.

— Итак, вы, граф, согласны?

Он, без слов, покорно склонил в ответ свою голову.

— Я очень рада за нас обоих, — продолжала Ольга, — потому, ей-Богу, это самое умное, что мы можем пока сделать. Но дело вот в чем: завтра утром мы уезжаем отсюда, — объявила она, — поэтому вам нужно подписать мне... как это называется... отдельный вид на жительство, что ли?

При этих последних словах, Каржоль несколько опешил и, в замешательстве, с недоумением посмотрел на Ольгу.

— Разве это так необходимо? — неопределенно спросил он.

Той показалось в его вопросе опять как будто что-то уклончивое, точно бы он сомневается, или не желает давать ей паспорт. Поэтому она тотчас же выпустила слегка свои когти.

— То есть, что это «необходимо»? Уезжать, или вид на жительство? — в свой черед спросила она вполоборота к нему, гордо и холодно вдруг нахмутив брови.

— Н-да... то есть... если хотите, и то, и дру-

гое, пожалуй...

— Совершенно необходимо, — подтвердила Ольга самым деловым и решающим тоном. — Согласитесь сами, оставаться здесь дольше — значит, вас же ставить в фальшивое положение и давать только повод к лишним разговорам. Ну, а без вида не могу же я теперь жить!.. Положим, — продолжала она, опять показывая ему чуть-чуть свои когти, — в случае чего, мы с отцом, конечно, всегда можем обратиться в Третье Отделение, и мне там все равно выдадут сепаратный билет, помимо вашего согласия; но раз вы не хотите ссориться со мною, зачем же нам осложнять и затягивать дело, если можно сейчас же кончить это полюбовно?

Каржоль сидел в затруднительном раздумье, точно бы его смущала какая-то мысль, которую он и хотел бы, и не решался высказать. Ольге показалось, что она ее как будто угадывает.

— Бывают, конечно, мужья, которые делают из этого для себя выгодный гешефт, — сказала она не без иронии, — то есть, попросту, продают своим женам за известную плату

свое согласие на separation de corps; но граф Каржоль де Нотрек, надеюсь, не может принадлежать к людям подобной категории. Не так ли?

Тот, как ошпаренный, откинулся от нее назад, с безмолвным выражением благородного протеста. Если бы в нем и шевелилась даже подобная мысль, то после таких слов, для нее, конечно, не осталось уже места. При этом своем движении, он, как породистая лошадь, гордо встряхнул головой, точно бы отстраняя от себя самую возможность такого недостойного предположения.

— Я совсем не о том, что вы думаете... Бог с вами!.. Это уж самое последнее дело! — заговорил он, возвращаясь к своему затруднительному раздумью. — Я хотел сказать только... что вы... вы так заботливо оговариваете условие не мешать жить друг другу, что я... Конечно, после всего, что было, я в ваших глазах... может, и не имею права требовать... но все же... ведь мы носим теперь одно имя...

— Ах, вы вот что! — догадалась Ольга, — понимаю!.. Но для вашего успокоения, — прибавила она, принимая вид снисходительного

достоинства, — могу вас уверить, что за мое поведение вам краснеть не придется, — я не скомпрометирую ни себя, ни вашего имени; можете быть спокойны.

— Извольте, я согласен, — покорно проговорил Каржоль со вздохом, видя, что ничего другого ему и не остается больше. Он только повторил ей свою просьбу — не лишать его последней надежды, что со временем она может еще сойтись с ним, а пока позволит ему хоть изредка писать к ней. Та ничего не нашла возразить против, но, впрочем, еще раз подтвердила, что не обязывает его ни к чему и не намерена стеснять его интимные отношения к кому бы то ни было, так как ей нет до них никакого дела. В последних словах ее Каржоль почувствовал полное и несколько, быть может, презрительное с ее стороны равнодушие к его особе. Это его невольно покорило. Ему лучше бы хотелось, чтоб она проявила хоть чуточку ревности, даже, пожалуй, злости, так как это все же бы показывало, что в ней, по отношению к нему, не все еще умерло, что возврат к прошлому возможен. — Но это равнодушие... оно ведь убийственно! —

И потом, этот Аполлон Пуп, — зачем он здесь? в качестве кого и чего?.. Смысл его роли что-то подозрителен... Не для того же, в самом деле, чтобы только попугать или подразнить им!.. Что он ей такое?... Но ни одного из этих вопросов Каржоль не посмел предложить Ольге даже намеком, сознавая, что после всего, что разоблачилось о нем в Украинске, он потерял всякое право требовать от нее отчета. Да и духу у него на это не хватило бы, потому что она вообще забрала уже над ним какую-то доминирующую ноту, — это он чувствовал. Но зато в душе его тем сильнее поднялось теперь вдруг, каким-то психическим рикошетом с Ольги на Аполлона, чувство ревнивой злобы и ненависти к этому «mon-chery с уланской конюшни», тем более, что граф нехотя, но невольно сознавал внутри себя, насколько он, в то же время, бессильно и почти инстинктивно боится его. — Это животное, мол, на все способно, лучше от него подальше!

Ольга, между тем, позвала в кабинет Закалатова и сообщила ему о согласии графа на выдачу ей отдельного паспорта. У Закалатова

все уже было наготове к этому, так как он не забыл, тотчас же по возвращении из Корзухина, послать за письмоводителем и объяснить ему наедине, в канцелярии, все, что требовалось. Тот живо составил по известной формуле бумагу на право жительства жены тако-го-то «во всех местах и городах Российской Империи и за границей» и ожидал теперь только подписи графа, чтобы засвидетельствовать и скрепить ее надлежащим образом, с приложением казенной печати.

Пока у Ольги шло в кабинете объяснение с Каржолем, полицеймейстер, в роли любезного и радушного хозяина, все время оживленно суетился, то знакомя между собою и занимая своих гостей, то бегая туда и сюда с разными распоряжениями и осведомлениями по хозяйственной части и все торопил жену и прислугу насчет ужина и закуски. Со столько-то хлопот, ему уже есть захотелось. В столовой все уже было готово, но Закаталов не хотел мешать объяснению «молодых» и ждал только, когда они кончат, чтобы торжественно вести их к ужину. Хотя генералу было во-все не до ужина и хотелось бы поскорее до-

мой, но он сознавал себя настолько обязанным Закаталову всем нынешним днем, что отказаться от его хлеба и соли, особенно ввиду таких усиленных просьб хозяев, счел окончательно неловким и — нечего делать — остался. Хозяева настояли, чтобы Ольга села подле графа в середине стола, как «молодые», — потому таков уж у нас Кохма-Богословский обычай, и нарушать его не следует. Каржоль не противился, Ольга тоже, и их усадили рядом. Ужин прошел довольно натянуто, хотя сам Закаталов изо всех сил выбивался, чтобы как ни на есть подбодрить и оживить «дорогих гостей»: он и угощал, и подливал им, и в то же время болтал, тараторя почти безумолку, острил, рассказывал анекдоты, вспоминал про кавказское житье-бытье и в особенности старался усиленно громко смеяться, как можно чаще и больше, чтобы хоть этим наэлектризовать своих состольников. Сычугов больше все сопел и основательно прохаживался насчет напитков, не забывая впрочем накладывать себе и от каждого блюда по полной тарелке. Не смущалась никем и ничем одна только бойкая судьяха. Она види-

мо старалась показать, что ей «решительно все равно», и потому как бы не замечала Каржоля и почти не обращалась к Ольге, но зато так и рассыпалась мелким бесом перед Закалатовым и офицерами, кокетливо стреляя, сквозь нахально вздернутое пенсне, то на того, то на другого самыми «выразительными» глазами и, наконец, в исходе ужина, находясь уже в румянном подпитии, демонстративно предложила Закалатову тост «за старую дружбу». Тот принял его с истинно торжествующим видом, и от души чекаясь с нею через стол расплеснувшимся при этом бокалом, не утерпел, чтобы не подчеркнуть тоном легкого назидания: «Так-то, барынька, старый друг всегда лучше новых двух, говорится, — зарубите вы себе это!»— Судьиха многозначительно сказала на это «зарубаю», а Сычугов, ровно ничего не понявший в сути ее тоста, со своей стороны согласился, что это святая истина и тоже чокнулся с ними. Каржоль сделал вид, будто и не слышит, а флюсовая дама ничего не сказала, только меланхолично посмотрела на мужа. Будучи постоянно обременена флюсами и насморками, она давно

уже привыкла снисходить к легким не-верностям своего бравого Авенира Адриановича, которые к тому же нисколько не нарушали строя супружеской их жизни и не мешали ей продолжать любить его пассивно и безропотно какою-то чисто коровьей любовью.

* * *

После ужина Каржоль подписал в кабинете женин паспорт, Закаталов подмахнул свою фамилию под удостоверением его подписи, и затем граф тут же вручил эту бумагу дождавшейся Ольге. Та внимательно прочла ее, сложила вчетверо и спрятала к себе в маленький изящный баульчик, поблагодарив Каржолью благосклонным движением головы.

— Ну, граф, — сказала она после этого, как бы на прощание, — когда мы с вами совсем уже квиты, могу порадовать вас такою новостью, какой вы никак не ожидаете. Примите ее как свадебный мой подарок, — лучший подарок, какой только я могла бы для вас сделать... Вы можете поздравить себя.

— С чем это? — пробормотал несколько оторопелый Каржоль, не зная, в каком смысле понимать ее слова, — в прямом ли и благо-

приятном, или же опять как нечто злостное, потому что судя по тону, каким они были сказаны, можно было в равной степени думать и то, и другое.

— Вы, — продолжала она, — совершенно свободны от всех ваших долговых обязательств Бендаvidу.

Граф даже вздрогнул, как бы от испуга, и недоверчиво уставился на нее расширенными глазами.

— Да, совершенно свободны, — подтвердила Ольга. — Вы, конечно, из газет знаете, что в Украинске был еврейский погром? — Это случилось как раз после вашего отъезда, — и вот, в этом-то погроме погибли все ваши документы: толпа изорвала их в клочки и пустила по ветру.

— Это... это правда? — проговорил упавшим голосом Каржоль, почти задыхаясь.

— Это верно, как то, что мы сегодня повенчаны, — твердо и убежденно заявила Ольга. — Наконец, справьтесь, если не верите — об этом весь Украинск знает. Ни одного клочка, говорю вам, не осталось! Вы совершенно свободны от вашей кабалы и не должны им

ни копейки. Прощайте!

И, поклонясь ему издали плавным поклоном, она спокойно вышла из кабинета.

Обессиленный Каржоль так и рухнул в глубокое кресло. Самая ужасная весть не могла бы сразить его более, чем эта, в сущности, радостная новость. — Господи! Пять месяцев!.. Целые пять месяцев уже, как он свободен, и не знать, не подозревать даже этого!.. Да за эти пять месяцев он бы давно уже мог быть женат на Тамаре и вести процесс за ее миллионы... Может быть, евреи даже не захотели бы доводить дело до процесса и охотно сами пошли бы с ним на крупную сделку, помирились бы на половине всего состояния, и он был бы теперь уже миллионером, — цель стремлений и алканий всей жизни, всех исканий и трудов была бы достигнута, и так легко, так просто, без помехи, — и все это разбито в прах и вдребезги! И, вместо миллионерства, он — насильно обвенчанный муж, у которого, вдобавок прямо из-под венца увозит жену какой-то уланский поручик! Господи! Да знай только о своей свободе сегодня перед свадьбой, да он, не знаю, на что пошел бы, —

лучше пускай бы его избили, как последнюю собаку, но он ни за что не женился бы; он стал бы кричать, он бы в церкви наделал скандалу, лег бы пред аналоем на пол, стал бы кусаться как волк, — из-под венца, наконец, убежал бы, все село поднял бы на ноги, но никакими силами не дал бы повенчать себя «этим шантажистам»!

Вот когда только вполне почувствовал и уразумел Каржоль всю силу и коварство Ольгиной мести. Да, она сумела отомстить за себя, — жестоко, беспощадно... Она, как червяка, раздавила его в собственном его самолюбии, во всех, самых заветных упованиях и стремлениях. — Что же остается ему после этого!?! Убить, задушить ее собственными руками, или самому пустить пулю в лоб?! Против этой ненавистной женщины в нем поднялся теперь прилив бешеной злобы, но увы! — злобы бессильной, безвольной и, к довершению всей горечи, он не мог не сознавать это свое бессилие, отсутствие характера и воли. Легко сказать — убить, задушить! Да прежде чем до нее доберешься, будешь, как собачонка, вышвырнут на улицу этими улан-

скими лоботрясами, — и в результате ничего, кроме скандального процесса в суде! Что может он сделать ей? Чем отомстить за себя? — Ничем, буквально ничем, — она даже вечный паспорт ухитрилась выманить у него заблаговременно и уж тогда только добить его. Глотать свой позор, молча нести свои цепи и бежать, бежать подалее от этого проклятого Кохма-Богословска, — это все, что остается ему.

Удрученный до крайней степени всем, что произошло с ним за нынешний вечер, разбитый, измученный морально и физически граф, спустя несколько времени, с трудом поднялся с кресла и, шатаясь от слабости, вышел из кабинета в залу, за шапкой. Там никого больше не было. Генерал с семейством уже уехал, а супружеская чета Сычуговых досказывала в прихожей, у выходных дверей, последние свои добрые пожелания провожавшим ее хозяевам.

— Что с вами, граф? На вас лица нет!? — заботливо бросился к нему вернувшийся в залу полицеймейстер. — Позвольте помочь вам, Бога ради!.. Воды не хотите ли?

Но Каржоль молча отстранил его руку и, не прощаясь, вышел в прихожую. Он был близок к истерике и едва сдерживал себя, чтоб не разрыдаться. Вестовой накинул на него шинель, заботливо свел под руку с лешенки и усадил в те самые сани, в которых давеча возили его в церковь. Граф доехал домой, как в бреду, почти не сознавая, где он и что с ним делается.

* * *

На другой день генерал Ухов с дочерью и оба офицера благополучно уехали из Кохма-Богословска, провожаемые на поезд Закалаталовым и комиссионером Мордкой. За буфетом, на станции, Закалаталов приказал подать бутылку шампанского и просил своих «дорогих гостей» чокнуться с ним в последний раз, на прощанье, принять, так сказать, «дружеский посошок на дорожку» и позволить ему выразить от всей души свои чувства, поблагодарить их за приятные минуты и пожелать всякого счастья и благополучия в жизни, в особенности ее сиятельству Ольге Орестовне. Каржоль при этих проводах не присутствовал, и Ольга не поинтересовалась даже спро-

сидеть у полицеймейстера, не знает ли он, что с ним? Вообще, даже имя его произнесено не было, и отъезжающие держали себя так, как словно бы для них и на свете его не существовало. Аполлон Пуп совершенно просветлел и ходил гоголем, как человек, находящийся в зените своего счастья, — и шельмоватый Закалатов опытным нюхом своим не преминул заметить про себя, по кое-каким тонким нюансам, что у Ольги, по отношению к этому счастливому поручику невольно проскальзывает особенная благосклонность, так что, со стороны глядя, можно бы, пожалуй, подумывать, что не с Каржолем, а с ним сделалась она со вчерашнего дня новобрачной.

По отходу поезда, полицеймейстер покатил прямо к судыхе скреплять возобновленную вчера «старую дружбу», и делиться с нею на свободе всеми впечатлениями, да кстати и рассказать неизвестные подробности вчерашнего дня. Что же до Мордки, то этот побежал прямо на телеграф и дал условную телеграмму в Украинск, на имя дядюшки Блудштейна. Немногословное содержание ее было следующее:

«Все хорошо. Гросс-пуриц вчера покручен.
Подробности письмом».

VIII. НОВОКРЕЩЕНА

Без всяких приключений, вполне спокойно доехала Тамара до Петербурга. Сопровождавшая ее монахиня привезла ее в дом Богоявленской общины сестер милосердия, помещавшейся в одном из отдаленных и наиболее тихих концов города, и сдала ее там с рук на руки начальнице общины. То была маленькая, худощавая, но живая старушка, которая встретила Тамару очень приветливо и радушно.

— Добро пожаловать, милая гостья! Для вас уже все приготовлено, — и комнатка, и постелька. Вы поместитесь пока вместе с сестрой Степанидой: она вам все наши порядки укажет, да и веселей вдвоем-то будет первоначально.

Сестра Степанида — женщина лет под сорок, с добродушным русским лицом, оказалась тоже очень приветливою и даже веселою. Всякое дело в ее руках спорилось и шло просто и толково. Она с первого же шага обласкала Тамару, привлекла ее к себе своим простым, сердечным обхождением и тем об-

легчила ей вступление в новую жизнь и неведомый быт среди совершенно незнакомых ей людей и порядков.

С самого выезда из Украинска, Тамару глождала и грызла одна беспокойная и ноющая мысль, — не случилось бы чего с ее стариками во время погрома? Целы ли они, живы ли, здоровы ли? Поэтому, по водворении в Богоявленской общине, она, с помощью сестры Степаниды, в тот же день отправила на имя Украинской губернаторши телеграмму, прося уведомить, не пострадали ли ее родные от погрома? — На следующий день получился ответ: «Дом несколько пощипали, но родных не тронули». Быть может, губернаторша не знала о смерти старухи Бендавид, а может и не без цели ограничилась такими рамками ответа, из нежелания нанести Тамаре удар столь ужасным извещением в такое время, когда той более всего нужно нравственное успокоение. Как бы то ни было, смерть бабушки осталась для Тамары пока неизвестною, а ответная телеграмма губернаторши, при всем своем лаконизме, все же значительно успокоила ее: она, по-крайней мере, знала, что родные,

слава Богу, живы и целы. Теперь, после такого успокоения, для нее на первом плане стало ее собственное чувство к Каржолу. Письмо его, переданное ей по секрету в Украинске послушницей Натальей, всегда было с ней, и она перечитывала его почти каждый день, находя в нем для себя как бы живительный источник, укрепляющий ее волю и силы, ее любовь и надежды. Особенно отрадны для нее были те строки, где граф умолял ее верить в него, несмотря ни на что, и оставаться непоколебимо твердою в принятом ею благом намерении — «Верьте», читала она далее, «что дни передряг и испытаний скоро пройдут, и тогда наступит для вашей души желанный мир и покой, каких вы не найдете в покидаемом вами еврействе, а с этим миром явится и невозмутимо светлое счастье». Она свято верила в эти слова, и ей всеми силами души хотелось как можно скорее приблизить к себе момент этого счастья, насколько это от нее зависело; она поэтому всячески торопила приготовления к своему крещению, живо и старательно, под руководством общинского священника, выучила наизусть Символ веры и наиболее

необходимые молитвы и просила, как его, так и начальницу общины, не откладывать надолго исполнение обряда и совершить его, по возможности, в первое же воскресенье. Торопилась она еще и потому, что в глубине души своей как будто боялась, чтобы ее не одолели вдруг какие-нибудь расхолаживающие обстоятельства, сомнения, разочарования, сожаления о покинутых родных или чтобы не случилось неожиданно чего-нибудь такого, что, помимо ее самой, помешало бы осуществлению ее перехода в христианство: она знала, на что способна всесильная еврейская интрига и боялась, как бы интрига эта не добралась до нее и сюда, через близорукое посредство каких-либо влиятельных и сильных людей мира сего, вмешательство которых затормозило бы дело, а то и совсем бы расстроило его. По ее просьбе, решено было совершить крещение через неделю, в следующее воскресенье.

В один из дней этой недели посетила общину ее высокопоставленная покровительница, в сопровождении одного из почетных опекунов. Она осведомилась, между прочим, у начальницы о той еврейской девице, за ко-

тору ходатайствовала перед нею игуменья Серафима, и пожелала ее видеть. Тамара была ей представлена начальницей и удостоилась нескольких милостивых слов и вопросов со стороны высокой посетительницы.

— Просите ее быть вашей крестной, — шепнула ей начальница, когда та, удостоив девушку благосклонным движением головы, отошла от нее, направляясь по широкому коридору далее. — Вашество! У нас к вам просьба, — обратилась к ней вдогонку живая старушка, подводя за руку и Тамару.

— Что такое? — обернулась посетительница, окидывая обеих ласково вопросительным взглядом.

Но Тамара, которой еще в первый раз в жизни довелось говорить с такою особой, почувствовала вдруг смущение и, потупив глаза, в замешательстве, не могла произнести ни слова. Просить быть крестною... Но как же так?.. В сравнении с собою, это представилось ей так недостижимо высоко, что даже страшно стало, как бы подобная просьба не показалась чересчур уж дерзким притязанием. К счастью, ее выручила начальница.

— Девица Бендавид просит вас, — сказала она, — не отказать ей в милости быть ее восприемною матерью.

— А, очень охотно. — Когда же это будет:

— В это воскресенье, перед литургией.

— А крестный отец есть?

— Нет еще, ваше-ство... Пока еще не знаем, кого бы просить.

— Да вот, чего же ближе! — указала она на сопровождавшего ее сановника. — Борис Николаевич, вы, конечно, не откажете?

Тот почтительным поклоном выразил полную свою готовность.

— Ну, вот и прекрасно. Значит, часов в девять утра, не так ли?

— Как прикажете, ваше-ство. Отец Александр предполагал бы именно в девять, — пояснила начальница, — чтобы новокрещаемая могла причаститься за литургией.

Княгиня еще раз благосклонно подтвердила свое согласие, и, вслед за ее отъездом из общины, все сестры поздравляли Тамару с высокою милостью и честью, называя ее счастливицей. В тот же день, к вечеру, в общину была прислана от будущей восприемной матери

портниха, чтобы снять с Тамары мерку для ее крещального платья.

Нетерпеливо все эти дни ждала Тамара воскресенья. Каждый день к ней являлся настоятель общинной церкви и в течение часа или двух беседовал с нею, объясняя ей истину и догматы православной веры. Он даже очень удивился, когда узнал из этих бесед, насколько уже близко и хорошо знакомы ей не только Евангелие, но и апостол Павел. — Да вы уже готовая христианка в душе, вы так глубоко все это сердцем своим почувствовали, — сказал он ей однажды и беседовал с ней тем охотнее, что воочию видел, как живо и с каким величайшим интересом усваивает она себе его толкования. Последнюю неделю она постилась, а в субботу выдержала даже строгий пост, читая положенные покаянные молитвы о прощении «согрешений прежде содеянных» и о «еже сподобитися ей святое крещение прияти». Наконец настало для неё давножданное и желанное утро воскресного дня. Тамара проснулась рано. В душе ее господствовало какое-то смешанное настроение: то она радовалась, что все уже, слава Богу, при-

шло к желанному концу, и через два-три часа она станет христианкой, то вдруг начинала как будто сомневаться в самой себе, в своей готовности и решимости переменить веру, и ей становилось вдруг страшно сделать последний решительный шаг, как будто жалко и грустно было разорвать все и навсегда со своим прошлым, в котором не все же сплошь являлось ей в черном и отталкивающем виде, — было же в нем и хорошее кое-что, были и светлые, счастливые минуты... Вспоминалось родное гнездо, старый дом, тенистый сад, дедушкин кабинет и ее собственная уютная комнатка с кустами цветущей сирени под окнами... Вспомнились и родные, бабушка с бабушкой, и ясно представлялось их нынешнее горе и отчаяние, их одиночество, осиротелость на старости лет... Они точно бы глядели на нее печальными, укоряющими глазами, точно бы говорили ей: «Это ли отплата за всю нашу любовь и ласки, за все попечения и заботы!»— Затем представлялся ей целый еврейский мир, возмущенный, негодующий, осыпающий ее своими страстными и страшными проклятиями; но к этому последнему

миру и его злобе осталась она равнодушною: он ничего не дал ей дорогого и заветного, ничем не смог и не сумел привязать ее к себе, — напротив, она чувствовала в себе силы даже на борьбу с ним, и было ей жалко совсем не этого черствого мира, а своей семьи — только ее одной, — жалко до щемящей боли тех, кого она любила и продолжает любить до сих пор все так же, как и прежде... Не отказаться ли?.. Не вернуться ли к ним домой, в их объятия, опять принести им с собой покой и тихое счастье?.. Еще не поздно, еще есть время!.. Но нет, это безумие, это невозможно. Она теперь, как камень, пущенный меткою рукою, уже в силу одной лишь инерции должна долететь до цели. Она не властна над собой более. Надо быть последовательной.

К прежнему возврата нет и быть не может. Вера в него подорвана, отношения все порваны, а без этого как жить в том мире?!. Где же, наконец, истина — там, или здесь? — Истина здесь, во Христе, в Его Евангелии, — это ей давно уже подсказало ее собственное сердце и собственная совесть, и неужели же от этой истины вдруг отвернется она в последнюю,

решительную минуту и на всю жизнь останется блуждать на каком-то темном распутье, отбившись от одного берега и не пристав к другому?! — Нет, это невозможно. Оставаться в еврействе, веря во Христа, — что за малодушие!.. Нет, прочь все сомнения! Впереди светлая, разумная жизнь и любовь, — любовь к человеку, который первый сумел зажечь в ней это чувство, разбудить ее мысль и дать ей первый толчок на истинную дорогу... Там, впереди, ждет ее жизнь с этим любимым человеком, в своем собственном гнездышке, среди своей собственной новой семьи... у них будут дети... О, как она будет любить их и гордиться ими и своим мужем!.. Он такой достойный, такой благородно-гордый, мужественный, красивый — как не любить, как не обожать его!.. Да, там, впереди — покой и счастье, «невозмутимо светлое счастье», как пишет он в своем письме. Там истина, там свет и все добрые радости жизни... Туда, туда, скорей туда — навстречу этому добру и свету! — и все сомнения и колебания Тамары миготлетели прочь, и в душе, вместе с решимостью, воцарилось торжественно спокойное

и тихо радостное настроение. Затем, порой опять находило облако темных сомнений и грустных, щемящих душу воспоминаний, но через несколько мгновений опять оно таяло и исчезало в лучах ее любви и веры, ради которых снова чувствовалась в душе бодрая, сознательная готовность на всякие жертвы.

Было без пяти минут девять часов утра, когда по коридорам и залам общины пошло некоторое торопливое, волнующееся движение. Сестры озабоченно и спешно выходили из своих помещений и собирались все вместе на главной площадке парадной лестницы, по которой еще более озабоченно и торопливо спускалась вниз сама начальница, вместе с приехавшим за несколько минут ранее почетным опекуном, в мундире, залитом золотым шитьем, с синею лентой и звездами...

— Приехала, приехала, — полушепотом передавалось из уст в уста между сестрами. Тамара стояла среди них на площадке. Сердце ее сильно билось от ожидания, что вот-вот сейчас начинается...

Княгиня — вся в белом — благосклонно здоровалась с сестрами и с нею, попривет-

ствовав ее несколькими милостивыми словами. Затем все направились в домашнюю церковь. Одетые в одинаковые темные платья с белыми пелеринами, каждая в косынке, ниспадавшей с головы на спину и плечи, с красным крестом, нашитым на белый миткалевый нагрудник, сестры в чинном порядке прошли вперед и заняли свои места, рядами, против левого клироса; Тамара же была остановлена начальницей в аванзале, перед раскрытыми дверями церкви, для предварительного обряда оглашения. Непосредственно за нею стали рядом восприемники, а не сколько в стороне — начальница общины.

На клиросе раздалось стройное женское пение псалма «Благословлю Господа на всякое время», — и священник, в полном облачении, с «Требником» в руках, вышел из алтаря и, в сопровождении всего клира, направился к дверям, по ту сторону которых ожидала его новокрещаемая. Причетник подал ей лист с писанными ответами на предстоявшие ей вопросы «оглашения».

— Кто еси ты? — спросил ее в дверях священник.

— Человек есмь, истинного познания Истинного Бога не имеющий и пути спасения не обретший, — машинально прочла в ответ Тамара по поданному ей листу и то потому лишь, что начальница догадалась подшепнуть ей, — отвечайте же! Мысли ее были беспокойно рассеяны и мелькали в голове какими-то урывками, почти без всякой связи между собою, останавливаясь часто на совсем посторонних мелочах, или на случайно подвертывавшихся под рассеянный взгляд предметах.

— Что пришла еси ко святой Божией церкви, — продолжал вопрошать священник, — и чего от нея желаеши?

— Пришла, дабы от нея научиться истинной вере, и к ней присоединиться желаю, — отвечала девушка уже более сознательно, успев несколько овладеть собою.

— Какую пользу надеешься получить от истинных веры?

— Жизнь вечную и блаженную, — проговорила Тамара, и, при этих словах, представление о блаженной жизни невольно как-то совпало в ее уме с воображением жизни не

столько небесной, сколько здешней, земной, и именно, жизни с любимым человеком и со счастьем среди своей будущей семьи. Поэтому в ответе ее невольно прозвучало какое-то радостное увлечение.

После довольно продолжительного разъяснения по «Требнику», самой сущности православно-кафолической веры, — разъяснения, закончившегося вопросом, хочет ли новокрещаемая принять эту веру «истинно от сердца и неотступно следовать ей до конца живота», священник повелел ей преклонить колена «пред Господом Богом нашим», сложив крестообразно руки на персях и, осеняя ее крестным знамением, нарек ей в молитве имя Тамары, при котором пожелала остаться новокрещаемая, в честь святой, память коей празднуется 24-го мая. Затем, после нескольких молитв, огласительный обряд дошел до самого торжественного и страшного для оглашаемых момента «отрицательств».

— Вопрошаю тя, — возгласил священник торжественно повышенным тоном, — отрицаеши ли ся от своего зловерия Иудеев и от всех богоборных их, яже на Господа Бога и

Спасителя нашего Иисуса Христа, истинного Сына Божия и на Пречистую Его Матерь, и на вся Святыя Его, хулений и проклинаний, яко лживых и богопротивных, и душепагубных, и проклинаеши ли я?

— Отрицаюсь и... проклинаю! — проговорила с некоторым усилием над собой Тамара, подавляя в себе внутреннее волнение и вся побледнев при этом ответе.

— Отрицаеши ли ся обрезания, субботства, опресноков и всех праздников иудейских, и всех обрядов Ветхого завета?..

Отрицаеши ли ся от богопротивных учений, яже христоненавистнии раввини изложиша в книгах, нарицаемых «Талмуд», и их богохульных древних и новых толкований, яже на Божественное Писание и противу Господа нашего Иисуса Христа?

— Отрицаюсь и отметаю, и проклинаю их! — ответила Тамара с возрастающим все волнением.

— Отрицаемши ли ся ложного учения Иудеев, аки бы Мессия еще не прииде, от тщетнаго ожидания их? — продолжал вопрошать священник.

— Отрицаюся чаемого Иудеями ложного Мессии, антихриста, и проклинаяю его! — проговорила Тамара совсем упавшим голосом. В эту минуту ей казалось, что, отрицаясь от всего прежнего, она, вместе с тем, отрицается и от всех своих кровных связей, от своих ровных и близких, от деда и бабушки, даже от дорогой памяти своего отца и матери, — отрицается и проклинаяет их всех безраздельно и безразлично. Это показалось ей самым жестоким нравственным испытанием, и опять она почувствовала в себе внутренний разлад и раздвоение, словно бы в ней одновременно существует два человека, два противные течения, вечно борющиеся, непримиримые, которым суждено вечно нарушать гармонию ее духовного мира.

Между тем, обряд оглашения продолжался своим порядком. После отрицательств и проклинаний, следовал целый ряд вопросов и ответов на тему «веруеши ли и исповедуеши ли», относительно догматов восточно-кафолической веры, и наконец — торжественно-клятвенное обещание, громко прочтенное новокрепцаемою, где, между прочим, свидетель-

ствуется, что если она приходит к исповеданию христианской веры лестию и с лицемерием и восхочет потом от этой веры отречься и вновь к иудейской вере возвратиться и, тайно с евреями беседуя, христианство укорять, то да постигнет ее ныне и во все дни живота ее гнев Божий, и клятва, и вечное осуждение! — «К сим же и гражданских законов суду и прещению да буду повинна неотложно. Аминь!» заключила она свою клятву, чувствуя, как кровь стучит у нее в висках, как сильно и тревожно бьется сердце и дрожат ее руки и ноги, и голос, и с трудом перемогая в себе упадок нервов, потрясенных всем этим обрядом.

Затем, после чтения над новокрещаемую еще нескольких молитв, обряд оглашения был окончен, — и восприемники ввели Тамару в самую церковь и поставили по середине храма, перед купелью, прикрытою с трех сторон ширмою. Немедленно же начался обряд св. крещения. Перед погружением в купель, восприемница взяла свою крестную дочь за руку и отвела ее за ширму. Сестра Степанида помогла ей там раздеться, распустила косу и

сойти в чан с водой, где и накрыла ее сверху, со всех сторон простынею. Тогда, по знаку восприемницы, вошел за ширму священник и, наложив, через простыню, руку на голову новокрещаемой, совершил тоекратное погружение ее в воду — «во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Затем он удалился из-за ширмы на свое место, а несколько минут спустя, восприемница вывела оттуда и Тамару, уже переодетую в белое батистовое платье, сшитое капотом и стянутое в талии широкой розовой лентой, в виде пояса. Влажные волосы ее оставались распущенными по плечам, ворот отстегнут на груди для миропомазания, на босые ноги надеты белые атласные туфельки; в руке — горящая восковая свеча. Священник возложил на нее золотой крестик на розовой ленте, осенив им предварительно ее голову. Девушка была бледна, но, по-видимому, спокойна. Душевное волнение, овладевшее ею при обряде оглашения, отступило и улеглось перед ясным сознанием, что теперь все уже кончено, — сомнения, нерешительность, нравственные колебания, страх перед последним актом, — все это осталось

уже позади; самый трудный, решительный шаг в новую жизнь фактически уже сделан, — стало быть, что ж тут?! — Она достигла того, чего сама пожелала, к чему так стремилась, ради чего принесла столько тяжелых жертв: она — христианка. Этим шагом куплено ее личное счастье, не могущее осуществиться, пока она пребывала в еврействе, — остается, стало быть, только верить и надеяться на осуществление его в будущем... Такая надежда, вместе с сознанием совершившегося факта, принесла ей некоторое успокоение.

По окончании крещения и миропомазания, немедленно же началась литургия. Когда раскрылись царские двери и раздался возглас: «Со страхом Божиим и верою приступите», восприемники подвели Тамару ко св. Дарам, и священник причастил ее. После обедни восприемная мать, поздравив и поцеловав причастницу, вручила ей футляр с какой-то драгоценной вещицей на память и, между прочим, спросила ее, как предполагает она распорядиться со своею дальнейшею судьбою?

— Не скрою ваше-ство, у меня есть жених, — скромно ответила Тамара. — Он женится на мне, как только позволят обстоятельства... я думаю, что это не замедлит случиться.

— Кто такой? — и когда Тамара назвала графа Каржоля, княгиня задумчиво, как бы стараясь представить себе или сообразить что-то, проговорила про себя: «граф Каржоль де Нотрек?.. Фамилию слыхала, но самого не знаю... Он русский?»

— Русский подданный, ваше-ство.

— И что же, со средствами?

— Да, он имеет некоторое состояние... Но главное, человек способный, деятельный.

— Служит где-нибудь?

— Прежде, кажется, служил... Теперь своими делами занимается.

— Хм... Ну, что ж, дай Бог вам счастья. А пока, до выхода замуж... у вас ведь нет никого здесь родственников или знакомых?

— Ни души, ваше-ство.

— И средств, вероятно, тоже немного?

— Никаких. С уходом из еврейства, я потеряла все свои права на состояние, какое мне

могло бы достаться.

— Это почему же? — с некоторым недоумением спросила княгиня.

— Потому что родные, по наследству, мне его уже не оставят, да если бы и хотели, еврейство им не позволит, кагал...

Впрочем, что ж, я знала, на что иду и что теряю, — спокойно и без тени сожаления прибавила Тамара.

— Хорошо, но что же однако предполагаете вы делать до замужества? Ведь надо же где-нибудь приютиться, жить, заниматься чем?

При этом, совершенно простом и естественном вопросе Тамара несколько смутилась. По сей день она до того всецело была поглощена своей главной заботой о предстоящем ей крещении и религиозными приготовлениями к нему, что он как-то не приходил ей в голову.

— Признаюсь, до сих пор я еще хорошенько не подумала об этом, — тихо проговорила она, точно бы виноватая и как бы извиняясь.

— Пока что, — продолжала, подумав, княгиня, — могу предложить вам одно: оставай-

тесь, если хотите, в общине. Надеюсь, что Екатерина Павловна не будет ничего иметь против? — повернула она голову в сторону начальницы.

Живая старушка со всем радушием поспешила выразить ей полное свое согласие и готовность быть полезною молодой девушке.

— Надеюсь, это вас устраивает? — обратилась княгиня к Тамаре, ответившей ей признательным и глубоким поклоном. — Вы, конечно, будете писать к матери Серафиме? — продолжала она. — Передайте ей, кстати, и мой привет и скажите, что я, как могла, постаралась исполнить ее просьбу.

И благосклонно простясь со всеми высокая покровительница общины удалилась из залы.

— Может быть, ей нужны какие-либо вещи, — говорила она, спускаясь с лестницы, провожавшей ее начальнице, — вы, пожалуйста, узнайте все это и сообщите мне, я пришлю все, что нужно, чтоб она ни в чем не нуждалась.

Таким образом, Тамара осталась пока жить в Богоявленской общине сестер милосердия.

сердя и, чтобы не даром есть хлеб, просила начальницу дозволить ей, наряду с остальными сестрами, нести все те обязанности по дому и уходу за больными, какие будут ей назначены. В этом ей не встретилось отказа, но на первое время начальница ограничилась тем, что поручила ей вообще приглядываться под руководством сестры Степаниды к практической деятельности сиделок и фельдшерниц в состоявшихся при общине больничных бараках. На другой же день после этого разрешения Тамара оделась в обычный костюм сестры с красным крестом на груди и белой косынкой на голове, решив про себя не изменять ему до самого выхода замуж, и ретиво, с полным увлечением отдалась своим новым обязанностям, так что начальнице и сестре Степаниде пришлось скорее умерять ее рвение, чем понукать ее. Остальные сестры, почти все, отнеслись к ней дружелюбно, и будничная жизнь в их простой, несколько монотонной, но работающей среде показалась ей на первое время даже очень привлекательной. Здесь обрела она ту тишину и успокоение, в которых нуждалась ее душа после всех пере-

несенных ею передрыг за последнее время.

На другой же день после своего крещения, Тамара написала игуменье Серафиме письмо, исполненное горячей благодарности, где извещала ее об этом событии, а равно и о теплом участии, какое приняла в ней княгиня, и о своей новой жизни и деятельности в общине. Но этого было ей мало. Естественно, хотелось, чтоб и граф Каржоль узнал поскорей, что она уже окрещена. Тамара оставалась твердо убеждена, что как только он узнает об этом, то не замедлит тотчас же приехать в Петербург и обвенчаться с нею. Но как устроить это, каким образом дать ему знать? Писать прямо на его имя ей не хотелось: от этого удерживала ее самолюбивое чувство деликатного опасения, как бы не показаться ему навязчивой, чтобы не подумал он, будто она сама первая ищет его теперь и спешит напомнить ему данное ей обещание. Она, со своей стороны, сделала уже все, чего он от нее ждал и требовал, — теперь очередь за ним, но пусть же он делает свое сам, добровольно, по собственному почину. Обдумывая, как поступить ей, Тамара остановилась на мысли, что

лучше всего будет написать к своей подруге Сашеньке Санковской, которая, кстати, ничего еще не знает о ее внутренней борьбе и всех приключениях, Приведших ее в конце концов к христианской купели. Все это описала она Сашеньке довольно подробно, умолчав лишь о своем чувстве к Каржолу и о степени его интимного участия в ее приключениях, равно как и об его планах насчет их супружества. Объявлять о том и другом находила она преждевременным, чтобы не возбуждать лишних городских толков, которые, без сомнения, сейчас же дошли бы и до еврейского мира, и со стороны этого последнего она могла ожидать всяких помех и препятствий к ее браку, из одной лишь мести, даже и после принятия ею христианства. Поэтому, относительно Каржоля Тамара ограничилась лишь одною коротенькой припиской: «Если увидишь графа, — кстати, передай ему мою благодарность, так как, надо тебе знать, ему первому обязана я мыслью прочесть Евангелие. Мысль эту бросил он мне как-то мимоходом, вскользь, у вас же в доме и, конечно, едва ли мог предполагать тогда, что из этого выйдет.

А вышло то, что я теперь христианка и считаю, что ему первому обязана этим».

Отправив письмо, Тамара рассчитала себе все дни и чуть ли даже не часы, когда оно должно получиться в Украинске и как скоро может после этого явиться в Петербург Каржоль, или, по крайней мере, прислать ей телеграмму о дне своего выезда. Вернее, что он сам приедет экспромтом. — О, да! Без сомнения, он бросит все и поспешит к своей невесте!.. С каждым днем ее надежды и ожидания становились все сильнее и терпеливее. Но вот, прошло около десяти суток, а от Каржоль, — к удивлению, — ни малейшей вести! И бедная девушка мерялась в мучительном недоумении, что это может значить? Дошло ли письмо? Не перехватил ли кто его? Может, еврей?.. Или неужели Сашенька не обмолвилась графу ни одним словом? Или не успела еще видеть его? Или уж не болен ли он?

Не случилось ли с ним чего, — несчастья какого?.. Но наконец, на одиннадцатый день получилось два письма разом. Одно было от игуменьи Серафимы, где она выражала свою духовную радость о принятии св. крещения

Тамары и по поводу теплого участия, принятого в ней великою княгиней, в котором, впрочем, заранее была уверена, и посылала девушке свое благословение. Другое письмо было от Сашеньки. Тон этого последнего уже с самого начала неприятно поразил Тамару своим плохо скрытым недобрым чувством, даже как будто злорадством каким-то. — За что?! Чем провинилась она? И возможно ли, чтобы так писала та самая Сашенька, которую столько лет она считала своею лучшею подругой! Что же случилось такого, что могло повлиять на перемену их отношений?.. Поздравляя довольно холодно Тамару с переходом в христианство, Сашенька писала, что напрасно только она думает, будто сообщает ей что-либо новое, так как побег ее в монастырь с первого же дня обратился в секрет Полишинеля, наделав в городе большого переполоха, и что напрасно также она хитрит в своем письме, стараясь дать ей понять, будто граф Каржоль не при чем в ее деле, тогда как весь город, с первого же дня, прямо называл графа непосредственным в нем участником, и в этом отношении все приключение ее ни для

кого не составляет тайны. Удивилась ему одна только она, Сашенька, недоумевающая, почему это Тамара, будучи так дружна с нею, предпочла скрыть свою «тайну» от нее и посвятить в нее Ольгу Ухову, с которою последнее время, по-видимому, была вовсе не в дружеских отношениях, — по крайней мере, в городе все говорят, что Ольга принимала во всей ее истории, вместе с графом ближайшее и даже непосредственное участие; что евреи поутру нашли Ольгу даже в квартире графа, под замком, и она сама не отрицает этого. — «Впрочем, тебе ближе знать, что тут правда и что нет, а мне, не скрою, очень было обидно даже, что ты предпочла Ольгу мне, которая с тобою была, кажись, всех дружнее, и тем более, что ты, насколько я теперь понимаю, не стеснялась по дружбе избирать наш дом, по преимуществу, местом своих встреч с твоим графом-апостолом. Что же до поручения передать ему твою благодарность, прибавляла Сашенька, то, к сожалению, исполнить этого не могу, так как он тайком и бесследно исчез куда-то из Украинска почти одновременно с тобой. Уверяют, что твой дедушка, узнав, на-

сколько Каржоль замешан во всей твоей истории, с целью будто бы жениться на тебе после твоего крещения, поспешил скупить все его векселя и этим принудил его отказаться от своих намерений и бежать из Украинска. Говорят также, что граф взял с него пятьдесят тысяч отступного и дал подписку прекратить навсегда все свои домогательства насчет брака с тобою. Но я этому не верю, — он всегда казался мне слишком джентльменом, чтобы решиться на подобную низость, и если ты точно рассчитываешь выйти за него замуж, желаю тебе полного успеха, хотя не могу не прибавить, что носятся слухи, будто Ольга находится в «интересном положении» и будто этим обязана она все тому же «очаровательному» графу. Тебе, впрочем, ближе знать, насколько тут правды, если Ольга точно принимала в тебе такое близкое участие и если ты с нею так интимна. Но это все одни только разговоры и злые сплетни, быть может, не имеющие никакого основания в действительности. А вот, из твоего вопроса насчет твоих родных, как поживают они, — я вижу, что ты ничего не знаешь о смерти твоей бабушки Сарры, ко-

торую хватил паралич в ту самую минуту, как она узнала о твоём побеге, и которая затем на другой день умерла от испуга, во время погрома, когда толпа громителей ворвалась в вашу квартиру. Дедушка твой, конечно, очень удручен, но, как слышно, переносит свое двойное горе стоически, с безмолвной покорностью своей судьбе или воле Божьей. Он остался на попечении какой-то, проживающей у вас в доме, старой родственницы и твоего кузена Айзика Шацкера, который на сих днях с успехом окончил гимназический курс и вскоре уезжает и Петербург, в университет, рассчитывая посвятить себя юриспруденции, чтобы быть адвокатом, — так сообщили мне его товарищи».

Письмо это произвело на Тамару невыразимо тяжелое, удручающее впечатление. Умышленно, или нет, но Сашенька Санковская нанесла ей страшный удар. Та внутренняя раздвоенность, которую впервые почувствовала она в себе в вечер Украинского погрома, при виде неприбранных следов его на улицах, сказала в ней опять, но уже с удвоенной силой. Не зная истинных причин по-

грома, глубоко коренившихся во всесторонней, кровопийственной эксплуатации жидовством христианского работающего мира, или забывая о них, Тамара вообразила себе, что единственной причиной этой катастрофы была только она, — она сама и никто больше, а стало быть, она же виновница и бабушкиной смерти. Это было убийственное сознание. Голос родства и крови вдруг заговорил в ней сильнее ее христианских убеждений, — но что ж ей теперь остается?!.. Бросить все и лететь к деду? С чем же, однако, придет она к нему, какое утешение принесет ему, раз что она уже отреклась от него и стала христианкой? Да и захочет ли дед принять ее, после всего, что случилось? Вместо прощения и приветов, не услышит ли она от него скорее проклятья?.. Ведь по-своему он будет прав, отвергая и проклиная в ней отступницу, насланницу зол и бед на Израиль и убийцу жены его. — Нет, назад ей уже всякий путь отрезан, — остается лишь сознавать себя невольной убийцей и вечно мучиться в душе этим ужасным сознанием. Тамара впала в мрачное отчаяние. Такое настроение ее духа, конечно,

было замечено окружающими. Начальница попыталась было позондировать ее насчет причин такой внезапной перемены, но ничего не добилась, кроме уклончивого ответа, что она всем, решительно всем довольна, а что причины эти чисто домашние, родственные дела, и только, но что помочь им или изменить обстоятельства, так уж сложившиеся, никто и ничто не в состоянии. Подозревая, не одолевают ли девушку, вследствие полученных ею писем, какие-либо сомнения религиозного свойства, не смущают ли ее совесть внутренние колебания или даже раскаяние в совершенном ею шаге, начальница обратилась за советом и духовной помощью к общинному священнику. Это был человек, от природы обладавший даром внушать к себе доверие и симпатию, и то, чего не могла достигнуть своими участливыми расспросами начальница, было достигнуто отцом Александром: он сумел вызвать откровенность Тамары, раскрывшей, наконец, ему, как своему отцу духовному, все обстоятельства, которые так смущали ее душу и мучили совесть. Но немало пришлось употребить ему теплого

участия и убеждений, чтобы хоть сколько-нибудь утешить ее и отогнать от нее гнетущую мысль о своем, будто бы преступлении. Он умел утешать и убеждать не по шаблону известных духовных приемов, а глубокой силой своей собственной веры и христианской любви, невольно сообщаемых им и своему слушателю; слова его были просты, но убедительны и западали прямо в сердце, примиряя его с самим собой и освежая верой и надеждой на милосердие Божие. Тамара успокоилась нескоро, но все же успокоилась, отдавшись вся молитве и вынося из каждой беседы с отцом Александром нечто светлое, примиряющее и бодрящее ее душу.

Когда же, наконец, настало для нее полное успокоение в главном, то тут незаметно и как-то сама собою выступила для нее на первый план другая сторона Сашеньки Санковской. — Неужели правда всё то, что она пишет про Каржоля и Ольгу? Если так, то зачем он проделал с Тамарой всю эту комедию, зачем было ему вырывать ее из ее среды, бросать в новый мир и увлекать ее сердце? Что за цель была у него? Ее миллионное состоя-

ние? — Но ведь она же сама и притом заранее предупредила его, что, с уходом ее из дедовского дома и с переменой религии, все ее богатство отпадает, и она остается нищей, — ведь он же знал это, как равно знал и то, что она не протянет более руки за этим богатством, не станет домогаться его.

Из лабиринта этих сомнений помогло выйти Тамаре все то же заветное письмо Каржоля. — «Ваше исчезновение из дому, как и следовало ожидать, переполошило всех евреев, — читала и перечитывала она про себя его дорогие для нее строки. — Какими-то судьбами они успели пронюхать о моем участии в этом деле». — Для Тамары, однако, «судьбы» эти были совершенно ясны и представлялись не иначе, как в образе давно уже подозревавшего и подкараулившего ее Айзика Шацкера: только он один и мог открыть деду и евреям всю ее тайну, — в этом для нее не было сомнения, тем более, что Айзик сам предупредил ее об этом тогда, ночью, в саду, после ее свидания с Каржолем, что и заставило ее в ту же ночь порешить свою дальнейшую судьбу. — «Сплетен и басен по этому поводу пошло уже

по городу множество, — читала она далее в письме Каржоля. — Приплетают к делу даже одну из ваших приятельниц, распуская на этот счет невообразимые вздоры». — А, это ясный намек насчет Ольги, теперь оно понятно! — комментировала себе это место письма Тамара. — «Можете себе представить, как злы теперь на меня евреи и какие мины поведутся ими против меня. Хотя я нисколько их не боюсь (Бедный Валентин! — подумалось ей при этом. — «Не боюсь»... Он не знал и не подозревал, с какой страшной силой вступает в борьбу и чего она будет ему стоить!), но тем не менее, прошу вас об одном: какие бы слухи, сплетни и клеветы на меня и на других («других»... то есть, это значит на Ольгу?) ни дошли до вас с какой бы то ни было стороны, — не верить ничему ни на одно слово и быть твердо убежденной, что я безукоризненно чист перед вами и что как был, так и впредь навсегда остаюсь самым надежным, преданным и бескорыстным вашим другом. Умоляю верить в меня, несмотря ни на что»... И Тамара в него верила. В этих строках почерпнула она для себя новую силу и уве-

ренность для борьбы, зная, что она любима и что хотя еврейская интрига сильна всячески-ми своими ходами, хотя дед и скупил векселя Каржоля и, быть может, заставил его бежать из Украинска, но Каржоль все-таки любит ее и верит, что «дни передряг и испытаний пройдут, и тогда настанет желанный мир и покой, а с этим миром явится и невозмутимо светлое счастье». Тамара понимала, что, скованный своими долговыми обязательствами и прикрученный в самую критическую минуту Бендавидом и всем кагалом, Каржоль мог на время удалиться из Украинска, не успев никого о том преуведомить, но она была убеждена, что он, со своим умом и средствами, вскоре найдет возможность расплатиться со всеми этими обязательствами, и тогда между ним и ею уже не встанет более никакая помеха. Она верила в это, потому что верила в самого Каржоля, и решилась терпеливо переносить пока его неизвестную отлучку. Очевидно, евреи так быстро его скрутили и заставили уехать, что он пока еще не знает, ни где находится теперь Тамара, ни что с ней случилось, ни того, что она уже христианка.

Худа подать ему весть о себе? Как узнать, где он находится? — Увы! Все это надо пока предоставить времени. Не может быть, чтобы он сам не вспомнил о ней, не постарался бы при первой же возможности разузнать, где она и что с ней, и не откликнулся бы ей о себе теплой вестью.

IX. ПЕРЕД ВОЙНОЙ

Эпоха, к которой относится, по времени, наш рассказ, отмечена в исторической жизни русского народа и государства совершенно особенными, яркими чертами, как в положительных, так и в отрицательных сторонах этой жизни. В целях подытоживающего повествования, автору необходимо напомнить и, отчасти, уяснить ее читателю.

В начале 1875 года общий мир казался совершенно упроченным. В Европе не замечалось никаких тревожных вопросов, или так называемых «черных точек»: она отдыхала после целого ряда изменивших ее карту потрясений и погромов, нанесенных Германией последовательно на севере, юге и западе. Россия очутилась тогда в положении очень благоприятном: со всех сторон ей улыбались все, от малых до великих, искали ее дружбы или благосклонности. Князь Горчаков олимпийски самодовольно считал себя «господином положения», у которого мог бы, не без пользы для себя, поучиться и сам Бисмарк. Но вот, среди глубокого мира и всеобщей идиллии,

вдруг, откуда ни возьмись, пронеслись по газетным столбцам зловещие слухи.

Это было весной 1875 года. Слухи шли не с Востока, а с Запада. Франция, едва начавшая оправляться от бедственной войны, только что уплатившая победителю пять миллиардов, вдруг не на шутку встревожилась, считая, что Германия начинает вновь угрожать ей серьезным образом, и поспешила обратиться ко всем державам, и прежде всего к Англии и России. Англия подняла газетный и парламентский шум, но действительные заботы о сохранении мира и ходатайство за Францию в Берлине великодушно предоставила одной России. Эта последняя вступилась за Францию, дав своевременно понять Берлину, что положение 1870 года с ее стороны повториться более не может. Таким образом, мир нарушен не был, опасения в Европе улеглись быстро, не оставив, по-видимому, никакого следа, и России отовсюду была воздана благодарность за ее миротворное действие. Окрысились на нас только германские «рептилии», но и то ненадолго.

Не прошло, однако, после этого и трех-че-

тырех месяцев, как в каких-то Баньянах, гористом уголке Герцеговины, о существовании которого до тех пор едва ли подозревал кто-нибудь в «цивилизованном мире», начались, по-видимому, ни с того, ни с сего, какие-то смуты, что-то вроде маленького восстания против турецких чиновников. Даже злейшие враги России, готовые ко всякой клевете на нее, на сей раз не решились обвинить ее в этих смутах, сознавая, что Россия не могла иметь ни малейшего интереса в возбуждении Восточного вопроса в данное время. Со всеми державами она находилась тогда в наилучших отношениях, Турция оказывала ей полное доверие, и султан Абдул-Азис готов был делать все ей угодное; посол наш первенствовал в Константинополе, что, конечно, возбуждало зависть и опасения у наших всегдашних соперников на Востоке. В Оттоманской империи до сего времени все было спокойно, и не из России поднялись тогда возгласы о близости Турции к падению: речь об этом завели в Англии, и без всякого повода. Яростно посыпались вдруг изобличения султана в чрезмерной расточительности, в намерении изме-

нить порядок престолонаследия, выставлялись на позор его капризы и причуды, его внимательность и угодливость по отношению к России, оплакивалось ослабление благодетельного английского влияния и предсказывалась близость финансового и политического крушения Турции, — словом, султан оказывался виноват тем, что верил больше России, чем Англии, а потому надо было всячески дискредитировать его в глазах не только Европы, но и его собственных подданных. Россия не имела интереса разжигать не ею начатое дело герцеговинского восстания, а Порты обнаруживала готовность на всякие добрые меры, какие присоветовала бы ей Россия, так что казалось, будто все может уладиться еще в самом начале простым соглашением между Россией и Портой. Но вдруг кому-то понадобился «европейский концерт», — какой-то невидимый маг и волшебник очень искусно стал передергивать нити и пружины общеевропейской политики, — и вот, в Берлине, в Лондоне и Вене сочли за лучшее не дать России один на один договориться с Портой а созвать для этого «всю Европу». К тому

же Австрия, видимо поощрявшая восстание, начатое даже почему-то под ее черно-желтым флагом, поспешила принять деятельное участие в вопросе. На ее территории, тем временем, приютилось множество герцеговинских и боснийских беглецов с семьями, которым вначале выдавались даже пособия от австрийского правительства, а специальный комиссар австрийский, барон Родич, убеждал главарей герцеговинских, «устатей», взирать на одну Австрию, как на их единственную покровительницу, и от нее одной ждать спасения. В венских газетах запретили имена Пеко Павловича, Богдана Зимонича, Лазаря Сочицы, Любибратича и других, купно некоей девицей Маркус, воспылавшей вдруг любовью к славянскому освобождению.

Но вместо ожидаемого упрощения задачи, «европейский концерт», благодаря все той же Австрии, и именно пресловутой ноте графа Андраши, только затруднил, запутал и раздул дело. Начались своекорыстные соперничества и взаимные помехи. Полгода резни в восставших провинциях и столько же времени, потраченного в пустых дипломатических со-

вещаниях дали однако же знать себя: ни бежавшее население Боснии и Герцеговины не соглашались возвратиться домой, ни усташи не хотели положить оружие без надежной гарантии, а в то же время, с другой стороны, и мусульманский фанатизм разгорался все сильнее и обнаружился наконец, в начале мая 1876 года, буйным взрывом в Салониках, когда мусульманская чернь убила германского и французского консулов из-за какой-то, вырванной ими из гарема, болгарской девицы, при полном бездействии турецких властей. Случай этот оживил болтавшую дипломатию; на Салоникском рейде ото всех держав появилось по нескольку военных судов, и затем состоялся дипломатический съезд в Берлине, разрешившийся «берлинским меморандумом». Но тут вдруг Англия с шумом отделилась от «концерта», отвергнув вовсе этот меморандум, и злые языки говорили тогда, что сделано это ею не без предварительного (оглашения, по крайней мере, с графом Андраши, если не с самим Бисмарком. Австрия тоже переменяла свою политику относительно усташей: вместо прежнего мирволе-

ния и заискиваний в них, она вдруг заперла для них границу, усилила по ней военный кордон, не пропускала даже жен и детей беглецов на свою территорию и стала арестовывать и сажать в тюрьмы самих усташей, если они искали в ее пределах убежища от преследования турецких войск. Главари недоумевали, что ж это значит? — Черно-желтое знамя, поощрительные подмигивания, сладкие слова, соблазнительные обещания, льготы и деньги вначале, когда нужно было поднять тяжелого на подъем славянина, и вдруг изгнание и недопущение босняцких семейств, угрозы, крутые меры, аресты и тюрьма, когда восстание разгорелось уже всерьез? Впрочем, с уст австрийской дипломатии и теперь не сходили соблезнования к участи славян и обещания защитить их от турецкого фанатизма впоследствии, в туманном будущем, между тем как на деле Австро-Венгрия уже выступила союзницею Турции. Арест Любибратича послужил яркой иллюстрацией ее двусмысленной политики иудиных лобзаний. В то же время в Безике, у входа в Дарданеллы, появился английский броненосный флот, для

защиты якобы британских вездесущих интересов, а в Стамбуле, словно бы по чьему-то волшебному мановению, начался целый ряд заговоров и революций с новоявленными турецкими «софтами», последовало предсказанное английскими корреспондентами низложение Абдул-Азиса, затем явились на сцену знаменитые «английские ножницы», пресекшие жизнь этого неудобного Англии государя; провозглашен султаном Мурад V, но сейчас же сочтено нужным объявить его почему-то сумасшедшим и запрятать в Чарыган, а вместо него провозгласить Абдул-Гамида... Новое турецкое правительство, во всем послушное англичанам, вместо реформ начало деятельно готовиться к войне и, будучи прославляемо хвалебными гимнами французской, австро-венгерской и английской печати, принялось применять свои «просвещенные взгляды» в Болгарии. Но наконец крик негодования раздался в самой Англии, когда в печать ее проникли сведения о «болгарских ужасах», совершаемых Шефкет-пашою, Ахмет-агою и их сподвижниками. Таков-то был первый плод «европейского концерта».

А тем временем народное волнение в Сербии и Черногории все росло и росло. Население этих двух княжеств давно уже едва сдерживало свое сочувствие к родным братьям Боснии и Герцеговины, побуждавшее броситься к ним на помощь. Европейская дипломатия настойчиво давила на князей Михаила и Николая, предлагая им унять крутыми мерами «партию войны». Милан рассыпался перед дипломатами в самых миролюбивых уверениях, а в то же время должен был подписывать указы о сборе милиции одного призыва вслед за другим. С каждым днем правителям обоих княжеств становилось все труднее сдерживать пыл своих подданные тем более, что вполне обнаружившееся бессилие «европейского концерта», благодаря Англии, перемигнувшейся с Веной, втайне направляемой, в свою очередь, из Берлина, сделало войну совершенно неизбежною. Растерявшийся Милан еще колебался в ту или другую сторону; Ристич, призванный им к управлению Сербией чуть не накануне войны, тоже медлил, потому что у правительства не было ни благоустроенной армии, ни денег. Но горячее со-

чувствие к славянскому делу в России и, наконец, появление в Белграде генерала Черняева ускорили решение помимо дипломатии. Сербия и Черногория героически ринулись в неравную борьбу со всею силой благоустроенных армий Оттоманской империи и стойко выдерживали ее в течение четырех месяцев. Тут Англия вскоре спохватилась, что неосторожно зажгла пожар, который может разлиться слишком далеко, а главное, преждевременно, и на этот раз взяла переговоры в свои руки. Переговоры эти, впрочем, совершенно бесплодно продолжались во все время августовских боев и даже до самого боя в октябре под Дюнишем и Алексинцем. Мысль о новой «конференции» подала опять же Англия, но Порта не приняла английских предложений, стараясь лишь выиграть время, и таким образом новый «европейский концерт» опять повис в воздухе... Минута была самая критическая: Сербия уже вконец изнемогала.

Но вот, 18-го октября русский посол предъявил Порте довольно-таки запоздалый ультиматум о заключении перемирия с княжества-

ми на два месяца, требуя ответа в сорок восемь часов, а через два дня после того в Московском Кремле произнесены были царские слова, высоко поднявшие дух России и производившие свое впечатление на Европу. Вместе с тем повелено было мобилизовать часть русской армии. В Берлине, втихомолку, радостно потирали руки: Россия вела себя совсем так, как того втайне хотелось Берлину. Но иначе вести себя ей и возможности не было.

Вслед за русским ультиматумом, британское правительство возобновило свое предложение о конференции, к чему присоединилась вдруг и Австрия, прежде на нее не соглашавшаяся. Причина такой перемены со стороны Австрии лежала в расчете, что после ультиматума, в случае неудачи конференции (в чем, впрочем, и не сомневались в Вене), для России не оставалось бы иного выхода, кроме войны, — а это все, что и было нужно для подпольных венско-берлинских планов и махинаций. Конференция означала собой третий акт «европейского концерта». Пока английский уполномоченный, маркиз Сольсбери разъезжал целый месяц по европейским

дворам, да другой месяц прошел в «предварительных совещаниях» делегатов, для установления программы конференции, наступил срок перемирия, а дипломаты еще ни к каким решениям и не приступали. Пришлось перемирие продолжить и тем волей-неволей исполнить первое, заявленное еще в октябре, желание Порты, стремившейся более всего выиграть время, чтобы, с негласной помощью Англии, лучше подготовиться к войне. На предварительные совещания делегатов Турция не была допущена, но ее сторону представляла вполне Австро-Венгрия, делавшая нсвозможные возражения и старавшаяся сократить и всячески урезать программу требований, которые должны были быть предъявленными Порте «концертом». Но прежде чем открылась конференция, в Берлине озаботились дать заблаговременно понять туркам, что из нее ничего не выйдет, а потому-де бояться и уступать им нечего. Ради этого, князь Бисмарк произнес в рейхстаге свою знаменитую речь, где хотя и заявил о святости дела, защищаемого Россией, и о полной платонической солидарности с ней Герма-

нии, но в то же время подчеркнул, что Германия, при всей святости и справедливости этого дела, останется к нему равнодушною и не пожертвует ради него костями ни одного померанского мушкетера, пока не увидит в нем прямой для себя пользы. В Лондоне, еврей де Израэли, возведенный в звание лорда Биконсфильда, еще ранее с парламентской трибуны объявил во всеуслышание, что «Англия есть великая мусульманская держава» и, по его же старанию, парламентом был присвоен королеве громкий титул «императрицы Индии». Во Франции, между тем, одно министерство падало вслед за другим, а что касается Восточного вопроса, то в отношении его все французские политические партии оказались замечательно единодушными: клерикалы и радикалы, республиканцы, бонапартисты и монархисты с озлоблением накидывались в своих речах и газетах на турецких славян, осмелившихся подняться против своих законных повелителей.

Италия держалась совершенно пассивно и если принимала участие в «концерте», то разве из дипломатической вежливости. А в то же

самое время Австро-Венгрия приняла вдруг зазорное и гордое положение относительно Сербии, желая своими мелочными придирами терроризировать это маленькое княжество и грозно дать ему почувствовать всю его зависимость не от России, а от ее австро-мадьярской воли. В самой же двуликой монархии положение дел было такое, что славянская ее половина, за исключением поляков, нравственно тянула все на сторону балканских славян и России, что и выразилось вскоре в грандиозной, всенародной орации в Праге, сделанной первого января 1877 года генералу Черняеву народом Чешским; другая же половина, мадьярская, в лице почетной депутации пештских аристократов и студентов, подносила почетную саблю Абдул-Кири-му-паше за отличное избиение христиан балкано-славянских.

Последние дни 1876 года были заняты заседаниями европейской конференции в Константинополе. В самый день ее открытия турки, словно бы на смех, провозгласили пресловутую шутовскую конституцию Митхада-паши. Хорошо зная меру и должное значение

«европейского концерта», они мастерски делали пробы над безмерной уступчивостью дипломатии, а сами тем временем спешно готовились к войне, при широкой и уже открытой материальной помощи Англии. Глядя со стороны, казалось, что константинопольская конференция своим бестактным поведением и уступками как будто нарочно задалась целью раздражить Порту елико возможно более и, в то же время, дать ей возможность серьезно приготовиться к военным действиям. Русский представитель шел до крайних предложений миролюбия и уступчивости, на которые, в конце концов, не могли бы не согласиться и сами турки. Казалось, дело в последнюю минуту все-таки кончится миром. И вот в это-то самое время, к общему удивлению, представитель Германии, державшийся до сих пор пассивно, вдруг, ни с того ни с сего, всполошился и стал настойчиво требовать от Порты, чтоб она дала самый скорый и решительный ответ. Причины такого неожиданного и странного вольтфаса были объяснены сначала в английской, а затем и во французской печати тем, что уступчивость, проявленная на

конференции представителем России, заставила-де князя Бисмарка опасаться, как бы дело не кончилось, пожалуй, и взаправду мирным образом; опасался же он такого исхода потому-де, что никто другой, как только он же сам, и желал втянуть Россию в войну с Турцией. У нас такому объяснению не придали ровно никакого значения и отвергли его, как совершенно вздорное, не заслуживающее ни малейшего внимания; газеты мимоходом уделили ему лишь по краткой заметке, в виде курьеза. В то время у нас еще твердо веровали в искренность Бисмарка и прочную дружбу Германии... Как бы то ни было, но неожиданное и резкое давление на Порту германского представителя задело за живое самолюбие турецкого правительства и послужило причиной решительного отказа его от всех сделанных ему предложений. Таким-то образом, конференция, — эта недостойная и позорная для Европы комедия, — потерпела в начале 1877 года полное фиаско.

* * *

В России, между тем, вся душа народа была захвачена поднявшейся на Востоке борьбой.

Минуты, подобные пережитым нами в 1876 году, не часто встречаются в жизни народов. Еще в начале герцеговинского восстания, когда мы не задавали себе труда вникнуть, кем и с какой целью оно подуськано, в наши Славянские Комитеты и редакции русских газет стали стекаться некоторые пожертвования. Весною же 1876 года, когда в Боснии и Герцеговине возобновились военные действия востанцев, пожертвования усилились, а как стало известно, что сербский национальный заем не удался, раздались голоса, настаивавшие на необходимости поместить его в России. Мерным, наиболее могучим средством для возбуждения у нас движения в пользу славян послужили послания митрополитов Сербского и Черногорского, которые через русское духовенство были доведены до сведения народа, и тогда уже пожертвования приняли размеры небывалые. Со всех сторон посыпались и мелкие и крупные лепты, с целью доставить сербам средства на войну с турками. Кроме того, в Сербию отправились поодиночке несколько офицеров медиков и добровольцев, в числе которых первым был генерал

Черняев. Этот отъезд человека, стяжавшего себе лавры в войне с мусульманами в Средней Азии, произвел самое радостное впечатление во всем русском обществе и примирил с ним искренно многих его политических противников. Можно сказать, что вся Россия напутствовала Черняева самыми задушевными благословениями. За ним пошли и другие, — и, таким образом, славянское дело, благодаря этим личным узам, сделалось родным русским делом. Чувство милосердия и живая вера были чистым источником движения, могучей волной охватившего русский народ и подвигшего его на помощь страдающим братьям его во Христе, — движения, не только поразившего иностранцев, но смутившего многих и в самой России своею чисто стихийной неожиданностью.

В Англии, одновременно с этим, созывались «митинги негодования» и «митинги сочувствия», произносились пылкие речи, — ничего подобного у нас не было. Хотя там собирались даже кое-где и маленькие пожертвования в пользу славян, но при этом, преимущественно платоническом, сочувствии

некоторой части английского общества, сила действия была на стороне противной, откуда раздавались яростные осуждения христиан в их борьбе с притеснителями. Некоторые духовные лица английской церкви не только в журналах, но и со своих кафедр превозносили ислам, английские офицеры подвизались в рядах турецких войск вместе с мадьярами и поляками, герцог Садерландский основал комитет для пособия нуждам оттоманской армии... Сочувствие христианам в этой «великой мусульманской державе» было только на словах; содействие же туркам широко осуществлялось на деле и притом организовано было отличнейшим образом.

Русская помощь христианам, напротив, не имела строгой и стройной организации. По свидетельству человека, стоявшего, можно сказать, в центре народного движения этой эпохи— «когда сербские войска испытали первую неудачу, когда на почву возбужденного народного сочувствия пала первая капля русской крови, когда совершился первый подвиг любви и принеслась первая чистая жертва во имя России от русского за веру и

братьев, тогда дрогнула совесть всей Русской земли... Известие о смерти Киреева, первого русского, павшего в этой войне, разом двинуло сотни охотников, да и впоследствии этот факт постоянно повторялся: стоило только огласиться новым смертям в среде русских добровольцев, — на место каждого умершего являлись десять живых, с готовностью заступить на его место. Смерть не отпугивала, а как бы привлекала». — Что же заставляло идти на смерть этих простых людей, которые «со смиренной настойчивостью, как бы испрашивая милости, со слезами, на коленях молили об отправлении их на поле битвы?». — «Не корысть, не личная выгода, а высокое в своем смирении чувство. Их предвещали о суровости предстоящего жребия, и получали в ответ: «Положил себе помереть за веру», «сердце кипит», «не терпится», «хочу послужить нашим», «наших бьют», «к нашим, заодно постоять», — вот краткие ответы, звучавшие спокойной искренностью и такой душевной простотой, в которой слышалась неодолимая мощь. Чувствовалось, что перед вами, в смиренном облике, без горделивой са-

модовольной осанки, стояли герои, — скажу больше: люди того закала, из какого выходили мученики первых времен христианства. Да, нам приходилось сподобиться узреть самое душу народную?»...[1]. Другой крупный деятель эпохи, М.Н. Катков, прямо высказывал, что «будь малейшее руководство со стороны правительства, малейшее пособие государственной организации, этой силой народного чувства можно было бы совершить дела великие». Но правительство наше, оставаясь верным своим международным обязательствам, не принимало никакого участия в направлении добровольного движения русских людей на личные жертвы. Оно только не препятствовало ему, — по убеждению одних, — потому что никто же не мог ожидать, чтобы русское правительство, единое со своим народом, шло против лучших и святейших его стремлений; по объяснению же других, — потому что в этом движении оно будто бы усматривало удобную возможность сбыть из России немало, так называемых, беспокойных, шатущихся и пролетарных элементов, как и вообще дать выход или открыть кла-

пан, с одной стороны — для народного воодушевления, а с другой — для накопившихся, будто бы, внутри России опасных политических газов. Но эти последние газы, как увидим ниже вовсе не помышляли воспользоваться открытым для них клапаном: дома им казалось «вольготнее». Как бы то ни было, правительство осталось во всем этом движении в стороне, предоставив инициативу и направление его самому обществу.

— И вот, немногим людям из общественной среды, людям вовсе к тому не готовившимся, пришлось волей-неволей исправлять обязанности интендантства, комиссариата, инспекторского департамента, военно-медицинского и артиллерийского ведомств. Все это носило на себе печать чистой случайности и руководствовалось одним лишь великим, все захватывающим чувством увлечения братской помощью, и таким образом возникло то удивительное беспримерное явление, что война против обширной империи велась добровольными усилиями, на частные средства, собираемые пожертвованиями, без всякой организации. Но в этой неподготов-

ленности движению по мнению Каткова, «была его внутренняя сила, свидетельствовавшая о его неподдельности и чистоте». Наконец, нравственный подъем народного духа в этом направлении достиг такой высоты и напряженности, что правительство увидело себя в необходимости, быть может, и против собственного желания, идти с ним душа в душу, рука об руку. Знаменательные слова, произнесенные 20-го октября в Кремлевском дворце, вызвали единодушный отклик всей Русской земли, сказавшийся с неудержимой силой. Возвещенная вслед за тем мобилизация была встречена всеми с живейшей радостью. О трудностях и финансовых средствах в увлекшемся обществе как-то не думалось, о не готовности нашей к войне почти и совсем забывалось. А между тем, армия наша, с недавним введением всеобщей воинской повинности, именно в ту-то самую эпоху находилась еще в переходном состоянии: в ней не было ни достаточного обоза, ни даже односистемного вооружения, не говоря уже, что то, какое было, во всех отношениях далеко уступало турецкому; наши железные дороги во-

все не были приспособлены к военным целям, и большая часть их построена в один путь; притом мобилизация происходила уже в зимнее время, когда движение по дорогам и без того замедлялось снежными заносами. Но подъем всех сил народного духа был таков, что и невозможное становилось и достижимым, и легким, — все казалось нипочем! Несмотря на массу трудностей и помех, мобилизация двинутых частей войск совершилась исправно в две недели, хотя одновременно с нею пришлось передвигать громадные транспорты для вооружения наших черноморских, совершенно открытых портов и для снабжения всем необходимым военных корпусов, стягивавшихся к нашим бессарабским и закавказским границам.

* * *

В это-то время, 6-го декабря 1876 года, в Петербурге совершенно неожиданно разыгралась известная демонстрация на Казанской площади. Казанский собор, по случаю праздника, на обедней был полон молящимися, среди которых резко кидалась в глаза, по своей внешности и неприличному поведению,

толпа человек до трехсот молодых людей обо-
его пола. Судя по рубахам-косовороткам,
штанцам, запущенным в высокие сапоги,
пледам, накинутым на короткие пальтишки,
очкам, лохматым шевелюрам мужчин и стри-
женным волосам женщин, присутствовав-
шие богомольцы не затруднились сразу же
отнести их к числу «студентов» и вообще
«учащихся». Они стояли, разбившись на куч-
ки, составлявшие однако довольно заметную
однородную массу в самом центре храма,
шептались, пересмеивались, делали у себя в
записных книжках какие-то заметки, перехо-
дили с места на место, как будто о чем-то сто-
варивались. Когда соборный вахтер, по насто-
янию некоторых прихожан, спросил одного
из молодых людей о цели их прихода в собор,
ему грубо ответили: «Не твое дело!» По окон-
чании обедни, депутация от этой молодежи
обратилась к причту с заказом панихиды по
убитым в Сербии, а когда ей было в том отка-
зано, под предлогом «царского дня», то она
пожелала отслужить молебен о здравии по-
литических ссыльных и арестованных. Но
служба ограничилась, как и всегда, одним

только общим молебном, по окончании которого демонстранты густою толпой довольно шумно двинулись вон из храма, на площадь. Здесь, из среды этой толпы выступил какой-то высокий блондин, снял шапку и начал громко говорить, горячась и размахивая руками. Остальные образовали около него тесный круг. Удивленные этим зрелищем богомольцы и посторонняя, проходящая публика, недоумевая, стояли поодаль, — кто в портике храма, кто на ступенях лестницы и на самой площади. Блондин во всеуслышание разглагольствовал о несправедливостях и гнете правительства, о ссылках всех «лучших людей», каковы: Чернышевский, Долгушин, Нечаев и другие, и сожалел, что, благодаря таким возмутительным мерам, революционное дело в России тормозится, тогда как Чернышевский, не будь он сослан, один мог бы подвинуть его на несколько лет вперед, что эти-де «лучшие люди» пострадали «за народ», у которого правительство отнимает последнюю корову и курицу. Речь была окончена при громких криках «браво!» «живио!» и аплодисментах столпившейся вокруг говоруна молодежи. В тот

же момент был выкинут над этой толпой красный флаг с белой на нем надписью «Земля и Воля», но так как он был не на древке и взлетел комком, то шумевшая толпа подняла и подбрасывала несколько раз какого-то парнишку в полушубке, который, взлетая на воздухе, держал флаг развернутым в обеих руках. Эта выходка сопровождалась бросанием в воздухе шапок и криками «ура!» «живио!» «vivat Communa, pereat politia!» Несколько, прибежавших на место полицейских чинов были встречены ударами кулаков, палок и кастетов в голову, сбиты с ног, притиснуты к земле и топтаны каблуками. Видя, что полиция уже известилась о происшествии, и слыша учащенные призывные свистки поспешавших к месту действия городских, в толпе демонстрантов одни стали кричать: «Расходись по домам! Довольно!», и призыву этому немедленно последовало более половины всей толпы; другие же взывали: «Братцы! Идите плотнее! Не расходитесь! Кто подойдет к нам, тот уйдет без головы!»— Этот последний призыв, сочувственно принятый всеми оставшимися, в числе до полутора ста чело-

век, выдвинул вперед молодую девушку, рыжую блондинку семитического типа, с растрепавшимися косами, которая сильно жестикулируя, кричала с явным еврейским акцентом: «Вперед!.. За мною!» и вела всю толпу по направлению к памятнику Кутузова. Когда же подоспели сюда несколько новых городских околоточным надзирателем, девица эта с яростью накинулась на последнего, вцепилась ему в лицо и начала бить по нему кулаком. Толпа не отстала от своей вожаки и снова принялась в кровь избивать ничтожную горсть полицейских. Женщины при этом отличались наибольшим остервенением в драке и цинизмом своих площадных ругательств. Только тут случайная публика, смотревшая до этого на происшествие с пассивным недоумением, вступилась за полицейских чинов и начала помогать им и сама забирать драчунов, которых и отводила в местный полицейский участок. Тогда уже толпа бунтарей, не довольствуясь избиением городских, вступила в драку и с публикой, и не только с помогавшей полиции, но и с посторонней. Избили у памятника какого-то слу-

чайно подвернувшегося старика, избили чьего-то кучера, переходившего через площадь, избили чуть не до полусмерти одного из носильщиков, а одна кучка, десятка в два человек, вдруг бросилась бить совершенно посторонних, безучастно стоявших зрителей, пытаясь проложить себе сквозь их живую стену дорогу на угол Невского. Некоторые, совершенно ошалеv от собственного озорства, выскакивали из толпы и просто зря накидывались с кулаками на публику — «по морде бить». Поэтому публика задерживала преимущественно драчунов подобного сорта, тогда как более осторожные или трусливые из демонстрантов, — а таковых и в этой оставшейся толпе было большинство, — видя, что сочувствие общества и сила не на их стороне, спешили бросать на произвол судьбы своих зарвавшихся азартных сообщников и разбежались в разные стороны, так что перед судом из трехсотенной (вначале) толпы, предстало всего лишь двадцать обвиняемых. Юная Мегера, кричавшая в расхлестанном виде «вперед за мною!» оказалась еврейкою Фейгою Шефтель, «готовящеюся» на женские меди-

цинские курсы. Эта «благородная еврейская девица», вместе с другими забранными девками, на ходу царапалась ногтями, таскала за волосы и хлестала по щекам людей, ведших всю их компанию в участок. Впрочем, приказчики с Милютина двора, вместе с ломовиками, извозчиками и носильщиками Казанской артели порядком-таки и в свой черед «поучили» демонстрантов и демонстранток, попадавших к ним в руки. Арестованных приводили в участок большей частью посторонние лица, из публики. Как на площади, так и на Малой Конюшенной улице, и в сенях самого участка были находимы кастеты, гирьки, ножи и револьверы, брошенные арестованными. Один из последних, уже в участке, пытался было даже застрелить из револьвера полицейского сторожа, которому было приказано обыскать его.

Демонстрация 6-го декабря, изумившая решительно всех не только своей неожиданностью, но главным образом — совершенной дисгармонией с господствовавшим тогда настроением русского общества, замечательна тем, что это была демонстрация по преиму-

цеству польско-еврейская, — обстоятельство, мало обратившее на себя внимание в то время, но тем не менее, весьма веское и характерное. Еврейская «учащаяся» и «протестующая» молодежь принимала в этом деле наиболее деятельное участие. В прежних политических процессах еврейские имена мелькали в одиночку, спорадически, а здесь они всплыли вдруг целой группой. Участие евреев удостоверено и совершенно точно установлено было и на суде несколькими свидетельскими показаниями, из которых в особенности характерно показание почтенного купца Гукова, еще в соборе обратившего внимание на непристойное поведение окружавших его кучек и на то, что никто из этих лиц не крестится. — «Я осмотрелся, — говорит он, — и вижу, что тут все не русские типы, а большей частью польские и еврейские». Другие удостоверяли, что слышали среди этих кучек разговоры на польском языке и еврейском жаргоне. Замечательно также, что и в другом, почти одновременном с этим, политическом процессе «ходебщиков в народ», раскинувших свою сеть, с целью пропаганды среди рабоче-

го класса, по губерниям Владимирской и Саратовской и в городах: Туле, Киеве и Одессе, наиболее деятельную роль играли инородческие элементы. Среди этих «ходебщиков» и устроителей «фиктивных браков» так и кидаются в глаза армянские, грузинские и еврейские фамилии разных Кардашевых, Чекоидзе, Кикодзе, Гамкрелидзе, Джабадари, князя Цицианова, княгини Тумановой, Гесси Гельфман, m-лле Фигнер, Млодецкого и прочая.

Хотя главная масса «учащихся» еврейчиков, фигурировавших на Казанской площади, успела, из присутствия этой расе инстинкта чуткого самосохранения, благополучно ускользнуть ранее, чем публика стала хватать и арестовывать драчунов, тем не менее, из числа находившихся там, были привлечены к дознанию Янкель Гурович, студент медицинско-хирургической академии, Хаим Новоковский, сапожник с женой своею Софьей, студенты: Виленц, Бибергаль, Геллер, Герваси, еврейки: Фейга Шефтель, Копилевич и другие, причем удостоверено свидетелями, что наиболее кипятились, лезли в драку и наносили удары полиции и публике Шефтель,

Новаковский и Бибергаль. Из показаний всех этих евреев и евреек на суде выяснилось, что между ними еще за месяц до демонстрации ходили слухи, что устраивается-де панихида в Исаакиевском или Казанском соборе по убитым в Сербии и «о славянах вообще», что при этом будет устроена большая процессия с целью требовать от правительства объявления войны, что в панихиде и процессии будут участвовать не Одна «учащаяся молодежь», но и люди солидные, профессора и военные, и все-де они будут требовать войны, и, наконец, что главным центром всех агитационных слухов и толков этого рода служила «Студенческая кухмистерская». Тут с полной очевидностью сказалось стремление еврейских агитаторов связать чисто русское народное дело братской помощи Восточным христианам с революционным делом «Земли и Воли», и замечательно, что некоторые иностранные органы, во главе с «Journal des Debats» в Париже и «Narło» в Пеште, имевшие надобность чернить русское движение в пользу турецких христиан, грозившее революционными последствиями его для самой России, внушав-

шее русскому правительству, что революционные комитеты и панславистское, движение, будто бы, одно и то же, — органы эти точно так же знали вперед о готовившейся демонстрации и предсказывали ее еще за месяц. Следствие и суд, по замечанию Каткова, «по-видимому, не имели намерение доходить до корней этого дела и ограничились, как всегда, наличностью: оборваны попавшиеся в руки гнилые сучки, а пень оставлен в покое, но из тех данных, которые раскрылись на суде, достаточно выяснилось политическое значение гадкого фарса». Направляющие нити этой жидовской демонстрации, очевидно, протягивались сюда из-за границы, где расчет двойной игры был ясен: если испугается русское правительство движения, охватившего его народ, и отступится от славянского дела, — оно станет крайне непопулярно, антипатично у себя дома, а престиж России в славянстве и вера в нее на всем христианском Востоке будут надолго, если не навсегда подорваны и через это расчистится дорога на Балканский полуостров его соперникам; если же это правительство очертя голову ринется в

воину, — тем лучше; война существенно ослабит военные и финансовые силы России, лишит ее на некоторое время свободы действий и даст громадные заработки европейским, особенно германским, биржам и тому же еврейству, поставит русские финансы в рабскую зависимость от разных Блейхредеров et consorts.

Вообще, евреи были за войну, в особенности наши, предвидя в ней счастливую для себя возможность великолепных, грандиозных гешефтов. Во многих синагогах раздавались высокопарные речи казенных и иных раввинов, призывавшие «русских евреев» быть в готовности к услугам «отечества» и правительства; в штаб действующей армии и другие правительственные учреждения сыпались проекты разных «выгодных» предложений и «патриотических» изобретений вроде греческого огня из Бердичева, подводных лодок из Шклова, мышеловок для турецких часовых, неувядаемого сена и неистощимых консервов для армии, и т. п. Более крупные евреи, вроде «генералов» Поляковых и Варшавских, делали даже «бескорыстные по-

жертвования» и все вообще тщились заявлять себя «балшущими патриотами». Для полноты этой картины, следует прибавить, что в газете «Русский Мир», считавшейся органом генерала Черняева и потому имевшей тогда весьма крупное значение в Славянском вопросе, самые бойкие и остроумные критики на действия тогдашней дипломатии, самые горячие статьи по Восточному вопросу, самые патриотические ламентации и муссирование «активной политики», равно как и самые пламенные воззвания в защиту «братий-славян», принадлежали — по странной случайности, или нет, — перу публициста-еврея, ныне пользующегося почетной известностью в лагере мумий доктринерского либерализма. Это, впрочем, доказывает только ту истину, что у каждого из нас есть свой особенный «еврейчик», которого мы прикармливаем и уверяем своих друзей, будто он не такой, как все остальные.

Во всяком случае, один из расчетов двойной игры Запада, в союзе с жидовством, оправдался. Отступить России было уже поздно, да и некуда, — и 12-го апреля 1877 года

война была объявлена. Но выжидательное положение наших, — это, так называемое, «Кишиневское свидание», в течение почти полугода, с объявления мобилизации до манифеста 12-го апреля, уже само по себе стоило хорошей войны, не в одном только материальном отношении: оно и нравственно составляло для России весьма тяжелую жертву, вынужденную двоедушием тех, с кем ей пришлось действовать на константинопольской конференции как будто заодно, тогда как этим quasi-дружным собранием, в сущности, и была поставлена Россия в неизвестность — против кого из них, в конце концов, может быть, придется ей сражаться?

Такова-то была отместка нам за неожиданное заступничество наше в 1875 году за Францию.

* * *

Энергичная и разносторонняя, но направленная к одной общей цели, деятельность кипела не только в Кишиневе, но и по всей России, особенно же в Москве и Петербурге. Во дворцах, под непосредственным ведением августейших учредительниц, открывались об-

щедоступные доброхотные мастерские, где шилось на машинах белье для раненых и госпиталей; устраивались запасные склады госпитальных принадлежностей; в городах Империи учреждались на городские и доброхотно сборные средства и пожертвования приюты, питательные и санитарные пункты для раненых и больных воинов; по всем церквам ежедневно собиралась лепта ради тех же страдальцев; общество Красного Креста проявляло наибольшую деятельность. — Вместе с особами императорской фамилии, оно снаряжало целые санитарные поезда, обставленные всеми удобствами; учреждало подвижные лазареты; беспрестанно высылало на театр войны своих уполномоченных с громадными транспортами медицинских, хирургических, санитарных, перевязочных средств и питательных продуктов; партию за партией, отправляла туда же хирургов, медиков, фельдшеров и фельдшериц, братьев и сестер милосердия. Не было того уголка России, даже в самых отдаленных местностях, где не была бы организована посильная помощь Красному Кресту доброхотными местными

средствами.

Сестры Богоявленской общины, в числе прочих, тоже готовились к отъезду в Румынию, а затем — куда Бог приведет и надобность укажет. Военные хирурги и профессора медицинской академии читали им доступные лекции для предварительного ознакомления их с уходом за ранеными, с приемами наложения и снятия лубков и повязок и т. п. Для этого был назначен сестрам шестинедельный курс обучения, вслед за которым следовало испытание их знания и способности к делу.

Тамаре, ввиду предстоящего отъезда общины, в полном ее составе некуда было деваться, да и совестно было устранять себя от общего труда, и она тем охотнее просила взять и ее «на войну», в качестве сестры, что все эти месяцы о Каржоле не было ни слуху, ни духу.

В начале мая месяца все Богоявленские сестры со своею начальницей было привезены во дворец и представлены их высокой покровительницей государыне императрице в прощальной аудиенции. Каждая из них была обласкана высочайшим вниманием и полу-

чила из рук государыни по образку, в виде благословения. Напутствуемые на вокзале многотысячной толпой народа, снявшего шапки и провожавшего их громогласным пением «Спаси, Господи, люди Твоя», сестры двинулись в путь в особом санитарном поезде в сопутствии особого уполномоченного от Красного Креста. Все они бодро и радостно, со смирением и верой, шли на предстоящий им тяжелый, самоотверженный подвиг.

Х. ПОД САМЫМ ПРЕДАННЫМ НАДЗОРОМ

После своей несчастной свадьбы, разбитый и нравственно, и физически, Каржоль на другой же день утром почти через силу уехал из Кохма-Богословска к себе на завод и засел там, как байбак в норе, в своей «комнате для приездов», рядом с конторой, никого не желая видеть и никуда не показываясь. Он был сильно потрясен и сконфужен всем случившимся и не знал пока, что ему делать, как быть и как держать себя по отношению к разным городским и уездным дельцам, с которыми у него существовали деловые и коммерческие сношения по заводу? Как они все отнесутся к случившемуся с ним казусу, и какую роль по отношению к этому казусу было бы всего приличнее принять ему на себя перед ними?.. Состояние его духа становилось тем угнетеннее, что у него не было ни одного сердечо близкого к нему человека, с которым можно бы поделиться своим горем, отвести душу, посоветоваться.

Всю эту стряпнувшуюся над ним иронию судьбы и все муки собственного раздавленного самолюбия и порвавшихся надежд он должен был одиноко переживать и перерабатывать в себе самом, не видя пока никакого просвета и возможности вернуть потерянное или поправить порванное хотя бы в более или менее отдаленном будущем. В таком состоянии духа ему хотелось бы куда-нибудь забиться подалее от людей и жизни, чтобы ничего не знать, никого не видеть, ни о чем не слышать и поскорее забыть о всех и обо всем и чтобы о нем тоже все позабыли. В первые дни в особенности он чувствовал себя глубоко несчастным человеком, жестоко и беспричинно обиженным и оскорбленным какою-то глупой роковой судьбой. В город его не тянуло более, — там все и вся стали ему как-то противны, и все преувеличенно казалось, что-не только знакомые, но каждый встречный уличный мальчишка, каждая торговка базарная непременно должны знать и перетряхивать всю подноготную о его свадьбе, заниматься его особой и издеваться над ним; а уж о встрече с Закаталовым или Сычуговым нечего и гово-

ритель. Одно воспоминание об их противных, самодовольных рожах коробило его нервы и будило в нем желчь. Что же до эмансипированной бойкой судыхи, то ее он просто возненавидел, так как она всех больше царапала его самолюбие на свадьбе и, будучи ему столь близкою, вдруг так легко, с таким бессердечным равнодушием повернула свой фас в противную сторону, сразу предоставив себя в распоряжение прежнего своего «друга». Это уж, в самом деле, чересчур было обидно и больно для самолюбия графа. Не то чтобы он ревновал ее, но досадно ему было сознавать, как бесповоротно шлепнуто в ее глазах его достоинство и как он должен казаться ей теперь самым смешным и жалким «мужчинкой», — он, такой элегантный, блестящий джентльмен, избалованный поклонением женщин, одну улыбку которого эта захолустная львица должна была бы считать за величайшую для себя честь и счастье. Брезгливо, желая уйти от всего этого кохма-богословского мира и его атмосферы, пропитанной «хозяйским клубом», Сычуговыми и Закаталовыми, граф даже приказал камердинеру сдать

свою городскую квартиру и перебраться с чемоданами и датским догом на завод, — пускай-де ничто не напоминает о нем в этом противном городе! Долгое время он решительно не хотел видеть никого постороннего, кроме своих рабочих и служащих при заводе. Каждый новый посетитель, вроде станового, волостного старшины или приходского батюшки, невольно заставлял его как-то съеживаться внутренне и глядеть на гостя подозрительными глазами, — уж не пожаловал ли, мол, и ты полюбоваться, каков я стал после скандала?

Впрочем в замкнутом одиночестве Каржоль оказалась со временем и своя целительная сторона. Оно скорее, чем в городе, с его сутолокой и сплетнями, помогло ему придти в себя и успокоиться. Здесь он чувствовал себя, как говорится, «на лоне природы», куда не доходили до него никакие раздражающие слухи и вести, так что, с течением времени, мало-помалу улеглось в нем и это чувство подозрительной недоверчивости к посторонним посетителям. Но беда в том, что, вместе с этим успокоением, Каржоль стал как-то апа-

тично равнодушен ко всему — и к делу, и к людям. Не только в «чужое место» не тянуло его более, но и в заводские помещения стал он заглядывать все реже и реже; конторские книги тоже подолгу не проверялись им и вообще все дело, несмотря на его личное присутствие, велось спустя рукава и шло через пень в колоду. Компаньон Гусятников пропал в Москве у Ермолая да в Грузинах с цыганками и в последние месяцы ни разу даже не заглянул на завод, словно бы его не существовало; на письма и телеграммы по целым неделям не получалось от него ответа, и Каржоль понимал, что дело так продолжаться не может. В начале ему казалось даже очень удобным такое беспутство его денежного компаньона, так как он надеялся, поставить завод на ноги, взять его со временем за себя одного на льготных условиях; но на практике оказалось совсем иначе. Не будучи сам специалистом дела, граф мало-помалу очутился в руках своего техника и мастеров и чувствовал, что они обстоятельно надуют его; но как проверить и уличить их, — на это не было у него ни сноровки, ни знания. Да и сам он

потерял теперь всякий «смак» к этому делу. Оно не интересовало его более, потому что после подневольной женитьбы — какой смысл оставался для него в работе, долженствовавшей, по первоначальному плану, дать ему капитал на выкуп документов у Бендавида и средства на процесс за миллионное наследство Тамары, тотчас же вслед за браком с нею! Все эти планы разрушились, стало быть, что же? Оставаться всю жизнь чем-то вроде старшего приказчика у господина Гусятникова?! — Но пока ничего другого, даже в отдаленной перспективе, не представлялось Каржолю. Жил он теперь так, что день да ночь, сутки прочь — и слава Богу, жил, стараясь не думать о будущем и ничего больше не желая и не ожидая от жизни. Так, по крайней мере, самому ему казалось в то время. Он, видимо, начал опускаться и даже о собственной наружности и костюме не заботился более.

Мордка Олейник одно время совсем было потерял его из виду и ничего не мог корреспондировать в Украинск дядюшке Блудштейну, кроме того, что живет-де Каржоль, как слышно, на заводе, никуда не показыва-

ется и что там делает, — неизвестно. Но для Блудштейна вопрос о том, что именно граф делает, и был всего интереснее. Оставил ли он окончательно свои намерения насчет Тамары? Не затевает ли втихомолку опять какую-нибудь каверзу? Может, он, и без женитьбы на ней, подуськает ее искать судом своих прав и капиталов и станет тайком помогать ей? Хотя и трудно допустить чтобы такая штука удалась ему, но — как знать, чего не знаешь?.. Осторожность не мешает, наблюдение, до поры до времени, все еще необходимо. — В силу таких соображений дядюшки Блудштейна и его новых инструкций, Мордка Олейник, в одно ноябрьское утро явился вдруг на завод к Каржолю, с которым до тех пор лично совсем даже не был знаком, и сразу попросил у него для себя место приказчика, или иное какое, — на что милость его графская будет, — «абы только хлеба кусочек кутить». Тот объявил ему, что мест свободных нет и что вообще без залога он на места по заводу никого не принимает.

— Но и каково таково залогу?!.. И на что вам залог?.. Я сам за себя буду залогом, — воз-

ражал ему Мордка. — И места же у вас не казенные, — абы только воля ваша была, а место для бедного человека всегда сделать можете... А может, я вам буду еще очень даже полезный, затово что я все знаю и все могу, каково дела не спросите, я все могу...

Ничего не подозревавший Каржоль сначала было не хотел брать его, просто как жида, и тем долее, когда прочел в его билете, что он из обывателей города Украинска, — тут уже против Мордки оказался и личный «зуб» Каржоля на всех украинских жидов вообще. Мордкино дело казалось совсем уже «швах», но Мордка пристал к Каржолю так слезно и канючил у него себе место так назойливо и убедительно, говоря, что он «все может», и сопровождая свои просьбы такими уморительными ужимками, подмигиваниями и вздохами, что в конце концов тому стало и противно, и смешно, и жалко глядеть на этого несчастного еврейчика. Каржоль давно уже не знал, что такое улыбка на своем лице, а Мордка, с его уморительною мимикой, впервые заставил его рассмеяться. Это был признак очень утешительный в пользу Мордки.

Кроме того, графу пришла еще мысль, нельзя ли будет со временем через этого еврея навести в Украинске справки насчет своих векселей? — Идея показалась ему «подходящей», и он решил себе (черт с ним! один еврей куда ни шло!) — оставил Мордку при заводе в должности... ну, хоть второго помощника у старшего конторщика. А Мордке только этого и нужно было.

Проползя на место ужом, Мордка через несколько времени мало-помалу оперился, вкрался в доверие к Каржолу, показывая ему вид бескорыстной преданности интересам его дела и кармана, нашептывая порою на техника, конторщика и мастеров и, вообще, подкупая его своей, на все готовой, услужливостью. Он даже сумел сделаться для графа необходимым развлечением — отчасти, как собеседник, отчасти как шут, — среди однообразия и скуки заводской жизни зимою, в глуши и в ближайшем соседстве с деревней, из которой все взрослые мужчины и девки обыкновенно уходили на заработки в Кохма-Богословск, по фабричному делу. Достаточно же оперившись, Мордка Олейник не за-

медлил открыть в, своем новом гнезде гешефтмахерскую деятельность. Под сурдинку, негласным образом стал он снабжать рабочих деньгами под залог вещей и на хороший «пурцент»; затем под величайшим секретом начал продавать им беспатентную водку, хотя и разбавляемую им водой, но сдабриваемую для крепости перцем и отчасти табаком; продавал также по мелочам фабрикованный чай пополам с капоркой — продукт успешно производимый его сородичами в Кохма-Богословске, сахар и мыло, махорку и свечи, даже красный товар из бракованных кусков, и гармоника. Делалось это даже с разрешения Каржоля, которого Мордка успел уверить, что для рабочих гораздо выгоднее покупать все необходимые им вещи на заводе, у себя дома, на книжку в счет заработной платы, чем шататься за ними в город. Умолчал он перед графом лишь о негласной продаже фабрикованной водки и негласной кассе ссуд; но тому, по мнению Мордки, и знать этого не следовало. — «Зачэм?!» Таким образом, почти незаметно открыл Мордка при заводе свою собственную лавочку, а затем, мало-помалу рас-

пространил свою коммерческую, ростовщи-
чью и негласно-корчемную деятельность не
только на соседние селения, но и на всю бли-
жайшую округу. Он как клещ присосался к
этой местности, обеспечив себя, разумеется,
«хорошими отношениями» с местной поли-
цией (для Мордок, вообще, это никогда не
лишнее) и уже через какие-нибудь три-четы-
ре месяца почувствовал под собой, до извест-
ной степени, твердую почву. Не было на заво-
де того рабочего, а в округе той мужицкой се-
мьи, что не состояли бы так или иначе в дол-
гу у Мордки, считая его при этом еще необхо-
димым, золотым человеком, с которым очень
сподручно иметь дело. Сделалось это как-то
само собой, необычайно быстро и, в то же
время, почти незаметно. Каржоль был им до-
волен, дядюшка Блудштейн тоже, потому что
получал от него теперь, время от времени, са-
мые обстоятельные и успокоительные корре-
спонденции, — и Мордка во всех отношениях
чувствовал себя благополучнейшим евреем в
местности, совершенно недозволенной для
еврейской оседлости. Но с легальной стороны
Мордка был чист: он и не покушался на проч-

ную оседлость — он только «ремесленник», «интеллигент», служащий при своем деле, как «шпициалист», на заводе, а к тому же и билет у него такой, что дает ему право на проживание вне пресловутой «черты».

Но если дела Мордки Олейника шли в гору, то дела завода все более и более спускались по наклонной плоскости, так что не оставалось ничего, как только ликвидировать их поскорее. Купцу Гусятникову, проживавшему унаследованные капиталы, было все трын-трава: не удалось, так и побоку! ликвидировать, так ликвидировать, только с одним условием, чтобы ему не приплачивать к этому делу ни копейки. При этом последнем условии, Каржоль очутился в очень неприятном положении. Дело и самому ему надоело по горло, и он рад был развязаться с ним; но беда в том, что за уплатой всех, к счастью, не особенно еще крупных, долгов да расчетом всех рабочих и служащих, по распродаже всего заводского инвентаря и недвижимого имущества, по расчету графа, в собственном его бумажнике должно остаться всего на все лишь триста с небольшим рублей, и впере-

ди — ровно ничего определенного. С таким капиталом далеко не уедешь, а оставаться в Кохма-Богословске не было больше никакой цели. Купец Гусятников, к которому граф нарочно даже ездил в Москву, уламывать его, уперся, как бык, и, швыряя на цыганок да на француженок по тысячи в вечер, не дает больше на «дело», на «приличное» окончание его ни полушки. — «Ты, говорит, и то еще спасибо скажи, что я тебя самого к суду не тяну, потому некогда мне такими скучными пустяками заниматься!» — Положение для Каржоля выходило совсем скверное: пришлось ни с чем возвратиться на завод и заканчивать дело на нет, почти впустую. Куда ж теперь ему деваться?.. На казенную службу разве?.. Но куда и на какую?.. Взять какое ни на есть, первое попавшееся место для него невозможно: он не кто-нибудь, ему нужно жить прилично, поддерживать отношения, — нечего больше халатничать да киснуть! это хорошо было на заводе... теперь надо встряхнуться, взять себя в руки! Надо жить, и жить не по-свински, а для этого нужны хотя скромные, но приличные средства, — тысяч шесть, семь в год жало-

вания, по наименьшей мере. Но это уже директорские да губернаторские места, с подобным содержанием, — для них нужна особая протекция, особый случай, нужно самому быть в Петербурге, на виду, напоминать о себе, — ну, а для всего этого необходимы время и деньга. Первого у него — сколько угодно, а денег — *moins que rien!* Какие-нибудь триста рублей, разве это деньга?.. Концессию какую заполучить бы, что ли, с правительственной гарантией... Хорошо бы! Или вот, если бы в директора-учредители какой-нибудь акционерной компании, страхового общества или банка какого-нибудь, что-нибудь в таком бы роде?.. Да, конечно, это бы лучше всего, и его громкое имя дает ему все права на такое солидное положение: громкое, аристократическое имя во главе акционерного предприятия уже само по себе составляет крупный шанс его успеха; это хорошо позирует самое дело, привлекает к нему доверие вкладчиков... Но для этого, прежде всего, нужны опять-таки счастливый случай и приличная обстановка, то есть все те же деньги, деньги и деньги...

К этому времени Каржоль совсем уже при-

мирился со своим положением «соломенно-го мужа» и даже нравственно успокоился и оправился настолько, что вновь почувствовал в себе аппетит к какой-либо «продуктивной» и «зарабатывающей» деятельности. Куда бы только направиться за этим?.. В Украинск разве, на хлеба к законной супруге? — Но нет, это слишком унижительно, да и Ольга едва ли примет его, да и еврей в Украинске, Бендавид...

По мере нравственного успокоения, Каржоля все более и более начинал существенно интересоваться вопросом: правда ли то, что Ольга преподнесла ему в виде свадебного подарка? Действительно ли векселя его исчезли во время Украинского погрома, или же это была не более, как злая шутка с ее стороны? — Мысль эта стала занимать его еще с февраля месяца, и чем дальше, тем больше. Но как бы узнать это в точности? Каким бы путем удостовериться?.. Одно время он думал было позондировать на этот счет Мордку Олеиника, — нельзя ли через него проведать хоть что-нибудь, навести в Украинске заочные справки, — ведь есть же там у Мордки, вероятно,

какие-нибудь родственные связи или знакомства, — он мог бы списаться, спросить... И граф однажды повел с Мордкой речь, несколько издалека: давно ли Мордка из Украинска? Слышал ли что о тамошнем погроме? Не знавал ли там известного богача Соломона Бендавида? — Но Мордка, как только услышал слово «Украинск», сейчас же смекнул, что такой вопрос предлагается ему, вероятно, неспроста и что поэтому надо быть начеку и держать себя очень осторожно. На первый из этих вопросов он, с добродушным видом, отвечал одним лишь неопределенным «давно» и прибавил в пояснение, что он хотя и значится по билету украинским мещанином, но это лишь по месту приписки его к обществу, а самого его вывезли-де из Украинска еще маленьким, и он с тех пор не бывал там; что же до погрома, то знает о нем только из газет, а Бендавида и вовсе не знает: слышал, правда, что есть такой богач, благочестивый человек, но и только. Таким образом, расчет Каржоля на Мордку оборвался по первому же приступу; Мордка же про себя принял это к сведению и стал еще осторожнее и внима-

тельное следить — не затевает ли граф какой штуки?.. Но штук, по-видимому, никаких не затевалось, и Мордка успокоился, продолжая «верой и правдой» служить своему «графскому сиятельству» и обдeldывать свои гешефты между рабочими и крестьянами.

Когда наконец дела завода были ликвидированы, граф увидел себя на таком жизненном распутьи, что, казалось, куда ни кинь, все клин выходит. Надо на что-нибудь решаться: или пулю в лоб, или... Нет, впрочем, пулю еще рано, — её *nest quine phrase!* — да и вообще, что за решение такое пуля, когда организм еще полон сил, и человеку умирать еще не хочется!.. Напротив, не киснуть надо, а действовать, и действовать решительно, смело, наступательным образом, — словом, ставить игру свою ва-банк! Он обдумал и решил себе, что лучше всего ему, пока еще триста рублей в кармане, ехать прямо в Украинск теперь же, сразу. Если векселей точно не существует, то жидаы ничего с ним не поделают, и он, по крайней мере, удостоверится в своей свободе, — и то уже великое благо! Если же векселя есть, то хотя бы Бендавид и предста-

вил их к взысканию, взять с него, все равно, нечего... Ну, да тогда можно будет или на ком-промисс какой-нибудь пойти, или еще загодя благоразумно ретироваться. Одним словом, поездка в Украинск — это будет своего рода рекогносцировка. Кстати же, там живет и его теть, а может быть и сама супруга. В случае чего, если им присутствие графа в Украинске покажется неудобным, — что ж! — они должны будут дать ему приличную возможность выбраться оттуда без скандалов. Это даже не будет с их стороны подачкой, — подачек граф Каржоль де Нотрек, слава Богу, пока еще не принимал и не примет ни от кого, но в долг взять — это иное дело! В долг он может позаимствовать у них и, как порядочный человек, конечно, Постарается отдать при первой же возможности. И так, в Украинск!.. Кстати, война только что объявлена, — на всем юге такое движение, такое скопление войск, оживление промышленной деятельности, жизнь ключом кипит, и золото льется... Там теперь нужны люди с головой, деятельные, предприимчивые... Теперь-то там и делать дела... Что ж, авось-либо и выгорит что-нибудь

подходящее? — Да, именно, — «Dahin, dahin wo die Citronen blühen!» решил себе граф, уже увлекаясь этой последней идеей, и приказал своему человеку живо укладывать чемоданы, — завтра-де уезжаем.

Мордка Олейник, хотя уже и рассчитанный графом, но все еще проживавший на заводе, впредь до ликвидации своих собственных гешефтов, как только увидел возню графского камердинера с чемоданами, немедленно же проюркнул в контору и скромно стал у притолоки дверей, ведущих в графскую комнату.

— Что скажешь? — обернулся на него Каржоль.

— Так... ничего, — подернув плечом, замылся несколько Мордка. — Может, помочь чего нужно? — продолжал он после некоторой паузы. — Ваше сиятельство уезжаете, слышно?

— Уезжаю, братец, уезжаю! — подтвердил Каржоль, с веселым и довольным видом потирая руки. — Надоели вы мне все по горло, — ну, да Господь с вами! Не поминайте лихом!

— Пфссс!! — покачал головой Мордка. — Так скоро?!. Ай- яй!.. И мне ж это очень до-вольно грустно... Я так уже привыкал до ва-шего сиятельства... мне так жалко из вас, так жалко, что я аж плакать готовый!..

И испутив печальный вздох, Мордка за-молчал, как бы подавленный собственным грустным чувством, но затем, слегка ступив шаг вперед, спросил осторожно, почтительно и тихо:

— А куда ехать думаете!

— Ох, далеко, брат, отсюда, — на твою ро-дину! — весело объявил Каржоль, ничтоже сумняшеся в преданном ему Мордке.

Тот так и встрепенулся, точно бы его ши-лом кольнули.

— На моя родина? — удивленно и как бы в полном недоумении повторил он за графом.

— Звините, на какво таково родина, гово-рите вы?

Это в самом деле, было совершенной неожиданностью для Мордки.

— В Украинск, пояснил ему граф, — в город Украинск, понимаешь?

— В Украинск?! — словно бы в испуге, вы-

пучил глаза Мордка, совершенно ошарашенный точной определенностью последнего ответа, и затем, подумав, деликатно и осторожно добавил: — звините, то, может быть шутки?.. Зачиво вам в Украинск?

— Да ведь надо же куда-нибудь ехать! Не сидеть же здесь!

— Так, но... зачиво в Украинск?.. И что вашему сиятельству, такому большому барину, там делать!? — Совсем даже пустой и глупый город!.. Лучше же на Москва, а не то на Пизтер, — там скорее хороших делов можно найти себе.

— Ну, а мне Украинск больше нравится, — там у меня тоже не без дела!

Озадаченный Мордка стоял у притолоки, закусив губу, и ничего не возражал более.

— И ваше сиятельство позвольте мне завтра провожать вас? — почтительно и как бы с грустью проговорил он после некоторого молчания.

— Если желаешь, — согласился граф, — отчего же!

— Благодарю вам, — скромно поклонился ему Мордка и тихо вышел из комнаты.

На следующий день, рано утром, Каржоль действительно выехал в Кохма-Богословск, но, не останавливаясь в городе, приказал везти себя прямо на железнодорожную станцию. К его удивлению, первый, кто встретил его там, был Мордка Олеиник, умудрившийся какими-то судьбами поспеть сюда заблаговременно, еще чуть ли не до свету. Он все время предупредительно суетился теперь около графа с разными своими услугами, — то чемоданы помогал перетаскивать и направлял их к весам, то наблюдал за мелкими дорожными вещами и, следуя за Каржолем к кассе, чутко прислушивался, в то же время, до какого именно пункта станет он спрашивать себе билет? И когда граф взял билет прямого сообщения до Украинска, для Мордки уже не осталось никакого сомнения, что он именно туда и направляется. До сих пор ему все как-то не хотелось верить этому, все казалось, не шутит ли с ним граф; но теперь еврейчик озадачился уже не на шутку и даже очень встревожился! — «Зачем, в самом деле, ехать Каржолю в Украинск? Чего забыл он там, и что за дела такие у него вдруг открылись в Украин-

ске?.. И как же это он так смело, даже дерзко... Точно бы и знать не хочет, что ему запретили въезжать туда, — сам же слово давал и носу туда не показывать, — и вдруг... Уж не пронюхал ли, Боже избави, чего?.. Вот так штука будет!.. О, тут что-то неспроста, что-то недоброе», решил себе Мордка и, проводив графа, сейчас же пошел на телеграфную станцию дать необходимую депешу.

«Гросс-пуриц сегодня выехал в Украинск», сообщил он дядюшке Блудштейну. — «Принимайте ваших мер. Олейник».

XI. НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ

Хотя бы и на последние свои деньги, но граф Каржоль «не привык» ездить по железным дорогам иначе, как гран-сеньором, с полным комфортом, в отдельном купе для себя, с местом во втором классе для своего «человека» и отдельной конурой в собачьем отделении для дога. — Так было и в настоящем случае. С полным удобством совершив почти весь свой путь и находясь уже в последних его стадиях, граф сошел в столовую залу пассажирской станции, в Киеве, намереваясь хорошо здесь пообедать, как вдруг, почти нос к носу, столкнулся — и с кем же?! — не более, ни менее, как с самим Абрамом Иоселиовичем Блудштейном.

— Граф!.. Из какими судьбами?! — изумленно растопырив руки, загородил «цивилизованный» еврей ему дорогу. — Вот встреча!.. Не ожидал, никак не ожидал!.. И здравствуйте ж!..

Во всех этих возгласах и приветствиях Блудштейна, к удивлению Каржоля, не только не было ничего враждебного или ирониче-

ского, но напротив, звучала нота удовольствия, даже чуть не радости такому приятно-му сюрпризу. Каржоль невольно опешивший было в самом начале, сразу оправился, услышав этот дружелюбно приветливый тон и, в свою очередь, тоже приветливо, но не без оттенка барской благосклонности, подал руку Блудштейну.

— Здравствуйте, почтеннейший, — проговорил он ласково, но несколько небрежно. — Вы это как сюда попали? — продолжал граф на ходу, направляясь к отлично сервированным обеденным столам.

— Я?.. Н-ну, што я попал, это не удивительно, — весело ответил Блудштейн. — Тут теперь у нас такие балшущие дела, такая коммерция, — Бог мой!.. А вот вы из какими судьбами, ваше сиятельство? — Это гораздо любопытнейше... Куда ехать изволите?

— А вы куда? — спросил Каржоль, уклоняясь как бы невзначай от прямого ответа.

— Я?., я к себе до дому; в Украинск, — уже и билет имею.

— С этим поездом?

— С ним самым, в первом классе.

Каржолу это не совсем-то понравилось, но — делать нечего — шила в мешке не утаишь: раз что уж такая встреча случилась — скрываться, стало быть, не за чем.

— Значит, нам по дороге, — небрежно оборонил он слово, просматривая обеденную карточку.

— Как по дороге?.. А вы разве тоже в Украинск? — изумился Блудштейн, по-видимому, непритворно.

— Тоже, — кратко кивнул ему головою граф, занятый в эту минуту более существенно заказом официанту какой-то порции.

— Вот как! — еще с большим удовольствием подхватил Абрам Йоселиович. — Значит, вас можно поздравить?

— С чем это? — в недоумении, слегка нахмурил тот брови.

— Ну, и как с чем!.. Значит, вы при больших капиталах?

— При капиталах?.. Почему вы так заключаете?

— А как же ж! Очень просто: из-за того, что едете в Украинск... Значит, вы хотите расплатиться из кредиторами, с нашим бедным

Бендавид?.. Этово очень, очень хорошо с вашей стороны!.. Такое время, знаете, што деньги теперь очень нужны, — ай, как нужны!

Каржоль с некоторым удивлением скользнул по нем взглядом и ничего на это не ответил.

— Однако, я есть хочу, — пробормотал он как бы про себя. — До свидания, почтеннейший, еще увидимся.

И с ласковой небрежностью кивнув головою Блудштейну, граф с аппетитом принялся за поданную ему тарелку малороссийского борща, с ватрушками и гренками.

«Однако, надо будет по дороге пощупать этого Иоселиовича», решил он себе, ввиду некоторых, сейчас лишь обеспокоивших его, сомнений. — «Почему это он с такой уверенностью заключил вдруг, что я при больших капиталах и еду расплачиваться?.. Неужели же документы целы?..»

Увы! — он был слишком далек от понимания истинного положения дела... Ему и в голову не могло придти, что тотчас же по получении последней телеграммы от Мордки Олейника, Абрам Иоселиович и Бендавид с их

друзьями страшно всполошились и даже перепугались. — Как?! Каржоль возвращается в Украинск! — Гевалт!.. Что ж это значит?.. Верно, до него дошли сведения о гибели документов, — иначе как бы он осмелился?.. Хотя и женили они его на барышне Уховой, однако она с ним не живет, он свободен и — почему знать! — может, еще не бросил свои шашни с Тамарой?.. может, они даже переписываются иногда между собою, — хотя, казалось бы, Мордка должен был знать про то, если б оно было так!.. Ну, а если это у них как-нибудь так хитро делалось, что даже и Мордка не заметил?.. Ох, все, все может быть в этом ужасном, испорченном мире, даже чего и не придумаешь! Может, граф едет сюда нарочно, чтоб убедиться на месте, точно ли документы его не существуют больше? — О, это почти наверное так, потому что Мордка в последнем письме своем сообщал, что за ликвидацией завода, Каржоль остался ни при чем, с самыми ничтожными деньгами. А если едет без денег, — значит рассчитывает, что документов нет, что мы против него бессильны?.. Нельзя, невозможно допустить, чтоб такое убеждение

его оправдалось! — Он должен оставаться в узде. Зачем ему ехать сюда, с какой целью? Какие его намерения? Вернее всего, что хочет разведать почву, узнать в каком положении Бендавид и Тамарины капиталы! Уж не стакнулись ли они вдвоем поднять дело судом? Может, он уже успел убедить и науськать эту погибшую, на все способную девчонку, чтоб она начинала иск, а сам делает для этого предварительную разведку? Друзья Бендавида, с Блудштейном во главе, остановились на этом последнем предположении, как на самом, по их мнению, логичном и вероятном, ввиду такого поразительного факта, как отъезд Каржоля в Украинск. Что тут делать, какие меры принимать? Они решили, что прежде всего, конечно, надо помешать его приезду, не допустить его до Украинска, где он мог бы так или иначе добраться до правды, — значит, надо перехватить его где-нибудь на дороге и успеть переубедить, если он думает, что векселя исчезли, а затем сейчас же, с дороги, либо заставить его повернуть назад, либо направить куда-нибудь в другую сторону. Главное — не допустить до Украин-

ска и убедить, что векселя целы. Задача хитрая и нелегкая; но в «мондрой головы» Абрама Иоселиовича, словно по вдохновению, опять мелькнул чудесный план, по которому выходило, что не только приезд Каржоля не должен быть допущен, не только сам Каржоль обязательно будет направлен на иной путь, но и из всего этого приключения Украинский Израиль должен еще извлечь для себя особую пользу, — да, именно пользу, и даже из самого Каржоля!

Хотя у Абрама Иоселиовича, с объявлением войны, оказалась на руках масса дел и хлопот огромного значения, ибо он вступил видным деятелем в «Товарищество» Грегера, Горвица и Когана, как крупный представитель Украинского еврейского общества, вверившего ему значительные капиталы на это баснословно выгодное дело, — тем не менее, Абрам Иоселиович не доверил никому свой план уловления Каржоля и решил взять исполнение его на себя самого, «потому что дело очень деликатное, тонкое и, Боже избави, испортить его!»— Ради этой цели, он выехал в Киев, куда, кстати, призывали его и собствен-

ные денежные дела, и положил себе дожидаться там приезда Каржоля, который никоим образом не мог миновать этого пункта. Перед приходом каждого курьерского и пассажирского поезда из Курска, он аккуратнейшим образом самолично дежурил на дебаркадере и был столь удачлив, что на другой же день как раз и захватил тут Каржоля.

Между первым и вторым звонком, прогуливаясь с сигаретой в зубах по платформе, граф опять встретился с Блудштейном.

— Вы, кажется, говорили, что едете в первом классе? — остановил он его. — Не хотите ли вместе?.. У меня отдельное купе, просторно, — потолкуем на дороге от скуки...

Абрам Йоселиович, конечно, не преминул с величайшим удовольствием принять это приглашение. Каржоль как будто сам облегчал ему его «деликатную задачу».

— Ну-с, так как же это, почтеннейший? — с веселою улыбкой и шутливым тоном, но немножко высокомерно начал Каржоль, с покровительственной фамильярностью похлопав Блудштейна по колену, когда поезд уже тронулся от станции. — Расскажите-ка, рас-

скажите, почему это вы предполагаете, что я при «больших капиталах»?., а?

— Я же сказал, вы же знаете, — уклончиво возразил Блудштейн, также принимая тон любезной, но сдержанной шутки: затово, што вы в Украинск ехаете. Я так думаю, — пояснил он с ударением, подчеркивая последнюю фразу.

— Хм!.. Так, по-вашему, без «капиталов» я не мог бы ехать туда? — продолжал Каржоль, ухмыляясь и как бы подсмеиваясь дружески над собеседником.

— Я так думаю, — повторил тот не без веской значительности, хотя и постарался придать своему ответу как можно более еврейской «деликатности», чтобы — Боже избавь! — не оскорбить как-нибудь своего титулованного *vis-a-vis*.

— Почему же так? — весело подзадоривал его граф, продолжая вызывающе глядеть на него дружески наглыми, смеющимися глазами, словно бы нашел себе в лице Блудштейна маленькое развлечение, потеху от дорожной скуки. — Нет, нет, в самом деле, почему вы так думаете?

— Ну, и сами же вы знаете, — продолжал уклоняться еврей, с легким лукавым подмигиванием. — Что же мне говорить!

— Ну, нет, однако?

Тот только плечами пожал, как на совсем пустые речи, не стоящие даже траты слов на них.

— А представьте себе, — продолжал в том же тоне Каржоль, — что я без всяких «капиталов» и вдруг все-таки еду?.. Ну-с, милейший мой, что вы на это скажете?

— Скажу, что никак этому не можно быть, — ответил еврей с полной уверенностью.

— Ну, а если?

— Пфсс!.. Каково тут «если»?.. Никаково тут «если» не может и быть!.. Никто за своей доброй воли до волка в зубы не полезет... и вы же для того слишком умный человек.

— Мерсі за лестное мнение! — с легкой иронией кивнул головою граф; — только, видите ли, почтеннейший, мне думается, что никакого там у вас волка нет, а если и есть, то беззубый, которого и бояться нечего.

— Што ви хотите тим сказать, граф? — как

бы недоумевая, спокойно спросил Абрам Иоселиович.

— Не более того, что сказал, — то есть, что «волчьи зубы» — это пустые страхи, плохое пугало, которого птица перестала бояться.

— Звините, но я вас не понимаю, граф — переменяя шуточный тон на серьезный, заметил Блудштейн. — Зачем мы будем говорить баснями! Будем лучше прямо! — Если вы едете, чтобы расплатиться на квит, ну, то так, этово я понимаю. А если нет, то зачем? Разве же вы забыли условия?!

— Мм... Я думаю, что эти условия не действительны более.

— Значит не действительны? — спокойно удивился Блудштейн. — Вы же сами знаете, тут докумэнты!

— Хм!.. Документы!.. А если вот именно документов-то этих и нет.

— Не-ет?.. Как нет?.. Куда ж им подеться?

— Мало-ль куда! Предположим, что исчезли.

— Счезли?.. Но куда ж они могли счезнуть?.. И зачем им счезнуть?

— А если их, например, во время вашего

погрома толпа на мелкие клочки изодрала?..
Ну-с?

— Ха-ха-ха! — засмеялся Блудштейн, небрежно махнув на это рукой, как на самый детский вздор и величайшую нелепость.

— Неужели и до вас дошли эти глупый слухи?! И невжели ви, такой умный человек, могли поверить такому глупству?!. Ай-яй, граф, этого завеем даже на вас не похоже!.. Это удивительно мне даже слушать!..

— Однако, знаете пословицу, нет дыма без огня, — возразил Каржоль, недоумевая в душе, правду ли говорит Блудштейн, или только ловко притворяется? — Если такие слухи есть, — добавил он, — то на чем-нибудь они да основаны, согласитесь сами.

— Это правда, основаны, — согласился и охотно подтвердил Абрам Иоселиович, приподымая к лицу ладони, — но на чем основаны?.. Вы знаете, на чем? Вы можете сказать этово?

— На том, что толпа, ворвавшись в дом к Бендаvidу, нашла у него документы и уничтожила их, — вот на чем!

Блудштейн молча и серьезно, чуть-чуть

лишь подернув углы губ легкой улыбкой, которая, казалось, говорила: «мне жаль тебя, братец, какой ты легковерный и легкомысленный!» медленно покачал в отрицательном смысле головою.

— Слухи есть основаны на том, — начал он объяснять самым методическим образом, — што у каких-то там мелких ремесленников, — ну, скажем портных, сапожников ну, у лавочников, там, действительно, толпа находила разных счетов, даже векселей, ну, и рвала их... Это так, это верно. Но штоб у Бендавид она рвала, — это, звините, глупость! Такой серьезный человек не будет держать своих документов так, на фуфу, как афишке на столе, а запрячет их в надежнаво месту... И я вам скажу толпа очень даже старалась разбить его кассу жалезную, но — слава Богу, не могла, как не билась!.. То так, поверьте!.. И документы ваши — могу заверить вас честным моим, словом — целешеньки! — Бендавид не такой дурак, как, может, ви себе думаетю!

Этот спокойный, авторитетно уверенный тон, каким серьезно и твердо говорил теперь Блудштейн, невольно заставил Каржоля внут-

ренно дрогнуть и поколебаться. — «А что, как и в самом деле правда?»

— То так! — еще раз солидно подтвердил еврей, слегка дотронувшись до его руки ладонью. — И ежели вы только на таком, звините, легком основаньи додумали себе ехать в Украинск, мне очень жаль вас..

— Почему же? — спросил граф с напускной улыбкой равнодушия.

— Потому што Бендавид скрутит вас, как только вы покажетесь, идохнуть не даст!.. Вот увидите!

Каржоль поглядел на него пытливыми, но уже далеко не наглыми глазами, точно бы желая проникнуть, в какой мере слова его искренне и согласны с истиной.

— Ну, и што же затем? — продолжал собеседник тоном несколько презрительного сожаления. — Обвяжут вас через полицию с подпиской о не выезде; может, заарестуют, все узнают, — сшкандал!.. Ни чести, ни ужитку, только страм один!.. Пфуй!.. И какой вам интэрсс, не понимаю!

И он с оттенком уже брезгливого сожаления еще раз покачал головою.

Каржоль сознавал себя в душе совсем сбитым с позиции. Веская убедительность и, по-видимому, полная искренность слов и доводов Блудштейна сильно-таки смутили его. Он не сумел даже притвориться, как следует, чтобы скрыть свои расстроенные мысли и чувства, и призадумался довольно уныло, вперив рассеянный взгляд в окошко, на приближавшиеся и уходившие мимо пашни, луга, столбы и деревья...

— И чего вам? Какая охота, скажите на милость? — продолжал, между тем, Блудштейн, с видом того же безразличного сожаления. — Человек вас не трогает, оставляет, кажется, в покое, — чево вам еще?!. Самому лезть до быка на роги!.. Пхе!..

— Да мне, по своим личным делам, нужно с женой повидаться, я к жене собственно еду, — сделал вдруг Каржоль слабую попытку к оправданию, первую, какая сейчас пришла ему в голову.

— К жене-е?.. К сюзруге вашей? — переспросил Блудштейн, словно бы не доверяя собственному слуху. — Ну, когда так, то, звините, вы немножко ошиблись вашим марш-

рутом: супруга ваша проживает в Петербурге, а не в Украинске... А сам генерал, — не думаю чтобы он вас принимал, — вы же его знаете... И все же, чуть вы покажетесь, Бендавид вас скрутит. — Не генерал же будет платить за вас!.. Вот попомните мои слова, што скрутит!..

Нахождение Ольги в Петербурге оказалось совершеннейшею новостью для Каржоля. Он никак не ожидал этого и очень удивился.

— Ага!.. Вот видите, мы знаем на этот счет немножко больше, как ви сами! — не воздержался, чтоб не похвалиться пред ним, с торжествующей улыбкой, Абрам Иоселиович. — И как же ви хотите, чтоб ми не знали после того, што целые ваши докумэнты у Бендавид!? — Ха!.. Ну, подумайте!

И Каржоль узнал из рассказа Блудштейна, что генерал Ухов, вернувшись с Ольгой после свадьбы в Украинск, тогда же выделил ей сполна всю ее часть, все, что предназначалось ей в приданое, после чего она вскоре уехала в Петербург, одна, и с тех пор там живет — и живет, кажется, «очень прекрасно».

От всех этих новостей, а главное, от вну-

шенной ему уверенности, что векселя его целы, Каржоль совсем поджал крылья и нахохлился. Поездка его в Украинск, при таких условиях, представилась ему в самом деле величайшим сумасбродством, которое, кроме вреда и скандала, ничего ему не принесет, а заставит, между тем, непроизводительно истратить последние деньги, и тогда что же? — Круглая безвыходность и нищета!.. Как легко и высоко подымал он крылья при удаче, или при полном бумажнике в кармане, так еще легче падал духом и поджимал хвост при безденежьи и неудаче, а тем более при крушении своих мечтательных надежд и эфемерных планов, основанных, как казалось ему, всегда на «самой реальной» и «практической» почве. — Достаточно было спокойно уверенного, ясно определенного тона, каким говорил с ним Абрам Иоселиович, чтобы граф не только разубедился в несуществовании своих векселей, но разочаровался и в первоначальной своей идее, будто жида все равно с ним ничего не поделали, если даже и представят на него ко взысканию, ибо взять с него нечего. — Тут он уразумел, однако, что поде-

лать-то подделают, и даже больше, чем можно было бы предполагать, потому что они благодаря подписке о невыезде, какою обяжет по полиция, заставят его черт знает сколько времени жить в городе и без толку проживаться там до последней копейки, и тогда уже приготовят ему крах полный и окончательный!.. Это грозная перспектива более всего смутила Каржоля.

— Да, да, граф, жаль мне вас, очень жаль! — со вздохом продолжал, после некоторого молчания, Блудштейн, не перестававший все время исподволь наблюдать за психикой своего собеседника и отлично подметивший на его лице ту внутреннюю перемену мыслей и настроения, что совершалась в нем в данную минуту. — И как это ви так легко мыслите! — продолжал он, с сожалением и укоризной покачивая головой, — мне даже, право, удивительно!..

— Да, но что ж делать!.. Я никак не предполагал, что жена в Петербурге... Это для меня такой сюрприз... Мне, напротив, писали, что она здесь, и я сам был уверен, что здесь... Мне так нужно было ее видеть!.. — оправдывался

граф не совсем уверенным тоном человека, чувствующего, что язык его как то сам собой лжет, а он не может ни удержать его, ни замаскироваться личиною правды.

Но Абрам Иоселиович, про себя, очень хорошо понимал, чт весь этот жалкий лепет его — не более, как пустая оправдательная увертка, пришедшая графу в голову только сейчас при разговоре.

Чего же вам так захотелось вашей графини? То верно «пенендзе» думали раздобыть у нее?.. А? — с бесцеремонным подсмеиванием спросил он вдруг, ободрительно и фамильярно похлопав в свой черед, графа по колену.

Того ужасно покорибило и даже царапнуло внутри по самолюбию, как от самого вопроса, так еще более от этой фамильярности, но он сдержал себя, как-то съежился малодушно и промолчал, будто и не заметил или не слышал, предавшись весь досадно-печальным размышлениям о своей неудаче.

Это пустое делу: «пенендзе» от графиню вы никак не получите, — продолжал со своею спокойной уверенностью Блудштейн. — А когда вам так нужно, то можно добыть гораздо

простейш... Заработать можно, и больших денег даже, очень больших! — абы только была ваша охота!

При этих последних словах, Каржоль чутко поднял голову, как лягавый пес, почуявший дичь, и поглядел испытующим взлядом на собеседника: в шутку ли он это, или в серьезную?

— Знаете, что, граф!? — подумав с минутку, заговорил Блудштейн даже с некоторым воодушевлением. — Ви знаете, я же всегда любил вас и, сколько мог, был до вас полезный... помните? — Бывало, ви только одново слова: «Абрам Осипович, как бы на перехватку?» — И Абрам Осипович завсегда выручал вам, — помните?.. Н-ну, то я вот что скажу вам: хотите ви заработать себе денег?.. И таких денег, што вы и с Бендавид расплатитесь аж до копейку, и себе еще целаго састоянья составите, — болшое састоянья!.. Хотите?

— Да вы шутите, что ли? — отозвался ему Каржоль с недоверчивой усмешкой.

— Зачем шутить!.. Я говору совсем серьезно, каких тут шуток!.. Вы мне скажите только, — хотите?

— Ну, разумеется, хочу, — излишне и спрашивать.

— Так... Н-ну, когда так, то слушайте.

И Абрам Иоселиович, приняв на себя значительный вид и тон, начал несколько изда- лека, объяснять ему, что вот, война объявле- на, а русское интендантство сразу оказалось «пфе!» — ничего-де не сумело ни устроить, ни заготовить, и русская армия, конечно, погиб- ла бы на первых же шагах своих от отсут- ствия продовольствия, если бы на спасение ее не пришли евреи. Три знаменитых еврейских патриота Грегер, Горвиц и Коган, умоляемые штабным начальством армии, великодушно согласились утвердить «Товарищество» по продовольствию войск, и теперь, благодаря им, армия спасена и обеспечена. Тут Абрам Иоселиович почему-то счел возможным пу- ститься в довольно интимную откровен- ность, что была-де, по правде сказать, одна группа московских купцов-миллионеров, ко- торые еще гораздо раньше, чем появился на сцену Грегер, предлагала штабу свои услуги в виде «Русского Товарищества», и московский купец Осипов составил даже проект всей опе-

рации и послал его в Кишинев, но куда им!.. «Разве таково дела нашим можно было выпустить за своих рук!»— «Насши» не дремали, успели вовремя разведать через «своих людей», в чем дело, и приняли меры. Пока проект Осипова лежал у кого-то в портфеле, какой-то таинственный «некто», воспользовавшись его идеей и некоторыми основаниями, сообщил их Грегеру, близкому к себе человеку, и подал ему счастливую мысль, что недурно бы взяться за такое патриотическое дело! — Ну, Грегер подумал, конечно, снесся кое с кем из «наших», посоветовался с самыми дошлыми адвокатами и составил компанию, которая сейчас же привлекла к себе массу еврейских капиталов и деятелей — «агэнтов» — со всего юга и юго-запада России, «затаво, што это таково дела, с котораго пагхнет маллионами, десятками, сотнями маллионов, и увсе на чиставо золота!»— И вот Абрам Йоселиович Блудштейн является теперь крупным деятелем этого самого «Товарищества», как представитель интересов Украинского еврейского общества, почтившего его «за своим доверием». «Товарищество» поставлено-де на самую

широкую ногу и пользуется громадным влиянием, — ему-де «обязательно», в силу условия, должны быть, по крайней мере, за неделю вперед сообщаемы все маршруты и конечные пункты движения всех корпусов и отдельных частей армии, их названия и наличный состав[2], то есть то, что нередко составляет секрет даже для высших командиров и управлений, так что «Товарищество» владеет государственными и военными тайнами — вот оно какое важное и каким необычайным доверием пользуется!

И вы понимаете, какие гешефты можно бы из этого делать, если бы «ми» были не так патриотичны!.. Конечно, по силе своего значения «Товарищество» нуждается в известной, бьющей в нос представительности, и ради этого пригласило к себе на службу не только евреев, но и русских, — людей непременно с известным общественным положением и именами: у Грегера, Горвица и Когана служат по вольному найму и штатские генералы, и бывшие губернаторы, и чуть ли не сенаторы, да еще как добиваются, как кланяются, чтобы только удостоили их взять! Но «Товарище-

ство», конечно, принимает к себе с разбором, — не каждый легко удостоится этой чести... По мнению Абрама Иоселиовича, граф Каржоль обладает всеми подходящими данными, чтобы быть не бесполезным «представительным агентом» «Товарищества»: он человек с громким именем, титулованный, образованный, светский, видный собой, вполне обладающий манерой держать себя с высоким достоинством и притом ловкий и изворотливый, так что в хороших руках, под руководством опытных дельцов, может не без успеха обделывать кое-какие дела и поручения «Товарищества».

— Нам такие люди нужны, — говорил ему Блудштейн, — затово што, знаете, докудова иногда нашего брата, обнаковенного еврея и не допустят, а то и разговарувать не захочут, — князю, или графу, как вы, двери до кабинету заувсегда открытые, — ну, и наконец, это, знайте, люди з важными чинами из титулами — это хорошо позует самаво дела, самаво «Товарищества», мы это хорошо понимаем!

И вслед за сими предварительными подхо-

дами и объяснениями, Абрам Иоселиович предложил графу — не хочет ли он поступить в агенты «Товарищества», что он, Блудштейн, легко может устроить ему это выгодное место, где граф будет получать очень хорошее содержание золотом, которое даст ему возможность жить вполне прилично, представительно и, кроме того, он будет, как агент, пользоваться известными процентами с поручаемых ему дел и операций. — «А вы знаете што з одново этово пурценту можно будет шутем заработать себе сто, двухстов, трохстов тысячов рубли, — затово што тут сотни миллионов циркулюют, и казна аничего не жалет, абы армия была сытая!»

— Н-ну, и вы не думайтю, — счел нужным добавить еще Блудштейн, не без самодовольной похвальбы, — вы не думайтю, што вы у нас будете первый агэнт с таким титулом, — вы найдете себе самую благородную компанию, што у нас уже служат и князя Турусовы и князя Оголенские, и фоны, и бароны. — и вы, таким образом, попадете в самое вийсшее общество! — это все наши, агэнты для представительности.

Предложение было слишком ярко, слишком соблазнительно и неожиданно, чтобы Каржоль мог от него отказаться, в особенности в таком крайнем положении, какое переживалось им в настоящее время. Он с увлечением бросился горячо пожимать обе руки Блудштейна и, в порыве благодарного чувства, назвал его даже своим благодетелем и спасителем.

— Ага! — заметил на это скромно торжествующим и отчасти назидательным тоном Абрам Иоселиович. — Теперь вы не будете себе думать, што всякий еврей — то «пархатый жид»? — Ми тоже умеем бывать велькодушни!

Он тут же условился с Каржолем, что этот последний, минуя Украинск, немедленно же направится прямо в Одессу, куда не далее, как через день после него приедет и сам Блудштейн, — ему на одну только минутку надо заехать домой, — а там, в Одессе, он представит графа одному из трех главных тузов «Товарищества», и этим представлением будет, так сказать, санкционировано его определение на службу. По всей вероятности, в тот же

день будет заключено с ним формальное условие и с того самого числа начнет он получать свое жалование, а кроме того, в счет будущих процентов, ему, вероятно, будет выдан авансом некоторый куш на представительность, — уж Абрам Иоселиович позаботится и сам похлопочет об этом! Что же касается его долга рабби Соломону Бендаvidу, то Абрам Иоселиович берет на себя уговорить старика на сделку, в силу которой граф будет уплачивать ему этот долг частями, из своих процентов и куртажей, которые, при расчетах с ним, будет удерживать у себя сам Абрам Иоселиович, — «затова, знаете, штоб не компроментовать вас перед другим, — это будет нашего домашняво делу!»

Граф был совершенно счастлив. Фортуна опять поворачивается к нему лицом, — и впереди ему уже мерещатся целые груды золота и банковых билетов, его роскошная походная обстановка, венские фаэтоны на резинах, парижские дорожные несесеры, эффектные картины боевых лагерей русских войск на Дунае, интересные знакомства и сношения с деятелями армии, высокие сферы, Яссы, Букаре-

шт, румынские красавицы, рулетка и шампанское...

Через день Абрам Иоселиович, как сказал, так и действительно прибыл в Одессу, отыскал там в «Петербургской гостинице» графа, не преминувшего, конечно, в счет будущих благ, занять себе роскошный номер, и, тотчас же заставив своего сиятельного протеже переодеться во фрак с белым галстуком, сам повез его в щегольском фаэтоне представляться высокому еврейскому патрону. Этот последний, хотя и заставил графа изрядно-таки подождать в приемной, беседуя тем часом в затворенном кабинете с Блудштейном, но затем все же принял его весьма любезно и сказал даже несколько комплиментов, главнейшим образом, насчет того, что «ми» всегда-де рады «таким людям» и надеемся остаться взаимно довольными друг другом, потому что «ми сами живем и хотим другим давать жить и заработать». Затем, откланявшись еврейскому магнату и спустясь вместе с Блудштейном в его «контору», граф подписал там предложенные ему условия и получил из кассы аванс, а вечером того же дня, на «Приморском

бульваре», где гремела военная музыка и толклось множество международного пестрого люда, моряков и военных всех родов оружия, нарядных дам и «цивилизованных» евреев, он сидел на воздухе, у бульварного ресторана, в кругу Блудштейна и Нескольких «самых элегантных» израелитов, уже как их новый сослуживец. Любуясь безбрежною далью озаренного лунным светом спокойного моря, граф наслаждался за крюшоном шампанского мягкой, вечерней прохладой и совершенно искренно, от всего сердца уверял своих собеседников, что насколько он до сих пор заблуждался в своем предубеждении против евреев, настолько же теперь сознает, какие это все прекрасные, благородные и даже высоко патриотичные люди!

XII. СРЕДИ «ДРУЗЕЙ» И «СОЮЗНИКОВ»

Санитарный поезд с сестрами Богоявленской общины двигался по равнинам Румынии, от Ясс к Букарешту.

Проснувшись ранним утром, Тамара почти все время не отрывала глаз от раскрытого окна: до такой степени все в этом крае казалось ей новым и интересным, все так свежо и ярко запечатлевалось в ее душе, раскрытой, уже в силу окружавшей ее обстановки и самих событий, к восприятию этих новых, еще неиспытанных впечатлений. Сама она в это утро ощущала в себе живительную бодрость и силу молодого здоровья, а иными минутами безотчетно находило на нее даже какое-то особенно светлое, жизнерадостное настроение.

Яркое солнце, широкая, раздольная степь, бальзамический воздух, вдали — слегка синяющие в воздушной дымке абрисы Карпатских гор. По степи кочуют оборванные цыгане, невольно приводя собою на память Тама-

ры стихи из Пушкинской поэмы. Там и сям пасутся стада крупного рогатого скота и отары овец, оберегаемые волкообразными овчарками и конными пастухами. Во все стороны виднеется много колодцев с высокими «журавлями». Цветущая степь была полна самых разнообразных птичьих свистов, ястребиного клекта и урчания лягушек, мириадами наполнявших каждую лужу. Пестрые сороки и голубые сивораки беспестанно мелькали перед глазами. Бледно-розовые мальвы и золотистый дрок, васильки, гвоздика и пунцовый мак бесконечным пестрым ковром растилались во все стороны по равнине. Около дороги, кроме катков, державших разъезды вдоль железнодорожного пути, попадались не мало и поселян в длинных белых рубахах, подпоясанных широкими красными шалями. Занятые с раннего утра полевыми работами, они отрывались на минутку от дела, при виде несущегося мимо них поезда, и приветливо махали пассажирам своими широкополыми шляпами, а румынские поселянки посылали во след им благословения и сами крестились при этом. Встречались по сто-

ронам дороги и конные еврейчики в белых фуражках военной формы. Это все были «агенты» пресловутого «Товарищества», которые рыскали теперь по краю, обдeldывая насчет русских войск свои выгодные гешефты.

Уже со вчерашнего дня, с самого переезда за черту границы, сестрам неоднократно и с разных сторон волей-неволей приходилось, во время остановок на станциях, слышать, среди случайных разговоров с военными людьми, многочисленные жалобы на то, что жидки эти торопятся задешево скупить повсюду продукты, не разбирая их качества, и что чуть лишь успеют они в какой-либо местности благополучно сделать эту операцию, как тотчас же, с помощью взяток румынским чиновникам, искусственно поднимают на эти продукты тройные, пятерные, а при удобном случае даже и большие цены, по которым и предъявляют предметы продовольствия нашим войскам, заручившись предварительно «оправдательными» документами за надлежательной подписью и печатями местных румынских властей, а то и просто по расписке самого продавца продуктов, даже никем не

засвидетельствованной, на что давал им полное право и самый контракт, заключенный «Товариществом» с полевым интендантством [3]. Из всех этих разговоров всегда оказывалось одно и то же, а именно, что дело крупного мошенничества и обирания казны делается «чисто», так что с юридической стороны никакой «контроль» не придерется и под «Товарищество» иголки не подточит, в этом с наглостью уверяли даже и сами «агенты», похваляясь тем что войска «не смеют» браковать их продукты, какого бы ни были они качества[4].

Будучи неволью свидетельницей таких разговоров и нареканий, Тамаре не раз приходилось краснеть, испытывая в душе жгучее чувство неловкости, стыда и досады. Ей все казалось, будто по типу лица все непременно должны угадывать в ней еврейку, плоть от плоти и кость от кости этих самых «товарищей» и «агентов», и что все эти укоры и все презрение, с какими говорят о них, косвенным образом относятся и к ней, как еврейке. Ей было больно и стыдно за этих своих «братьев» по происхождению; она чувствовала,

что ненавидит и презирает их за такие дела может быть более, чем те, которые говорят, но высказывать это вслух претило ей какое-то особенное нравственное чувство, — не то самолюбие, не то гордость, — а что, мол, как мне скажут или подумают на это: что вы возмущаетесь, чего бранитесь, ведь вы сами еврейка!? — Она чувствовала, что от такого отношения к ней не защитит ее даже принятое ею христианство, что по крови она все-таки «жидовка» и, в глазах большинства, в глазах толпы, навсегда «жидовкой» и останется. Скрывать свое происхождение, или отрекаться от него? — Но это казалось ей малодушием, низостью, даже смешным. Поэтому оставалось только молчать и таить в себе свое болезненное чувство неловкости и стыда, которое становилось от этого еще колючее и больнее.

Присутствие русских войск было заметно повсюду. Там и сям белели в стороне палатки больших лагерей и серели обозы, расположившиеся на биваках. По шоссе, которое местами шло рядом с железной дорогой, тянулись эшелоны войск, артиллерия, парки и

длинные обозы. В авангардах шли казачьи сотни в белых фуражках. Ротные собаки, высунув язык, понуро плелись за своими кормильцами. Удушливая жара уже с семи часов утра нестерпимо донимает и людей и животных. Не слышать ни говора, ни песен.

Батальоны двигаются молча, медленно, но безостановочно, словно бы ползут, как гигантская змея, свиваясь и развиваясь длинной лентой. Из вагона, и нескольких шагах от шоссе, видно очень ясно, как с усталых, запыленных лиц катится пот; белые рубахи не только мокры, но даже посерели от поту и липнут к плечам, к рукам, к груди; молодые солдаты изогнулись, что называется, в три погибели под навьюченную на них тяжестью ранцев, подсумков с боевыми патронами и скатанных через плечо шинелей. Но отсталых что-то не видать. Хотя и тяжело, очень тяжело людям, но заметно, что они успели уже постепенно втянуться в трудное дело похода. И глядя на них, Тамара невольно преисполнялась сочувствием к этим людям и почтительным удивлением к их бесконечной выносливости и упорному терпению, к их

молчаливой и безропотной, но великой страде.

Изредка мелькали по пути румынские города и местечки, где в зелени садов виднелись бледные стены глинобитных хаток, черепичные и белые жестяные кровли уютных домиков и жестяные купола церквей, как серебро сверкавшие на солнце. Неподалеку от станции, по большей части, располагался временный базар, наполненный множеством неуклюжих «каруц», разномастных лошадей, пепельно-серых волов и пестрым народом, в широкополых шляпах или высоких бараньих шапках, среди которого мелькали знакомые фигуры русских солдатиков, отлучившихся за покупками с ближайшего бивака. На станциях разводные пути обыкновенно были заставлены несколькими военными поездами, ожидавшими своей очереди к дальнейшей отправке; на одном из них казаки с лошадьми, на другом артиллерия, на третьем саперная команда вместе с моряками, морские цепи, якоря, канаты и сети для вылавливания торпед: на нескольких платформах — лодки-миноносники, покрытые брезентами. Из вагонов

несутся звуки солдатских песен с бубнами, «ложками» и гармониками. Галереи дебаркадеров всегда кишели народом, среди которого преобладал военный элемент — русский и румынский. Но последний, даже и на женский взгляд сестер, в сравнении со своим, русским, мало отличался молодцеватостью и военной выправкой.

— Куда им до наших! — говорила сестра Степанида, особенно ревнивая ко всему «своему», «русскому» — И сравнения нет! Как можно!.. Ну, поглядите, на милость, что за фигуры!

И глядя на эти румынские «фигуры», столь невыгодно для себя щекотавшие патриотическое чувство сестры Степаниды, Тамара находила, что они и в самом деле похожи скорее на мирных граждан, вроде булочников, писцов, сапожников и парикмахеров, переряженных для чего-то в очень красивые военные костюмы и старающихся придать своим физиономиям и манерам бульварно французский характер. Ей все казалось, будто она уже видела их где-то за границей, на сцене, в какой-то оперетке Оффенбаха.

В дебаркадерной толпе всегда сновало несколько еврейских «агентов» компании «Греггер, Горвиц и Коган» и множество красивых «кукон» — румынских горожанок несколько животненного типа, напоминающего собою откормленных пулярдок. Одни из них были одеты по последней, но несколько утрированной, парижской картинке мод, а другие щеголяли яркими, резко кидаящимися в глаза нарядами, где преобладали желтый и пунцовый цвета. Русский говор раздавался повсюду, — даже с козел стоявших у станции щеголеватых «бирж», на которых восседали безбородые сектанты-возницы бабьего вида, в русских кучерских армяках, приглашавшие на чисто русском языке прокатиться по городу. Все это производило яркое, пестрое и веселое впечатление, которое однако везде отравлялось все тем же ропотом и жалобами на непомерную алчность «друзей и союзников». Торговцы и, преимущественно, евреи драли с офицеров и даже с солдат за трехфунтовый пшеничный хлеб по три франка. С сестер за стакан сельтерской воды из сифона брали на станциях по франку. Сразу почувствовали

«друзья и союзники» безнаказанную возможность быстрой и наглой наживы на счет русского кармана. Жаль было в особенности солдат, которые сильно жаловались, что румыны и жидаы всячески надуют их при каждой покупке, при каждом размене денег, — и обмеривают, и обсчитывают самым безбожным образом. И, действительно, обирание в лавках и магазинах — офицеров, а на базарах — солдат, производилось в грандиозных размерах, по совершенно произвольному, фантастическому курсу. Наши полуимпериалы пошли вдруг ниже своей металлической стоимости. На протесты и старание так и сяк объяснить, в ответ следовало одно лишь пожимание и неизменное «нушти» (не знаю, не понимаю). В особенности жутко приходилось солдатам, у которых наши кредитки принимали по произвольному курсу, считая рубль за 2 франка и 35 сантимов, а от разменного серебра и вовсе отказывались. Во всем этом отличались настолько же румыны, насколько и евреи, в руках у которых сосредоточивается наибольшая часть румынской торговли и промышленности. Евреям же армия наша бы-

ла обязана и тем неслыханным подъемом цен на все предметы первой жизненной необходимости, какой появился здесь после перехода русских войск через границу. Произошло это по предварительному негласному соглашению местных крупных евреев и административных чиновников с еврейскими агентами и уполномоченными компании Грегера, Горвица и Когана. Русские люди присутствовали тут при замечательном, небывалом доселе явлении: в прежние времена, когда какая-нибудь наполеоновская «grande armee» вступала в «дружественную» страну и начинала ее грабить посредством реквизиций, это никого не удивляло, почитаясь вполне естественным и чуть ли даже не легальным делом; теперь же, благодаря всемогущим жидам, «дружественная и союзная» страна грабила русскую армию, всецело и беспрекословно отданную на произвол самой бесшабашной и всесторонней эксплуатации алчной жидовы, и своей, и румынской. Эти мелкие «агенты» пресловутого «Товарищества», не довольствуясь крупным дождем серебряных рублей и полуимпериалов, ежедневно пере-

падавших в их укладистые карманы, с истинно жидовской скурпулезностью выгадывали в свою пользу каждый медный грош, если им можно было попользоваться на счет безответного солдата. Отвратительнее и позорнее этого высасывания грошей и полушек трудно было представить себе что-либо, особенно в первое время. Потом уже наши пообтерлись и свыклись, но и до конца войны все же слышался глухой ропот, что армия в кабале у евреев.

* * *

В Букарешт сестры Богоявленской общины приехали под вечер и остановились в заранее нанятой для них поместительной квартире, на одной из второстепенных, более тихих улиц. Впрочем, румынский «маленький Париж» (ибо румыны называют свою грязноватую, полуцыганскую-полужидовскую столицу не иначе, как «маленьким Парижем») и здесь давал-таки себя чувствовать. В окрестных садиках разных кабачков и кафешек, начиная с пяти часов пополудни и до четырех часов ночи, без усталости и почти без перерыва раздавались взвизгивания, свисты, нытье и завыва-

ные то цыганской музыки, то швабских певиц и арфисток, поощряемых шумными «браво», «бис» и неистовыми аплодисментами многочисленной и не совсем-то трезвой публики. То был чисто Содом музыкальный, всю ночь не дававший покою усталым сестрам. Соседние трактирчики и кофейни с утра и до поздней ночи были переполнены местными чиновниками, щеголеватыми офицерами, докторами, адвокатами, депутатами и.п. — вообще, людом среднего сословия, для которого наивысший интерес представляет политика и политическое пустословие. В тех же кофейнях, вместе с этим пустословием, почерпавшим свое вдохновение из венской «Neue Freie Presse» — самой распространенной здесь галеты, — с раннего утра шла уже публично самая жестокая игра в кости и карты. Международных шулеров при этом, конечно, было пропасть, и все они алчно пытливыми взглядами окидывали всякого русского офицера, когда тот заглядывал в кофейню или случайно подходил к игорным столикам. Вся эта Трактирная жизнь совершалась открыто, в садах и на улице, так что сестрам нашим поневоле при-

ходило́сь быть ее свидетельницами из окон своих комнат. На той же улице, как и на тех остальных, с утра до ночи толкло́сь немало праздного народа из низших сословий, преимущественно пред гостеприимными и широко раскрытыми дверями разных «кычурмы» (распивочных), заражавших окрестный воздух отвратительно спиртуозным запахом «ракии» и «мастики». Тупо глаза́ на что-нибудь, случайно обратившее на себя их внимание, они, бывало, стоят на месте словно пришибленные подавляющей апатией, скукой и ленью. Юркость уличному движению сообщили только вездесущие жидки, которые сновали туда и сюда, вынюхивали, высматривали, выслеживали и назоиливо приставали к русским офицерам с разными предложениями, в качестве факторов, комиссионеров, штучных продавцов, ручных торговцев и всевозможных гешефтмахеров. Иногда улица оживлялась также очень своеобразным шествием гражданской гвардии и резервистов на учебный плац. В среде этого воинства царил самый пестрый сброд всевозможных костюмов: от крестьянской рубахи до щеголь-

ской жакетки и фрака, сплошь обритые лица и рядом — физиономии, украшенные всевозможной растительностью, цилиндры, смушковые шапочки, долгополые шляпы, очки, пенсне и монокли, пестрые штаны и жилетки, лакированные ботинки и рядом голые ноги какого-нибудь санкюлота. Высокие и низенькие, толстые и тощие фигуры этих граждан-воинов, поставленных в ряды, без разбора и ранжира, вооруженных тесаками и ружьями, преважно шествовали по улицам не иначе, как под звуки рожков и барабанов, с развернутым батальонным знаменем и пестрыми ротными значками, в сопровождении досужей уличной толпы и прыгающих между рядами мальчишек. Спустя дня три по приезде, несколько сестер отпросились у начальницы в город. У каждой нашлась надобность в кое-каких маленьких покупках, а главное, каждой хотелось поближе посмотреть на большой незнакомый город, куда привела их судьба среди совершенно исключительных обстоятельств, взглянуть хоть мельком на его жизнь и характер. Сестер отпускали поочередно, небольшими партиями, и не иначе как

в наемных фаэтонах, по здешнему — «биржах». В одной из таких партий отправилась и Тамара, на полезность которой в таких экскурсиях товарки ее особенно рассчитывали потому, что зная языки, она могла, в случае надобности, служить переводчицей при объяснениях в магазинах и лавках.

Как раз в это время в Букареште стоял самый развал его ежегодной весенней ярмарки, которая продолжается целую неделю с 9-го по 15-е мая. В эти дни весь Букарешт — плебейский и фешенебельный — одинаково стремится на ярмарочную площадь смотреть общую пляску простонародных охотников до подвижничества, подготавливающих себя к этому, своего рода, факирству сорокодневным постом и молитвою. Вереницы карет, фаэтонов, ландо, нетычанок и бричек тянутся цепью между густыми толпами народа. Музыка гремит в десяти, в двадцати местах разом и все разное; бухают турецкие барабаны, звякают металлические тарелки, визжат цыганские скрипки и дудки-нуи, тромбоны режут ухо своим усердным, но не всегда стройным аккомпанементом, — все это вместе с шумом

игрушечных трещеток и кри-кри, звоном бубенчиков и колокольчиков, песнями и возгласами народной массы представляет хаос невозможных музыкальных диссонансов, но все это дышит таким весельем, такую жаждою жизни, которая сказывается и в этих диссонансах, и в яркой пестроте нарядов, и в этом неутомном движении с раннего утра до поздней ночи, и все это вместе с тем так красиво и оригинально, что невольно подкупало в свою пользу посторонних зрителей, какими тогда являлись тут русские люди, заставляя и их увлекаться столь кипучею жизнью. При этом еще весенняя прозрачность лазурных небес, чудная нежащая теплота майского воздуха, яркое солнце и масса роскошной зелени, — везде фиалки, розы и жасмины; белая акация цветет на каждом шагу и разликает в воздухе свое одуряющее благоухание; постоянно снует перед глазами множество красивых женщин в национальных костюмах или в весенне легких, прозрачных туалетах, множество мужчин в народном румынском, в ловком венгерском, в красивом арнаутском или славянском нарядах; множе-

ство горячих, страстных черных глаз юга...

9-е, 12-е, и 15-е числа мая месяца — это по преимуществу дни обетных плясунов на ярмарке, и в эти дни они пляшут свои народные пляски роману, хору и киндию уже до упаду, с утра и до поздней ночи. Тут обыкновенно посещает ярмарку княжеская чета со своим двором и вообще все высшее общество Букарешта в богатых национальных костюмах.

Путь наших сестер, отпросившихся на ярмарку, лежал чуть ли не через весь город, и улицы на всем протяжении их пути были переполнены народом. Открытые окна домов, балконы и террасы во вьющейся зелени были унизаны рядами дам с живыми цветами в волосах, по большей части не покрытых шляпками, с букетами и веерами в руках. Мужчины преимущественно толпились внизу, на тротуарах. Конные жандармы в металлических шишаках, с карабинами, взятыми «на изготовку», стояли шпалерами. Вагоны трамвая, переполненные внутри и наверху пассажирами и изукрашенные гирляндами и флагами, порою едва могли двигаться за толпою; с высоты их имперялов раздавались звуки

детских трещоток, погремушек и высвисты глиняных «уточек», которыми забавлялись не только дети, сколько взрослые, кричавшие почему-то ура и махавшие платками и детскими воздушными шарами. И над всею вереницей экипажей, всадников и пешеходов, над этими пиджаками, цилиндрами, барашковыми народными шапками и широкополыми шляпами, широкими интереу и тюльпанами [5], поповскими камилавками греческой формы и военными кепи, — над всем этим пестрым и веселым людом летали в воздухе бумажные змеи, красно-желто-синие (сочетание румынских государственных цветов) воздушные шары и, вместе с гомоном людских голосов, стоял гул от множества самых разнообразных возгласов продавцов дутьчац (сластей), свежей воды, прохладительных напитков, табаку, игрушек и от множества не менее разнообразных высвистов, щелканья, звяканья трескотни и т. п. Длинным рядом тянулись палатки и балаганы с товарами, лотереями, народными ресторациями и разными представлениями заезжих фокусников, жонглеров, буфонов, магов и чревовещателей. Ка-

русели кружатся, там и сям скрипит перекид-ные качели... Множество крестьянских возов с сельскими товарами протянулись длинными рядами; множество пестрых флагов на высоких шестах развеваются в воздухе... Все это было ярко, шумно, пестро и производило самое веселое впечатление. О турках здесь словно позабыли и думать. — За спиною русской армии, приблизившейся к Дунаю, все теперь были спокойны, — не то что две-три недели назад, когда столичное население в страхе помышляло о возможности турецкой переправы на левый берег под Журжевым. Но была и еще причина такой беззаботной веселости, причина самая веская, это — золотой дождь полуимпералов, который в изобилии лился в то время на Румынию из русских офицерских карманов и казенных денежных ящиков.

Следуя по Calea Mogoşoai[6], где тянулись две цепи экипажей, — одна в ту, другая в обратную сторону, — Тамара вдруг заметила в этой последней цепи фигуру графа Каржоля. Она вся встрепенулась, точно бы что радостно толкнуло ее в сердце, точно бы внутри ее

вдруг электрическая искра пробежала. Он двигался ей навстречу в щегольском фаятоне, — изящный, цветущий, элегантно одетый, как и всегда, с бутоньеркой из живых цветов в петлице легкого пальто и, как кажется, очень довольный собой. Да неужели он?!. Не может быть! Откуда ему взяться!.. Тамара всмотрелась в него пристальнее, — да, он! Он несомненно. Но какими судьбами? Как, почему он здесь, по какому случаю?.. Он, однако, не один: рядом с ним еще кто-то... сидят вдвоем и так оживленно разговаривают между собой... С кем это? Боже мой, да неужели?!.. И не веря даже собственным глазам, Тамара узнала в этом втором господине столь хорошо знакомого ей по Украинску, Абрама Иоселиовича Блудштейна. Тут она уже ровно ничего и понять не смогла. Каржоль и Блудштейн — вместе, вдвоем, что за странное явление?! Что между ними может быть общего? Не обманывается ли она?.. Может быть, это только случайное сходство, или игра ее собственного воображения, род галлюцинации какой-то — Но нет, тысячу раз нет! — Это действительно граф и действительно «дядюшка» Блудштейн,

напяливший для чего-то себе на затылок белую офицерскую фуражку с кокардой. — При довольно медленном движении экипажей, она имела достаточно времени, чтобы хорошо разглядеть и того и другого. Вся вспыхнув от радостного волнения, она во все глаза глядела на Каржоля, ожидая и даже будучи убеждена, что вот-вот сейчас он почувствует на себе ее взгляд, обернется в ее сторону: и взоры их встретятся... Она готова была закричать ему, даже выпрыгнуть из экипажа и броситься ему навстречу, но от этого порыва удержало ее присутствие сестер и, еще более, — странное, непонятное для нее присутствие Блудштейна. Пристально провожая графа глазами, после того как их экипажи разминулись между собой, она обернулась назад и несколько времени смотрела ему вслед, все еще надеясь, что авось-либо он оглянется и увидит ее... Но увы! — то было напрасное ожидание. Граф ее не заметил. Он настолько был поглощен каким-то, вероятно, очень деловым разговором с Абрамом Иоселиовичем, что казалось, ничего и никого, кроме своего собеседника, не видит. Но для Тамары и то

уже было утешительно, что он здесь, в одном городе с нею, что она наконец нашла его... Стало быть, можно будет разыскать его, узнать его адрес, дать ему знать о себе, написать к нему. О, да! Она непременно все это сделает, сегодня же, сейчас же, как только вернется с сестрами домой, — она во что бы то ни стало с ним увидится она должна видеться... завтра, послезавтра, но во что бы то ни стало! Ей так много есть о чем передать ему, поговорить с ним, облегчить, отвести наконец свою душу, насладиться самым лицезрением милого, желанного человека.

Тамара не сомневалась, что граф поспешит откликнуться ей в ту же минуту, как только узнает, что она здесь. Как удивится-то, как обрадуется!.. Но зачем сам-то он здесь? По каким делам? — Может быть, поступил в «Красный Крест» и назначен «уполномоченным»? Или приехал определяться волонтером в армию?.. Что ж, он так мужественен, так благороден, у него такие честные, гуманные убеждения, он так способен на увлечения, на самопожертвование... Война, бой — это такое, казалось ей, обаятельное для каждого мужчи-

ны, такое влекущее, притягивающее к себе явление, что было бы вполне естественно, если б на него откликнулся и граф — *la nobleesse oblige*, — как откликнулись уже многие, добровольно переменившие свою блестящую гражданскую карьеру на мундир армейского солдата. Но в таком случае, зачем с ним тут этот Абрам Иоселиович? Что у них может быть общего, какие такие дела? О чем они могли так серьезно и озабоченно разговаривать? — Все это оставалось для Тамары странной, сбивающей с толку загадкой.

XIII. У ЕГО ЭКЦЕЛЕНЦИИ, ГОСПОДИНА МАРЗЕСКУ

Граф действительно не заметил Тамару. В ту минуту он весь-был поглощен серьезным разговором с Абрамом Иоселиовичем по очень важному и интересному для них обоих гешефту. Абрам Иоселиович, взявший на себя часть громадного подряда по поставке на армию сухарей, желал бы открыть одну из своих сухарных фабрик в окрестностях Букарешта, близ одной из станций железной дороги, чтобы иметь возможность доставлять сухари частям войск в скорейший срок и кратчайшим путем. Но одно только это удобство не представляло еще для Блудштейна особенной выгоды, и даже самая фабрика сухарная была нужна ему не столь для дела, сколь для виду, для отвода глаз. — Die Hund war nict hier begraben. — Интимная сущность дела заключалась в том, что составленная Блудштейном «сухарная компания», во главе которой фиктивно фигурировало титулованное имя графа Каржоля де Нотрека (Сам Блудштейн оставал-

ся в тени и как-будто в стороне) договорилась с интендантством поставлять сухари с доставкой на места по 2 р. 80 к. за пуд. Интендантство за ценой не стоило, — благо деньги казенные и потребность для войск неотложная. Некоторую часть этой операции Абрам Иоселиович устроил в России, в Украинской губернии, где ему удалось передать производство выпечки крестьянам, по цене от 60-ти до 80-ти копеек за пуд, а самому явиться лишь в роли посредника между крестьянами и казною. Но главный «кунстшттик» и ого дела состоял в том, что у Абрама Иоселиовича в самой Румынии оставались еще на руках значительные запасы хлеба в зерне и муке, которые он за дешево скупил здесь, на месте, еще в то время, когда цены на хлеб не успели подняться, — хотя в «оправдательных» документах, засвидетельствованных ему разными румынскими «шефулами», «гувернорами» и «префектами» цены эти, ради русской казны и были показаны выше действительных — и вот, теперь-то, в виду этих запасов, Абраму Иоселиовичу чрезвычайно хотелось бы привлечь к выпечке румынских крестьян, но привлечь так, что-

бы их заставить покупать муку на сухари у него же, из его собственных складов, и покупать, разумеется, уже не по той дешевой цене, по какой он сам скупал свои продукты, а по нынешней, значительно повышенной. Расчет Блудштейна строился на том, что крестьянин, покупая муку у него и перепекая из нее хлеб в сухари, получал бы от «компании» за свой труд чистого барыша по 10 копеек с пуда, тогда как сам Блудштейн, кроме прибыльной разницы в цене на муку, выгадывал бы свой барыш еще на расстоянии и времени доставки, отправляя главную массу своих сухарей к войскам из Букарешта, вместо того, чтобы возить их из Украинской губернии. — Это, по крайней мере, втрое сокращало бы ему расходы по доставке. А так как подряд был взят его «компанией» почти на миллион пудов, то понятно, какие крупные барыши стянул бы он с казны не за что иное, как только за свое любезное посредничество или, собственно говоря, за «остроумие», за свою «игру ума» в выдумке ловкого фокуса. Но убедить румынских крестьян в «выгоде» для них покупать муку у Блудштейна и печь из нее сухари

для него же, а в случае надобности, даже заставить их делать это, возможно было не иначе, как только при помощи известного давления на них со стороны подлежащих румынских властей. Требовалось, ни более, ни менее, как оплести и облапошить простодушного румынского «плугаря», связать его предварительно особым письменным условием. Но дело это казалось настолько щекотливым, что даже всепродажная и малоцеремонная мелкота румынской администрации не решалась брать его на собственный риск, несмотря на довольно крупные посулы Блудштейна. И таким-то образом, для Абрама Иоселиовича поневоле явилась необходимость втянуть в свое предприятие кого-либо из «крупных», заинтересовать этого «крупного» перспективой блестящих выгод, сделать его или участником будущих компанейских барышей, или дать ему единовременно хорошую взятку, — словом, так или иначе, «купить» его. Собственная богатая опытность в делах подобного рода, а отчасти и молва местных дельцов-евреев, указали ему на подходящего для него человека в лице одного из парламент-

ских и министерских воротил, члена Братиа-новского правительства, через которого, буд-то бы, и не такие еще дела проходили и, глав-ное, сходили с рук безнаказанно: он-де и для самого князя не раз устраивал не совсем-то легальным путем выгодные аферы по скупке государственных и частных земель и угодий, так что и сам-де князь, из боязни быть ском-прометированным, лично заинтересован в благополучии и безнаказанности этого своего фактотума, — стало быть, если кто и может помочь Блудштейну обработать его смелый гешефт, то это только «алуй экцеленц домнул Мерзеску». Первая удочка в указанном на-правлении была предварительно закинута Блудштейном личному секретарю этого круп-ного туза. — Ничего, клюнуло. Спустя два дня, удовлетворенный секретарь на словах сооб-щил графу Каржолу, что «son excellance» изъ-явил благосклонную готовность выслушать «представителей» русской «сухарной компа-нии» и даже сам соизволил выбрать для ин-тимной аудиенции такой день и час, когда весь Букарешт был отвлечен ярмарочным празднеством и торжественным проездом на

ярмарку румынского двора: меньше глаз, меньше шуму. Между Блудштейном и Каржолем весь вопрос был теперь в том, как обработать половчье этого господина Марзеску, к которому в данную минуту они и направлялись, в качестве «представителей», — удовлетворить ли его кушем теперь же, или завлечь барышами в будущем, в качестве компаньона? Каржоль стоял за первое, Блудштейн же более склонялся ко второму. Хотя подобного рода «деликатные» дела Абрам Иоселионович предпочитал обрабатывать с глазу на глаз, но тут, при предстоящем объяснении, никак не мог обойтись без Каржоля: граф был необходим ему, во-первых, как официальный представитель компании и, во-вторых, как человек, могущий объясниться, потому что сам Блудштейн, кроме «bonjour», «merci» и «charmant», ничего не понимал по-французски. Таким образом, все дело поневоле возлагалось им на дипломатическое искусство графа Каржоля.

«Дженераль» Мерзеску обитал в собственном, благоприобретенном небольшом, но очень уютно расположенном доме, с садом и

разными архитектурными выкрутасами в наружных украшениях и пристройках, вроде бельведеров, фонариков и т. д. Когда наши «представители» подкатили к завитому виноградом подъезду внутри двора, их встретил швейцар с булавой и в министерской ливрее, довольно впрочем потертой. В украшенном лепной работой вестибюле, на массивных дубовых скамьях, частью дремали, частью резались между собой в карты несколько курьеров, ординарцев и каких-то домашних челядинцев, не удостоивших посетителей ни малейшим вниманием. Здесь сильно припахивало жженым «тютюном»[7] и на прекрасном мозаичном полу валялись папиросные окурки. Сразу было видно, что вся эта распущенная домашняя орда привыкла не стесняться присутствием в доме самого высокопоставленного хозяина и живет себе патриархально-халатною жизнью. Каржоль и Блудштейн подали швейцару свои визитные карточки и просили доложить о себе его превосходительству. Тот кликнул одного из дремавших курьеров. Этот последний, в расстегнутом форменном сюртуке, с грязным галстуком и ма-

нишкой, нехотя и огрызаясь на потревожившего его швейцара, поднялся с места, с неудовольствием принял от него карточки и понес их во внутренние «апартаменты», даже не потрудившись застегнуться. Спустя минуту, он возвратился в том же виде и, проговорив «пуфтим»[8], взмахом головы пригласил гостей следовать за собой и проводил их через две приемные до запертых дверей кабинета. Тут курьер приостановился и, не столько ради самого себя, сколько для внушения гостям надлежащей почтительности к сановнику, сделал им вдруг таинственно предостерегающий жест, осторожно приоткрыв дверь и с благоговением по адресу его превосходительства, почти шепотом проговорил им: — Пуфтим! ынтратэ...[9]

Граф с Блудштейном тихо вступили в обширный кабинет сановной особы, где первые мгновения им показалось, что тут никого нет; но затем, осмотревшись, они заметили в глубине комнаты на широкой, низенькой оттоманке какую-то, лежащую задом к ним, жирнолядвенную мужскую фигуру, в легком чичунчовом пэтанлерчике и в одних носках, без

сапог. Озадаченные и несколько смущенные такой неожиданностью, они остановились в нерешительности близ дверей, не зная уйти ли им, или оставаться. Но тут жирная фигура грузным увальнем повернулась в их сторону и, лениво приподнявшись с оттоманки, через плечо обратилась к ним по-французски с приглашением присесть, прибавив, что через минуту она к их услугам и, вслед затем, преспокойно приняла опять свою прежнюю выпяченную позу, каржоль с удивлением посмотрел на Блудштейна, — Блудштейн на Каржоль, а жирная туша занялась между тем чтением какой-то форменной деловой бумаги и, дочитав до конца, принялась лежа писать на ней сбоку карандашом свою резолюцию.

Каржоль, от нечего делать, поневоле занялся пока осматриванием обстановки этого кабинета. Посредине — большой письменный стол великолепной резной работы, с кипами деловых бумаг; вокруг него — несколько роскошных бархатных кресел, но уже с потертыми и обсаленными спинками. Между окнами — книжные шкафы и на них гипсовые бюсты Гарибальди и Кавура, как нагляд-

ное доказательство симпатий хозяина к либеральной и национально-объединительной политике. На полу — французские и азиатские ковры, из которых одни совсем еще новенькие, тогда как другие сильно уже потасканы и пообтрепаны. В стороне, на круглом столе куча разных румынских и иностранных, преимущественно венских газет. Из подпоровшегося бока оттоманки торчит мочало. На этажерках и покрытых богатыми, но уже запятнанными салфетками столах стоят разные венские безделушки, фотографические портреты и лампы двойного сорта: или чересчур уж роскошные, или самые обыкновенные. На стенах — несколько картин в тяжелых, роскошно золоченых рамах, и между ними, на первом месте, большой фотографический портрет князя, а против — объемистый масляный портретище самого господина Мерзеску, в залитом солнцем министерском мундире, со всеми регалиями и с рукою, внушительно наложенною на книги законов и конституционную хартию. Затем, между остальными картинами — ни одной сколько-нибудь порядочной: все какое-то шаблонно-рыночное ма-

леванье, вроде швейцарских пейзажей, или даже венские олеографии, изображающие породных, полуобнаженных, с вызывающими улыбками, красавиц с венской Rings-Strasse, да немецких католических патеров в комическом виде, отправляющих в нос понюшку табаку, или самодовольно смакующих винцо перед бочкой в монастырских подвалах. Окна кабинета выходили в сад, наполненный клумбами прелестных цветов, которые однако же ужасно портило присутствие разноцветных зеркальных шаров всевозможных размеров, в поражающем изобилии насаженных среди этих клумб на зеленые тычинки. Словом, как в кабинете, так и в саду решительно на каждом шагу кидалась в глаза неуклюжая смесь банальной европейской роскоши с халатно-азиатскою грязцой и на всем этом лежала яркая печать неизмеримой пошлости, неизменного безвкусия и импонирующей претенциозности.

Жирная туша, кряхтя, пыхтя и сопя, лениво и грузно поднялась наконец с оттоманки, обтерла грязноватым носовым платком обильный пот с лица и шеи, насунула на ноги

стоптанные туфли и, не позаботясь даже привести в приличный порядок свои панталоны и расстегнутый ворот крахмальной сорочки, вразвалку двинулась к письменному столу, приглашая вместе с тем и графа с Блудштейном занять места против себя в креслах.

— Извините, господа, задержал вас несколько, — начал Мерзеску по-французски небрежно оправдывающимся тоном. — Что делать, вы понимаете, дела государственной важности... А благодаря нашествию на нас ваших «дружественных» войск, дел еще больше стало... Просто, мочи нет! Не дают покою ни днем ни ночью... Да, могу сказать, эта ваша «освободительная» война нам уже вот где сидит!

И он похлопал себя ладонью по жирному красному затылку.

Все это ужасно коробило элегантного Каржоля, тем более, что он, по настоянию Блудштейна, разлетелся к Мерзеску во фраке и белом галстуке (Блудштейн тоже был во фраке и даже с полунатянутой на руку перчаткой), а этот румынский «хам» вдруг принимает их в туфлях и расстегнутых панталонах, ничуть

даже не смущаясь такую бесцеремонную неряшливостью и даже руки не протянул ни тому, ни другому, — не удостоил!

Сановник, между тем, зевнул, почесал всею пятернею свою волосатую грудь, причем кстати пожаловался на ужасную жару и блох, от которых нигде, даже в княжеском дворце, нет спасения, а затем, как бы вспомнив о чем-то, громко хлопал в ладоши и закричал по направлению к двери:

— Гей!.. Чине акало?!.. Ла службэ!.. Курьере!.. Вин ынкочэ![10]

На этот зов появился курьер и остановился в дверях, вопросительно глядя на сановника.

— Дэм ачестор домулор де дульчац ши ракиу![11]— приказал ему сановник, указав пальцем на своих посетителей.

Через минуту какой-то небритый, но ливрейный гайдук, с продранным локтем и с сильным чесночным букетом от собственного дыхания, принес на мельхиоровом подносе блюдечко розового варенья с одной ложечкой на обоих гостей и два стакана холодной воды. Тут же стоял и граненый графинчик ракии. Гайдук принялся было наливать гостям по

рюмке водки, но от нее отказались, ограничились одной водой с вареньем, от которой, в силу обычая, отказаться было нельзя. Сановник достал из своего портсигара две самодельные вечерние папироски и предложил их гостям, а сам закурил из большого янтарного мундштука третью.

— И так, господа, что вы скажете? в чем ваша просьба? — начал он деловым тоном, после того, как необходимая церемония была окончена и гайдук удалился из кабинета. — Только предупреждаю: более десяти минут не могу уделить вам, — дела, нетерпящие дела, вы понимаете.

Каржоль изящным французским языком обстоятельно начал излагать ему дело, не забывая вставлять в свою речь титул «excellence», который отчеканивал с особенной, ласкающей ухо грацией и почтительностью, и следя в то же время, какое впечатление производит его доклад на господина Мерзеску.

Господин Мерзеску слушал внимательно и только наматывал себе на ус, не выражая никакими внешними проявлениями ни своего

одобрения, ни своего несогласия. Это был коренастый и тучный брюнет лет пятидесяти, с сиво-курчавой шевелюрой над низким лбом, с плотоядно широкими скулами и пронзительно хитрыми черными глазками, которые нагло выглядывали из припухлых век и мешковатых подглазий, осененные густыми, широкими бровями. Подкрашенные черные усы и такая же французская «люишка», на мясистом подбородке придавали ему скорее типичный характер какого-нибудь выдавшего виды курзального крупье, чем государственного сановника. Господин Мерзеску являл собою продукт той печально-знаменательной эпохи, когда после 1856 года взоры боярской Молдо-Валахии отвернулись от Востока и всецело обратились на Запад, ища и чая исключительно там своих идеалов и своего спасения и обновления, причем «интеллигентное» правительство и «либеральная» палата прежде всего постаралась изгнать свою древнюю кириллицу и заменить ее латинским алфавитом, и когда, сообразно такому началу, пошла радикальная ломка почти всех остальных форм и порядков прежней самобытной

жизни. Для господина Мерзеску, как и для современного «цивилизованного» румына, необходимо воспитавшегося на венской Rings-Strasse или на парижских бульварах, наивысший социальный и нравственный идеал, к которому он стремится всею душой и всеми помыслами, составляют оппортунистический либерализм и Париж, но не столько нынешний, сколько наполеоновский, — Париж Второй империи, со всем его мишурным блеском, нарядной внешностью и внутренней пустотой и гнилью разврата общественного и семейного, с его широкою продажно-стью — от высших сфер и министерских кабинетов до сокровенных сфер супружеского алькова включительно, — с его скаредностью и жадностью, с бесшабашным стремлением к быстрой, хотя бы и темной наживе, с легкомысленным поверхностным отношением ко всему на свете, кроме интересов собственного кармана, с полным индифферентизмом к религии, к семье, к гражданским обязанностям и, наконец, с его громким, но пустым газетным и парламентским фразерством. Оффенбаховщина и бульварность в жизни, в нравах, в мо-

дах, в идеях и стремлениях вместе с полуцыганскою-полуазиатскою неряшливостью, гряздой и цинизмом во внутренней своей сущности и в домашних, непоказных порядках, — такова была нравственная физиономия господина Мерзеску, этого столпа румынской государственности.

Выслушав внимательно, с министерскою миной, деловой Доклад Каржоля, «алуи экцелленц», прежде чем дать какой-либо ответ, широкощеательно пустился нести околесную, мало и вовсе даже не касавшуюся изложенного ему дела, и высказал при этом столько беспредельного фанфаронства, столько самомнения, самонадеянности, хвастовства и замечательной легкомысленности, что даже у Каржоля засосало под ложечкой от нервно-тоскливого нетерпения, «да когда же, черт тебя возьми, ты кончишь, когда наконец перейдешь к делу!» А Мерзеску, между тем, забыв про свои «нетерпящие дела», говорил и говорил без конца обо всем, что взбрело ему на мысль, кроме самого дела, кроме его сущности. Как будто нарочно желая истомить своих слушателей, он распространялся о своем «до-

рогом отечестве», о Румынии и румынах, которые-де справедливо почитают себя высшею культурной расой в Европе, как прямые потомки древних Римлян (и европейская наука согласна с этим) и как преемственные носители идей европейской цивилизации, свободы и т. п. Много и долго говорил он и о «великой, священной миссии» румынского народа и правительства, о его важном и государственном значении для Европы, — на чью-де сторону политических весов будет брошен румынский меч, тому и достанется победа, — даже почему-то счел нужным успокоить Каржоля, как русского, словами «*Nayez pas peur, nous sommes avec vous!*» покровительственно похлопав при этом его по плечу, — и затем перешел к пространному самовосхвалению: нашу-де страну нельзя трактовать, как вашу или какую-нибудь, с позволения сказать, Турцию, мы-де конституционное государство, — не забывают этого: «кон-сти-ту-цион-ное!» — наш парламент один из самых образцовых в мире, наши ораторы блещут демосфеновским и Цицероновским гением и к их заявлениям должны-де прислушиваться, а нередко и сооб-

разоваться с ними «кабинеты» и политики целой Европы, даже сам Бисмарк!.. Наша журналистика «высоко держит свое знамя» и играет выдающуюся, почетную роль даже за пределами Румынии, наша армия, наши финансы, наше просвещение и т. д. и т. д. Но важнее всего, по словам Мерзеску, это то, что румынская нация, будучи «самою древней» нацией Европы, есть в то же время и ее самая молодая, самая передовая и самая либеральная нация, стоящая-де твердым оплотом культурной Европы против наплыва варварства. В этом-то, по объяснению «алуи экцелленцы», и состоит «великая миссия Румынии».

Если Каржоль изнемогал, слушая всю эту бесконечную болтовню, то Абрам Иоселиович, ровно ничего в ней не понимавший, но тем не менее заставлявший себя любезно улыбаться и поддакивать кивками каждый раз, когда сановный оратор достаивал его своим благосклонным взглядом, — этот несчастный Абрам Иоселиович впал в окончательное уныние и, жарясь в собственном соку, только отпыхивался да обтирал пот, ру-

чьями катившийся у него по лицу от духоты знойного дня, а еще более от столь продолжительного напряжения в бесплодном ожидании, — чем же, наконец, и когда все это разрешится?!

Уловив удобную минуту, Каржоль решил еще раз спросить его превосходительство, — как же быть насчет дела, по которому собственно они удостоены его превосходительством аудиенции? Может ли «компания» рассчитывать на благосклонное содействие его превосходительства?

— То есть, видите ли, — многозначительно начал Мерзеску, подумав и вновь напуская на себя всю министерскую важность. — В принципе, я ничего не имею, напротив, даже очень рад, чтобы наш крестьянин получал от «компании» лишний заработок, — это уже дело его свободного соглашения с вами. Ровно ничего не имею и против того, чтобы крестьянин покупал муку из ваших складов, если это будет ему выгодно. Но заставить его покупать только у вас, это... это... согласитесь, как же так!? Мы ведь, не забывайте, живем в конституционном государстве... Это значило бы

стеснять и ограничивать свободу граждан распоряжаться своими экономическими действиями. Это невозможно! — категорически порешил Мерзеску. — Может быть, оно мыслимо в какой-нибудь Турции, — продолжал он с усмешкой презрительного снисхождения, — или у вас в России, где революция социальных и экономических отношений еще не стерла следов крепостного рабства; но в свободной Румынии... Нет, господа, это вы заблуждаетесь! У нас этого нельзя!..

Каржоль переглянулся с Блудштейном и взялся за шляпу, полагая, что после такого решительного отказа дальше разговаривать незачем; но господин Мерзеску, заметив это, поспешил предупредить его дальнейшее движение.

— Предложите крестьянам просто известную цену за пуд сухарей, — заговорил он тоном доброжелательного советника, — возьмутся они — прекрасно... Ведь вам лишь бы были сухари, а там из какой уж муки они напекут их, — это их дело, лишь бы сухарь удовлетворял условиям... А хотите непременно печь из своей, ну тогда нанимайте крестьян

просто работниками к себе на фабрику. Кажется, это так ясно!

— Но тогда что же делать с нашими складами? — возразил Каржоль. — Одна фабрика не в состоянии перепечь такое количество к обусловленному сроку.

— Не в состоянии, так что ж? — Заводите другую, заводите третью, четвертую, — это уж ваше дело.

— Да, но это требует времени, — вздохнул Каржоль. — Времени и таких громадных затрат, которые значительно уменьшили бы выгоды подряда, даже свели бы их на нуль, а между тем время не ждет, мы связаны сроком, — это главное.

Сановник только пожал плечами: очень жаль-де, но ничего тут сделать не могу.

Каржоль опять взялся за шляпу.

— Очень прискорбно, — заговорил — он суховатым тоном сдержанного сожаления. — Придется, значит, всю операцию перенести в Россию... А мы было рассчитывали заинтересовать более существенным образом ваше превосходительство лично, — прибавил он с заманчиво загадочным выражением.

— То есть, как это? — поднял брови и насторожил уши Мерзеску.

— Мы было думали... предложить участие, — пояснил граф самым мягким и деликатным образом. — И мы считаем, что были бы счастливы, если бы ваше превосходительство соблаговолили принять от нас крупный пай, в качестве нашего компаньона.

— Благодарю вас, господа, но... к сожалению, я не имею свободных денег на покупку ваших паев, — улыбнулся Мерзеску с видом притворной скромности. — В маленькой Румынии министерские должности оплачиваются далеко не такими крупными суммами, как в России.

— О!.. денег не требуется, — поспешил предупредить его Каржоль. — Совсем не требуется... Зачем тут деньги, помилуйте! — Вместо известной суммы, вы вложили бы в дело ваше благосклонное покровительство, ваше нравственное содействие нам своим могущественным влиянием, своим высоким положением... Это одно уже настолько обеспечило бы нам успех дела, что «компания» охотно могла бы считать вас дольщиком четвертой

части ее барышей.

— Очень благодарен, — коротко поклонился Мерзеску. — Но... мой официальный пост... мое ответственное положение перед палатой и перед короной... наконец, наше свободное общественное мнение, которым конституционный министр не может пренебрегать, — все это лишает меня возможности гласно связывать свое имя с частным предприятием такого рода.

— О, поверьте, ваше превосходительство, — убедительно и веско заметил Каржоль, с видом благородного достоинства, — поверьте, «компания» сумела бы строго и свято хранить тайну вашего участия... Мы гарантируем вам полнейшее инкогнито... Да и разглашать а нем вовсе даже не в наших интересах.

— Пусть так, — согласился Мерзеску уже несколько колеблясь. — Но... подумайте, господа, — у меня и времени нет, чтобы посвящать его, кроме государственных дел, еще и вашей «компании»... Ведь тут надо будет уже постоянно и непосредственно следить за ходом ее операций, за учетом, за бухгалтерией

и прочее... А это все такие для меня мелочи, заниматься которыми при моих трудах, я решительно не имею возможности... И потом, — продолжал он. — Вы говорите, барыши. Хорошо, ведь это барыши в более или менее отдаленном будущем... Бог весть, какие это еще будут барыши, — будут ли они соответствовать всем хлопотам и трудам, да и самому риску, какие потребуются внести в дело теперь же, сейчас... Это все весьма и весьма еще проблематично.

— «Компания» готова избавить ваше превосходительство от всех подобных забот и хлопот, — заявил Каржоль. — Это, разумеется, черная работа, и не государственному же уму заниматься ею, мы это хорошо понимаем. Но тут дело не в этом, — дело лишь в маленьком нравственном содействии. Вот и все. Да и зачем подвергать вас долгим ожиданиям и риску?! — Позвольте заявить вам, что для «компании», в виду верности ее предприятия, ничего не составило бы, в обеспечение интересов собственно вашего превосходительства, как негласного компаньона, выделить вам известный капитал, в счет будущих барышей,

теперь же, еще до начала дела.

— А, да, это другое дело, — глубокомысленно согласился Мерзеску и несколько призадумался, как бы соображая что-то.

— А как могут быть велики ваши барыши? — спросил он деловым тоном, пытливо прищурясь на один глаз. — На сколько, примерно, вы рассчитываете;

— Приблизительно, на миллион рублей... Может быть, несколько менее, но в среднем — миллион.

— Хм... Стало быть, четвертая доля — двести пятьдесят тысяч, так?

— Двести пятьдесят, ваше превосходительство, — слегка поклонился граф.

— Хм... А может быть и триста? — с плутоватой улыбкой подминал ему Мерзеску.

— Может, и триста, но может быть и двести, и полтораста... Это пока еще трудно определить, — дело риска.

— Так. Но может быть и четыреста?., а?.. Четыреста тысяч, что вы на это скажете, мой милый?

— Нет, на четыреста «компания» ни в каком случае не рассчитывает: это уже превы-

шало бы размеры ее предприятия, — решительно отрезал ему Каржоль с деловитой твердостью. Он ясно видел, что Мерзеску торгуется и думает сорвать с них побольше, и хотя виды «компаний», в сущности, простирались более чем на полтора миллиона чистой прибыли, но не в ее расчетах было уделять одному Мерзеску свыше двухсот пятидесяти тысяч, особенно принимая во внимание, что придется еще дать тысяч пятнадцать его личному секретарю, да тысяч пятьдесят раздать разным министерским чиновникам, провинциальным префектам, цинутным исправникам, с которыми, по отношению к крестьянам, «компания» придется иметь непосредственно дело: надо, чтобы все рты были замазаны, а на это, еще до начала дела, выходит уже более трехсот тысяч. Поэтому Каржоль решил дать твердый отпор Мерзеску и не прибавлял к назначенной сумме ни одной полушки.

— Вы говорите, ни в каком случае? — с недоверчивой усмешкой переспросил сановник. — Полноте, милеиший!.. Я уверен, что «компания» ваша сдерет с русского прави-

тельства на одном этом деле, по крайней мере, два миллиона. Дело ясное. Ведь вы только одна из секции Грегеровского «товарищества»? Ну, а там дело пахнет десятками, сотнями миллионов... Ха-ха!.. Parlez-moi de ça!.. Et au fond, — прибавил Мерзеску, с покровительственной фамильярностью похлопывая графа по плечу, — для такого тароватого правительства как ваше, pour l'armes des liberateurs (последнее слово было произнесено с явно насмешливой иронией), что такое значит одним-двумя миллионами больше или меньше... Peuh!.. Ведь вы воюете не из-за благ земных, а «из-за идеи»!

Сколь ни беззаботен, в сущности, был граф в качестве, «просвещенного человека» к «узким» понятиям о национальной гордости и национальном достоинстве, почитая их продуктом «Катковского патриотизма» (он был постоянный читатель и поклонник «Голоса»), но тут, при виде такой наглости, даже и его взорвало, так что впыхнув он едва удержался, чтобы не бросить в лицо «этому хаму» на его же родном языке «а фиу де кынэ», то есть собачьего сына. Впрочем, памятуя интересы

своей «компании», граф ограничился лишь тем, что поеживаясь, с явным неудовольствием, высвободил свое плечо из-под фамильярной ладони Мерзеску и сдержанно заметил ему, что как бы то ни было, однако же, и сама Румыния, тем что она есть, обязана, кажется, все той же «идее» и той же «l'armee des liberateurs».

Мерзеску с удивлением поднял свои брови, точно бы услышал нечто чудовищно невероятное и нелепое. Последовала даже некоторая пауза.

— Румыния, милостивый государь, — проговорил он внушительно-размеренным тоном, — Румыния, тем что она есть, обязана не чему иному, как Парижскому конгрессу 1856 года, — примите к сведению эту историческую справку.

— Ну, на это много чего нашлось бы возразить, — заметил Каржоль, — но мы явились сюда не для политических диспутов; поэтому позвольте мне, ваше превосходительство, возвратиться к нашему делу.

— Et bien, mon cher?

— Позвольте повторить, что на четыреста

тысяч — ни в каком случае, — подчеркнул Каржоль решительно и сухо. — Мы потому и кладем на долю вашего превосходительства двести пятьдесят, что это и для вас, и для нас безобидно. А нет, — мы переносим всю операцию в Россию.

— Ха-ха-ха!.. *Quelle blague! quelle blague!*.. Шутники вы, право! — рассмеялся Мерзеску принужденным смехом, принимая опять дружески фамильярный тон. — *Mais, tout de meme, vous etes bon garçon,* — продолжал он, снова норовя покровительственно похлопать по плечу графа Каржоля, — *et cest pour ca que je voudrais faire quelque chose pour vous.* Так двести пятьдесят, вы говорите?.. Что ж, все равно, пускай по-вашему! — Но только помните! — остерегающе поднял он указательный перст, украшенный крупным бриллиантовым перстнем. — Я готов помогать вам, но прежде всего, инкогнито!.. Малейшая нескромность, — и я умываю руки, я бросаю вас, даже более, я разрушу все!.. Понимаете ли, все. Надеюсь, вы должны оценить мою снисходительность.

Каржоль сделал глубоко почтительный по-

клон в знак согласия и признательности.

Сделка была заключена к обоюдному удовольствию. Условились, что Каржоль официально представит «алую экцеленцу» докладную записку, с изложением своего проекта, где постарается особенно оттенить всю выгодность этого дела для румынских крестьян и, вообще, всю великую пользу его для народного благосостояния, при том условии, если крестьяне возьмутся перепекать для «компании» сухари, покупая муку из складов г-на Блудштейна, так как г-н Блудштейн готов уступать муку этим крестьянам несколько дешевле против существующих справочных цен. Абрам Иоселиович, действительно, готов был сделать маленькую скидку, копеек на пять с пуда, ибо по его расчетам, даже и при такой уступке, барыши его все-таки будут громадны. Да и нужно же было чем-нибудь мотивировать необходимость забирать муку исключительно из его складов! — Господин Мерзеску, со своей стороны, обещал благосклонно принять к исполнению проект Каржоля и, ввиду народных польз и выгод, особо рекомендовать префектам, чтобы те, в свою

очередь, приложили старания внушить, растолковать крестьянам эти пользы и выгоды, убедить и даже нравственно понудить их братья за столь благое дело. Кроме того, Мерзеску обещал не препятствовать «компани», если она, при заключении своих сделок с крестьянами, будет обязывать их особым маленьким условием, в форме печатного контракта, где, между прочим, будет включено и обязательство брать муку из таких-то и таких-то складов по такой-то цене, впредь до изменения обстоятельств, и что крестьяне, в случае нарушения ими сего условия, или непредоставления в срок взятого на себя мелкого подряда, отвечают перед «компанией» своим имуществом; «компания» же, ввиду возможной перемены военных или политических обстоятельств, вроде отступления русской армии в пределы России, или внезапного заключения мира, оставляет за собой право прекратить дальнейший прием уже выпеченных крестьянами сухарей и за них денежно не отвечает. — «Но понятно, пояснил Каржоль, что это предложение едва ли осуществимо и вставляется только так, ради

формальности. Что же до пункта об имущественной ответственности крестьян, то и это только так, — более в смысле известного стимула, чтобы побудить их быть аккуратными в сроках доставки и сдачи сухарей «компаний».

Мерзеску почти не возражал и, в конце концов, на все согласился. Блудштейн тут же вынул и положил ему на стол пятьдесят тысяч рублей банковыми билетами, в виде задатка, и обещал, что следующие сто тысяч будут вручены его превосходительству при начале дела, — то есть, когда его превосходительство отдаст все надлежащие по сему делу распоряжения, и, наконец, остальные сто тысяч — при конце операции, приблизительно, месяца через четыре. Расстались они совершенными друзьями, и господин Мерзеску, на прощанье, очень благосклонно стал пожимать руку тому и другому и даже сам любезно проводил их до дверей кабинета.

XIV. ПО ПРИМЕРУ СТРАУСОВ

На улицах уже стемнело и зажигались фонари, когда граф Каржоль возвращался вместе с Блудштейном от господина Мерзеску в «Hotel Metropol»— лучшую гостиницу в Букареште, где они занимали рядом одни из первых номеров бельэтажа.

При входе, немец-швейцар доложил графу, что его уже около часу времени ожидает человек с каким-то письмом, на которое просят-де ответа, и указал ему на посыльного в форменной фуражке с бляхой. Тот приблизился и почтительно подал Каржолу небольшой заклеенный конвертик. Граф посмотрел на адрес, — рука женская и как будто есть в ней что-то знакомое. Странно... Не понимая, от кого могло бы это быть, он вскрыл конверт и, при свете газовых рожков, быстро стал пробегать глазами небольшую записку. Лицо его вдруг побледнело и брови тревожно нахмурились.

«Я в Букареште, в числе сестер милосердия Петербургской Богоявленской Общины», читал он в этой записке. «Случайно встретив

вас сегодня на «Могошоу», узнала ваш адрес и спешу дать вам о себе весточку. С нетерпением жду ответа, и завтра целый день буду ожидать вас. Тамара». Далее следовал ее адрес.

Не веря собственным глазам, Каржоль еще и еще раз перечитал письмо и, в досадливой озабоченности, не зная, как быть, невольным движением схватился за голову.

— Што такое? В чем делу? — любопытно приступил к нему Блудштейн, от которого не ускользнула внезапная перемена в лице и встревоженность графа. — Письмо?.. а?.. От кого письмо?

— Нет, так... пустяки, — вскользь ответил ему Каржоль, пряча записку в карман. — «Не достает только, чтоб и этот скот узнал, что она здесь!» подумалось ему по адресу Блудштейна и, вместе с тем, в голову пришло справедливое опасение, что узнай это, в самом деле, Блудштейн, — он непременно подстроит тайком какую-нибудь жидовскую каверзу и, чего доброго, найдет возможность сообщить стороною Тамаре о женитьбе графа на Ольге. Такая мысль впервые смутно

мелькнула у него в уме еще во время чтения записки, — и граф почти инстинктивно испугался и этой мысли, и того, что Тамара здесь, в Букареште, и что она может узнать всю правду... Из самого тона ее письма, скорее, однако, можно было заключить, что ей пока ровно ничего не известно. — «А что как вдруг... как вдруг она все, все узнает?!. Придет сюда, или случайно встретится с Блудштейном — даже может встретиться здесь, в этой самой гостинице, в коридоре, на лестнице, мало ли где! — и тот ей все расскажет... Господи!» — одно уже это ужасное предположение, что Тамара может узнать про него всю неприглядную, не прикрашенную правду, обдавало его холодом, точно бы он преступник, видящий, что его скверное преступление вот-вот готово раскрыться и беспощадно уличить его во всей его мерзости, а он не имеет ни сил, ни возможности помешать этому... Фу! точно кошмар какой-то.

— Нет, в самом деле, от кого это?.. Кажется неприятное што-то?.. Уж не по нашему ли делу?., а?.. — приставал к нему, между тем, Блудштейн с видом заботливого участия, сне-

даемый в душе зудом чисто жидовского любопытства.

— Ах, да отстаньте! — досадливо оборвал его Каржоль. — Никакого тут «дела» нет, — просто, от женщины... от знакомой одной, и только.

— От женщины? — с шутливым лукавством кивнул на него Блудштейн. — Н-ну, это другое дело!.. Какой ви однако зух, насчет женщин!.. Ай-яй, какой зух!.. Все женщины, везде у вас женщины... Н-ну!?

Граф, не обращая больше на него внимания, повернулся к посыльному и спросил, говорит ли он по-русски?

— Русешти нушти, — пожал он плечами, — aber ich kann etwas deutsch sprechen, Excellenz.

— Ну, и прекрасно. Ступай за мною.

Он привел его в свой номер и запер дверь на ключ, чтобы, часом, не сунул сюда свой нос этот проныра Блудштейн. Надо было обстоятельно расспросить посыльного — от кого, как и где получил он письмо для передачи? Оказалось, что какая-то русская барышня, — судя по костюму сестра милосердия, — проезжая в «бирже» с тремя другими «сестра-

ми» по «Салеа Могошоу», приказала извозчику остановиться на углу, где в ту минуту стоял этот посыльный, подозвала его к себе, написала карандашом на листке из записной книжки фамилию графа Каржоля и приказала ему сейчас же узнать в префектуре его адрес и немедленно сообщить ей в улицу такую-то, дом N такой-то, где живут русские «сестры». Он исполнил поручение, за что барышня дала ему два франка и вручила для передачи графу записку, прося непременно дожидаться от него ответа.

«Ответа... Гм!..» призадумался граф и стал озабоченно и сумрачно шагать по комнате. — Как же тут быть?.. Отвечать... но что отвечать? Отвечать надо что-нибудь определенное... Одно из двух: или порвать все прошлое сразу и навсегда, не объясняя даже причин, или же видеться... сегодня — завтра, во всяком случае, не позже завтрашнего дня. Видеться, — но что сказать ей при свидании? Как и чем объяснить и оправдать свое исчезновение из Украинска и все дальнейшее поведение свое относительно нее, после этого несчастного бегства? — А объяснить неизбеж-

но придется, — она наверное спросит об этом... Признаться во всем, раскрыть всю горькую правду, не щадя себя, — но в каком же, однако, свете изобразит он себя пред Тамарой? Что она после этого может подумать о нем и как будет смотреть на него, на человека, ради которого принесла в жертву все, самое дорогое, самое заветное, тогда как он до сих пор ни разу не подал ей о себе вести, даже не подумал узнать, где она и что с ней! и вдруг, такой неожиданный, негаданный случай, — эта встреча некстати на «Могошоу»... Господи, что ж теперь делать?!

Решительно не придумав, как ему быть, и не будучи в ту минуту в состоянии решиться ни на свидание, ни на отказ, ни даже на какой бы то ни было ответ Тамаре, Каржоль, как страус, при виде опасности, прячущий голову в куст, остановился на мысли, что лучше всего не видеться и не отвечать ей вовсе, до тех пор, пока он не обдумает спокойно и на досуге — как оправдать себя в ее глазах и, вообще, какого плана держаться относительно ее на будущее время, — рвать ли все разом, или... почем знать, может обстоятельства

впоследствии сложатся еще как-нибудь так, что вдруг представится какой-либо иной лучший исход... Какой это мог бы быть исход, Каржолу самому еще не было ясно. Ему казалось только, что надо все предоставить времени, — время-де все выяснит, устроит и сгладит так или иначе все шероховатости и шипы нынешнего его положения... Время, быть может, и оправдает его пред Тамарой, но пока, в настоящую минуту и при настоящих обстоятельствах, когда еще и этот Блудштейн тут под боком, лучше не видеться и не отвечать ей ни слова. А еще лучше — уехать бы на несколько дней из Букарешта... ну, хоть в Плоэшты, что ли, да и Блудштейна, кстати, прихватить с собой. Так-то, кажись, по-надежнее будет. А тем временем, князь Черкасский [12], может быть, и этих богоявленских сестер куда-нибудь сплавит подальше.

— Вот что, любезный, — решительно остановился граф перед посыльным, кладя на плечо ему руку. — Ты, надеюсь, малый смысленный. Вот тебе золотой, — получай!.. Ты сейчас же отправишься к этой барышне и скажешь ей, что в гостинице меня уже не нашел, что

я сегодня после обеда уехал по делам на несколько дней из Букарешта, но номер свой удержал за собой — так, мол, тебе сказали в конторе — и что ты поэтому оставил письмо до моего возвращения. Понимаешь?

— Ja wohl, Excellenz!.. Дело знакомое, будьте покойны.

«А затем», подумал себе Каржоль, «надо будет сейчас же распорядиться, сказать швейцару, кельнеру и в конторе, что если меня будет спрашивать какая-либо русская дама или девушка, в костюме «сестры», то говорить, что уехал-де, и кончено! Оно и кстати, так как дня на два, на три придется засесть за сухарную записку для Мерзеску, а там, — там будет видно... там уже что Бог даст, — авось, что-нибудь и придумаем».

И он, в заключение, приказал посыльному, чтобы тот, по исполнении своей задачи, опять явился к нему — доложить, что и как исполнено, и тогда, коль скоро все будет обделано им умно и ловко, получит в награду еще столько же.

Осчастливленный столь необычайно щедрою подачкой, посыльный с глубочайшими

поклонами рассыпался в уверениях о своей готовности служить его сиятельству верой и правдой до гроба и, с видом чуть не благоговейного почтения, приседая на ходу в коленках, удалился из графского номера. — О! Excellenz может быть спокоен: он, конечно, исполнит в строгой точности все, что изволил приказать ему его сиятельство.

XV. ПРИ ПЕРЕПРАВЕ

К ночи с 14-го на 15-е июня, сестры Богоявленской общины прибыли в местечко Зимницу, где к этому времени уже были втайне сосредоточены войска 8-го корпуса.

По распоряжению военного инспектора госпиталей, сестер, вскоре по прибытии, направили на передовые перевязочные пункты. Под Зимницей, у возвышенно обрывистого берега Дуная, отделяясь от него узким протоком, лежит широкая низменность, в то время еще не вполне освободившаяся от воды весеннего разлива. На этой низменности, несколько восточнее Зимницы, находится небольшой лесок, подбегающий к самому берегу главного дунайского русла. Из-под этого леска должна была производиться ночью переправа войск на турецкий берег, а в самом леску, в лазаретных шатрах 9-й и 14-й пехотных дивизий устраивался главный перевязочный пункт. «Передовой» пункт, на той же низменности, находился западнее «главного», в расстоянии от него около трех верст, и между ними был раскинут еще один пункт — «проме-

жуточный».

Небо уже с вечера начало хмуриться, и ветер, налетавший порывами, стал свежеть и крепчать все больше. Можно было опасаться к ночи значительного волнения на Дунае. В десятом часу вечера, на турецкой стороне, в Систове, было заметно много огней, а слева, из Вардарского турецкого лагеря, довольно хорошо доносились по воде звуки военного оркестра. На зимницком берегу, напротив, господствовали мрак и тишина. В одиннадцатом часу турецкая музыка прекратилась, а вскоре после этого стали гаснуть, исчезая один за другим, и огоньки в Систове. К спуску на воду 208-ми понтонов у нас приступили еще с девяти часов вечера, как только совсем стемнело, и с того же времени, по зимницкой низменности, увязая в илистом грунте, уже двигались войска к месту посадки. Все приготовления и подход десантных войск, разделенных на шесть рейсов, совершался в полной тишине. Запрещено было даже курить, чтобы светящимися точками папирос и трубок не привлечь на себя внимание противника. В полночь у места посадки, сосредоточи-

лись уже войска первых трех эшелонов десанта. Турецкий берег, погруженный в мертвое молчание, смутно обозначался темною массою в легком ночном тумане. Смутный призрак луны изредка неясно просвечивал белесоватым пятном среди клубившихся облаков. Всплески волн, вздымаемых расходящимся ветром, с легким шумом плавно били в берега, и этот шум помогал скрывать громыхание нашей приближавшейся к переправе тяжелой артиллерии, которая занимала свои прибрежные позиции вправо и влево от опушки леска, избранного для главного перевязочного пункта. На той стороне — ни огонька, ни звука. Турки, казалось, спали, не подозревая близкой опасности.

На главном перевязочном пункте, в тишине и потемках, также шли деятельные приготовления. Сюда были доставлены солома, матрацы, пятьсот циновок, и подвижная кухня. Сестры доставали из тюков походного госпитального склада чай, сахар, спирт, вино, белый хлеб и плитки бульона, расстилали в назначенных местах тюфяки, набивали сеном подушки, готовили постели... Врачи и

фельдшера раскладывали на операционных столах свои инструменты, бинты, гигроскопическую вату и все прочие принадлежности для перевязок и ампутаций.

У военных священников, на складном походном столике, уже были приготовлены эпитрахили, кресты и запасные Дары для последнего напутствия умирающих. Санитары готовили свои лубки, косынки и носилки; лазаретные служители возились около походной кухни, кипятили воду в кубах и наставляли большие медные самовары. Всем было работы немало, и работа эта шла ходко, быстро, и в полном порядке, так что спустя часа два, все приготовления были уже покончены, — оставалось только ожидать прибытия раненых. Пользуясь наставшим роздыхом, Тамара закуталась в серый шерстяной платок и вышла с несколькими сестрами на опушку леса посмотреть, что там делается, как идут военные приготовления к переправе. Нервы ее были возбуждены, нравственное настроение приподнято. Пока занята была работой, она не чувствовала этого возбуждения; но теперь, при виде безмолвно двигавшихся войск, из

коих некоторые части уже стояли на самом берегу в полной готовности к переправе, при виде этих орудий, уже выставленных на позицию и окруженных расставленными по своим местам артиллеристами, она впервые почувствовала, что тут готовится что-то важное, большое и грозное, чему еще впервые в жизни приходится ей быть свидетельницей. Тишина почти мертвая, нарушаемая только тяжелым шлепаньем мерных шагов по топким болотам, да изредка какой-нибудь командой, подаваемой то там, то здесь тише, чем вполголоса; сумрак облачной ночи и грозная томительная тишина смутно выступавшего турецкого берега — все это заставило усиленно биться сердце девушки. Но это не было чувство страха опасности и неизвестности, и тем менее, чувство слабодушной себялюбивой боязни, — нет, о себе она совсем забыла в эти мгновения, полные чудной и грозной таинственности. В ее возбужденной душе ясно царил один лишь высокий порыв, — одно непрерывное молитвенное желание: «Господи! дай, чтоб удалось!.. Господи, помоги, помоги им... и сохрани их!..»

Правильно, тихо и без малейшей суеты сели на понтоны люди первого рейса и, перекрестясь, отвалили от берега. Это было ровно в час ночи. Генерал Драгомиров в последнюю минуту еще раз предупредил людей, что отступления нет, разве в Дунай, а потому — так или иначе, но нужно идти вперед: впереди — победа, назад — во всяком случае гибель, если и не от пули, то в воде. Он тихо послал вослед отплывающим свое благословение крестным знаменем. В небольшой группе лиц окружавших генерала, находился и молодой Скобелев, которого прикомандировали к нему без всякого определенного назначения, вроде ординарца.

Ветер, между тем, разыгрывался все более и более, волнение на середине реки значительно увеличилось, так что усилия гребцов становились почти напрасными. К тому же луна, окончательно заволокнувшаяся густыми тучами, уже не давала и того скудного света, который во время посадки еще проникал порою сквозь туман облаков, — и понтоны, отваливая от берега, один за другим, вскоре совсем терялись из виду, как бы вдруг тая-

ли и исчезали. Турецкий берег, закутавшись мглою, тоже совершенно исчез из глаз, и на воде стала такая темень, что судам десанта почти невозможно было следить друг за другом. Более получаса прошло уже в напряженном, безмолвном ожидании. Сердце Тамары изнывало в какой-то, ей самой непонятной, тоске; в теле ощущалась нервная дрожь, глаза и щеки лихорадочно горели. Она отдалась несколько от группы сестер, зашла за кусты к самому берегу и, быстро крестясь, стала горячо, порывисто молиться, без слов, одною лишь мыслью, и эта мысль была все та же: «Господи, помоги им! защити их!.. донеси их счастливо и скорее... скорее!.. Господи!..»

Но вот раздался в мертвой тишине одиночный выстрел. Турецкий часовой, стоявший на посту у караулки, близ мельницы на ручье Текир-дере, заметил подозрительное присутствие на своем берегу посторонних людей и открыл тревогу. Тамара вся встрепенулась и чутко стала прислушиваться. В ту же минуту до нашего берега слабо донеслись встревоженные голоса, возгласы и крики турок на мельнице... Раздались еще два-три выстре-

ла — и пошла пальба, сначала редкая, потом все чаще и чаще... Влево, на выдающемся возвышенном пункте турецкого берега ярко вспыхнула вдруг большим пламенем сигнальная вежа... Издалеча, с восточной стороны, от села Вардар уже доносятся звуки сигнальных рожков в турецком лагере. Поднялась общая тревога. Прибрежные турецкие позиции на кручах, по обе стороны Текир-дере, вскоре засверкали бегучими, учащенными вспышками выстрелов, — точно огненные змейки или зигзаги молнии судорожно перебегали там с места на место, то справа, то слева, и выше и ниже. По поверхности Дуная был открыт усиленный ружейный огонь, и звуки турецких выстрелов раздавались мелкой непрерывной дробью.

В это время на облачном горизонте засерел первый просвет утренней зари. Темная поверхность реки стала мало-помалу светлеть, а вместе с тем начали проясняться и очертания противоположного берега. Это был первый момент борьбы ночной тьмы с утренним светом, когда в природе только что начинают неясно и несколько фантастически вырисо-

вызваться общие очертания наиболее крупных предметов. Но уже при этом смутном освещении, на белесоватой поверхности реки сделались заметными черные точки и черточки отдельных понтонов. Чуть только они выяснились, как в небе вспыхнула точно молния и вслед за тем гулко прокатился по воде красивый звук первого артиллерийского выстрела. То была турецкая пушка, — и граната, направленная с батареи, прикрывавшей город Систово, шлепнулась в воду среди понтонов, подняв целый фонтан брызг. Вместе с этим и ружейный огонь противника, по мере того как цели очерчивались все более и яснее, становился сильнее и метче. К первому орудию вскоре присоединились и три другие, с батареи, находившейся на восточных высотах, близ Вардарского лагеря. Таким образом огонь сделался перекрестным — и на понтонах люди стали нести довольно чувствительные потери. Но вот, и на нашей стороне, вправо от того места, где стояла Тамара, вдруг треснул звучный удар первого выстрела. Девушка даже вся вздрогнула от неожиданности. Через несколько секунд, — второй удар,

затем третий, а там уже пошла и пошла мерная канонада нескольких 9-ти фунтовых батарей, поставленных по обе стороны леска, у опушки, на самом берегу низменности.

Между тем, рассветало все более, так что можно было уже различать не только очертания отдельных предметов, но и их краски. Еще в первом рейсе, происходившем, благодаря потемкам, в наилучших условиях относительно турецкого огня, оказались уже весьма серьезные потери; а с рассветом несколько понтонов положительно изрешетило пулями, так что некоторые из них вместе с людьми пошли ко дну. Немало доставалось от огня и людям. С того места, где стояла Тамара, ей и теперь вполне было видно, как на каком-нибудь понтоне, избранном целью, того или другого отделения турецких стрелков, начинали падать наши солдаты. При рассвете, все более и более вступавшем в свои права, это в особенности было заметно по штыкам: частокол их бодро и прямо торчит над головами сидящих людей; но вот, случайно попадает понтон под сосредоточенный огонь — и штыки начинают все более склоняться книзу, ре-

деть, падать; вместе с ними склоняются и падают люди — то ничком вовнутрь понтона, то навзничь, опрокидываясь в воду, — и вот, на понтоне пусто... виднеются только сидящие фигурки каких-нибудь двух-трех гребцов, но и те, одна за другою, никнут и падают вниз; вместе с ними валятся в воду весла, — все это происходит в течение одной, много двух минут, — и быстрое течение свободно подхватывает и несет куда-то вниз по Дунаю понтон, издырявленный пулями и наполненный телами убитых и раненых... Тамара стоит и смотрит во все глаза; сердце ее зохолонуло, дыхание спирается в груди, в горле судорога какая-то; все существо ее преисполнено одним ощущением ужаса и щемящей жалостью к этим беспомощно и молча погибающим на ее глазах людям... Эти черные железные понтоны кажутся ей какими-то большими гробами, уплывающими куда-то в пространство, в неизвестную могилу... Она простирает руку к реке, к другим плывущим мимо плотам и понтонам, еще наполненным людьми, указывает им на погибающих и кричит во весь голос — «Спасите!.. Помогите вон тем!.. Вон

там, — там... Помогите им! — Тонут!..» Но «черные гробы» плывут себе мимо, по своему назначению, — им некогда спасать гибнущих братьев — надо самим спешить к тому берегу, на подмогу к изнемогающим в борьбе товарищам первого десанта... А тот несчастный, издырявленный и опустелый понтон, меж тем, плывет себе, все более и более — погружаясь в воду, которая струями вливается в него сквозь пробоины, — плывет, кружась по воле прихотливого течения, и, наконец, тихо тонет, тонет, исчезает... и на поверхности реки не остается никаких следов только что совершившейся катастрофы. Эта поверхность, то и дело, рябится только фонтанчиками и снопами брызг от шлепающихся в нее турецких пуль, да иногда шипящая граната, падая в воду, подымет целый столб водяной пыли. Страшно... Холодно... Какая ужасная могила!..

— Сестра!., а, сестра! Да что это с вами?.. Столбняк нашел, что ли?..

Кричу, кричу ей, а она хоть бы что! — раздался подле Тамары ласковый голос сестры Степаниды, которая подбежав к ней, стала слегка поталкивать ее в плечо, стараясь вы-

вести девушку из овладевшего ею оцепенения. — Да очнитесь же, наконец!.. Чего вы это, в самом деле! — Пушек испугались, что ли?

Тамара, с растерянными от ужаса глазами, молча указала ей рукой на новый, подхваченный течением и уже тонущий понтон.

— Там... люди... люди есть, — с усилием проговорила она с каким-то странным, точно бы сдавленным голосом и вдруг разрыдалась, припав на плечо Степаниды.

— Ну, вот!.. Ну, что ж это!.. Тамарушка, да что вы!?!.. Господь с вами!.. Чего это? — в недоумении спрашивала та, поддерживая девушку в своих объятиях.

Тамара продолжала рыдать, конвульсивно вздрагивая грудью и плечами.

— Ну, полноте нервничать! — внушительно заговорила, наконец. Степанида с дружеской строгостью, — не место и не время. Эдак то, вместо раненых, да с вами еще придется возиться. Перестаньте, милая, нехорошо!.. Ну, какая же вы сестра после этого!? Спрячьте ваши нервы в карман, утрите слезы и пойдете дело делать, — начальница и то уж спрашивала, где вы. Нас с вами на «передовой пункт»

назначили, — идемте!.. Или вы, в самом деле, боитесь?

Последнее слово царапнуло самолюбие Тамары. Она словно бы очнулась, глубоко вздохнула всей грудью, как дышется всегда после рыданий, и энергично подняла голову.

— Я?., боюсь, говорите вы?.. Боже избави! — возбужденно сказала она — стараясь преодолеть самое себя и подавить свои слезы. — Нет, я так... это... это сейчас пройдет... Это оттого, что я в первый раз еще вижу, как погибают люди... Это ужасно!.. Но я... я сейчас возьму себя в руки, — вы увидите... Голубушка, простите меня, не сердитесь, — мне известно... Эти слезы... Ах, теперь глоток воды, и все прошло бы... Пойдемте!

Она быстро отерла платком свои глаза и бодро пошла впереди Степаниды.

На главном пункте стояла уже готовая лавочка, чтобы отвезти их, в числе восьми сестер, на «передовой» и «промежуточный» пункты, куда, через нарочно присланного ординарца, просил их пожаловать инспектор, — так как там есть уже раненые, и врачи крайне нуждаются для них в женской

помощи. Тамара только успела в несколько жадных глотков выпить стакан воды и, подойдя под благословение начальницы, поспешила вслед за Степанидой сесть в линейку, где уже поджидали их остальные назначенные сестры.

— Господи, благослови! — перекрестилась она и с ясным взором улыбнулась Степаниде, как бы говоря этим, — вот видите, все прошло уже.

Был пятый час в начале. Уже совсем рассветло, ночные тучи рассеялись, и яркое солнце блистательно и весело подымалось все выше и выше среди голубого, теплого неба. Линейка с сестрами местами с трудом двигалась по болотистой почве вдоль берега или среди войск, подходивших, к переправе. Тамара с живым любопытством глядела на всю окружающую ее обстановку. Из-под роскошных ветвей и кустов тамаринда, купавшихся в самой воде, выглядывали, покачиваясь, наши понтонные лодки — в ожидании посадки следующего эшелона. По всей низменности, обходя затоны, тянулись длинными косыми зигзагами колонны пехоты и 4-х фунтовые ба-

тарей артиллерии 8-го корпуса. Люди, тяжело нагруженные боевым и походным снаряжением, в суконных мундирах, со скатанными шинелями через плечо, тяжело ступали по глубокой топи, на каждом шагу уходя в густую грязь по колено и, несмотря на солнечные лучи, начинавшие уже с раннего утра по-ужному припекать все сильнее и сильнее, энергически преодолевали все эти тяжелые препятствия — лишь бы скорей дойти к переправе. Лошади тоже грузли, артиллерийские колеса увязали по ступицу; но охочие люди, забыв про усталость беспрестанно вытягивали на плечах орудия и ящики из болота. Два раза помогли они и лазаретной линейке наших сестер выбраться из густого месива глубокой грязи, с которым, без их помощи, не могла сладить четверка добрых артельных лошадей. Головы этих колонн направлялись в пространство низменности, прикрытое спереди леском. Гранаты, между тем, и справа, и слева продолжали рассекать воздух сверлящим, спиральным шипением своего полета; они бултыхались в воду, свистали через ивняк и рвались между деревьями, ломая сучья

и ветви, шлепались в самый берег, среди наших 9-ти фунтовых батарей, обдавая пространство вокруг себя илистой грязью, рвали иногда и между колонн, двигавшихся по топи. Самому леску доставалось от гранат чуть ли не больше, чем остальным местам низменности: здесь на траве валялось много клочков и обрывков белья, платья, амуниции... Санитары с носилками быстро сновали по всему берегу, подбирая раненых и убитых; последних сносили они на северную окраину леска, в кустарники, где и складывали рядком. Но глядя на все это, Тамара, к собственному удивлению, уже не испытывала такого ужасного, потрясающего впечатления, как там, на берегу, когда в ее глазах тонули черные понтоны. Она действительно, «взяла себя в руки» и несколько пообтерпелась, да и яркое солнышко, как бы наперекор всему, что делалось в ту минуту на этом клочке земли, светило так весело и приветливо, что невольно прогоняло с души всякие страхи, вливая в нее бодрость, уверенность и надежду, что все, даст Бог, кончится сегодня хорошо для наших, — будет победа.

Сдав половину сестер на «промежуточном» пункте, линейка доставила, наконец, остальных на «передовой», и тут для них тотчас же началась энергичная работа. Перекатный гром пушечных выстрелов, непрерывная, неумолкаемая трескотня ружейного огня на том берегу; бледные страдальческие, и по большей части спокойные лица раненых; обнаженные, иногда окровавленные члены и части человеческого тела, окровавленные лица, головы, рубашки, тряпки и вата; кровь на столе, в тазах и чашках, кровь на полотенцах, на руках врачей и фельдшеров...

Даже в самом воздухе как будто запах или пар свежей крови... То тут, то там иногда тяжелый сдержанный стон, или подавленный страдальческий вздох, иногда чье-то предсмертное хрипение, или последние конвульсии бьющегося, по земле человеческого тела — все это каким-то ужасным кошмаром опять, стало-налегать на Тамару, когда она очутилась на передовом перевязочном пункте. Но здесь рассудок и добрая воля подсказали ей, что надо опять преодолеть, переломить себя и делать дело, — иначе стыдно будет пе-

ред другими сестрами. — «Ведь ничего же, они делают что следует и не нервничают... вон и доктора тоже, как спокойно и внимательно справляются со своей работой, — неужели ж одна я такая малодушная?!» И Тамара, стараясь не слышать этих ужасных звуков и не глядеть по сторонам на эту кровь и конвульсии, принимается, засучив рукава, за работу, какая указана ей врачом, — осторожно, мягко промывает тепленькой губкой запекшуюся кровь на чьей-то руке, где зияет черная сквозная рана, держит доктору бинт, подает ему ножницы, вату, компрессы... Вот замечает она следы чужой крови и на своих собственных пальцах, и на своем белом переднике, но это ей уже не страшно и не противно, — она уже переломила себя и помнит лишь одно, что надо, надо работать, что дела впереди еще много, а время не ждет, и нечего, значит, развлекать свое внимание посторонними вещами. Спустя какие-нибудь полчаса, она работала уже так исправно и ловко, что старый, сивоусый военный врач даже похвалил ее. — «Молодец сестра! Такая молоденькая и так твердо работает!.. Хорошо!» Тамара

слегка улыбнулась. Это первая, хотя и грубовато выраженная, похвала польстила ее самолюбию, подняла ее в своих собственных глазах, — и в ней зародилась уверенность, что, в самом деле, здесь ничего нет страшного, или, по крайней мере, не так страшно, как казалось вначале.

Все перевязочные пункты на низменности неоднократно подвергались большей или меньшей опасности от неприятельских гранат, но «передовой» больше других находился в сфере артиллерийского огня и потому три раза должен был переменить свое место, нигде однако не спасаясь от залета неприятной гостии. Все пространство сырой, еще непросохшей земли вокруг него было изрыблено яминами и бороздами разрыва. Но и в этих условиях медики и сестры спокойно и твердо исполняли свое дело. Одна граната лопнула среди самого перевязочного пункта, убив осколком на месте одного санитаря и обдав Тамару с головы до ног комками земли и брызгами грязи. Мимо нее прозвенел в воздухе один из осколков, что невольно заставило ее пригнуться к земле с легким криком испу-

га; но врач, которому она помогала, не выпустил даже пинцета из рук, делая лигатуру, и продолжал как ни в чем не бывало доканчивать работу.

— Вы не ранены, сестра? — спокойно и как бы между прочим спросил он, видя, что та присела к земле.

— Кажется, нет... А что? — отозвалась ему Тамара, подымаясь на ноги.

— Да так... курбет вы этот сделали, а я подумал было...

Только вы это напрасно: кланяться этим гостям бесполезно, а вот бинт вы мне выпачкали, это нехорошо. Вперед не кланяйтесь.

К часу дня деятельность на «передовом» и «промежуточном» пунктах уже значительно сократилась и сосредоточилась на «главном», куда к этому времени было уже передано наибольшее количество раненых, получивших первоначальную помощь. Поэтому и сестры, по распоряжению инспектора, были теперь сняты с обоих передовых пунктов и доставлены на главный, где начинал уже сказываться недостаток женских рук для ухода за множеством страдальцев, нуждавшихся в

их помощи. И на главном пункте, все равно как и на передовых, сестры в течение всей ночи и всего дня не имели ни минуты покоя: сначала им надо было все приготовить к приему раненых и уходу за ними, а затем ухаживать и помогать еще врачам. Первые раненые стали доставляться на главный пункт к шести часам утра, — сначала довольно редко, а потом все чаще и чаще, и такая доставка продолжалась вплоть до вечера, так что в первый день на главном пункте всех раненых было 382 человека. Тут, в операционных шатрах, их сортировали по роду и характеру ранения и затем размещали в прочих помещениях и, частью, на открытом воздухе. Все эти помещения были распределены между личными врачами и сестрами. Последние все свое время проводили, большей частью, на коленях у постели: надо было ежеминутно поправлять под больными соломенные мешки и подушки, покрывать разметавшихся в бреду одеялами, прикладывать к ранам компрессы с карболовою водою, давать пить больным, которых томила жажда, кормить их; перекладывать слабосильных на другой

бок или менять на них заскорузлое от крови белье, помогать при наложении и перемене повязок, иного утешить и обнадежить ласковым словом, этому написать под диктовку коротенькое письмо на родину, того успокоить, если у него расходились нервы, — словом, работы было, как говорится, по горло, так что самим не оставалось, буквально, минутки свободной, чтобы отдохнуть и подкрепиться пищей. Работа хирургов тоже не прерывалась до тех пор, пока медицинская помощь не была подана постепенно, по мере прибытия, всем без изъятия раненым, что и продолжалось до одиннадцати часов вечера, когда была наложена последняя повязка, и тут лишь первый раз за весь день выпала хирургам и их ассистентам возможность на четверть часа успокоиться, выпить по стакану чая, закусь чем попало. А затем, едва лишь к часу ночи успели все кое-как окончательно справиться с делами.

Тамара, наряду с другими сестрами, работала целый день, не замечая, или даже не чувствуя особенной усталости. Нервы ее точно бы закаменели, и все внимание, все мысли

были устремлены лишь на то дело, какое надлежало исполнить в ту или другую данную минуту.

Через ее руки прошел сегодня не один десяток раненых, между которыми было несколько ран очень серьезных и тяжелых, и ее все время невольно поражали замечательная выносливость и терпение русского человека. Во время переноски и некоторых ампутаций не было слышно не только жалоб, но и стонов мало раздавалось. Иные при ампутациях не желали даже хлороформироваться и стоически выдерживали мучительную операцию, куря трубочку махорки или стиснув между зубами носовой платок, чтобы, часом, не закричать от боли.

В двенадцатом часу вечера, когда врачи и несколько, освободившихся сестер сошлись за большим походным столом, где кипел самовар и стояла кое-какая холодная закуска, один из медиков невольно обратил внимание на крайне утомленный вид, запавшие глаза и бледное лицо Тамары.

— Сестра, вы, как видно, очень устали, — заметил он ей с участием. — вам бы лечь те-

перь да выпасться поскорее.

— Я?.. Нет, нисколько! — подбодрилась де-
вушка.

— Ну, уж не нет, а да! Я ведь вижу, — на
вас просто лица нет... Смотрите, не переуто-
митесь да не заболейте еще!

— Нет, ничего; я чувствую себя прекрасно.

— Какое «ничего»!.. Тут и у опытного хи-
рурга, а не то что у вас, окончательно исто-
щится вся нервная сила, когда приходится во-
семнадцать часов без перерыва ампутиро-
вать, резать да налагать гипсовые повязки, а
вам, при вашей молодости... Вы, конечно,
первый раз в такой передрыге?

— Да, это мой первый опыт, — отвечала Та-
мара не без некоторого чувства внутреннего
удовлетворения.

— Ну, так мы, врачи, положительно запре-
щаем вам продолжать сегодня какую бы то
ни было работу! — безапелляционно поре-
шил доктор. — Подкрепитесь-ка стаканом
красного вина и сейчас же спать, или я на вас
пожалуюсь начальнице.

Врачи и сестры в один голос подтвердили
требование своего коллеги. И в самом деле, на

первый раз было слишком уже достаточно всего, что пришлось переиспытать и переделать в эти сутки Тамаре. Но, все-таки, спать она пошла не ранее того, как начальница разрешила сестрам отправляться на отдых, и только улегшись в постель, устроенную на освободившихся санитарных носилках, почувствовала, наконец, всю силу и тяжесть своего физического утомления. Зато на душе у нее было теперь хорошо и спокойно. Она не без достойной гордости сознавала внутри себя, что совершила сегодня нравственную победу над собою, над своею женскою немощью, переломила самое себя, выдержала характер и честно до конца исполнила свой добровольно принятый долг, — значит, в будущем она будет не хуже других... Никто больше не скажет ей, что она нервничает или боится. И она заснула крепким, здоровым сном молодости, с самодовлеющим чувством нравственной удовлетворенности и с бодрой готовностью завтра и впредь, до конца войны, продолжать свое дело. Опыт нынешнего дня был для нее то же, что для молодого солдата первое «огненное крещение» в бою; она чувствовала,

что вышла из этого испытания с честью и получила спасительную уверенность в себе и в своих нравственных силах на трудный подвиг боевой сестры милосердия, — уверенность, которая до сего дня для нее самой оставалась еще под сомнением.

* * *

16-го июня утром посетил главный перевязочный пункт великий князь главнокомандующий, а два часа спустя, неожиданно приехал туда-же и государь император, вместе с государем наследником и великими князьями Алексеем и Сергеем Александровичами, в сопровождении военного, министра и многочисленной свиты. Августейшие посетители не пропустили без внимания ни одного страдальца, — причем врачи лично докладывали государю о свойстве и степени опасности каждой раны. Его величество подходил к каждому из раненых, находя для каждого приветливое слово ласки и ободрения, — но останавливался дольше около тех, кто получил более тяжелые или более многочисленные раны, и с участием расспрашивал их, где и как с каждым было дело. В числе последних

особенное внимание государя обратил на себя Волынского полка штабс-капитан Бряннов, который вчера, с людьми своей 12-й роты, в один из самых критических моментов боя, успел вскарабкаться на утес и первый, с криком «ура», бегом бросился во фланг туркам. Аскеры навстречу ему подставили стальную щетину — девять штыков вонзились в геройски смелого Бряннова. Он был поднят штыками на воздух, но и в этом положении — как свидетельствовали государю очевидцы — успел хватить саблей по голове какого-то турка. Из девяти ран, доставшихся на долю Бряннова, две были в животе. Когда подоспели его солдаты, — а это было два-три мгновения спустя, — турки сбросили его со штыков им навстречу и, не дожидаясь рукопашной расправы, кинулись бежать. Истекая кровью, Бряннов, однако, не потерял сознания и, приподнявшись с земли на локте, нашел еще в себе достаточно сил, чтобы подбодрять и направлять своих солдат словами. Это была могучая натура... Через день он умер, имея перед смертью утешение в георгиевском кресте, который был собственноручно надет на него

императором. Немало в этот счастливый для раненых день 16-го июня было роздано георгиевских крестов лично самим государем и другим героям; многим из них он сам нашпиливал на рубаху крест, с которым они потом ни на минуту не расставались, держась за него рукою и любуясь на драгоценную награду. Те из раненых, что были на ногах или могли кое-как двигаться, порой обступали государя толпой, как дети, и многие умиленно просили его разрешить поскорее отправить их в свои палки, уверяя, что рана-де «пустяшная» и что они еще не успели исполнить свой долг как следует. Все врачи и сестры были осчастливлены выражением высочайшей благодарности. Государь в каждом шатре отечески милостливо, в простых, сердечных выражениях обращался к раненым и благодаря рил их за службу, а при словах его: «показали себя модцами; сдержали то, что обещали мне еще в Кишиневе», раздавался везде такой здоровый и бодрый отклик «рады стараться, ваше императорское величество», что трудно было поверить — неужели это голоса раненых, из которых многие за несколько минут перед

тем еще стонали и глядели уныло или апатично. Это посещение царя всех вдруг подняло ободрило, оживило физически и воскресило нравственно.

Откуда вдруг взялись и энергия, и силы, и готовность опять в бой хоть сию минуту! Словно магическая перемена совершилась на глазах Тамары: и те же люди, да не те! При виде столь теплого участия монарха, у раненых и многих из присутствовавших навертывались на глаза слезы умиления. Государь, при отъезде, поблагодарил еще раз провожавших его врачей и сестер, выразил им надежду, что они в другой раз так же усердно помогут раненым, как помогли теперь. Общий, неудержимый крик восторга и целая буря «ура!» сопровождали отъезд государя и цесаревича с перевязочного пункта. На Тамару, не ожидавшую ничего подобного, даже не могшую до сих пор вообразить себе такого отношения царя к своим подданным и такого единого порыва любви и беззаветной преданности этих подданных своему царю, все эти сцены произвели потрясающее впечатление, полное восторга, увлечения и умиленно-

го чувства. Вчера и сегодня она воочию увидела и впервые поняла, что такое русский царь и русский народ, что это за сила и какие великие нравственные узы неразрывно связывают их воедино. Как еврейке, ей до сих пор это было чуждо и непонятно; как христианка, она сердцем своим уразумела эту силу и связь в настоящую минуту.

XVI. ВСТРЕТИЛИСЬ

С переходом войск через Дунай, Зимница, это ничтожное, обыкновенно сонное местечко, вдруг оживилась, олюднела и закипела необычайным движением и лихорадочной деятельностью. Чуть только прослышали в тылу о состоявшейся переправе, как тотчас же налетели сюда целыми стаями и оравами всевозможные иудеи, эллины, румыны, армяне, немцы и иные западные и восточные человеки, алкавшие и жаждавшие русского золота, взамен своих товаров и продуктов, подчас более чем сомнительного качества. Маркитант Брофт, разбивший свою палатку на каком-то навозном заднем дворе, между двумя-тремя повозками, торговал великолепно и драл за все про все немилосердно, чуть не дестерные цены. Кабачки и лавчонки стали расти, как грибы после дождя. В двух скверных трактиришках, битком набитых проходящим офицерством, визгливая цыганская музыка с утра и до утра наигрывала «Постильона» и «Копелицу». Агенты Грегера, Горвица и Когана нагло заняли под себя и свою «конто-

ру» одно из лучших, после царского, помещений, вывесили над ним на высоком шесте свой собственный «товарищеский флаг» и принялись щеголять по улицам в белых офицерских фуражках с кокардами, в длинных ботфортах с огромными настезными шпорами и с нагайками через плечо, а некоторые жидки понавешивали на себя даже офицерские револьверы и шашки. В это время не в редкость было встретить на зимницких улицах возмутительную расправу подобных кокардированных жидов с закабалившимися к ним южно-русскими мужиками поганцами, которых они хлестали своими нагайками по спине, по лицу и по чем ни попало, уверяя, что только таким образом и возможно поддержать среди них «спасительнаво дисциплина». И все это, к стыду нашему, сходило им с рук безнаказанно: русские поганцы, как вольнонаемные люди жидов, оставались вне покровительства и защиты штабного начальства действующей армии, — пускай-де жалуются румынским властям, или в русское консульство! — и таким образом, единственными судьями и начальниками этих несчаст-

ных людей оставались разные Ниньковские, Миньковские, Сахары, Айзенвайсы и тому подобные «уполномоченные» «генерала» Варшавского. Словом, в Чимнице стоял жидовский «гвалт» и «гармидер», царил жидовский «гешефт» и раздавалось всеобщее ликование. В Зимнице жилось весело, не то что там, впереди, на позициях. Да и как было не радоваться? Переправа — эта заветная и томительная мечта всей действующей армии, наконец совершилась и, говоря относительно, обошлась нам очень дешево: многие, и даже весьма компетентные люди, рассчитывали положить здесь тысяч тридцать народа, а вместо того мы не потеряли и тысячи. Массы войск придвинулись теперь к Зимнице и бивакировали вокруг местечка, в ожидании своей очереди к переправе. Другие массы всех родов оружия наполняли улицы, ведущие к спуску, и всю измененность вплоть до понтонного моста на Дунае, утопая в глубокой и густой, чисто первобытной пыли, тучами стоявшей над дорогами. В лагерях под вечер раздавались звуки песен и музыки. Разная международная саранча, а в особенности жидова, наша и ру-

мынская, сейчас же образовала здесь самую бесшабашную и безобразную ярмарку со всеми ее «прелестями», рулеткой, картами, шулерами, арфистками, артистками и проч. Все гостиницы и вообще свободные помещения в обывательских домах до такой степени переполнились вдруг известного сорта женщинами, которых понавезли сюда целыми транспортами особого рода антрепренеры из евреев, армян и греков, что нередко больным офицерам и сестрам милосердия, а также врачам, чиновникам и офицерам, следовавшим к армии, приходилось ночевать в повозках, под открытым небом. Тут же в изобилии очутились вдруг и пронырливо толклись повсюду разные подозрительные личности из поляков, венгерцев, «высокоцивилизованных» жидов и т. п., которые, не имея никакого определенного занятия, «временно» проживали в Зимнице по совершенно, по-видимому, «законным» паспортам, под видом всевозможных промышленных агентов, туристов, антрепренеров различных предприятий сомнительного существования, а также и под видом иностранных корреспондентов, тогда

как в сущности все они были не более, как австрийскими, английскими и турецкими шпионами. Войска, как элемент подвижный, приходящий, то прибывали, то убывали, меняясь почти ежедневно; интенданты же и еврейские агенты «Товарищества», представляли собой в Зимнице элемент более устойчивый, осевшийся и потому заметно играли там премирующую роль. Этих агентов всегда можно было видеть, у Брофта и в других «аристократических» ресторашках за одним столом с интендантскими чиновниками и «транспортными» офицерами, где у них кипело море разливанное, дюжинами хлопали пробки от шампанского, по два золотых за бутылку, и из рук в руки переходили свертки червонцев и пачки банковых билетов: тут было царство интендантско-жидовской биржи, вершились крупные дела и заключались «обоюдновыгодные» сделки. А по вечерам лихие интенданты, в обществе всяких проходимцев и декольтированных женщин, обыкновенно закладывали в трактирах банк, высыпая на зеленые столы грудки золота и вороха кредиток, и жестоко резались в штосс и ландскнет до рассве-

та, под звуки того же «Постильона» и скабрёзных шансонеток. Русское золото лилось и швырялось зря направо и налево, быстро хватаемое жадными и грязными, заgreбистыми руками, и, казалось, что и конца этому морю разлитому не будет.

Спустя несколько дней после переправы, главный перевязочный пункт был упразднен, и сестры Богоявленской общины переведены пока в Зимницу для работы в одном из подвижных госпиталей, который раскинул свои шатры на краю местечка.

В это же время экспромтом прибыл в Зимницу и граф Каржоль, командированный «Товариществом» в штаб армии по «сухарному вопросу». Да кроме того, ему поручено было войти в переговоры с госпитальной инспекцией, по поводу поставок в придунайские госпитали дров, соломы и разных жизненных припасов, которые «компания» желала бы взять на себя «*en masse et en gros*». Поехал он по этому делу к инспектору и не застал его, — говорят, через час будет дома. Приезжает через час, — и опять дома нет. Граф оставил свою карточку и в приписке на ней просил

известить его, когда может быть он принят по такому-то делу? Спустя два часа, приезжает он в третий раз, и тут ему сообщают, что инспектор был да уехал в зимниций подвижной госпиталь, где и теперь находится, и что уезжая он приказал передать графу, буде ему необходимо теперь же видеть его по делу, то пусть пожалует, в госпиталь до четырех часов дня, так как в четыре часа инспектор уже уедет за Дунай, в главную квартиру, и не возвратится ранее завтрашнего вечера. Нечего делать, — не желая оттягивать в напрасном ожидании время и упускать удобный случай для переговоров сегодня, же, граф немедленно отправился по назначению.

Он застал инспектора на дворе, между шатрами, среди какого-то делового разговора с главным доктором и военно-административным персоналом госпиталя, и тут же ему представился. Впрочем, объяснение его, происшедшее, по желанию инспектора, на месте, в присутствии названных свидетелей, продолжалось не особенно долго. Выслушав до конца предложение, обещающее будто бы большие удобства и выгоды для казны, гене-

рал наотрез отказался содействовать «компани» в проведении и осуществлении ее планов. Нравственный кредит всяких жидовских «товариществ» и «компаний» в это время был уже подорван в общественном мнении армии, и порядочные люди избегали иметь с ними какое-либо дело. — Все, что мог сделать инспектор, это разве порекомендовать Каржолу обратиться к начальнику штаба: прикажут-де, — мы исполним; но предупредил, что если в штабе сочтут нужным справиться с его взглядом, в чем едва ли может быть сомнение, то он всеми силами будет против, по весьма веским причинам, изъяснять которые теперь считает излишним. После такой отповеди, что называется, не солоно похлебавши, Каржоль сухо откланялся генералу и, в испорченном настроении духа досадливо и смущенно направлялся уже к своему фаэтону, как вдруг его что-то передернуло, отшатнув даже несколько назад, и он стал на месте, не то удивленный, не то даже испуганный чем-то неожиданным.

Перед ним стояла Тамара.

Уйти ему было некуда, уклониться от

встречи невозможно: девушка, очевидно, поджидавшая его заранее, вышла теперь из шатра прямо на него и стала пред ним в трех шагах расстояния, обдавая его лучами радости и счастья, блиставшими в ее взоре.

«Ах, черт возьми!.. Положение!» мысленно выбранился он, еще в большей досаде.

— Господи!.. Наконец-то!.. Наконец-то я вижу вас... Здравствуйте!.. Как я рада! — лепетала она, не сводя с него ясно улыбающихся глаз и нервно сжимая его руку.

Он, в замешательстве, нерешительно и как-то вяло ответил на ее пожатие, ничего не промолвив, и только улыбался ей какой-то странной, растерянною улыбкой. Тамара сразу заметила, что ему как-то не по себе, и во взгляде ее выразилось серьезное и подозрительное недоумение.

— Что с вами, граф?.. Вы как будто не рады нашей встрече.

— Нет, как можно... Как не рад?!. Напротив, я... очень, очень рад... ужасно рад, — залепетал он, вдруг покраснев до ушей от ее прямого вопроса. — Но я так поражен, так удивлен... Я никак не ожидал встретить вас

здесь, в такой обстановке, в таком костюме...

— Как!., удивленно перебила она. — Разве вы не получили моей записки.

— Записки... Какой записки? — притворился граф, будто не понимая, о чем его спрашивают.

Тамара объяснила ему обстоятельства своей встречи с ним Salea Mogoşoşu и все, что за тем с ее стороны последовало.

— Какой однако досадный случай! — промолвил на это Каржоль, с видом и жестом досадливого сожаления, уже успев за время ее рассказа несколько оправиться и овладеть собой и своими мыслями. — Представьте, — объяснил он, — ведь я приехал сюда прямо из Плоэшт, не останавливаясь в Букареште, — меня экстренно вызвали телеграммой, — и значит, ваша записка преспокойно лежит себе, в ожидании меня в гостинице... Ах, какая досада!

Тамара пытливо и с некоторой затаенной тревогой посмотрела на Каржоля. По чисто женскому чутью, ей показалось в самом тоне его «досады» и во всем этом его объяснении что-то неискреннее, будто сейчас им придум-

манное. Вообще, она испытывала теперь некоторое разочарование, потому что, сама преисполненная радости, ожидала и с его стороны более живого, более отзывчивого порыва на свой открытый, сердечный привет, а вместо того, встречает вдруг какое-то странное смущение и сдержанность. Вся эта встреча и в особенности ее первые моменты произошли совсем не так, как она их заранее воображала себе, поджидая графа с замиранием сердца, за приспущенной полою шатра.

— Но я рад, я необычайно рад нашей встрече, — продолжал между тем Каржоль, пожимая ей руку. — скажите, однако, что ж это значит, какими судьбами вы здесь и почему на вас этот костюм сестры милосердия? — Кстати, он очень идет к вам.

Тамара усмехнулась с некоторой горечью. Последний «комплимент» показался ей и пошловатым, и совсем «некстати».

— Мы с вами так давно не виделись, граф, — начала она уже с некоторой сдержанностью, — что вы, очевидно, совсем не знаете ничего, что было со мной за все это время... Ну, так поздравьте меня: благодаря вам, я уже

христианка, и за это мое вечное, душевное вам спасибо!

— Вы помирились с вашими родными? — спросил он вдруг с заметно большим оживлением и интересом.

— С родными? Нет. Моя бабушка умерла, а дед... едва ли он даже знает, где я и что я.

— Но разве вы не делали никакой попытки к примирению, не писали ему?

— Нет. Да и зачем?.. Все равно, из этого ничего не вышло бы.

— Ну, нет, почему знать!.. Ведь он вас так любит, вы его единственная внучка... и наконец, тут замешаны ваши материальные интересы...

Это упоминание об «интересах» — то есть, понятно, о ее наследстве, чуть не прежде всего и притом в такую минуту, невольным образом покорило внутренне Тамару. Ей было неприятно, зачем именно он вспоминает об этом.

— Мои «интересы»! — грустно усмехнулась она. — Вы знаете, я уж давно махнула на них рукой, и они меня нисколько не соблазняют, — проживу и так, даст Бог!.. Добрые лю-

ди — спасибо им! — приняли во мне живое участие, приютили меня в Общине, где я и крестилась, полюбили меня, и вот почему я теперь сестрой. Я поехала на войну вместе с ними, да иначе мне и деваться было бы некуда. История моя, как видите, очень проста и немногословна.

Все это было сказано не без оттенка грустной горечи, потому что в душе ей было несколько обидно, досадно и больно, что он — он, по-видимому, так мало высказывает интереса к ее внутреннему, нравственному миру, к ее заветному чувству, которое, казалось бы, должно быть для него всего дороже. И зачем ему так торопиться с этими практическими намеками на «материальные интересы»!

— Да впрочем, что обо мне! — слегка махнула рукой Тамара, как бы отгоняя от себя невеселые мысли и вдруг переменив свой тон на приветливо любезный и веселый. — Мне гораздо интереснее, — продолжала она, — спросить вас, какими вы судьбами здесь, у нас в госпитале? Вы, вероятно, назначены уполномоченным от «Красного Креста»?

— Я?.. Нет... Почему вы так думаете? —

удивленно спросил Каржоль, даже несколько смутясь таким вопросом.

— Да именно потому, что вы здесь, — пояснила Тамара. — Что ж иначе могло бы привести вас в действующую армию? — Само собой, или «Красный Крест», или желание подраться с турками. И я, еще как встретила вас в Букареште, сейчас же подумала себе, что вы или к Черкасскому, или поступаете волонтером в армию.

— Волонтером!?! — принужденно рассмеялся Каржоль, задетый за живое таким предположением. — Нет, к сожалению, ни то, ни другое, — слегка вздохнул он, — но... можно ведь быть полезным и не на одних только этих двух поприщах.

Тамара молча взглянула на него вопросительным взглядом, видимо ожидая дальнейшего пояснения этих неопределенных и несколько даже загадочных слов.

— Я здесь, действительно, в роли уполномоченного, — несколько принужденно продолжал Каржоль, — только не от «Красного Креста», а от... «Товарищества».

— «Товарищества»?.. То есть, как это?.. Ка-

кого «Товарищества»? — с недоумением переспросила Тамара. Ей и в голову не могло придти «Товарищество Грегера, Горвица и Когана», — до того далека была она от возможности сопоставления имени графа с этими ославленными на всю Россию именами.

Но граф, как раз их-то и назвал, да еще так-таки прямо глядя ей в глаза, точно-бы он бравирует этим своим положением жидовского «уполномоченного».

— Полноте, вы шутите, граф, — серьезно сказала она с недоверием и даже как будто с некоторым испугом.

— Ни мало, — отвечал он. — Да и что ж тут такого!.. Я действительно состою агентом «Товарищества» и являюсь даже специальным представителем «сухарной компании».

И говоря это, он заметно старался даже утвердиться в тоне бесстыжей серьезности, точно бы в этом его «представительстве» какая-то особая честь заключается.

— Как! Вы пошли служить к этим вампирам!? — невольно вырвалось у Тамары прямо из сердца. Ей вдруг стало больно, оскорбительно и стыдно за этого, столь дорогого ей

человека.

— Почему же непременно к «вампирам»! — снисходительно усмехнулся Каржоль. — Люди как люди, — ничего себе.

— Да разве вы не слышали, не знаете, что говорит о них вся армия?

— Какое же мне до этого дело! — пожал граф плечами. — Я исполняю свою обязанность, и только... Исполняю ее честно, добросовестно, — с меня и довольно.

После этих слов, уже и для Тамары настала очередь смутиться.

— Да нет, вы меня мистифицируете. Этого быть не может! — решительно проговорила она, засматривая в глаза Каржолю, точно бы моля его, чтоб он ее разуверил, и ожидая что граф сам сейчас вот рассмеется и скажет: «Ну разумеется, шутка! А вы и поверили?»

Но он не сказал этого. Напротив, он возразил, что почему же «быть не может?» — что ж тут такого особенного?

— Как, что особенного!? — горячо вступилась за него самого Тамара. — Граф Каржоль де-Нотрек пошел служить к господам Грегеру, Горвицу и Когану? Это ли еще не «особен-

ное»?!.. Простите меня, я, может быть, слишком резка... Ну, что ж делать, — простите эту невольную мою резкость, но... вы до сих пор были слишком близким, и дорогим мне человеком, чтоб я могла думать и говорить иначе.

— Что ж из того, что «граф» Каржоль де-Нотрек! — иронически усмехнулся он. — Чем же хуже или лучше графа Каржоля какие-нибудь князя Турусовы и прочие?! Да ведь они точно так же служат у Грегера и Когана!

— Извините меня, граф, но это не оправдание, — возразила Тамара решительно и твердо. — Я вам говорю это как ваша невеста, которую вы сами избрали. Я имею право говорить так. Князя Турусовы вам не указ, — я слишком высоко ставлю вас, чтоб допустить такое сравнение, вы слишком порядочный человек для этого?

— А, вот оно что! — сложив на груди руки, протянул Каржоль с каким-то злобным и горьким выражением. — «Слишком порядочный человек»... Ну, так узнайте же все до конца, коли так!.. Узнайте же, что я — раб евреев, я в кабале у них, я куплен ими, — понимаете ли, куплен с аукциона, и они теперь вьют из

меня веревки. Вы не знали этого, — ну, так скажу вам более: я закабален вашему деду... Да, да! — ему, Соломону Бендаvidу, «достопочтеннейшему», который в тот же день, как я отвел вас к Серафиме, скупил все мои векселя и расписки до последнего даже счета из мелочной лавочки, скрутил меня в самую критическую минуту, когда я был буквально без копейки, дал мне пять тысяч, взявши вексель на пятьдесят, и когда заручился таким образом против меня документами на сто тысяч, — ну, тут уже не трудно было принудить меня нравственным насилием выехать в ту же ночь из Украинска, с обязательством никогда и носа туда не показывать! И с тех пор он держит меня за горло, под вечной угрозой засадить в долговую, тюрьму, — и это все за то, что я люблю вас, что я смел мечтать сделать вас своей женой!.. Я бежал в глушь, в Боголюбскую губернию, как вол работал на фабрике, живя одной мыслью — сколотить, наконец, капитал, чтобы швырнуть его этому... вашему дедушке и выкупить свои документы, но... к несчастью, дело не удалось, провалилось... и тогда ваш же сородич, господин Блуд-

штейн, явился ко мне с предложением идти служить к этим, как вы говорите, «вампирам», чтобы погасить свои долги Бендаvidу, который, к слову сказать, тоже участвует своими капиталами в «компании» с этими самыми «вампирами»... Что-с?.. Вы не знали этого? — Ну, так знайте! Этот ваш «достоинейший», «благороднейший» рабби Соломон не считает предосудительным высасывать кровь и пот из русского мужика и солдата, — кодекс еврейской нравственности ничего против этого не имеет. — Так вот почему я выкупаю этот проклятый долг ценою унижения, ценою позора своему доброму имени!.. Вот почему я здесь!.. Можете теперь презирать меня, если хотите!.. Я, действительно, я стою презрения, потому что лучше бы было тогда же пустить себе пулю в лоб, чем терпеть такую рабскую жизнь; но — что прикажете делать! — я слишком любил вас, слишком надеялся, глупец, в возможность еще счастья в будущем... Я откупаюсь теперь потому, что до сей минуты продолжал жить все той же надеждой... А если она потеряна, если им презираете меня за это, — что ж? — вы свобод-

ны, я возвращаю вам ваше слово.

Граф говорил горячо, с увлечением и так убежденно, веруя сам в истину своих слов, что взволнованная до глубины души Тамара дослушивала его уже с крупными слезами на глазах. Она поняла, что эта служба его в «Товариществе» есть величайшая нравственная жертва, которую он приносит ради нее, что он любит ее все так же, как и тогда, и несет свой ужасный крест только потому, что не утратил еще надежды когда-нибудь соединиться с ней. Могла ль она после этого негодовать и бросать в него камень!? — Нет, он нравственно еще более вырос в ее глазах, и теперь ей стали понятны и это смущение, и эта сдержанность, как будто даже холодность, какие обнаружил он в первые минуты их неожиданной встречи.

— Презирать вас, оттолкнуть вас... О, нет! Я слишком люблю вас... люблю все так же... Нет, больше даже!.. Я еще больше уважаю вас теперь! — с увлечением говорила она, горячо сжимая его руку. — Правда, я слыхала, что дед скупил ваши векселя и что вы должны были оставить Украинск, но я не знала всех обстоя-

тельств, всей подкладки этого дела и вашего молчания. Теперь мне все ясно. Простите, я виновата перед вами, я смела усомниться в вас... Это ужасно!

— Я не сержусь, Тамара, — растроганным голосом произнес Каржоль. — Я только хотел сказать вам всю правду, чтобы вы знали, — и с меня довольно. Ваши слезы эти, ваша улыбка, все это говорит мне, что все недоразумения между нами кончены. — Не так ли?

— Да, да, — повторяла она ему с улыбкой счастья сквозь слезы. — Да, кончены... и навсегда!.. Я верю в вас и не усомнюсь более.

Но тут для Каржоля встал весьма интересный и тревожный вопрос. Она сейчас упомянула, что ей было известно о скупке векселей и о его побеге из Украинска. Откуда она могла узнать об этом? Через кого и как?.. И если она знает это, то не знает ли чего-нибудь и больше?.. По-видимому, не знает. Но если?., если этот услужливый кто-то постарается как-нибудь сообщить ей и остальное? А он, между тем, не отважился сказать ей теперь о своей женитьбе. Весь его горячий монолог как-то так был построен, по внезапному вдохнове-

нию, чисто, экспромтом, что в нем не оказалось и тени намека на это прискорбное обстоятельство. А ведь оно может открыться...И что же тогда?!. Нет, надо теперь же узнать, кто ей сказал о векселях и, смотря по тому, кто именно, — принять сообразные меры.

Но Тамара сама предупредила его намерение. Ей точно так же был интересен вопрос об Ольге, об ее будто бы участии в устройстве побега к Серафиме, — почему городские толки стали приплетать сюда Ольгу и в чем тут дело? Не разъяснит ли ей это Каржоль?

— Что дед скупил ваши векселя и что вы уехали, — это мне писала в Петербург Сашенька Санковская, — заговорила она, уже несколько успокоившись. — Признаюсь, тон ее письма очень удивил меня...тем более, что там были какие-то странные намеки на Ольгу, которых я окончательно не понимаю.

— Что же такое? — серьезно спросил Каржоль, несколько нахмурясь и внутренне настораживаясь, на всякий случай. При имени Ольги, сердце его невольно екнуло тревогой.

— А вот, прочтите.

И Тамара передала ему письмо Сашеньки,

которое она нарочно достала из своей походной шкатулочки и спрятала в карман, чтобы показать его графу, еще в то время, как поджидала за шатровой завесой конца его разговора с инспектором.

Каржоль нарочно неторопливо развернул сложенный вчетверо листок и принялся читать его мелкие строки с нетерпеливо жадным любопытством, но стараясь выдерживать полнейшее наружное спокойствие, чтобы не подать Тамаре повод заподозрить свое внутреннее, далеко не спокойное состояние. При словах письма, что жида застали Ольгу утром в его квартире, графа невольно передернуло, но он постарался при этом пренебрежительно улыбнуться, равно как подобная же улыбка проскользнула у него и при фразе «твой граф-апостол».

— Барышня, как видно, очень зла на вас, что вы не посвятили ее в свою тайну, — спокойно и равнодушно заметил он со снисходительной усмешкой, возвращая письмо. — Ну что ж, это еще не беда. Вы отвечали ей?

Тамара объяснила, что она первая написала к Сашеньке, и то потому лишь, что не на-

ходила иного способа узнать хоть что-либо о графе, но после этого не отвечала ей ничего.

— Ну, а она? Не писала больше?

— Ни полслова. Да и о чем же, после такого злого письма, переписываться! — Отношения, очевидно, порваны.

— Разумеется, — согласился граф. — Ну, а что касается Ольги, — продолжал он, — то признаться, я и сам не понимаю, с чего ей вдруг вздумалось впутывать во всю эту историю себя?! Разве из желания выставиться, что и я, мол, что-нибудь да значу, — «мы-де пахали»... Удивительна эксцентричная голова! — пожал он, в заключение, плечами и призадумался, чувствуя сам слабость своей аргументации в объяснении «необъяснимого» поведения Ольги.

— Я и сам, — снова заговорил он с усмешкой, после минутки раздумчивого молчания, — я и сам слышал, еще тогда же, эту нелепую сплетню, будто ее застали у меня, и мне думается, что она нарочно пущена евреями, не столько ради меня, разумеется, сколько для вас, чтобы смутить вас.

— А что ж, это возможно, — согласилась

Тамара.

— То-то мне и кажется. И потому-то, помните ли, я и писал вам тогда в монастырь, что к делу приплетают одну из ваших подруг... Я не хотел называть по имени но, помнится, просил вас не верить ничему, что бы вы ни услышали.

— И я свято исполнила вашу просьбу, — подтвердила ему Тамара, — я ни на минуту не поверила, и если заговорила об этом теперь, то только потому, что хотела знать, с какой стати припуталась тут Ольга?

— Психопатка, что ж вы хотите! — развел граф руками. — Страсть выставиться, порисоваться, заставить говорить о себе во что бы то ни стало, — вот это что такое. О, вы еще не знаете, что это за женщина и чего она одному человеку стоила!.. Когда-нибудь, со временем, я расскажу вам... Это ужасная женщина!..

— Но ведь она вам нравилась? — лукаво улыбнулась Тамара.

— Н-да, нравилась *entre autres*, — небрежно согласился Каржоль. — Но и то лишь пока я не встретился с вами и не узнал, что вы за девушка. Впрочем, за это «нравление» я уж

достаточно наказан...

При этих нескольких загадочных словах, Тамара с вопрошающим удивлением вскинулась на него глазами.

— Ну, да не стоит вспоминать! — махнул он рукой. — Когда-нибудь со временем узнаете, я расскажу вам.

— Да в чем же дело? — спросила она, решительно не понимая, чем могла так насолить ему Ольга.

— После, после... со временем, говорю, — с улыбкой поспешил он уклониться от ответа. — Я ничего от вас не скрою, все расскажу вам, но теперь не хочу отравлять ни вам ни себе счастливого дня нашей встречи. Это грустная история, — ну, ее!.. Вообще, прибавил он с притворно скромным видом, — на свои отношения к Ольге я никогда не смотрел серьезно, тем более, что не я за ней, а она за мной гонялась.

Последняя фраза опять неприятно резанула по нравственному чувству Тамары, которой показалось в ней что-то вроде не то фатовства, не то хвастовства какого-то и, во всяком случае, поползновение бросить сомни-

тельную тень на ее старую подругу. — Зачем, ведь она девушка! — Нехорошо это!.. — ей теперь хотелось бы всегда видеть его серьезным, положительным, рыцарски честным и идеально нравственным, — словом, таким, каким должен бы быть ее будущий муж, а не общедоступным легким ловеласом, хотя бы это ловеласничество и относилось к его прошлому.

В это время по дорожке мимо них прошла начальница общины, и Тамаре не трудно было тотчас же подметить в ее лице сдержанно-строгое и недовольное выражение. Она поняла, что та недовольна именно ею за продолжительное отсутствие ее из палаты и еще более за этот продолжительный интимный разговор с каким-то посторонним мужчиной, на явный соблазн остальным сестрам. Проходя мимо, старушка покосилась в сторону Тамары, деликатно давая этим понять ей, что пора бы уж и кончить, неприлично-де для сестры так долго... Но Тамара тут же нашлась, как ей выйти из неловкого положения.

— Мaman! — окликнула она ее вслед по-французски.

Старушка, удивленно подняв брови, остановилась и повернулась к ней несколько на-топорщись, с немым вопросом во взгляде.

— Permettez moi de vous presenter mon fiancé, — подвела она его к ней за руку, — граф Каржоль де Нотрек, о котором, помните, я говорила вам и великой княгине еще в Петербурге, после крещения.

Начальница сложила губы в официально любезную улыбку и несколько церемонно ответила плавным склонением головы на глубоко почтительный поклон графа.

— Вы мне позволите, сударыня, — скромно и серьезно заговорил он, не покрывая головы приподнятою шляпой, — вы мне позволите время от времени посещать мою невесту?

Старушка несколько замялась.

— Изредка, пож-жалуй, — с некоторой неохотой согласилась она, — в свободное время, отчего же, раз что вы жених и невеста... Но вообще, я бы просила вас, сестра Тамара, не отрываться на продолжительное время от ваших обязанностей.

И церемонно поклонясь издали графу, она прошла назад, по направлению к своей па-

латке. Каржоль ей видимо не понравился по-
чему-то, и он сам инстинктивно почувство-
вал это. Почувствовала также и Тамара, и это
сердечно ее смутило и огорчило.

— О го-го, какая, однако, она у вас строгая.
С душком! — заметил он в насмешливом то-
не.

— О, нет, — вступилась за нее девушка, —
она предобрая, она прекраснейшая, благород-
ная женщина... Это, просто, ангельская добро-
та; но, конечно, старушка с капризами неко-
торыми, — нельзя же без того... Но мы все
ужасно ее любим и уважаем, и вы сами уви-
дите потом, что это за сердце золотое...

— Ну, да Бог с ней! — небрежно махнул он
слегка рукой и затем спохватился с озабочен-
но торопливым видом. — Однако нам с вами
дано уже первое предостережение, — не бу-
дем сердить ее и простимся.

На прощанье они условились, что Кар-
жоль время от времени, по мере возможно-
сти, будет навещать ее в качестве жениха. А
чтобы знать всегда, где оба находятся, они
условились переписываться между собою.

XVII. ПОСЛЕ СВИДАНИЯ

Часов около шести вечера, когда часть отбывших свою очередь сестер и лечебно-административный персонал госпиталя, по обыкновению, сошлись к чаю за большим столом, один из ординаторов обратился к комиссару с вопросом, что это за фронт приезжал давеча к генералу?

— Агент жидовский, — отвечал тот.

— Подъезжал было с «наивыгоднейшими» предложениями насчет поставок, — пояснил командир санитарной роты, — и уж так-то соблазнительно расписывал — «ай-вай!» Но наш — спасибо — турнул его достодожным манером. Вперед не сунется.

— Удивительно бесстыжий народ! — заметил кто-то из медиков. — Ты его в шею, а он все лезет, точно овод какой!..

— Жиды, батюшка... На то и жиды, ничего не поделаешь!

— Да разве этот, что приезжал, жид?

— Хуже-с: соотечественник, да еще титулованный.

— Кто такой, говорите вы?

— Граф Каржоль де Нот рек. — Так графом и отрекомендовался, с форсом, — вот как!

Услышав это имя, Тамара, сидевшая за тем же столом, против начальницы, тревожно и чутко насторожилась и невольно стала внимательнее прислушиваться к перекрестному разговору.

— Хо-хо, какая громкая фамилия! — заметил кто-то. — Натощак, сразу и не выразишь.

— Н-да-с, чуть не трехэтажная...

— И неужели же он тоже в «агэнтах»?

— Как видите.

— Экой срам какой!.. Экой позор!.. Дворянин, аристократ, и вдруг к такой пархатой шушере на послуги! — Воля ваша, это вчуже обидно даже!

— Мало ли их тут, титулованных-то!.. «Сыны отечества» тоже, «патриоты»... У этого хоть фамилия нерусская, а вот, как свои то, да не стесняются родовые имена волочить по жидовской грязи, — это много похуже будет.

— Времена, однако!

— Что ж, самые практические, без предрас-судков, по крайней мере.

— Э, полноте, господа, причем тут «времена»! — Мерзавцы всегда были и будут. Это уж, так сказать, вне времени и пространства.

— Так этот трехэтажный граф действительно жидовский агент, наряду с Ицками и Шлемхами?!..

— Что ж, и наряду, коли выгодно.

— Экая подлость какая!

Тамара наконец не выдержала. Ей больно и страшно было слушать свободный поток всех этих осуждений и горько язвительных замечаний по адресу дорогого ей человека. Она сидела вся бледная, нервно встревоженная, крутя в пальцах свой носовой платок, и готова была чуть не разрыдаться. Рассудок подсказывал ей, что лучше воздержаться и сейчас же уйти, но сердце не выдержало.

— Господа, — сказала она с дрожащей ноткой страдания и укоризной в голосе. — Осуждать со стороны легко... Но справедливо ли?.. Назвать кого мерзавцем, право, не велика еще заслуга!.. Надо знать причины, какие побудили человека на такой тяжкий шаг... человека честного... Почему вы знаете, может из его положения не было иного выхода.

— Те-те-те... скажите, пожалуйста! Выхода не было... Это уж мы, кажется, в область невменяемости заходим... Эдак-то всякую мерзость можно оправдывать.

— Да вы что, сестра, застываетесь? Вы его знаете?

— Знаю, — едва перемогая себя, подтвердила Тамара, — потому и говорю, что знаю.

— Да, и ведь и в самом деле, Тамарушка с ним разговаривала давеча, — вспомнила сестра Степанида. — Знакомый ваш, что ли?

— Знакомый... и смею уверить вас всех, человек порядочный.

— Сестра Тамара, у вас прекрасное сердце, мы в этом уверены, — шутя отнесся к ней ординатор ее палаты, — но смею думать, вы берете на себя напрасный труд оправдывать дрянью-людей, будь они хоть раззнакомые ваши. Порядочный человек в такую «компанию» служить не пойдет. — Это уж «ах, оставьте ваш характер!»

Тамара побледнела еще более, губы ее задрожали, на глазах выступили слезы.

— Господа, мне этот разговор очень тяжело слушать, — с усилием и мольбой в голосе, об-

вела она всех просящими глазами.

Все с удивлением посмотрели на нее и увидели, что с нею что-то неладное.

— Сестра, да что это с вами?! Или ваше христианское милосердие уж так велико, что вы готовы расточать его даже на всех проходимцев?.. Полноте, не смешите, пожалуйста! Что он вам, друг, брат, сват, что ли, или родня какая?

Но тут сочла уже нужным вступить в дело молчавшая доселе начальница общины, которая про себя давно уже заметила, насколько случайный этот разговор неприятен девушке.

— Граф Каржоль де Нотрек— жених сестры Тамары, — внушительно и веско заметила она, ни к кому собственно не обращаясь. — Теперь вы знаете и, надеюсь, можно больше не продолжать.

Граната, упавшая среди стола, казалось, не произвела бы такого эффекта, как эти слова добрейшей старушки. Все голоса вдруг оборвались, все взгляды с удивлением — иные с недоверчивостью и любопытством, иные с сожалением и состраданием — устремились на

бледную девушку, точно бы они ее до сих пор не знали и не видали.

Минута тяжелого, смущенного молчания.

— Бога ради, простите, сестра, великодушно!.. Мы ведь не могли же знать, а вы молчите... Вам бы давно сказать, и конец! — первым заговорил сконфуженный ординатор, стараясь как-нибудь оправдаться. Конечно, должны быть причины, — вы, правы, но кто ж их знает!.. По наружности судить трудно... Во всяком случае, позвольте от души пожелать вам всякого счастья...

Общий разговор после этого порвался и уже не возобновлялся ни на какую тему. Положение вдруг стало тяжелым, натянутым. Всем было как-то не по себе, неловко и совестно, и каждый досадливо укорял себя в душе. — «Вот влопался-то!.. Обидел ни за что, ни про что хорошую девушку»...

Но всех неловче и тяжелее было самой Тамаре. Ей даже досадно стало на начальницу, — зачем, с какой стати было объявлять это во всеуслышание! Кто просил ее! — досадно и на самое себя, зачем вмешалась в разговор и выдала свою душу, зачем не ушла ра-

нее! Она торопливо, через силу допила свою кружку и, встав из-за стола, поспешно направилась к своей палате, глотая подступившие к горлу слезы.

— «Несчастный!»— думалось ей про Каржоля. «Какой страшной ценой — ценой позора и общего презрения — приходится платить ему за свою любовь!.. И все это самопожертвование ради меня... Ведь это из-за меня он терпит... Из-за меня!.. Одна я, — я всему причиной... Я виновата... Господи, да что же я за бес-таланная такая, что всем приношу одно только горе да несчастье!.. Деду — горе, бабушке — смерть, всей семье — несчастье, ему — тоже несчастье... Тут, просто, роковое что-то».

* * *

А граф, между тем, ехал из госпиталя как нельзя более в духе, совершенно довольный собой. Он никак не мог ожидать, что вся эта встреча и объяснение с Тамарой, которых он так боялся, разыграются для него столь благополучно. Нет, ему решительно везет, — он счастливейший человек в мире! Тамара ничего не знает, она по-прежнему любит и верит в него, готова ради него на всякую жертву... О,

нравственный авторитет его очень силен над нею! — так думалось графу. — Она как воск в его руках: все, что захочет, то с ней и сделает, во всем убедит ее и заставит смотреть своими глазами, — в этом он окончательно сегодня убедился. Компанейские дела, несмотря на нынешнюю неудачу с инспектором, в общем тоже идут превосходно... Блудштейн и теперь уже загребает громадные дивиденды, да и сам Каржоль — что ж! — он пока совершенно обеспечен, может жить не стесняясь, как прилично в его «представительном» положении, а по окончании войны, с ликвидацией компанейских дел, — по его расчету, это уже и теперь можно предвидеть, — он не только до копейки расплатится с долгами, но и вывезет еще капитал тысяч в двести, по крайней мере, и тогда... О, тогда он знает, что ему делать! Прوماху больше не даст!

И вот в голове его вдруг, точно бы по вдохновению, создается новый, чрезвычайно смелый и ловкий план, и он уже заранее вполне верит в его удачу, потому что верит в себя, в свою счастливую «талию», привалившую к нему теперь на зеленом поле житейского

штосса. — И он идет ва-банк, черт возьми!.. Да, в конце концов, Тамара будет принадлежать ему со всем своим миллионным наследством — деньги ее улыбнутся-таки «благороднейшему» Соломону. О, он знает теперь, как это сделать! Ему важно было только убедить-ся в самой Тамаре, да вот, лишь бы выручить у Бендавида свои документы, а там — го-го, какой спектакль ему устроить! — «Eh bien, messieurs les juifs! Voyons nous!.. Rira bien qui rira le dernier!»

И он с удовольствием подкатил к ресторану Брофта утолять свой разыгравшийся аппетит бараньими котлетами с трюфелями и шампанским.

XVIII. В ДНИ «ТРЕТЬЕЙ ПЛЕВНЫ»

В сумерки 25-го августа транспорт сестер Боявленской общины прибыл на ночлег в болгарское селение Порадим, где в то время находилась главная квартира румынской армии, призванной из-за Дуная к нам на помощь.

По распоряжению военно-медицинской инспекции и «Красного Креста», сестер поспешно направляли теперь под Плевну, где по слухам, готовилась на днях новая атака укрепленных позиций Осман-паши. Две предшествовавшие неудачи наших войск под Плевной, равно как и обширные приготовления заставляли всех догадываться, что на этот раз здесь, вероятно, произойдет нечто грандиозное и решительное, — поэтому и сестры уже заранее готовились к предстоящей им большой и трудной работе. Вокруг них, в Порадима, как и в Радынце, где стоял тогда русский штаб, высказывалось почти всеобщее убеждение в успехе ожидавшегося

боя, с таинственным видом, под величайшим секретом, передавалось из уст в уста людьми, далеко не посвященными в стратегические тайны штаба, об «именинном пироге», будто бы готовящемся на 30-е августа: почти никто и не думал о возможности третьей неудачи, — напротив, заранее были уверены, что уж теперь-то навверное принудят Османа или сдаться или очистить Плевну. Одни только люди, испытавшие на себе две первые «Плевны», сомневались в легкости этого дела и говорили, что будет трудно и жарко...

26-го августа, ровно в шесть часов утра, когда сестры уже трогались в путь, в Порадима слышался грозный гул громадного залпа, после которого на минуту воцарилась полная тишина, а затем начался довольно редкий огонь отдельных орудий. Громовой звук, услышанный в Порадима, был произведен залпом нашей большой осадной батареи и возвестил начало боя под Плевной. Канонада началась с обеих сторон без торопливости, с выдержкой, как подобает серьезной канонаде, рассчитывающей на меткость своих выстрелов. В продолжение всего пути к русским

боевым позициям встречались сестрам по сторонам дороги таборы болгар, успевших бежать из-под Плевны, а около Порадима все громадное поле было наполнено их убогими пожитками, возами, буйволами, овцами и волами. Мужчин в этих таборах было очень мало, — повсюду виднелись одни лишь женщины да дети, сидевшие группами у своих возов, или уныло бродившие около дороги.

Когда санитарные линейки с сестрами выбрались на высоту за деревней Сгалсвицей, выстрелы стали слышны весьма ясно, а вскоре из Гривицкой лоцины открылась некоторая часть и наших, и турецких позиций; но и там и здесь местами видны были только белые клубы нескольких дымов, медленно поднимавшихся в небо. Поезд двигался по грунтовой дороге, между стоявшими наготове артиллерийскими парками, повозками военно-походного телеграфа, разными обозами и кавалерийскими резервами. Вдруг между всеми, этими частями проявилось какое-то особенное движение людей, и позади поезда сестер раздались несколько громких окликов военного приветствия.

Тамара оглянулась в ту сторону, откуда неслись эти клики, да так и впилась туда глазами. На крупных рысях быстро приближалась оттуда многочисленная кавалькада свитских всадников, впереди которой развевался по ветру белый значок главнокомандующего с голубым восьмиконечным крестом посередине, а позади этой группы мелькали, сквозь поднятую пыль, папахи и блестящие газыри целого эскадрона конвойных линейцев и красные пики лейб-казаков. Вот из этой группы ясно выделилась спереди легкая коляска, запряженная четверкой вороных, и в ней Тамара узнала государя рядом с великим князем главнокомандующим. По мере того, как они приближались, свободные люди от всех ближайших парков и обозов спешили к дороге, наскоро выстраивались отдельными группами и радостным кликом отвечали на обращенное к ним царское «здорово!» Вот, наконец, коляска поравнялась с линейками сестер, — Тамара совсем близко от себя увидела несколько похудевшее лицо государя, с большими, добрыми глазами, скользнувший взгляд которых на мгновение она почувство-

вала и на себе... Вот лицо это озарилось приветливой улыбкой, и до слуха ее долетели ясно слова: «Бог помочь, сестры!»

— Бог помочь вам, государь! — неудержимо вырвалось у Тамары полное восторга восклицание, тотчас же подхваченное возгласами остальных сестер. Раздались «ура!» и клики радостных женских голосов, и белые платки приветственно замелькали в воздухе.

А белая фуражка государя уже мелькала сквозь пыль впереди, — и блестящая густая вереница сановников в колясках, генералов и флигель-адъютантов верхом на ретивых конях, уже пронеслась, бряцая саблями и шумя подковами, мимо санитарного поезда.

— Вот умница! Вот молодец! Нашлась что ответить государю! — со слезой восторга в глазах хвалила между тем Тамару неразлучная с ней сестра Степанида.

Как это случилось, как вырвалось у нее это и для самой себя неожиданное восклицание, Тамара не могла дать себе отчета, чувствовала только, что вырвалось оно прямо из сердца и как-то невольно, само собой. Она не видела государя с самой Зимницы, с того раза, как он

был на перевязочном пункте, и ей показалось, что с тех пор лицо его несколько похудело, побледнело и слегка осунулось. В этом дорогом лице, несмотря на ясную, приветливую улыбку, ей сказалоь как будто затаенное внутреннее страдание, и ей вдруг стало так жаль его, так больно за него самой, что всю душу, кажись, отдала бы за него, лишь бы он был спокоен, светел и радостен.

Сестры, передавая друг дружке свои впечатления и замечания, говорили между собой, что в свите были: великий князь Алексей Александрович, Милютин, Адлерберг, Суворов, Грейг... называли и еще несколько громких имен; но Тамара, кроме государя, решительно никого и ничего не заметила. Все внимание, все чувства и мысли ее были всецело поглощены одним только им, — и все это наплыло на нее совершенно неожиданно и внезапно, точно бы вызванное каким-то видением, так что когда она, спустя минуту, очнулась от этого состояния, то даже сама себе удивилась: с чего это вдруг с нею? Прежде, в Украинске, совершенно равнодушная к тому, есть ли царь в России, нет ли его, она до Зим-

ницы почти не имела о нем понятия, а тут, при встрече на дороге, впервые почувствовала вдруг, что этот «посторонний» человек почему-то ей дорог, как может быть дорог отец, что в нем есть для нее что-то «свое», родное, чего ни купить, ни продать невозможно, и что это чувство ее к нему — общее со всеми другими сестрами, со всеми этими солдатами, офицерами, погонцами, со всем тем, что называется русским народом. И здесь она впервые сознательно нашла в себе ответ, что это от того, стало быть, что сама она в душе сделалась русской и перестала быть еврейкой. А сделалась русской, потому, что поближе узнала русскую веру, русского Бога, русского человека, покорооче сошлась, сжилась и сдружилась с русской средой и с русским солдатом в минуту военных жертв и испытаний, и вочию увидела и на себе самой почувствовала, что это все далеко не то и не так, как рисует его себе еврейство, ожесточенное и высокомерное в своем презрении к гойям.

Санитарный поезд медсестер поднялся, между тем, на ту высоту, где остановился государь со свитой, и проследовал позади спе-

шившегося конвоя далее, за молодой лесок и кустарники. С этой центральной высоты, названной впоследствии «Императорским холмом», открывался широкий вид на наш левый фланг и на турецкие позиции, лежавшие против нашего центра. Самый город Плевна был совершенно скрыт в котловане, и виднелись только на вершинах холмов окружавшие его редуты, а еще далее на запад — часть отлого поднимающихся возвышенностей за рекой Видом. Кругозор всей этой картины хватал верст на тридцать от одного края до другого.

Государь поместился на одном из наиболее удобных пунктов «Императорского холма», и Тамара издали видела, как, сидя на складном деревянном стуле, он наблюдал в бинокль за ходом артиллерийского боя. Почти рядом с ним отчетливо вырисовывалась во весь рост высокая характерная фигура великого князя главнокомандующего, а позади толпилась несколькими группами царская и великокняжеская свита. Выстрелы раздавались довольно редко — от семи до десяти в минуту — в тихом воздухе отчетливо было слышно то

приближающееся, то удаляющееся шипение гранат. Густые белые клубы отдельных дымов, освещенные ярким солнцем, беспрестанно выкатывались вверх в нескольких местах, на всем протяжении широкой картины, лежавшей перед глазами, и, вместе с ними, то у противника, то у нас взвивались желтые столбы дыма и пыли, производимые разрывами снарядов.

По прибытии на место сестры нашли уже перевязочный пункт вполне готовым к приему раненых. Место было выбрано довольно удобное в лощине и близ фонтана с хорошей водой. Но раненых еще не было. Все военные действия первого дня «Третьей Плевны» ограничились одной оживленной канонадой, на которую турки отвечали весьма энергично и преимущественно шрапнелью, лопающейся в воздухе над нашими батареями. Впрочем, люди наши в тех местах, где поблизости находились фонтаны или колодцы, преспокойно варили себе обед на позиции. Перед вечером государь вместе с великим князем главнокомандующим отправились на ночлег обратно в Радынец.

Редкая канонада с обеих сторон не прекращалась и ночью, а на рассвете, после часового затишья, возобновилась с нашей стороны весьма бойко, и таким образом дело шло до сумерек. Около трех часов пополудни государь с великим князем опять прибыли на ту же высоту, где присутствовали вчера, и оставались на ней до седьмого часа вечера, все время, пока на нашем левом фланге, в отряде князя Имеретинского, шел у Скобелева упорный бой на Зеленых высотах. В остальных частях войск потери были самые ничтожные, и потому перевязочные пункты и подвижные лазареты отдыхали. В свободные от своей очереди часы несколько медиков и богоявленских сестер с ближайшего к «Императорскому холму» перевязочного пункта всходили на его высоту посмотреть, как идет дело на позициях, и здесь Тамара опять видела издали государя, сидевшего по-вчерашнему на том же бугре и на том же складном стуле, со взглядом, задумчиво и пристально устремленным вперед, — туда, где шло дело. Время в бою летит незаметно: внимание наблюдателя посто-

янно приковано к происходящему впереди, где каждый отдельный эпизод — насколько можно следить за ним в общей картине — всегда бывает исполнен живейшего интереса. Тамара, в группе сестер и врачей, следила с холма по белым дымам, как вдали у Скобелева идет стрелковое дело. Сначала линия оружейного дыма Скобелсвской цепи видимо продвигалась вперед; порой линия эта приостанавливалась на некоторое время, а затем опять вперед и вперед, к зеленоватой высоте, занятой турками. «Слава Богу!» — слышались вокруг Тамары замечания мужчин, — «Кажется, бой идет успешно». И она испытывала при этом в душе успокоительное и довольное чувство. Ей было даже досадно, зачем слепой случай устроил так, что ей приходится быть не там, а здесь, на правом фланге, где ни вчера, ни сегодня не представилось для сестер решительно никакой работы. Но вот взаимный огонь противников на Зеленых горах дошел до высшей степени напряженного развития, после чего, минут двадцать спустя, линия русских дымов стала подаваться назад, все более и более уступая покидаемые места туркам,

наступление которых точно также было заметно по непрерывной линии надвигающегося дыма. Чувство досады в душе Тамары усилилось еще и горечью и болью за видимый неуспех Скобелевского дела.

— Неужели турки опять победят?! Ведь это же несправедливо, — вырвалось у нее чуть не со слезами замечание, женская наивность которого вызвала благодущную улыбку у медиков.

В это время турецкие шрапнели стали лопаться в воздухе правее и невдалеке от высоты, на которой находился государь.

Эти снаряды направлялись против нашей батареи на склон «Императорского холма», замаскированный кустарниками, — и несколько картечей прожужжало над царской свитой.

— Ну, вот вы печалились, что у нас ничего нет, — обратился к Тамаре стоявший рядом с ней доктор, — кажись, и тут начинается...

Вскоре после этого в турецком редуте, расположенном левее Гривицкого шоссе, мгновенно поднялся густой белый столб дыма и принял ту характерную форму, грибком, кото-

рая служит обыкновенным признаком пороховых взрывов, и вслед за тем, через три-четыре секунды, послышался глухой и протяжный гул грома.

— Это, наверное, либо в ящик зарядный, либо в пороховой погреб хватило, — заметил сосед Тамары. — Утешьтесь, сестра: Скобелевская неудача хоть чем-нибудь да отомщена-таки!

Ночью неприятель нас не тревожил и не отвечал на редкие выстрелы наших орудий. Двое последующих суток прошли довольно монотонно, под гул почти не прерывавшейся канонады, без особенных потерь, но и без особенных для нас результатов. К вечеру 29-го числа погода, до сего времени сухая и теплая, вдруг изменилась. В воздухе засырело, небо подернулось сплошными тучами, и пошел мелкий, совсем осенний дождик, не прерывавшийся в течение всей ночи, и сразу, в какие-нибудь два-три часа, испортивший дороги до такой степени, что движение повозок сделалось крайне затруднительным.

В этот же вечер начальнику Западного «Плевненского» отряда, генералу Зотову, бы-

ло доложено, что при такой усиленной стрельбе, какую за все эти дни вели наши орудия, на дальнейшую канонаду у нас, пожалуй, не хватит снарядов, а на своевременный подвоз их и вообще на правильное движение артиллерийских парков рассчитывать трудно при этой распутице, которая обратила дороги в глубокое месиво густой и липкой грязи. При таких обстоятельствах продолжать дальнейший артиллерийский бой было неудобно, и приходилось либо отказаться от штурма, либо начинать его завтра же. На военном совещании было решено последнее.

XIX. 30-Е АВГУСТА

Граф Каржоль, проживавший в последнее время при «Агентстве» в Систове, получил от своих высоких принципалов некоторое «деликатное поручение» по поводу довольно крупных неисправностей «Товарищества», которые нужно было лично разъяснить в штабе армии. Поэтому высокие принципалы рассчитывали, что в данном случае, где надо было представить дело в их оправдание и пользу и смягчить неудовольствие штаба, — титулованное имя графа и его дипломатические способности могут наиболее повлиять на благосклонное для них решение. При том же высокие еврейские принципалы были сами по себе слишком большие господа, чтобы кому-нибудь из них стоило лично утруждать себя дальними поездками по неудобным дорогам и подвергаться не всегда приятным объяснениям.

Для подобного рода поручений они и держали у себя «представительных агентов» с громкими титулами и светским положением. Предложение патронов пришлось Каржолю

как раз на руку. Он и сам был не прочь немножко «проветриться» от «тыловой» жизни в Зимнице и Систове, проехаться по новой незнакомой стране, воочию увидеть, как идут там военные дела, испытать новые впечатления, — может быть, даже посмотреть, если удастся, на картину какого-нибудь сражения... Как же, в самом деле, быть на театре военных действий, так близко от боевых дел, и ни разу не слышать боевого выстрела! — слушать только все рассказы других, а самому, в смысле очевидца, не иметь никакого понятия! Кончится война, вернутся все в Россию, — и рассказать будет не о чем, кроме бухарешских да зимницких походов с «куконицами». Нет, это даже неприлично! И граф, снабженный к тому же достаточной суммой на экстренные расходы по поездке, с удовольствием отправился под Плевну в нанятом удобном фаэтоне. В предвидении, что, может быть, придется проехаться в виде *partie de plaisir*, по бивакам и позициям, он захватил с собой английское седло и даже надел на себя кобуру с револьвером, — неравно нападут башибузуки. Не забыл он также и

плетеную корзину с вином и закусками, — потому что не портить же ему свой желудок какой-то, черт ее возьми, болгарской чорбой и паприкой!

Граф поехал не один. К нему пристегнулся некий мистер Пробст, отрекомендовавший себя корреспондентом какой-то второстепенной английской газеты, — ему-де крайне нужно спешить под Плевну, где на сих днях должна произойти «great attraction» всей кампании, а эти проклятые румынские «каруцары» и «суруджии» не везут дешевле как за двести франков; он же, мистер Пробст, не уполномочен своей редакцией тратить такие сумасшедшие деньги, а потому... а потому вышло, что граф из любезности должен довести его даром.

Граф это понял и, как «a true Russian gentleman», сам предложил ему свои услуги. Благодарный мистер Пробст доставлял ему за это развлечение в дороге, рассказывая специально английские анекдоды.

29-го, под вечер, приехали они в Радынец, но там графу прямо сказали в штабе, что теперь не до него и не до «Товарищества», что

начальник штаба под Плевной, правитель походной канцелярии тоже, помощник его тоже, а потому и разговаривать с ним в Радынце некому, да и некогда; а уж если графу так дозарезу нужно их видеть, то пусть отправляется под Плевну, — может быть, там как-нибудь и удастся ему улучшить удобную минутку для разговора.

Граф так и сделал. Переночевав у маркизанта в Радынце, он на рассвете 30-го числа выехал с мистером Пробстом под Плевну.

* * *

Утро 30-го августа было холодное и сильно туманное. Моросило. Когда Каржоль, в десятом часу утра, дотащился кое как в своем фэ-тоне до «Императорского холма», впереди ничего не было видно: все и повсюду застилось беловато-мглистой пеленой, сквозь которую даже и пушечные выстрелы с ближайших батарей отдавались глухо, а вдали уже и ровно ничего невозможно было слышать. Каждый звук глож и исчезал в этом густом и плотном тумане. У «Императорского холма» придворные служители спешно разбивали палатку, в которой должно было совершаться

молебствие по случаю дня тезоименитства государя. Великий князь главнокомандующий прибыл со свитой около десяти часов утра и, почти одновременно с ним, появился в открытой коляске и князь Карл Румынский. Государь прибыл на холм в половине двенадцатого часа. Приняв поздравления, он спросил диспозицию, составленную на нынешний день, прочел ее и затем направился к палатке, где ожидал уже августейшего именинника протоиерей императорской квартиры в полном облачении. Раздалось стройное пение небольшого походного хора придворных певчих. Русская и румынская свиты столпились вокруг палатки, обнажив свои головы. Тут же стояли и кучки наших русских солдат, кучеров, служителей и группы местных болгар. Во время молебна дождь на некоторое время прекратился и канонада стала гораздо слышнее. Когда раздалось слова: «Преклоните колена, Господу помолимся», все тихо склонилось к земле, и священник с глубоким чувством произнес взволнованным голосом молитву о ниспослании победы русскому воинству. Эти слова как бы наэлектризовали всех

присутствовавших, многие утирали слезы. Видно было, что каждый глубоко чувствовал в сердце своем значение переживаемой минуты, глубоко проникся смыслом возносимой к богу молитвы и дал полную волю своему святому чувству... Ко тот момент, когда дьякон возгласил, а певчие подхватили многолетие государю, исполнен был особой торжественности. В Петербурге в этот момент обыкновенно раздаются праздничные салюты с бастионов Петропавловской крепости, в Москве — со стен кремлевской Тайницкой башни, здесь же, на боевой позиции, ввиду неприятеля, под этим хмурым, ненастным небом, салютовал русскому царю перекатный гром боевых орудий, которому вторило шипение взрывающихся снарядов. Никогда еще русским государям не доводилось встречать день своего ангела в подобной обстановке, никогда еще не доводилось им и проводить его с утра до ночи на боевом поле.

После молебствия государь пригласил всех присутствовавших к завтраку. Для императорской фамилии и почетнейших лиц русской и румынской армии накрыт был на хол-

ме небольшой стол; остальные же поместились кто как мог. На земле были раскинуты скатерти, на скатертях поставлены блюда, тарелки, бутылки, и вокруг них кое-как потеснились все наличные офицеры: кто на коленях, кто на корточках, кто стоя, — и наскоро принялись за холодный завтрак. Тут же, около английского военного агента, полковника Веллслея, торчали два типичных гороховых англичан в пробковых шишаках с белыми повязками. Говорили, что это какие-то члены парламента, воспользовавшиеся каникулярным временем для экскурсии на театр военных действий.

К ним тотчас же пристроился и мистер Пробст, отрекомендовавшись как соотечественник, представился Веллслею и, кстати, представил ему и своего спутника — графа Каржолья. Походный гофмаршал, приняв мимходом всех четверых за знатных иностранцев, очень радушно пригласил и их принять участие в завтраке, — и, таким образом, Каржоль неожиданно для самого себя, очутился у конца одной из разостланных на земле скатертей, среди русских и румынских офицеров.

Как общительный человек, он тотчас же перезнакомился со всеми своими ближайшими соседями и *vis-a-vis*, успел оказать одному-другому несколько маленьких застольных услуг, тому передать бутылку шампанского, этому подвинуть хлеб, и уже чувствовал себя в их среде совсем «на полевом положении», — легко и непринужденно, *en camarade*, как вдруг, взглянув в сторону, запнулся на полуслове и даже несколько побледнел, не будучи в состоянии сдержать невольно передернувшее его нервное движение. Обеспокоенный взгляд его на некоторое время так и остался устремленным мимо своих собеседников, в направлении к царскому столу, где что-то особенное приковало к себе его внимание. Некоторые невольно тоже повернулись в ту сторону и увидели, как только что прискакавший ординарец, какой-то статный уланский офицер, лихо соскочив с лошади, бросил поводья первому попавшемуся казаку и, подойдя — руку под козырек — к царскому столу, стал что-то докладывать великому князю. Появление его обратило на себя внимание государя. Его подозвали ближе, внимательно вы-

слушали повторенное им донесение, сделали несколько вопросов и затем милостиво отпустили. Походный гофмаршал тотчас же, подойдя к этому офицеру, любезно пригласил его закусить и указал ему как раз на ту скатерть, за которой сидел граф Каржоль с горховыми англичанами.

Для графа не осталось более никаких сомнений. В приближавшемся улане он ясно узнал теперь Аполлона Пупа. Офицеры потеснились и очистили новопривывшему местечко за скатертью, как раз напротив Каржоля. Взгляды их встретились и в них одно мгновением мелькнула, как холодная сталь, какая-то злая, враждебная друг другу искорка. Графу, кроме того, показалось, что вместе с этой искоркой, во взгляде его врага сказалось также и какое-то насмешливое удивление, — дескать, ты как попал сюда?! Но оба они сдержались и не показали, что знают друг друга.

Ближайшие офицеры, наперебой один другому, с живейшим любопытством обратились к улану с расспросами, в чем дело и что нового, какие известия он привез. Тот едва лишь успел отрекомендоваться ординарцем на-

чальника Западного отряда генерала Зотова, как раздался звучный голос поднявшегося великого князя главнокомандующего, который провозгласил тост за здоровье державного именинника, единодушно покрытый восторженным и задушевым кликом.

Едва умолкло это дружное и продолжительное «ура», как поднялся государь император.

— За здоровье наших славных войск, которые в эту минуту дерутся с неприятелем! — громко произнес он. — И да дарует Бог нам победу!

Новое восторженное «ура!» зашумело по всему «Императорскому холму» и было подхвачено стоявшими тут же болгарскими селяками, казаками и солдатами.

Не долго длился этот скромный походный завтрак, по окончании которого все опять отдали все свое внимание бою. Государь потребовал коня и, в сопровождении главнокомандующего, с самым ограниченным числом свиты, по-вчерашнему выехал версты на две вперед, чтобы ближе следить за ходом сражения. Все остальные лица, в ожидании его возвра-

щения, оставались на месте.

* * *

Вести, привезенные ординарцем, были не особенно радостны. Диспозиция на 30-е августа предписывала начало штурма в три часа пополудни, а между тем, благодаря увлечению одного не в меру ретивого полковника генерального штаба, вышло то, чего никак не ожидали. Около одиннадцати часов утра полковнику этому с чего-то вдруг показалось в густом тумане, будто турки закопошились в ближайших ложементях. Приняв почему-то это воображаемое копошенье за намерение броситься на наши батареи, он с места же, мгновенно и не предупредив никого из начальства, по собственной своей воле, повел целых два полка в атаку. Остальным же двум полкам дивизии ничего этого не было видно за туманом, и они остались на своих местах. Поднявшиеся батальоны, предводимые все тем же полковником, устремились против Радищевского редута, но тут их встретил такой убийственный перекрестный огонь, что они, не имея за собой никакой поддержки, должны были отступать в беспорядке, потеряв в

несколько минут напрасно две трети своего состава и почти всех офицеров. Таким образом, из общего состава сил, предназначенных для общей атаки, далеко еще не урочного часа, целая бригада уже не существовала. Неуместного храброго полковника в тот же день отчислили от его должности, но это, разумеется, не поправило испорченного дела.

Ровно в три часа дня все назначенные для атаки войска перешли в наступление. Движение их на приступ было встречено со стороны турок на всех пунктах таким ужасным огнем, что с первой же минуты он слился в один непрерывный гул и треск, в котором отдельных выстрелов уже невозможно было слышать.

После четырех часов пополудни дождь перестал на некоторое время и туман мало-помалу начал рассеиваться. Вместе с этим явилась возможность наблюдать поле сражения. И в центре, около Радищевского редута, и на левом фланге, у Скобелева, видны были в перспективах, один за другим, ряды и линии белых оружейных дымов, над которыми там и сям поднимались высокие плотные клубы

дыма, выкатывавшегося из орудий, и все это при непрерывном треске пушечных выстрелов, шипении гранат и рокоте неумолкаемой перестрелки.

Шрапнели все чаще и чаще красиво лопа-лись на воздушной высоте, надолго оставляя после себя в небе густое маленькое облачко. Около шести часов вечера вся эта широкая картина озарилась особенным светом восхо-дящего солнца. На западе, там, где грозно ды-мившиеся и рокотавшие позиции турок скрывали за собой притаившийся город, гу-стые тучи, принявшие сразу свинцовый, а сверху темно-лиловый оттенок, вдруг в одном месте разорвались и образовали длинную уз-кую щель, которая вся горела красно-золоти-стым блеском, а из самой середины ее как-то зловеще глядело своим багровым диском большое солнце, наполовину перерезанное тучей. Вся картина боя, поля, кусты, холмы, отдаленные плоскости и перспективы линий этих боевых дымов на некоторое время окра-сились и как бы прониклись, пропитались та-ким же багрово-золотистым, словно бы крова-вым, светящимся колоритом...

На вершине «Императорского холма» сидел государь один и с сосредоточенным вниманием смотрел вдаль, на битву. У подошвы холма стояла группа высших представителей нашей армии и несколько лиц императорской свиты, а немного в стороне — группа иностранных военных агентов; позади же толпились наши и румынские офицеры разных родов оружия, ординарцы» адъютанты, полковые казаки и болгарские поселяне. Все эти группы отчетливо вырисовывались силуэтами своими на фоне озаренного неба, и все устремляли взоры на запад, туда, где кипело горячее сражение...

Каржоль стоял тут же. Он видел, сколько упований и какое нетерпеливое ожидание горело в этих взорах; он чувствовал, сколько сердец, так же, как и его собственное сердце, тревожно билось в чаянии близких результатов дела. И ему сделалось вдруг так больно и стыдно, так обидно и гадко за самого себя, за свое положение «постороннего» здесь человека, за свою презренную роль жидовского агента, в ту самую минуту, когда столько крови и столько дорогих жизней беззаветно при-

носится в жертву высокого долга сынами того народа, к которому и он считается принадлежащим. Зачем он не с ними, не там, где они надрываются из последних сил, чтобы вырвать у противника победу, и бесповоротно умирают! А он, что он такое? Что привело его сюда? Какие «высокие» интересы? Защита плутов и казнокрадов, отстаивание гнусных гешефтов всех этих жидов, которых он сам презирает... Презирает и, однако, служит им, служит как раб, — нет, хуже, как лакей, за милостивые подачки! Не в тысячу ли раз лучше теперь же, сейчас вот, сию минуту кончить со всей этой гадостью, со всем своим позором и унижением, кончить все разом и навсегда? Стоит лишь броситься туда, в самый кипень боя, и честной смертью искупить всю свою бесполезную, жалкую и дрянно мелочную жизнь... На что она ему? Ведь она и так уже вся изломана, исковеркана... Кому нужна она и для чего?

Граф почувствовал, что атмосфера боя носит в себе нечто великое, нравственно очищающее и возвышающее человека, — и едкие, жгучие слезы навернулись на его глаза. Ведь

вот, хоть бы этот Аполлон Пуп, подумалось ему. И вспомнив про Аполлона Пупа, про этого своего «врага» и — кто их знает!

— может быть, даже и любовника его жены, граф, которому и прежде иногда казалось и думалось, что он, по всей вероятности, должен быть ее любовником, вспомнил теперь всю свою, невольню сробевшую перед ним злобу и подавленную ненависть, закопошившуюся, вместе с чувством какого-то стыда, в его душе сегодня утром при встрече за завтраком. И ему стало завидно теперь этому Аполлону Пупу, — завидно не потому, что он, в некотором роде, его счастливый соперник и победитель, — нет, если бы это даже и так, черт с ним и с нею! Пускай их! Но завидно тому, что этот Аполлон, сколь ни скромна и ограничена его роль, а все же что-нибудь да значит, все же он дело делает, и делает его по совести, честно и доблестно, как порядочный человек, как русский... Ну, а он-то, — он-то что такое, в сравнении даже с этим Аполлоном Пупом?

Две крупные слезы покатались по щекам Каржоля, — и ползучее, слегка щекочущее ко-

жу, ощущение их вывело его чисто рефлексивным образом из этого горько самоуглубленного состояния. Он как бы пришел в себя, и ему сделалось вдруг стыдно этих самых слез, — неравно, еще другие заметят... Глупые нервы! Ребячество какое! Граф отвернулся в сторону и поспешно смахнул их рукой.

Как раз в это время на холме опять появился Аполлон Пуп, прискакавший с донесением к находившемуся тут же начальнику Западного отряда. Он весь был забрызган и перепачкан грязью, ремень с револьверной кобурой оттянулся на нем как-то вкось и съехал в сторону, мокрые волосы на висках слиплись от пота, на утомленном, и в то же время возбужденном лице, заметны были следы пороховой копоти, размазанной по щекам потом и пальцами; но все-таки, даже в этом виде, он был гордо и мужественно красив и глядел молодцом настоящим. По всему было видно, что это человек, сейчас лишь вышедший из адски горячей свалки. В эту минуту Каржоль понял и даже самому себе сознался, что такого могут и должны любить женщины, — есть за что! И в нем опять невольно шевельнулось злобное

чувство зависти и ненависти к этому офицеру «с невозможной фамилией», как называл он его, бывало, в Украинске.

— Поезжайте сейчас же к генералу Крылову, — громко приказал между тем Аполлону генерал Зотов, — и узнайте непременно, взяты ли, наконец, Радищевский редут и что там делается.

— Слушаю, ваше превосходительство, — спокойно проговорил тот, подымая руку к козырьку, и тотчас же ловко повернув на месте своего взмыленного коня, дал ему шпоры, перекрестился уже на ходу и поскакал вниз по склону возвышенности.

С отъездом его, как-то легче на душе стало Каржолу. Ему тяжело было быть в его присутствии и неприятно даже смотреть на него. Теперь он спокойно огляделся вокруг себя — и снова увидел на каждом лице все то же выражение томительного нетерпения и то же тревожное ожидание во взглядах; но надежда и уверенность в счастливом исходе боя стали в них как будто слабеть и колебаться.

Среди свиты заметно стихли разговоры, все сделались как-то молчаливее, сосредото-

ченнее, и лица принимали все более серьезное и пасмурное, даже угрюмое выражение. Все вокруг стали уже понимать про себя, хотя еще и не высказывались, что ставка нынешнего дня, кажется, проиграна... Только некоторые из иностранных военных агентов оставались безучастно, равнодушно спокойны. «Посмотрим, что-то из этого выйдет;» — как бы невольно говорило выражение физиономий этих господ, не то сдержанно-злорадных, не то прилично-сомневающих, но во всяком случае, далеко нам не сочувствующих и только старающихся из приличия скрыть истинное свое настроение.

— Как хотелось бы этим господам, чтобы нас и в третий раз поколотили, — заметил близ Каржоля один из почтенных генералов Императорской свиты.

— И именно сегодня, — добавил к этому замечанию другой собеседник.

Каржолю показалось, что они и его принимают тоже за иностранца, тем более, что около него все время вертелся и приставал со своими расспросами на английском языке мистер Пробст, то и дело заносивший свои за-

мечания в записную книжку. Графу стало и досадно, и неловко, и в первый раз в жизни захотелось заявить себя русским, хотя бы перед этими незнакомыми ему генералами, чтобы не думали о нем так. Но уввы! К подобному заявлению в данную минуту не представилось решительно никаких удобных поводов, а вмешиваться в их разговор он не счел приличным. Оставалось только отойти подальше от них, с досадливым чувством неловкости и смущения в душе, при сознании, что он и в самом деле, выходит, как будто «чужой» и «посторонний» всем и всему, что тут происходит, и что если бы даже кто-нибудь полюбопытствовал справиться, кто он такой, то те, кто его знают, вероятнее всего отвечали бы: «агент жидовский». Он чувствовал, что эта проклятая кличка должна лежать на нем, как клеймо отвержения, в глазах каждого порядочного человека, — но... что же тут делать, если на его шее затянута мертвая петля!

Между тем, на «Императорском холме» все еще нетерпеливо, почти лихорадочно ожидали известий с пунктов атаки. Но известий — ни радостных, ни печальных — не приходило

ни откуда.

К семи часам солнце скрылось, багровое небо померкло и вновь задернулось густыми тучами, и вновь заморосил дождик — холодный, скучный, совсем осенний, и вскоре полная темнота сменила осенние сумерки.

Государь грустный уехал с позиции в Радынец около восьми часов вечера, и уже после его отъезда пришли известия, что вторичный приступ к Радищевскому редуту был отбит, так же как и утром, с громадным для нас уроном; первый приступ к Гривицкому редуту — тоже. Великий князь в ожидании известий об окончательном исходе штурма остался ночевать на месте. На холме был разложен большой костер из соломы, пламя которого, обозначая местонахождение главнокомандующего, должно было служить маяком для адъютантов и ординарцев, ожидаемых с донесениями. Лейб-казаки усердно подкладывали в костер сноп за снопом и в течение всей ночи поддерживали большое пламя, несмотря на дождь.

К одиннадцати часам вечера было привезено, наконец, на бивак главнокомандующего

первое точное известие о взятии Гривицкого редута, с которым, после вторичного приступа, было покончено еще в семь часов вечера, и это было первое благоприятное известие, каким можно было за весь день порадовать государя.

Великий князь и Карл Румынский поместились на ночлеге на «Императорском холме» в своих колясках, а свита расположилась где и как возможно: кто у костра, кто под экипажами или в повозках, а кто и просто на мокрой земле, завернувшись в гуттаперчевый плащ или в кавказскую бурку. Каржоль с мистером Пробстом, закутавшись в пледы, тоже расположились в своем фаэтоне, подняв его верх и фартук. Переговорить с кем следовало о деле графу сегодня не удалось, да он и сам понимал, что это было бы не к месту и не ко времени. Надо было дожидаться более удобной минуты, — может быть, завтра, может — послезавтра. Он еще днем успел заказать болгарским селякам, чтобы они привели ему на завтра, за хорошую плату, двух лошадей под седло, для него и для мистера Пробста, с которым вместе он намеревался про-

ехаться по нашим позициям, чтобы посмотреть поближе, как было и как будет дело, — если оно повторится.

Не многим спалось в эту памятную ночь. Осенняя сырость и дождь пронизывали до костей, вокруг ни зги не видно, а тут еще томительная неизвестность об исходе штурма... Для ограждения бивачного места главной квартиры от возможного ночного нападения к «Императорскому холму» был призван один батальон, который и окружил эту местность цепью аванпостов.

Было уже за полночь, когда, наконец, к великому князю привезли известие о положении дел на левом фланге, у Скобелева. Оказалось, что отряд его к шести часам вечера взял, последовательно, один за другим, два турецкие редута, причем Скобелев каждый раз сам водил в атаку свои штурмовые колонны, как на парад, с музыкой и развернутыми знаменами, и первым вскочил верхом на бруствер одного из редутов. Турки несколько раз пытались выбить его из этих укреплений, но «скобелевцы» отбрасывали их каждый раз с большим уроном.

Тотчас же по получении последнего известия великий князь при слабом свете фонаря карандашом написал записку об этом новом, благоприятном для нашего оружия событии и отправил ее к государю.

Всю ночь после этого известия слышна была на левом фланге, а порой и за Гривицей, почти непрерывная и сильная перестрелка, и всю ночь глубоко-темное, пасмурное небо озарялось молниеподобными вспышками, когда орудия с наших батарей посылали редкие выстрелы по линии турецких укреплений.

XX. ПЕЧАЛЬНАЯ НАХОДКА

С рассветом, 31-го августа вновь началось дело по всей линии канонадой и ружейным огнем. Звуки выстрелов разбудили Каржоля, который все-таки успел поспать кое-как часа четыре. На рассвете было еще холодно и серо; дрожь пронимала его с мистером Просбстом, что называется, до костей, и они оба, вылезши из-под фордека[13] своей коляски на землю, поеживаясь от холода и зевая со сна, представляли собой довольно несчастные фигуры с помятыми, кислыми физиономиями. Но тут над ними сжалились лейб-казачьи офицеры, пригласив обоих подсесть поближе к костру, у которого, на нескольких подложенных камнях, уже кипел большой медный чайник. Казаки радушно предложили им горячего чая, взамен которого граф, со своей стороны, предложил им свою запасную бутылку коньяку, лимон и галеты. Два стакана чая с коньяком достаточно подкрепили и согрели его, а тут, кстати, явились вскоре и вчерашние «братушки» с заявлением, что заказанные лошади уже готовы и ожидают

«иегову милость».

Не желая терять времени, граф сейчас же приказал одну из них переседлать своим английским седлом (мистеру Пробсту, нечего делать, пришлось удовольствоваться болгарским), и через несколько минут оба они отправились вперёд, к боевым позициям. Хозяин одной из этих маленьких поджарых лошадок местной породы, болгарин Райчо, предложивший себя в проводники, бодро и мерно зашагал в своих опанках впереди них, опираясь на высокую палицу.

Вскоре выглянуло солнышко и пригрело своими лучами плажную землю.

На наш артиллерийский огонь неприятель отвечал редкими выстрелами, сосредоточив все свои усилия против одного лишь скобелевского отряда, где поэтому трещала неумолкаемая перестрелка. В ту сторону и направились теперь наши путники.

Пересекши Гривицкую лощину, они поднялись на противоположную возвышенность, покрытую кустарником и молодым леском, за которым на следующем, более высоком холме, виднелась большая осадная ба-

гарея, с наблюдательной вышкой-лестницей. Пробираясь по направлению к ней по опушке леска они вдруг наткнулись в кустарнике на труп коня, успевший уже заоченеть и порядочно вздуться. Бок его был разворочен страшной раной, из которой вывалилась часть внутренностей, болгарские лошадки невольно шарахнулись в сторону и захрапели. Успокоив их, наши путники уже намеревались было объехать подальше этот неприятный для лошадей труп, как вдруг в ближайших кустах послышался слабый стон человека. Они остановились и стали прислушиваться. Вскоре стон повторился тяжелым страдальческим вздохом. Каржоль сейчас же повернул своего конька в ту сторону, продолжая прислушиваться и искать впереди и по сторонам глазами — кто и где это стонет? За ним последовал шажком англичанин, а Райчо зашел несколько вперед, раздвигая руками ветви кустарников, — и менее, чем через минуту, они наткнулись на человека, распростертого на земле, в нескольких шагах от мертвой лошади.

Каржоль остановился над ним, присталь-

но заглянув с коня в его страшно-бледное лицо и, почти не веря собственным глазам, узнал в нем Аполлона Пупа. Ослабевшие веки офицера были закрыты, в осунувшемся лице выразилось тоскливое томление.

В первое мгновение в душе Каржоля скользнуло враждебное чувство злорадного торжества: «Что, доскакался?!». Но ему тут же стало гадко и стыдно за самого себя, за это чисто животное движение своей души перед беспомощным, умирающим человеком. «Фу, какая подлость!»— мысленно осудил он самого себя и, тотчас же соскочив с лошади, нагнулся на коленях над Аполлоном, стараясь приподнять его голову.

Тот раскрыл свои веки и, блуждая глазами, остановил свой взор на лице Каржоля. Сначала выражение этого взгляда было страдальчески-бессознательное, безразличное, но затем в нем выразилось вдруг величайшее удивление. Граф почувствовал в этом взгляде, что Аполлон узнал его.

— Вы ранены? — спросил он его с участием.

Тот молча продолжал глядеть на него

удивленными глазами, точно бы недоумевая, сон ли это или действительность.

Каржолу пришлось повторить свой вопрос.

— Ранен, — проговорил улан слабым голосом, не сводя с него взгляда.

— Куда именно? В какое место?

— Не знаю... в бедро, кажись... или в живот... осколком..

Граф осмотрел его внимательней и увидел пробитую полу мундира, а под ней окровавленные и пропоротые рейтузы. Под раненым стояла лужа черной, уже сгустившейся крови, и тут же, в двух-трех шагах расстояния, заметил он на земле взрытую черную борозду и ямину, — следы взорвавшейся гранаты.

— Пить хочу... пить, — слабо пролепетал раненый, поводя в томлении головой.

Каржоль заботливо огляделся вокруг себя: нигде поблизости воды не было... Хоть бы лужа дождевая, но и той, как на зло, не случилось.

— С вами есть коньяк? — обратился он по-английски к мистеру Пробсту.

— Oh, yes! — отозвался англичанин, хлоп-

нув по висевшей на нем сбоку походной фляге, обтянутой желтой кожей, и затем, отвинтив ее металлическую крышку, имевшую назначение служить чаркой, налил в нее коньяку и подал Каржолу.

Граф, заботливо поддерживая голову улана, поднес чарку к его посиневшим губам и заставил его выпить два-три глотка. Тот сразу почувствовал себя бодрее, лицо его несколько оживилось.

— Давно это случилось с вами? — участливо спросил его Каржоль.

— Вечером... как ехал к Крылову... Рядом лопнула, подле... Всю ночь тут... Холодно...

Граф стал советоваться с англичанином — как теперь с этим несчастным, что делать? Оставить его и дольше так, очевидно, нельзя; надо нести на перевязочный пункт, а где этот пункт, они и сами не знают. Но на чем нести? Где взять носилки? Поблизости не видать ни одного санитаря... Ехать отыскивать их, — куда? И при том это будет сопряжено с потерей времени, когда тут дорога, может быть, каждая минута. Довести его под руки? Но при такой ране, даже с их обоюдной помощью, едва

ли он будет в состоянии идти... Разве верхом?

— Вы в состоянии сесть на лошадь? — спросил граф Аполлона.

— Не знаю... надо попробовать.

— Мы вам поможем, а пока... Нельзя ли чем-нибудь перевязать его рану? — обратился он к мистру Пробсту.

— Oh, yes! — отвечал запасливый англичанин и тотчас же достал из походной кожаной сумки свернутый бинт и пиналь с кровоостанавливающей ватой.

С помощью болгарина они разоружили и расстегнули улана и кое-как сделали ему перевязку, затем поставили его на ноги и подняли на руках в седло, на лошадку Каржоля. Аполлон невольно закричал при этом от мучительной боли, однако же нашел в себе достаточно еще энергии и силы воли, чтобы перенести здоровую ногу через круп лошади и кое-как усесться в седло. Зубы его стучали от нервной лихорадки, в теле ощущался озноб. Граф снял с себя осеннее драповое пальто и накинул его на плечи страдальца. Тот молча поблагодарил его признательной улыбкой. Мистер Пробст, вскочив после этого на свою

лошадь, стал рядом с Аполлоном, поддерживая его объятием на своей правой руке, а Райчо, с другой стороны, держал его левой рукой под локоть, и таким образом они тронулись с места. Каржоль шел впереди, ведя за повод свою лошадь, озабоченный вопросом, где найти ближайший перевязочный пункт и как бы попасть на кратчайшую к нему дорогу. Шел он по направлению к осадной батарее, в надежде, что там ему всего скорее укажут, что следует, как вдруг, на спуске с возвышенности, увидел какую-то казачка, трусившего рысцой по тропинке. Граф окликнул его и спросил насчет перевязочного пункта, — не знает ли он, как попасть туда?

— А вот, влево, по этой самой дорожке, — указал каик, — у фонтана, так прямо и придёте, — тут и двух верст не будет.

Граф сказал ему «спасибо» и пошел в указанном направлении.

* * *

Странное, незнакомое доселе чувство наполняло теперь его душу; странные, смешанные мысли вертелись в голове. Урывками вспоминались ему Украинск, «благодотвори-

тельное гулянье» Мон-Симонши в городском саду и первая встреча его с Ольгой, и этот самый Аполлон Пуп — за ней, в глубине киоска, мрачный, молчаливо ревнующий его к Ольге и молча ненавидящий его за Ольгу еще в те времена, с самой первой их встречи... Затем мелькнули воспоминания о городе Кохма-Богословске, вспомнилась эмансипированная судьяха с полицеймейстером Закаталовым, и опять Аполлон Пуп, готовый по первому слову Ольги, не рассуждая, подставить за нее свой лоб на дуэли или даже просто убить его, Каржоля, как собаку... Припомнились горькие минуты своего насильственного венчания с Ольгой, и жуткие, оскорбительные сцены всего того вечера, темная сельская церковь, и опять, опять все тот же Аполлон Пуп, молча торжествующий с венцом в руке над Ольгой... А этот вчерашний его презрительно насмешливый взгляд, при встрече за завтраком? Все это мелькало теперь в воспоминаниях Каржоля, и все убедительно говорило ему, что этот уланский поручик — его инстинктивный враг, с самой первой встречи и до последней, может быть, минуты. «Какая судьба,

однако», — думалось ему среди этих воспоминаний, — «какой удивительный случай!» И нужно же было, чтобы не кто другой, а именно он наткнулся на этого несчастного, беспомощного и помог ему, — ему, врагу своему, и — как знать! — быть может, даже любовнику женщины, носящей его имя. И вот, он ведет теперь за повод его лошадь. Какая ирония судьбы! И зачем он остановился над ним, в этих кустах, когда мог бы проехать мимо, оставив его на произвол судьбы, — ведь ему все равно умирать-то, там ли, в кустах, или в госпитальном шатре! Не выживет, нет! Что же, тем лучше, одним врагом меньше, — и одним ударом больше для Ольги, если точно они так близки. Но поймав себя на этой эгоистически гадкой мысли, Каржоль поспешил отогнать ее, с укором самому себе. «Радоваться смерти, — *ti quelle infamie!* Это недостойно порядочного человека! Нет, Бог с ним, пускай живет себе! Почем знать, может, и выживет. Но тогда что же это? Я, оскорбленный и ненавистный ему человек, являюсь вдруг его спасителем. О, если бы это знала Ольга! Если б могла она видеть его и меня и всю эту карти-

ну в настоящую минуту! Граф Каржоль де Нотрек — спаситель Аполлона Пупа!» Но именно мысль, что он спасает своего заклятого врага и, стало быть, поступает великодушно, «en gentil homme», эта-то мысль и увлекла Каржоля более всего. Она приятно щекотала его самолюбие, и чем больше он думал над этим, тем больше нравилось ему быть великодушным, и именно, в отношении этого самого человека. «Что-то он думает себе в эту минуту? Хватило ли бы у него духу посмотреть еще раз вчерашним язвительным взглядом?» Да, граф был уверен, что отомстил Аполлону за этот его взгляд, и что он вообще мстит ему теперь за все прошлое, и хорошо мстит, — лучше, чем мог бы отомстить в другой раз и при других обстоятельствах, хоть на десяти дуэлях! И Аполлон, казалось ему, должен теперь это чувствовать. Каржолю нравилась эта мысль, он радовался ей и любовался ею, как ребенок красивой игрушкой. Он сознавал, что это поступок человека гуманного и порядочного, и что теперь он нравственно отомщен и удовлетворен совершенно. И, наконец, какую прекрасную страницу доставит

весь этот маленький эпизод мистеру Пробсту! Его корреспонденцию, конечно, переведут и прочтут в России... Прочтет, разумеется, и Ольга... Хорошо, пускай-ка прочитает!

С 29-го августа, по распоряжению главноуполномоченного «Красного Креста» сестер Богоявленской общины перевезли с правого русского фланга в центр, за Радищевские высоты, на главный перевязочный пункт, так как, ввиду предстоявшей 30-го числа атаки, там предвиделось наибольшее количество раненых. И действительно, за один только этот день через лазарет центрального пункта прошло около двух тысяч человек, раненых при двукратно неудачном штурме Радищевского редута. При такой массе людей, требовавших немедленной помощи, врачи, фельдшера, санитары и сестры просто сбились с ног, работая без передышки весь день и всю ночь, и под утро уже изнемогали от усталости. Линейки «Красного Креста», телеги русских погонцев и болгарские возы чуть не каждый час отъезжали целыми транспортами с центрального пункта, под прикрытием казаков, увозя в тыловые лазареты сотни раненых, ма-

ло-мальски способных выдержать тягости продолжительной перевозки. И все-таки ближайшая местность вокруг лазаретных шатров была еще усеяна множеством сидевших и лежавших людей в ожидании своей очереди к перевязке и отправлению. Всю ночь эти несчастные мокли под дождем и дрогли от холода, несмотря на разложенные для них костры и чай, предлагавшийся каждому. Всю ночь раздавались глухие стоны и предсмертное хрипенье. Шатры были переполнены более тяжело ранеными. Следы крови виднелись повсюду — на земле, на сенниках, подушках и матрацах... Лазаретные служители то и дело сбрасывали в особую яму, позади шатров, ампутированные части человеческого тела, а несколько поодаль десятка два нанятых болгар рыли большие, широкие могилы, около которых рядами лежали скончавшиеся воины. Людям, работавшим при такой обстановке, приходилось совсем забыть про свои собственные нервы. На утро 31-го числа около половины всех раненых за вчерашний день, после оказания первоначальной помощи, было уже отправлено в тыловые лазареты; но

вывозные транспорты все еще продолжали свое дело, увозя партию за партией. На центральном пункте мало-помалу становилось просторнее, и хотя санитары все еще приносили время от времени новых страдальцев, отысканных и подобранных ими на полях, но эти приносы были уже не так часты. Ввиду того, что работа несколько полегчала, измученные от усталости сестры вынуждены были, наконец, учредить между собой очередь для кратковременного отдыха, сменяясь через каждые два часа.

Тамара только что ушла было отдохнуть в одну из сестринских палаток, освободившихся из-под раненых, как к ней заглянула сестра Степанида.

— Тамарушка, вы спите?

— Нет, а что?

— Никак, ваш жених здесь, — тихо сообщила ей приятельница, склонясь к ней на сенник, посланный прямо на землю.

— Какой жених? — недоуменно спросила Тамара, вовсе не думавшая в эту минуту о Каржоле и слишком далекая от мысли о возможности его присутствия под Плевной.

— Как какой?! Да граф-то, что в Зимнице был... Как его?

Тамара очень удивилась и даже не совсем поверила.

— Здесь, говорите вы? — быстро переспросила она. — Где здесь? Зачем?

— Привез офицера какого-то, раненого.

— Да не может быть, — усомнилась девушка. — Вы, верно, ошибаетесь...

— Не знаю, только сдается мне, как будто он, насколько помню его... Да вы, лучше, взгляните сами, и увидите.

Тамара, все еще сомневаясь, поднялась с сенника и поспешно накинула на голову свою форменную белую косынку.

— Где он? — спросила она, выходя из палатки.

— А вон, у операционного шатра... Ну, что? Убедились?

Но Тамара, увидев, что это действительно Каржоль, уже не отвечая Степаниде, поспешными шагами направилась в ту сторону. Она подошла к нему как раз в ту минуту, когда санитары, бережно сняв Аполлона с седла, укладывали его на носилки, чтобы нести в палату.

Молча протянув руку свою графу, стоявшему в головах носилок, девушка заглянула сбоку в лицо раненому.

— Узнаете? — тихо спросил ее Каржоль, указав на него глазами?—.

Та еще раз посмотрела на лежащего офицера, несколько внимательнее вглядываясь в его черты, и вдруг отшатнулась назад, видимо, пораженная совершенной неожиданностью.

— Аполлон? — удивленно прошептала она графу, точно бы не доверяя самой себе. — Господи! Да неужели!

Каржоль утвердительно и грустно качнул головой.

— Моя случайная находка, — пояснил он ей тише, чем вполголоса;— в кустах набрел на него, и вот, — как видите.

— Опасная рана? — озабоченно спросила шепотом Тамара.

— Un éclat dobus dans lestomas, — ответил граф нарочно по-французски, полагая, что Аполлон, едва ли знает этот язык. — Et je crois, que cest un homme mort! — добавил он с безнадежным жестом. — Примите его на свое попе-

чение.

— О, разумеется! — сочувственно отозвалась девушка. — Я сама буду ходить за ними.

В это время двое санитаров подняли на руки носилки с раненым.

— Погодите, братцы, — остановил их Аполлон и, повернув слегка голову, подозвал к себе графа.

— Благодарю вас, — проговорил он, протягивая ему ослабевшую руку. — Я не ожидал... Я виноват перед вами... и много даже... Вы знаете, о чем я говорю... Простите... и прощайте!

Не ожидавший таких слов и растроганный ими граф сочувственно ответил на бессильное, но выразительное пожатие его похолодевшей руки и взглянул на него примиренным взглядом.

— Вот так, — продолжал Аполлон, тихо улыбнувшись ему признательной улыбкой. — Так... Это хорошо! Благодарю вас... Ну, теперь несите, — приказал он санитарам с таким облегченным, успокоенным видом, что казалось, будто с души его спала какая-то тяжесть.

С недоумением видя, что Аполлон просит у графа в чем-то прощения, Тамара в душе очень удивилась этому, не понимая, что могло б оно значить? В чем Аполлон может быть так виноват перед ним? Но спрашивать и, вообще, разговаривать было теперь некогда, — не такое время. Да вероятно, граф и сам, при случае, расскажет ей впоследствии.

— Ну, не взыщите, теперь недосуг, — наскоро проговорила она, прощаясь с ним сердечным пожатием руки. — Надо идти за этим несчастным, принять его... Мы еще увидимся, конечно?

Граф обещал ей непременно заехать завтра или послезавтра, как только позволят ему обстоятельства, призвавшие его под Плевну, да и самой ей тогда, вероятно, будет досужнее, чем нынче, — и они дружески расстались.

* * *

Уезжая с перевязочного пункта, Каржоль чувствовал себя так светло и примиренно в душе, как никогда еще с самого своего детства. В этом чувстве, казалось ему, было именно детски-хорошее что-то, — давно, дав-

но уже им не испытанное и позабытое даже. В этом светлом и, в то же время, тихо-грустном настроении, поехал он с мистером Пробстом к левому флангу, где кипело, между тем, отчаянно горячее дело. Пройдя мимо селения Радищево, Райчо вывел их на возвышенность, покрытую виноградниками и кое-где фруктовыми деревьями, откуда пред их глазами обрисовался левый обрывисто скалистый берег Тученицкого оврага, к которому примыкала Скобелевская позиция. С этого пункта отлично можно было наблюдать в бинокли значительную часть турецких позиций и отчасти видеть в котловине даже самый город, с кучами его черепичных кровель и некоторыми минаретами; видны были и два редута, взятые вчера Скобелевым, из которых ближайший упирался своей открытой горжей прямо в край высокого обрыва и как бы висел над городом. На эти-то редуты и направлялись теперь не только перекрестные, с трех сторон, выстрелы турок, но и беспрестанные их атаки. С осадной нашей батареей, к которой позднее перебрался Каржоль со своими спутниками, были ясно видны две линии ружей-

ных дымов, из которых левая упорно оставалась на месте, а правая, турецкая, волнуясь зигзагами, то подвигалась вперед, то вытягивалась на некоторое время на месте, но неправильно подавалась назад и вновь подвигалась все ближе и ближе к дымам левой линии, — и вот, наконец, они сошлись и слились вместе, в одну белую тучу... Есть невозможное и для героев! Целые 30 часов отряд Скобелева не выходил из непрерывного боя; овладев же редутами, целые сутки держался в них, в надежде, что авось-либо пришлют подкрепление, авось-либо не пропадут задаром все эти нечеловеческие усилия и самопожертвования, которые проложат путь остальным войскам к победе, не запоздавшей еще и теперь. Но увы! — помощи не было, послать ее было не из чего, и турки вновь овладели редутами. Так окончилась «Третья Плевна».

XXI. НАХОДКА БОЛЕЕ СЧАСТЛИВАЯ ДЛЯ КАРЖОЛЯ

Графу Каржолу удалось благополучно окончить свои объяснения со штабными лицами лишь вечером 1-го сентября в Порадиге, и он мог бы теперь свободно ехать в Систово, телеграфировать своим высоким принципалам, что гроза миновала, но ему не хотелось уехать из-под Плевны, не повидавшись еще раз с Тamarой. На это явились у него причины весьма уважительные. Во-первых, он обещал ей; но это бы еще ничего, — самое существенное было не в этом...

Под влиянием деловых разговоров в штабе, войдя в свою обыденную колею и освобождаясь от своего нравственно-приподнятого на известную высоту настроения и от всех исключительных, так сказать, экстраординарных впечатлений и дум, навеянных картинами боя последних августовских дней и всем эпизодом с Аполлоном Пупом, — граф возвратился в свое обыкновенное, нормальное состояние духа, которому довели его всегдаш-

ние «злобы» и заботы дня. И вот тут-то он прежде всего спохватился, что сделал, пожалуй, крупный промах, поручив Аполлона особому вниманию и попечениям Тамары. А ну, как Пуп проживет еще несколько дней, или, чего доброго, почувствует себя лучше, начнет вдруг поправляться, и пойдут у него с Тамарой, как у старых знакомых, разговоры да воспоминания о прошлом, об общих друзьях и т. п. А ну, как он обмолвится ей как-нибудь невзначай, что граф женат? Простой вопрос с ее стороны, — что поделявает Ольга, — и готово! Это так естественно, так возможно. Наконец, он может высказать что-нибудь и в бреду, упоминая имя Ольги, и мало ли что? Ведь пришла же ему мысль просить прощения у графа. Эта же мысль может вернуться и в бреду.

Конечно, бред больного еще не Бог-весть какое веское доказательство, но все же у Тамары могут возникнуть разные сомнения; подозрение, пожалуй, закрадется, а там и пойдет навинчивать себя на этот лад, станет доискиваться, правда ли, и... чего доброго? Ведь женщины так склонны создавать себе фанта-

зии и мучения даже из ничего, а тут есть из-за чего всполошиться.

И нужно же было ему привезти Аполлона как раз в тот самый лазарет, где работают эти богоявленские сестры! Да знай он это раньше, — ни за что не повез бы! Конечно, это лишь случайность, но она может, пожалуй, сделаться для графа роковой. И всему виной его дурацкое великодушие! Или уж во всем этом судьба, — так — называемый «перст Провидения», с его «высшей иронией»?

Но судьба ли, случайность ли, — что бы там ни было, а граф решил себе, что, во всяком случае, оставаться ему в неизвестности на этот счет невозможно: самого себя измучаешь только мнительностью да сомнениями, которые на самом деле, быть может, окажутся совершенно напрасными. Возможно, и так, возможно, и этак.

А лучше знать уж наверняка что-нибудь определенное. И нельзя же, наконец, всю жизнь изображать собой страуса, прячущего в куст свою голову. Надо решить этот вопрос так или иначе теперь же, — надо приготовиться, на всякий случай что сделать, что ска-

зять и как держать себя, если она уже знает. Может быть, придется открыть ей всю горькую правду, все как было, и пусть тогда сама решает — отвернуться ли от него навсегда или рука об руку идти вместе напролом, наперекор всем препятствиям. Если она точно любит графа, — она предпочтет последнее, а если нет... Ну, что же? Он будет, по крайней мере, знать, что игра его проиграна, поставит над ней крест насмарку и удовольствуется тем, что дает ему сама жизнь, в связи с интересами «товарищества» и его светским положением. Неужели же он и этим не сумеет воспользоваться?

Но вот вопрос: найдется ли у Тамары достаточно времени и спокойствия, чтобы выслушать его исповедь и оправдания? Им могут помешать, у нее может случиться досуг, да и мало ли что. А недосказанное объяснение — это хуже всего.

И граф решил себе, на всякий случай, что вернее всего будет — изложить всю эту исповедь в письме, которое, вместо всякого объяснения на словах, он вручит Тамаре в том случае, если ей уже все известно, и попросит ее

прочтешь его спокойно, без гнева, и затем уже положить свое окончательное решение. Если же это окажется не нужным, — письмо останется у него в кармане, и только.

Ночуя в Порадиге у маркитанта, он воспользовался остатком вечера и частью ночи, чтобы заняться сочинением письма, и окончив его, нашел, что оно написано, как следует, в благородном тоне, достаточно откровенно, убедительно, с чувством и даже красиво, — хоть в любой роман! Местами он не щадил в нем себя; но всегда выходил из этого самобичевания так, что Тамара необходимо должна была убеждаться, будто иного выхода для него и не было, будто в каждом таком поступке он был лишь жертвой несчастного стечения обстоятельств, оставаясь «au fond» всегда благородным и, главное, беспредельно любящим ее человеком, на которого все его беды опрокидывались в последний год исключительно из-за этого чувства его к ней. Не встретиться он с нею, не полюби ее, ничего бы этого не было.

— Ну, что будет, то будет! — фатально решил он себе, ложась в складную походную по-

стель, которую всегда возил с собой в футляре.

* * *

На утро, оставив мистера Пробста в Порадиде, граф один поехал в своем фаэтоне к Радищевским высотам. Погода уже третьи сутки стояла сухая и теплая, дороги поправились, и потому поездка его не потребовала продолжительного времени и обошлась без затруднений, если не считать целые обозы с ранеными и больными людьми, медленно двигавшиеся навстречу ему из-под Плевны.

Центральный перевязочный пункт все еще оставался на своем прежнем месте, но там стало теперь совсем уже просторно. В шатрах оставались раненые только двух категорий: или самые легкие, которые могли возвратиться в строй к своим частям после самого непродолжительного лечения, или окончательно уже безнадежные, которых незачем было отправлять в тыл, так как неизбежность смерти являлась для них вопросом лишь нескольких часов или суток.

Подъезжая к перевязочному пункту, граф еще издали заметил на пригорке, шагах в

трехстах в сторону от шатров, группу людей, состоявшую из нескольких сестер и лазаретных служителей, впереди которых виднелся священник в скуфье и черной ризе с серебряными позументами. «Верно, хоронят кого-нибудь», — подумалось графу. Остановись у шатров, он увидел около каких-то вскрываемых ящичков саму начальницу Божоявленной общины, распорядившуюся вместе с уполномоченным «Красного Креста» приемкой по реестру разных госпитальных принадлежностей и запасов. Каржоль все-таки прямо к ней и направился.

— Я приехал узнать, что мой раненый, которого я доставил сюда третьего дня утром? — обратился он к старушке, почтительно приподымая свою мягкую шляпу.

— Какой это? — деловито и, несколько прищурясь, осведомилась начальница.

Граф назвал ей имя, фамилию, чин и полк, прибавив, что это был ординарец генерала Зотова.

— Ах, поручик Пуп? — припомнила старушка. — Как же, как же, знаю... Но только вы опоздали.

— А что, разве его увезли уже?

— Нет, умер... и его сейчас вот хоронят, — вон там, — указала она по направлению группы людей, на пригорок.

При этом известии Каржоль выразил на озадаченном лице своим чувство опечаленности и сожаления.

— Как жаль! — вздохнул он, раздумчиво качая головой. — Это был мой хороший, давний знакомый... Впрочем, этого надо было ожидать, — такая жестокая рана...

— Если угодно, можете отправиться туда, поклониться праху, — предложила старушка, возвращаясь к своим прерванным на минуту занятиям.

— Благодарю вас, я... непременно, сейчас же, — проговорил он с поклоном. — Но прежде, сударыня, позвольте мне вам напомнить себя: я граф каржоль де Нотрек, жених сестры Тамары Бендавид.

— Как же, я помню, — промолвила она безразличным тоном, кивнув утвердительно головой. — Вы хотите ее видеть?

— Если позволите.

— Она там, на погребении. Это ведь был ее

раненый: она ходила за ним, она и хоронит.

Каржоль еще раз почтительно поблагодарил старушку и пешком направился к пригорку, на котором желтелось несколько могильных насыпей и кое-где торчали деревянные крестики. Он пришел туда в момент, когда покойника только что опустили в яму, и священник читал над ним последнюю литию. Протеснившись из-за солдатских спин вперед, граф первым делом отыскал глазами Тамару, и взгляды их встретились. Лицо ее было серьезно, как подобает при таком печальном религиозном обряде, и на приветливый поклон Каржоля она ответила издали одним легким кивком головы, без малейшей улыбки. При виде этого лица, которое показалось ему холодным и строгим, и при этом поклоне, который он нашел сухим, у него тревожно екнуло сердце. «Знает! Все уже знает!», — подумалось ему. — «Неужели он успел сказать ей?!»

Но вот замолк последний печальный звук «вечной памяти», и Тамара, перекрестясь, первая захватила с насыпи горсть земли и крестообразно посыпала ее на покойника. За

нею стали кидать на него пригоршни земли остальные сестры и солдаты. Граф последовал их примеру и, кидая, заглянул в глубь могилы. Там, без гроба, на голой земле лежал покойник, весь завернутый в холщовый саван, который закрывал и его лицо. Каржоль стоял над ним, поникнув обнаженной головой, и невольно задумался. Судьбе, как видно, опять угодно было, чтобы он встретился с ним еще раз, — в последний уже раз в своей жизни. Но что приносит ему эта встреча? Какое возмездие оставил ему в наследство покойник, если он сказал Тамаре то, чего Каржоль более всего не хотел, чтобы она знала? Неужели и тут, умирая, Аполлон, быть может даже не преднамеренно, еще раз отомстил ему за Ольгу уже после того, как сам просил его простить и забыть все? Так ли это, граф узнает сейчас, через минуту. Подойдет ли к нему Тамара, или нет? Знает ли она, или не знает? Все это сейчас должно обнаружиться и разрешиться так или иначе, — надо приготовиться.

Священник снял и передал солдату-причетнику все свое облачение; лазаретные слушители принялись быстро засыпать могилу

рыхлой землей. Три-четыре присутствовавшие здесь сестры, перекрестясь в последний раз, направились вместе с «батюшкой» к шатрам, — осталась над могилой одна Тамара.

«Знает или не знает?» — болезненно занывал роковой вопрос в душе Каржоль, между тем как сам он продолжал стоять в нерешительности — подойти ли к ней первому, или пускай она сама подходит. Он избегал теперь встретиться еще раз с ее взглядом, боясь, как бы не прочесть в нем заранее свой приговор, и старался упорно глядеть в зарываемую могилу.

Но вот, она сама подошла к нему и молча протянула руку. Каржоль почувствовал ее пожатие, которое показалось ему искренне дружеским, добрым, но он не смел еще вполне поверить своему ощущению. А вдруг он ошибается?

— Кончено... — тихо произнесла Тамара.

«Что кончено? Что она хочет этим сказать?» — тревожно и подозрительно подумалось ему; но он постарался перемочь себя и выдержал приличное случаю грустное спо-

койствие, сообщив при этом Тамаре, что видел сейчас ее начальницу, и она-де разрешила ему видаться с ней.

— Что ж, хорошо, — согласилась девушка. — Мы можем остаться здесь, пока зарывают могилу.

И оба замолчали, как будто им было не о чем больше говорить между собой.

Это еще более озадачивало графа, которому положение его начинало уже казаться неловким и тягостным. «Если знает, то чего ж молчит она!?»

— Когда умер? — спросил он наконец, чтобы хоть чем-нибудь нарушить неприятное молчание.

— Сегодня, в седьмом часу утра, — ответила она совершенно просто, но Каржолу в его разыгравшейся мнительности показалось, что сказано это было каким-то неопределенным, сдержанным тоном, точно бы она против него настороже.

— Вы были при его последних минутах? — продолжал он.

— Все время. Ужасно мучился.

— В памяти был или нет?

— Мало. Порою приходил в сознание, но ненадолго... Едва лишь узнает, скажет несколько слов, и опять все бред и бред, — так в бреду и умер...

— В бреду? — задумчиво повторил граф. — И что же такое... о чем, собственно?

— Да разное... Кто ж его знает! Скомандовал громко что-то такое странное: «повзводно направо жай», — и это было его последнее слово.

— Так и не пришел в себя? — с живостью переспросил граф, у которого несколько отлегло от сердца, «Слава Богу, в бреду, значит, не проболтался, или она не поняла».

— Нет, не пришел, — ответила Тамара. — Но в ясные минуты сознавал, однако, свое безнадежное положение, — продолжала она. — Ведь к этой ужасной ране присоединилась еще и простудная горячка.

— Немудрено, всю ночь пролежавши под холодным дождем, — согласился Каржоль. — Но скажите, говорил он что-нибудь с вами? Узнал вас?

— Как же, узнал, почти с первой минуты, как я стала ходить за ним, и очень удивился

даже, что я тут.

— Да? Ну, и что же? — продолжал он, едва скрывая свое жадное нетерпение разрешить поскорей мучившую его загадку.

— Да, ничего, — спокойно и просто ответила Тамара. — Был очень тронут, благодарил меня... даже успел завещать свою волю.

— Волю? — Насторожился Каржоль, внутренне встрепенувшись. — Какую волю?

— Да разные там посмертные распоряжения.

— Вот как! Хм... В чем же дело? Ведь это не тайна, надеюсь?

— Нет, какая же тайна! Деньги у него оставались в кошельке, — пятнадцать золотых, — ну, приказал переслать в полк, чтобы там раздать людям его взвода; я уже передала их начальнице. А потом еще медальон золотой был у него на шее, на цепочке, — просил похоронить себя вместе с ним. Это удивительно даже, как он любил ее! — добавила Тамара после маленького раздумья.

— Любил? То есть, кто это? Про кого говорите вы?

— Да все Ольгу же.

Задавая этот вопрос, Каржоль, уверенный ранее, о ком идет дело, все-таки невольно вздрогнул, когда было произнесено это имя, и закусил губу, чтобы скрыть свое волнение. Ему подумалось, что вот теперь-то Тамара и выскажется.

— Когда он скончался, — продолжала между тем девушка, — я, признаться, сделала маленькую нескромность: раскрыла его медальон и — и представьте — вижу вдруг Ольгин портрет! Это меня даже тронуло, — такая идеальная привязанность, такое постоянство...

Каржоль успокоился, — «нет, она ничего не знает». Но его болезненно царапнуло по сердцу злобно ревнивое чувство. Он хоть и догадывался про себя, что покойник, вероятно, был близок его жене, но открытие насчет медальона, как бы подтверждавшее его догадки, было ему неприятно. Бог знает, может быть, в глубине души у него все еще таилась какая-то искорка, если не любви, то страсти к этой женщине, и даже только к ней одной, — насколько мог и умел он любить, не смея самому себе в том сознаться, — любить, ненавидя ее в одно и то же время всей своей душой.

— Ну, и что ж, в этом только и вся воля его заключалась? — спросил он со снисходительной улыбкой напускного равнодушия.

— Нет, Ольгины письма еще остались.

— Что? Письма?

Каржоля внутри точно варом обдало. Он увидел, что слишком поторопился успокоиться, что, может брть, из этих писем Тамара узнает гораздо больше, чем мог бы сказать ей умирающей, и что настоящая опасность для него была не там, а вот только теперь наступает. Но он понимал, что малейшее неосторожное движение или необдуманное слово с его стороны теперь-то и может легче всего выдать его внутреннее состояние перед Тамарой и навести ее на подозрения, а потому ему надо быть или, по крайней мере, казаться как можно спокойнее и вести дальнейшую свою тактику в разговоре с ней очень обдуманно и осторожно.

— Он сказывал, — продолжала Тамара, — что под подушкой у него есть бумажник с письмами и карточками Ольги, и просил, когда умрет, переслать его к ней, как есть.

— Вы видели их? — спросил граф как бы

вскользь, совсем безразличным тоном.

— Что это? Письма-то? — отозвалась Тамара. — Нет, когда же тут? Не до того... У меня и то полны руки хлопот. Я только успела, как умер, вынуть бумажник, чтобы в чужие руки не попал еще... Он говорил, — продолжала она, — что письма все в одном пакете, и там есть адрес. Бедняге, очевидно, хотелось, чтоб Ольга знала, что он и, умирая, помнил и думал о ней.

Упоминание об адресе заронило в Каржоль новое опасение, как бы этот предательский адрес не выдал ей все сразу. Это, конечно, нынешний, петербургский адрес Ольги, где она, без сомнения, названа прямо графиней Каржоль де Нотрек. Тамара еще не видела его, но не все ли равно, — она увидит сегодня же, через час, через два, и тогда все кончено! Во что бы то ни стало надо выманить у нее этот бумажник теперь же, оставлять его долее в ее руках невозможно.

— Что ж вы теперь намерены с этим делать? — спросил он как бы между прочим.

— Да вот, не знаю... Надо будет, конечно, отправить при первой возможности, как-ни-

будь на днях, когда подосужее будет.

— Хотите, отдайте мне, я отправлю? — предложил он совсем просто, с самым невинным видом.

— Да нет, что же вас беспокоить, я сама уж...

— Какое же тут беспокойство! — возразил граф. — Ведь вы, конечно, будете отправлять посылкой, через полевую почту?

— Конечно, как же иначе?

— Ну, вот видите! Во-первых, это вам большие хлопоты, — рассудительно принялся он высчитывать ей все доводы. — Будь оно еще простое письмо — ну, так; а то ведь посылка, — значит, надо сдавать в полевой почтамт и ехать для этого в Горный Студень, а вам не до того. Во-вторых, это самый неверный путь: такая маленькая посылка может легче легкого где-нибудь застрять, затеряться и совсем не дойти по назначению, — попадет еще Бог весть куда и к кому! Ведь тут масса писем и посылок пропадает.

— Будто? — удивилась Тамара.

— О, разумеется! Разве вы не слышали, что на Унгенской станции просто сожгли более

двадцати тысяч писем из-за невозможности разобраться с ними? Что за охота подвергаться этому риску!

— Но как же это сделать иначе? — в затруднении спросила она.

— Очень просто: давайте мне, я перешлю завтра же, как только приеду в Систово, и не с полевой, а с румынской почтой через Австрию. Это самый верный путь, и будьте спокойны, не далее как через неделю посылка будет у Ольги.

— Что ж, пожалуй, — согласилась, подумав, Тамара.

— Это всего короче, — убежденно подтвердил граф. — Где у вас бумажник-то?

— Здесь, со мной, — слегка хлопнула она себя по карману. — Я как взяла, так прямо в карман и положила, не поглядевши даже.

— Вот и прекрасно! Давайте-ка его сюда, а то, при вашем бивачном существовании, еще потеряете, пожалуй.

Она передала ему элегантный сафьяновый бумажник, по изящной наружности которого граф тут же сделал себе догадку, что это, вероятно, Ольгин подарок. Лишь мельком взгля-

нув на него и точно бы боясь упустить такое сокровище, но более всего опасаясь, как бы она не вздумала полюбопытствовать, что там такое, — он сейчас же аккуратно засунул его во внутренний боковой карман своей жилетки и, для большей сохранности даже застегнулся.

— Так-то вернее будет! — с успокоительной улыбкой кивнул он ей головой. — А почтовую расписку вы от меня получите, я потом перешлю вам.

Теперь Каржоль был уже совершенно спокоен и даже счастлив, что и не замедлило невольным образом отразиться на всем лице, на всем существе его, хотя он и продолжал усиленно сдерживаться, чтобы не слишком уж резко дать заметить Тамаре происшедшую в нем перемену.

— Ну, проститесь с могилой и займитесь собой, — у нас ведь времени не много, — предложил он Тамаре, подавая ей руку.

Девушка опустилась перед насыпью на колени и, осенив себя крестом, положила последний земной поклон за упокой души погребенного.

Воспользовавшись этой минутой, граф достал из кошелька золотой и передал его солдатам, зарывавшим могилу, приказав поделиться со всеми их товарищами, принимавшими участие в погребении. Надо отдать ему справедливость, он вовсе не был скуп на деньги, когда они у него водились, и любил бросать их «по-барски», особенно, когда был в духе.

— «Мертвый в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий!»— философски продекламировал он, спускаясь под руку с Тamarой с пригорка, и добавил, что это самый благой совет и самое мудрое изречение, какое только он знает в жизни.

Они медленным шагом, как бы гуляя, отправились вдоль по тропинке, и тут, когда очутились одни, без свидетелей, явилась у него и нежность, и самая внимательная предупредительность к своей спутнице, даже тембр голоса переменился, сделавшись мягким, сердечным, и во взоре зажглась искорка теплой, нежной страсти. В эту минуту, ощущая близость Тамары к себе, прикосновение ее руки и плеча, ему совершенно искренне

казалось, будто он в самом деле влюблен в нее и готов ради нее на всякий подвиг, на всякую жертву. О покойнике, о письмах, об Ольге не было уже и помину, — он говорил теперь только о том, как любит ее, как рад и счастлив, что удалось ему снова увидеть ее, как ему грустно и тяжело без нее, и когда-то, наконец, настанет то счастливое время, когда они будут уже вместе, вдвоем, неразлучно, и никакие «родственники», никакие евреи не помешают больше их браку, — вот только бы кончалась поскорей эта несносная война, а там... О, там он сумеет уже взять свое счастье! Тамара слушала, как сладкую музыку, этот страстный лепет и верила, и таяла под лучами его нежного взгляда, и горячо отвечала на пожатие его руки. Она глядела на его красивую, изящную фигуру, и ей вспомнились при этом встреча с ним в Зимнице и тот недружелюбный, полный предубеждения разговор о нем, какой вели при ней, за вечерним чаем, ее госпитальные сотоварищи, не зная, что граф жених ее; но рядом с этим вспомнилась и та сцена, как доставил он на перевязочный пункт раненого Аполлона, вспомнился и рас-

сказ его, как он нашел его в кустах, — и сопоставляя тот и другой момент его появления в их госпитале, Тамара находила про себя, что последний поступок графа так благороден, так человечен, так великодушен, что ни у кого больше не посмеет подняться рука, чтобы бросить в него камень, и что все те, кто отзывались о нем так нехорошо, должны воочию убедиться теперь, насколько они были неправы. Начальнице он тоже тогда как будто не понравился, — ну, а что она скажет о нем теперь?! Тамара тогда заступилась за него перед всеми, она всем заявила тогда, что он человек вполне порядочный и честный, что так судить нельзя, не зная его обстоятельств, и вот ее слова оправдались. О, теперь она с гордостью может всем и каждому говорить о жене своем! Он тоже был в бою, в огне, и своим благородным поступком доказал, что он вовсе не то, чем его считали. И Каржоль, действительно, поднялся после этого в ее глазах еще выше. Она любила его, она гордилась им.

* * *

Возвращаясь в Порадим, граф нетерпеливо ждал, когда экипаж его отъедет подальше от

перевязочного пункта и скроется в лощине за первым перевалом, чтобы свободно предаться рассмотрению Ольгиных писем. И вот, наконец, этот желанный момент настал: он один, среди волнисто-всхолмленных полей, на вольном просторе, — здесь нет постороннего глаза, никто не помешает ему.

Граф достал из кармана бумажник Аполлона и раскрыл его. «Ну-с, посмотрим, что-то за тайны здесь заключаются?» Бумажник великолепен, изящной парижской работы, и первое, что бросилось ему там в глаза, был портрет Ольги, вставленный под шлифованное стекло с золоченым ободком в темно-вишневую кожу, в одной из внутренних створок. То была фотографическая карточка, прелестно разделанная легкой акварелью, где Ольга изображалась в виде чудной пепельно-кудрой головки, поэтически окутанной, точно легкой дымкой, газовой вуалью, из-под которой соблазнительно-прозрачно сквозило тело обнаженной груди и роскошных плеч.

— *Quelle impudence!* — благонаравно возмутился Каржоль — скорее, впрочем, в качестве задетого этим супруга, чем строгого пуриста

вообще. Он попытался, нельзя ли вынуть «неприличную» эту карточку, — оказалось, что очень возможно и даже легко. Такие карточки, находимые в подобных секретных местах, обыкновенно бывают с какими-нибудь интимными надписями на обороте, — это граф знал и по собственному опыту, — и взглянув на ее обратную сторону, он, действительно, нашел как раз подобного сорту надпись, сделанную рукой Ольги: «A mon bicaime Poupitchik ta fidele Olga, en souvenir du 17 octobre 1876». Надпись показалась ему пошлой, тривиальной, в особенности это ласкательное «Poupitchik» и это вульгарно-сентиментальное «fidele», вовсе не вяжущееся с положительным, реалистичным характером Ольги. Но что за значение имеет это «17 octobre»? Какой смысл под ним кроется, какое воспоминание? И подумав, он с негодованием вспомнил, что это был день его собственной свадьбы. Колючая боль обиды, взрыв оскорбленного самолюбия, сознание своего осмеянного человеческого достоинства и желчь ревности — все это разом поднялось и разом возопило в душе Каржоля, первым дви-

жением которого было намерение скомкать, порвать и вышвырнуть эту ненавистную карточку. Но он тут же опомнился, смекнув, что она может еще ему пригодиться и сослужить впоследствии свою службу, тогда как уничтожить ее из-за минутной вспышки было бы непоправимой глупостью. И граф осторожно задвинул ее в надлежащее место.

Затем в одном из отделений бумажника он нашел большой незадсланный конверт с надписью на нем рукой Аполлона: «В случае моей смерти прошу вложенное сюда письмо переслать по адресу вместе с этим моим бумажником. А.Пуп».

Граф вынул из этой обложки второй конверт, наглухо заклеенный и запечатанный гербовой печатью покойного и, взглянув на адрес, увидел, что не ошибся в своем давешнем предположении: письмо действительно было адресовано в Петербург, на имя «ее сиятельства графини Ольги Петровны Каржоль де Нотрек, в собственные руки». На ощупь оно казалось довольно плотным, давая возможность предполагать, что в нем упрятан не один лист почтовой бумаги. Граф, не взламы-

вая печать, осторожно взрезал перочинным ножиком верхний край конверта и вынул оттуда небольшую пачку модных разноцветных листков небольшого формата, каждый с красивым шифром Ольги под графской короной. Пачку эту охватывал снаружи перегнутый листок обыкновенной почтовой бумаги, на котором было написано несколько строк рукой Пупа, и за них-то прежде всего схватился Каржоль. «Ты просила, — прочел он, — чтобы я сжег или возвратил тебе твои письма, потому что мало ли что на войне может случиться. Ты права. Может быть, мне и суждено быть убитым, но пока я жив, я не могу решиться уничтожить их и не могу расстаться с ними, — они слишком мне дороги, они для меня все, — пойми, все, самое заветное, что есть у меня в жизни. Ты знаешь, я суеверен, и мне кажется, что если их не будет со мною, то и сам я пропаду. Они мне все равно, как талисман, охраняющий меня не только «от измены и забвенья», но и от вражьей пули. Может быть, это смешно, но что же делать! Впрочем, желание твое будет исполнено, и когда ты получишь свои письма, то это будет

значить, что меня уже нет на свете. Прощай, дорогая!»

— Ну, талисман-то, однако, не надежен оказался, не спас! — иронически подумалось каржолу.

Затем он обратился к пачке элегантных листков, где нашел целую коллекцию писем и записочек, и принялся прочитывать их, одно за другим, с нетерпеливым, жадным любопытством. Все они были собственноручно писаны Ольгой, все были «на ты», все относились к периоду времени уже после ее брака и все выражали более или менее откровенно ее нежные чувства к улану и разоблачали интимную близость их между собой, как любовников. В этом отношении, в особенности знаменательными оказались два письма, в последовательном порядке, относившиеся уже к более близкому времени. В первом Ольга со страхом и опасением сообщала, что она, кажется, беременна и не знает, что теперь делать и как избавиться от этого неприятного положения, а во втором уведомляла, что хотя ее милому Пупчику и очень хотелось бы, судя по его последнему письму, быть папашей их

будущего «bebe», но увы! — она должна разочаровать его, так как страхи и опасения ее насчет беременности оказались фальшивой тревогой.

Невольно чувствуя в каждом из этих писем как бы косвенное поругание над собой и над своим именем «волочимым этой женщиной», граф, тем не менее, продолжал читать их с каким-то злорадным и мучительным наслаждением, точно бы растравляя в себе боль и зуд воспаленной раны. Дочитав же все листки, он положил их в прежнем порядке, в тот же конверт и в ту же наружную обложку, и спрятал все это в бумажник, снова упокоившийся в глубине его бокового кармана.

В первые минуты он просто не мог опомниться и овладеть собой от охвативших его двойственных чувств негодования, ревности и радостного торжества; но последнее, наконец, возобладало над первым. О, как жестоко отомстит он теперь Ольге, — за все: и за шантажную свадьбу, и за «волоченье по грязи» его имени, и за издевательства над ним, и за связь с Аполлоном, за все, за все, что до сих пор по ее милости служит ему каторжным яд-

ром на его дороге и мешает ему в жизни... О, как он будет торжествовать над ней! Теперь она вся, вся в его руках, — улики налицо, и какие улики! — документальные, неопровержимые, подлинные, — и то, что было задумано им в Зимнице, на пути из госпиталя к Брофту, но что до сего дня казалось так трудно осуществимым, гадательным, почти невозможным, если бы Ольга не пожелала дать согласия на его план, — все то разрешается теперь так легко и просто, благодаря этой, убийственной для нее, пачке писем. Нет, судьба решительно благоволит к нему и, несмотря на неприятное, мало лестное для самолюбия положение роконосца, он все-таки, в конце концов, уже и теперь может считать себя счастливейшим из смертных, а будет и еще счастливее, когда весь грандиозный план его осуществится, на посрамление всем жидам и врагам его.

XXII. В БОГОТЕ

28-го ноября Плевна, наконец, пала. После отчаянной, но неудачной попытки прорваться к Виддину, Осман-паша со своей сорокатысячной армией сдался у Видского моста генералу Ганецкому.

В это время сестры Богоявленской общины работали уже в Боготе, в одном из подвижных госпиталей. В этом же селении, с 12-го октября, помещалась и главная квартира великого князя главнокомандующего.

На третий день после падения Плевны, около пяти часов дня, в виду Боготы показался довольно длинный и пестрый поезд всадников. Тут были и румынские калараши, и наши бугские уланы со своими красно-белыми значками. За каларашами ехала коляска, а за ней тянулась верхами, в красных фесках, длинная вереница турецких пашей, штабных чинов, адъютантов и офицеров плевненской армии, оцепленных нашими уланами, с пиками через седло. То привезли пленного Османа и большую часть его офицеров. Вся Богота, русская и болгарская, высыпала из хат, земля-

нок и палаток смотреть на это необычайное зрелище. Осман-паша был встречен у приготовленной для него юрты комендантом действующей армии, а взвод почетного караула отдал ему воинскую честь, как главнокомандующему.

Не успели еще в Боготе угомониться от впечатлений этой встречи, как к шатрам подвижного госпиталя приблизился другой поезд, под охраной казаков, состоявший из целого ряда лазаретных фургонов и линеек. То привезли офицеров и, частью, солдат гренадерского корпуса, раненых в бою 28-го за Видом. Все они были рачительно приняты врачом-санитарным персоналом госпиталя и сестрами милосердия и размещены на койках по большим шатрам, где все уже заранее было приготовлено к их приему и накормлению. Офицеров поместили в особую палату, по возможности, с наибольшими удобствами. Между ними находился некто капитан Владимир Атурин, раненый довольно серьезно пулей в правую руку. Это был сильный, здоровый мужчина, лет тридцати пяти, с симпатичным и умным выражением мужественно-

го лица.

Первый уход за ним достался на долю Тамары, которая привычной, мягкой рукой осторожно и нежно разбинтовала и промыла ему рану для новой перевязки. Он ласково поблагодарил ее за это в простых и сердечных выражениях.

— Вы так хорошо это делаете, особенно после наших фельдшеров с их грубыми лапами, — сказал он ей, — что я уж попрошу вас, будьте так добры, не откажите и вперед в вашей помощи.

И после этого каждый раз, когда ему нужно было перебинтовывать раненую руку, он не давал никому до нее дотронуться, кроме сестры Тамары, — и она, охотно исполняя этот маленький каприз раненого, не заставляла его долго дожидаться своего прихода и всегда являлась к его постели как раз к тому времени, когда врач должен был накладывать ему повязку. Таким образом, с первого же дня между ними установились как-то сами собой добрые, почти дружеские отношения, скрепляемые с одной стороны признательностью за услугу, с другой — охотной го-

товностью всегда оказать ее. Дня через три, чувствуя себя уже значительно бодрее, капитан Атурин, после утренней перевязки, обратился к Тамаре с просьбой.

— У меня к вам большая просьба, сестра, — сказал он, — помогите мне написать маленькое письмо, — сам, как видите, пока не в состоянии... Я вам продиктую.

Освободясь от своих обычных утренних обязанностей, по уходе врачей, Тамара сейчас же принесла к его постели складной столик и свой маленький бювар с почтовой бумагой, конвертами и походной чернильницей, присела на табурет и приготовилась писать под диктовку.

— «Дорогая моя тетушка», — диктовал ей Атурин. — «В газетах вы, без сомнения, увидите в числе раненых 28-го ноября офицеров и мое имя. Знаю наверное, что вас это очень встревожит, и потому спешу предупредить, что рана моя, в правую руку, вовсе не опасна. Я уже и теперь чувствую себя совсем хорошо и надеюсь недели через две совершенно поправиться. За мной ухаживает добрая сестра Тамара, без попечения которой, конечно...

Девушка приостановилась и посмотрела на него с выражением некоторой нерешительности и затруднения.

— Ну, это зачем же? — тихо проговорила она тоном немножко смущенной просьбы. — Этого не надо... позвольте не писать.

— «Без попечения которой», — настойчиво продолжал офицер, улыбнувшись ей доброй и ласковой улыбкой, — «конечно, я никогда не поправился бы так скоро, как теперь».

Тамара все еще не решалась продолжать.

— Ну, что же, сестра? Пишите...

— Нет, право, это лишнее... Мне даже неловко... Во-первых, я делаю только то, что обязана делать, и никакой тут особенной заслуги с моей стороны нет, а во-вторых, писать своей рукой похвалу себе же... согласитесь, как-то странно выходит.

— Ничуть не странно, — возразил он, — во-первых, пишу я, а не вы, — вы только записываете. Во-вторых, я пишу к особе совершенно вам неизвестной, к своей родной тетке, которая у меня одна только и есть на свете самый близкий мне человек, — ни отца, ни матери у меня нет, — она одна только, и любит она ме-

ня, как сына... Я пишу ей все равно как к матери... и наконец, ведь это же правда, что я обязан вам, — почему же вы не хотите, чтобы мою признательность к вам заочно разделяло вместе со мной близкое мне лицо? Нет, уж я прошу вас, пишите не споря, как я диктую — прибавил он в заключение тоном ласковой, но решительной просьбы.

Тамара с улыбкой пожала плечами и принялась записывать, как бы исполнять этим каприз больного.

Он в кратком рассказе изложил обстоятельства, при которых был ранен, и извещал далее, что находится теперь в боготском госпитале, где врачи решили оставить его до окончательного излечения, и что при первой возможности, как только в состоянии будет вполне свободно владеть рукой, напишет ей сам, собственноручно, и со всеми подробностями, а пока просит еще раз не тревожиться о нем и обещает давать о себе известия почаще.

Письмо было кончено. Тамара вложила его в конверт, заклеила последний и приготовилась писать на обороте адрес.

— «В город Украинск», — продиктовал ей Атурин, — «Игумении Серафиме, настоятельнице Свято-Троицкой женской обители».

У Тамары невольно опустились руки и, откинувшись несколько назад, она уставилась на него изумленным взглядом.

— Что вы так смотрите, сестра? Что с вами?

— Мать Серафима ваша тетка? — проговорила она, все еще ошеломленная этой неожиданностью.

— Да, тетка, а что? Разве вы ее знаете?

— Я-то? Очень хорошо; даже более скажу вам: она и для меня самый близкий человек на свете... Нравственно я считаю ее за мать, — вот она мне кто!

— Да что вы! — обрадованно удивился в свою очередь Атурин. — Вот не ожидал-то!

— Я ведь сама из Украинска, продолжала Тамара, — и многим, многим хорошим обязана матери Серафиме... Одно время я даже жила у нее в монастыре, и мы иногда переписываемся.

— Вот как! Ну, это просто судьба, наша встреча, и вдвойне рад за свою настойчи-

вость, что упросил вас писать все: теперь она будет знать, что ходите за мной именно вы, и это еще более ее успокоит и утешит... Так вы ее близко знаете? — переспросил он в радостном волнении.

— Да как же! У меня даже образ есть, которым она меня на прощанье благословила, как мать, и я никогда не разлучаюсь с ним.

— Но расскажите, Бога ради, как же это? Какими судьбами, что и почему?

— Ну, это длинная история... Когда-нибудь потом, на досуге, — ласково уклонилась от расспросов Тамара. — Вам теперь еще вредно много разговаривать, — прибавила она как бы в оправдание своей уклончивости, — и то уже вон как разволновались! Доктор придет, журить меня станет за это.

— Нет, вы не поверите, как я рад! — искренне продолжал Атурин, протягивая ей левую, здоровую, руку. — Ведь это, в самом деле, какой счастливый для меня случай, — ну, подумайте! Мы, значит, с вами все равно как родные, — недаром у меня с первой минуты инстинктивно как-то душа легла к вам... Вот и подите, не верьте после этого предчувстви-

ям!

— Да что ж тут особенного? — скромно улыбнулась и в несколько смущенном недоумении от последних его слов пожала плечами Тамара, которой, однако, в душе эти слова его были очень приятны.

— Как что особенного? — возразил он. — То и особенного, что, значит, хороший вы человек и сердце у вас золотое, если мать Серафима вас любит и вы ее тоже, — ведь вы же знаете, какая это женщина!

Тамара сказала ему: что сама напишет ей сегодня же, еще и от себя, и постарается окончательно успокоить ее насчет его здоровья и расскажет, как неожиданно разъяснилась для них обоих близость их взаимных к ней отношений. И она, действительно, написала к Серафиме подробное письмо, где последовательно объяснила ход лечения и состояние здоровья Атурина с самого прибытия его в госпиталь и обещала ходить за ним до полного его выздоровления, как за братом, и извещать ее по возможности чаще о всех переменах в состоянии его здоровья и раны, в память всего добра, которым так много обязана

ей, Серафиме.

С этой минуты между Атуриным и Тамарой установились еще более теплые, сердечные отношения, точно бы между родными. Она отдалась уходу за ним со всем энтузиазмом своей отзывчивой души, делая это в благодарную и сердечную память о матери Серафиме; да и кроме того, ей просто приятно было братски ухаживать за симпатичным человеком, который чувствует и ценит в ней это. И сама она, предрасположенная к нему уже одним тем, что он племянник Серафимы, с течением времени, чем больше узнавала его, тем живей ценила симпатичные душевные стороны этой открытой, простосердечной и мужественной натуры. Она узнала от него, что его покойная мать была родной сестрой Серафимы, связанной с ней самой тесной любовью и дружбой, что Серафима, до своего монашества, была поставлена обстоятельствами своей жизни в близкие отношения ко двору, к высоким сферам, мать же его вышла замуж более скромно, за помещика Атурина, занимавшего до конца своей жизни место предводителя дворянства в своей губернии, что сам

он, Владимир Атурин, служил прежде в гвардии, а потом, женившись, вышел в отставку и был в своем уезде тоже предводителем, но с объявлением войны бросил все: и свое предводительство, и свое сельское хозяйство, — и снова поступил на военную службу, в один из полков гренадерского корпуса. Узнала Тамара и то, что, похоронив жену четыре года назад, он теперь бездетный вдовец, а из письма к ней Серафиме, полученного через две недели в ответ на ее первое письмо из Богота, она убедилась, что Серафима действительно любит его как сына. В этом письме своем игуменья не находила слов, как благодарить Тамару за ее самоотверженный, истинно христианский уход за ее бедным Володей и относила встречу его с ней к особенной милости божией, — точно бы самому Провидению угодно было послать и сделать ее добрым гением-хранителем ее милого племянника, дорожке и ближе которого у нее, после смерти незабвенной сестры, не осталось родного существа в мирной жизни.

Чем дальше шло время, тем больше заживлялась рана Атурина, и дело близилось уже к

все так случилось, и что тут ей делать!? Оборвать все разом, нарочно перемениться к нему, оттолкнуть его? Но за что же? Что сделал он, чем виноват перед нею? Оттолкнуть... Но как это сделать, да и хватит ли духу и совести, если человек не подает к тому никакого повода, если он держит себя по отношению к ней с таким тактом, что до сих пор не обмолвился ей о своем чувстве ни единым словом, не выдал себя ни малейшим нескромным намеком? Может быть, однако, она ошибается?

Может быть, ей все это только вообразилось почему-то, и она создала себе нечто кажущееся, призрачное, чего в действительности не существует? Но нет, это чувство невольно сказывается у него и во взгляде, и в тихой улыбке, когда Тамара подходит к нему и говорит с ним. Она женским инстинктом чувствует в нем каждый раз это чувство, как невольно чувствуют иные люди с первого взгляда, с первой же встречи и часто даже без всякого внешнего повода, безо всякой видимой причины, кто их друг и кто недруг и кому сами они симпатичны или противны, — точно бы между ними, независимо от них, об-

разуется сам собой какой-то магнетический ток притягательного или отталкивающего свойства. Этот взгляд его и улыбка лучше и доказательнее всяких слов говорили Тамаре, что то чувство, которого они служат выражением, — чувство глубокое, чистое, полное самоотверженности и беспредельною к ней уважения, — словом, не такое, как у Каржоля. Каржоль более, как будто позволял ей любить себя, чем сам любил ее. В самых ласках его, как и вообще, во всем его обращении с ней не чувствовалось равенства; в нем скорее сказывалось к ней какое-то отношение сверху вниз, точно бы к ребенку, звучала как будто снисходительная нотка, что объясняла она себе разницей их возраста и житейского опыта. Для Каржоля, казалось ей теперь, она была только интересной, милой девочкой, для Атурина — мадонной. А между тем, ведь Атурин, кажись, ровесник Каржолю. Явилось сравнение — невольное сравнение между тем и другим, — и Тамара с испугом поняла, что это уже плохо, что сравнение нехороший признак, что ему вовсе не должно бы быть у нее места, если она так любит Каржоля. Отчего

же раньше никогда никакого сравнение ей и в голову не приходило? Уж не сама ли она виновата, что допустила случиться всему так, как оно случилось? Но эта чистота и глубина безмолвного и совсем не притязающего на нее чувства совершенно обезоруживала ее против Атурина. Полюбил человек, — ну, что ж с этим делать! Может ли она тут взаправду упрекнуть себя в чем-либо? Старалась ли она вызвать в нем это чувство, дразнила ли его каким-нибудь, хотя бы легким, самым невинным кокетством, хотела ли хоть чуточку в душе ему нравиться, думала ли даже, что это может случиться? Нет и нет. Такой мысли не было у нее и тени. С первой и до последней минуты по отношению к Атуруину она оставалась и остается только доброй сестрой.

Но размышляя таким образом, Тамара в то же время поймала самое себя на одном очень тонком внутреннем ощущении, несмотря ни на что, ни на испуг перед любовью Атурина, перед этим своим неожиданным открытием, ни на искренность сознания, что было бы де гораздо лучше, если бы ничего этого не было, ни на усиленно призываемый, как бы на по-

мощь и защиту против самой себя, образ Каржолья, ни на упреки самой себе, ни даже на искреннее желание избежать последствий того, что случилось, и не давать дальнейшего развития отношениям к ней Атурина, ни своим к нему, остановиться, прервать или уйти куда ни на есть ото всего этого, — в глубине души ей все-таки было приятно самолюбивое сознание, что ее любит «такой человек» и что она, помимо собственной воли и хотения, могла внушить ему «такое» чувство.

Порой, в минуты подобного самолюбьящего сознания, вместе с упреками за него самой себе и при виде своей обезоруженности против любви Атурина, Тамаре так усиленно хотелось, чтобы Каржоль был теперь здесь, подле нее, — хоть бы на день, на час один приехал повидаться! Ей казалось, и даже она была уверена или, по крайней мере, старалась уверить себя, что стоит лишь ей увидеть его — и все это, как тень от облака, сейчас же пройдет само собой, исчезнет без следа, и она почерпнет себе в своем любимом человеке новую нравственную силу и стойкость, освежит свое, искушаемое без него, чувство... Но он,

как на зло, не ехал и даже с последнего их свидания на похоронах Аполлона ни разу не написал ей. Что все это значит, Тамара не понимала и терялась в догадках и предположениях: уж не болен ли, не уехал ли в Россию, не увлекся ли другой? Как же это так, в самом деле, больше трех месяцев не подал о себе никакой вести! Хотя бы телеграмму, что ли, прислал, если уж писать некогда, — болен, мол, или уезжаю, — а то вдруг ни слова! Как в воду канул! Обещал было выслать сейчас же почтовую расписку об отправке к Ольге портсигара, — и той не высылает! Что за странное дело! Написать самой к нему, — хорошо, но куда? Где он находится теперь? В Систове, в Букареште? в ином ли каком городе? Ведь он тоже не сидит на месте. Где и когда найдет его ей письмо? В прежних своих, правда, далеко не многочисленных, письмах (горячо любящий человек, думалось теперь Тамаре, особенно жених к невесте, должен бы был и мог бы писать гораздо чаще и больше) он каждый раз указывал, куда именно отвечать ему, а в последний приезд даже не сообщил своего систовского адреса, — позабыл, вероят-

но, да и она его не спросила, за множеством тогдашних хлопот. Выходит, что и писать-то некуда.

А между тем, кое-какие слухи о нем доходили до Тамары. С месяц тому назад возвратился из Букарешта один из ординаторов их госпиталя, сопровождавший туда партию больных и раненых, — тот самый ординатор, что так нелестно обмолвился при ней, в Зимнице, насчет Каржоля и так ужасно сконфузился тогда, узнав тут же, что граф жених ее. По возвращении в Богот, думая, что Тамаре будет приятно услышать весточку о своем женихе, он сообщил ей, что видел его дважды в Букареште: раз в театре и раз за ужином в ресторане «Metropole», что граф, по-видимому, процветает, что за ужином их даже познакомил между собой один русский корреспондент, причем граф оказался очень милым человеком и веселым собеседником, но что о Тамаре ординарец ему не упоминал, полагая, что это было бы нескромно. Таким образом, Тамара знала, что месяц тому назад Каржоль был жив и здоров и даже веселился; но тем удивительнее казалось ей, что он не пишет.

Такое продолжительное молчание она желала и старалась объяснять себе тем, что, вероятно, с ним случилось что-нибудь особенное, или же письма его пропадают на почте. Но странно, — не могут же они пропадать все подряд! Получают же другие, почему же у них не пропадают?

Чем дальше тянулось время, тем все чаще молчание это начинало казаться ей просто невниманием, даже равнодушием к ней со стороны Каржоля, после чего писать к нему первой выходило уже неловким, как будто и собственное самолюбие не позволяло этого. Напишешь, а он — Бог его знает — не сочтет ли это даже за навязчивость? Угодно ли, наконец, ему получать ее письма? Захотел бы вспомнить, так уж, конечно, нашел бы время и возможность написать, или хотя бы телеграфировать, — для этого, кажется, немного нужно времени. А то, значит, не хочет и не вспоминает... Значит, не болит ему это... значит, ему все равно! И это последнее сознание, больно задевая самолюбие Тамары, было ей и горько, и обидно, так что порой, под его влиянием, начинала она испытывать против гра-

фа даже чувство некоторого раздражения.

А Владимир Атурин все здесь, налицо, и все такой же...

* * *

Стояла уже вторая половина декабря. Главная квартира собиралась уже покидать Богот, предполагая направиться пока в Ловчу, потом в Сельви, а потом — куда укажет ход последующих военных действий. Все были рады этому передвижению, потому что дальнейшее пребывание в Боготе становилось если не окончательно невозможным, то тягостным до последней крайности.

До 3-го декабря многие еще кое-как жили здесь в палатках, мирясь поневоле с ночными морозами. Приходилось, конечно, спать, не раздеваясь, но это все казалось сноснее, нежели жить в болгарских подземельях, которые именно скорее подземелья, чем землянки. Но с 3-го числа загудела вьюга, которая длилась без перерыва двое с половиной суток и за это время намела страшные сугробы. Снег на пол-аршина покрыл все поля, ночные морозы доходили до 17-ти градусов, — одним словом, зима стала сразу и притом зима

суровая, совершенно скверная. Такая резкая перемена не обошлась без жертв. На пути от Систова в Боготу замерзло в поле много лошадей и шесть человек вольных погонцев; погибло и несколько одиночных солдат, заблудившихся среди вьюги, которая перемела все дороги. Около Богота, почти в самом селении, нашли восемь зачоченелых трупов, занесенных снегом близ своих повозок; замерз в пути целый транспорт раненых и больных; замерзла и целая партия, человек в тысячу, пленных турок.

Обитателям палаток поневоле пришлось, наконец, переселиться в болгарские подземелья. Переселились в них и сестры боготского госпиталя. Тамаре, вместе с сестрой Степанидой и еще двумя другими сестрами досталась «кешта» (жилище, хата) из числа ближайших к госпитальным шатрам. Ничего хуже, непригляднее и неудобнее не встречали еще они у себя в России. Чтобы попасть в болгарскую кешту, к себе или к своим товаркам, им приходилось спускаться по скользким, грязным или обледенелым и обыкновенно очень крутым ступенькам аршина на три в землю.

Здесь они наталкивались на низенькую дверцу, какие в России бывают разве в самых бедных свиных и овечьих хлевах. Это — самое предательское место, где они с непривычки стукались о косяк теменем. Болгарские землянки все почти на один образец. Когда Тамара, перешагнув за порог дверки, впервые попала сразу в какое-то темное и вонючее пространство, ощущая липкую грязь под ногами, она даже растерялась, точно бы неожиданно очутилась вдруг в каком-то заброшенном погребу. Прошло с минуту времени, прежде чем глаза ее привыкли к этим потемкам и пообгляделись в них, и только тогда, сквозь дым и пар, неизбежно стоящий здесь от ужасной сырости, начала она понемногу различать окружавшие ее предметы. Налево от входа стояла пара рабочих буйволов на навозной подстилке; направо шли вдоль стены две или три полки, где помещалась скудная домашняя утварь; в следующей стене, тоже направо от входа, был устроен ничем не огороженный очаг, где просто на земляном полу тлел кизяк вместе с обугленными древесными сучьями, дым выходил в широкую прямую трубу, ни-

чем не прикрытую сверху. У основания этой конусообразной трубы была сделана деревянная поперечина, на которой висел на цепи медный котел, «казан», для варки «чорбы», — бобовой похлебки со стручковым перцем. Других печей не существовало и, стало быть, о тепле сестры не могли и думать. Потолка тоже не было; грубые стропила образовывали прямо кровлю, покрытую кукурузными стеблями и комлями и засыпанную землей. К довершению всех удовольствий сестры узнали еще, что эта кровля служит вечным приютом тарантулам, скорпионам, мышам, крысам, ужам и змеям. У основания крыши пролегала поперечная балка с перпендикулярно вдолбленным в нее бревном, которое подпирало верхнюю балку, где сходятся стропила. Здесь были подвешены кочны капусты, лук, чеснок, пучки кукурузы и стручкового перца, составляющего излюбленное лакомство болгар — от годовалого ребенка до глубокого старца. Здесь же висели для просушки бараньи и воловьи шкуры, издававшие вместе с живыми буйволами убийственно смердящий запах. В целой хате не было ни малейшей ме-

бели — ни стола, ни скамейки, ни кроватей или нар для спанья. Весь житейский обиход совершался на грязном, смоклом полу. Выбеленные когда-то стены были покрыты потеками и узорами сырости, которая искрилась теперь на них серебристым налетом изморози. Из этой хаты вела низенькая дверь в смежное помещение, служившее кладовой, где стояли разные кадушки, плетенки с запасами и хранились высушенные бараньи шкуры да лишнее платье. Эту-то кладовую, из которой было сейчас вынесено все громоздкое и излишнее, и пришлось занять для жилья сестрам. Вместо окошка в ней была проделана на уровне наружного грунта просто сквозная дыра без рамы и, конечно, без стекол, о которых тут, кажется, и понятия не имелось. В оконную дыру валил снег, сочилась дождевая вода или уличная грязь, и это помещение даже очагом не согревалось. Для тепла надо было довольствоваться «мангалом» — железной или глиняной жаровней, где тлели угли. Вонь в кладовой стояла ужасная, потому что около оконной дыры, снаружи, обыкновенно совершались, как и везде, всю семью хозяев всякие

нечистоты. Но и за такое помещение приходилось еще благодарить Бога, потому что «кешты» брались чуть не с бою. Подобные кладовые, напоминающие скорее могильные склепы, чем жильё, вынуждены были занять под себя не только офицеры и чиновники главной квартиры, сестры и медики, но и сам начальник штаба имел помещение не многим лучше прочих, а великий князь главнокомандующий предпочел остаться в юрте, несмотря на все неудобства. Все же сестры постарались кое-как устроиться и в этих невозможных условиях, — поневоле приходилось мириться с тем, что есть. Здесь все дни напролет надо было им проводить при свечах. Выйдет, бывало, Тамара на свет Божий подышать немного свежим воздухом, — серебряный блеск снегов, особенно под солнечными лучами, ослеплял и до боли, до крупных слез, резал ей глаза, так что приходилось зажмуриваться и постепенно привыкать к свету; а войдя опять в свою конуру — в глазах, бывало, становится до того темно, что в первые мгновения не различался даже огонь свечи. Теснота внутри такая, что и повернуться почти негде было. Но

все это переносилось сестрами стоически, при сознании своего святого долга, добровольно на себя принятого. В свободные от дела часы, оставаясь у себя в кеште, Тамара поневоле приглядывалась к окружавшей ее обыденной жизни и обиходу семьи своих хозяев, так как здесь ей впервые еще с начала войны пришлось войти в непосредственное соприкосновение с болгарами. Женщины этой семьи три или четыре раза в день принимались печь себе на очаге кукурузные лепешки вместо хлеба и пекли их самым первобытным способом, зарывая тесто прямо в горячую золу. Ни вилок, ни ложек эти «селяки» не употребляли, а ели из общей миски руками, или же макая в жижицу куски лепешек, которые заменяли им ложки. Но до чего все это было неопрятно! Мясной пицци у них она и не видела, а сказывали ей «сеструшки», что разве уж на Рождество или на Светлый праздник зарежет хозяин барана, да и чорбу-то они ели только по праздничным дням, а в будни довольствовались всухомятку кукурузными лепешками и перцем. Вся семья обыкновенно ютилась вокруг очага, — старый и малый си-

дят себе, бывало, на корточках и греются. Стена, противоположная входу, имела посередине углубление, вроде печуры, где помещались грубо намалеванные образа: св. Димитрий, Пантелеймон Целитель и другие. У этой стены валялась большая камышовая циновка, которая на ночь перетаскивалась поближе к очагу, и на ней укладывалась спать вся семья, вповалку, вокруг неугасаемого огня. Спали, не раздеваясь, как и вообще все сельские болгары, имеющие обыкновение никогда не раздеваться и никогда почти не мыться, — разве уж перед каким-нибудь большим праздником. В семье изрядно-таки наплодилось малых ребят, и годовалые младенцы бросались матерью у очага без всякого призора, часто нагишом, без малейшей одежды. И так-то вот, в этой кеште, на пространстве каких-нибудь двух, много трех квадратных сажений, проводила всю свою жизнь болгарская семья, в самой гнетущей, убийственной обстановке.

А между тем, Тамара знала, что люди они далеко не бедные, — напротив, зажиточные, и у хозяина в кошеле за пазухой было припрятано не мало-таки «желтиц» — турецких

лир, австрийских дукатов и русских червонцев. Она сама видела их, когда хозяин однажды раскошелился при ней, чтобы дать сестре Степаниде сдачу за купленное у него «свинско масло», то есть топленое свиное сало для жарева. Особенного расположения к русским, как и особенной ненависти к туркам, к удивлению Тамары, у всех этих болгар не замечалось. «И руси-ти добры, и турци-ти добры, сички добры!»— лукаво и уклончиво, себе на уме, высказывались они в ответ на вопрос, каково им жилось под турками. В их тупой эгоистической замкнутости проглядывало, скорее, безразличное равнодушие к русским «освободителям» и к их успехам или неудачам, если даже не затаенное недружелюбие и предубеждение против скверных «братушек», с которых почти все они и повсюду старались только за все про все драть втридорога: даром ни малейшей услуги! А их «чорбаджии», «мухтары» и многочисленные турецкие чиновники из болгар относились к «освободителям», где можно было не боясь за собственную шкуру, даже прямо с враждебностью и охотно служили туркам, чуть лишь

представлялся удобный случай, наилучшими шпионами. Ввиду всего этого, а главное, ввиду удивительной инертности этого народа, в душе Тамары, как и у большинства русских людей за Дунаем, возникло, наконец, сомнение, — да полно, точно ли болгарский народ так несчастен и угнетен, как прокричали перед войной во всех русских и многих английских газетах? В ближайшей к ней среде ее товарищей по госпиталю, между больными и ранеными и между знакомыми офицерами, все чаще и откровеннее подымались разговоры и толки на эту, щекотливую в начале войны, тему, и возникали, полные сомнений, вопросы, — точно ли болгары сознают себя «братьями» русских и так ли жаждут, все поголовно, освобождения из-под турецкого «ига», да и чувствуют ли, на самом деле, это «иго»? Нет ли тут какого недоразумения, миража, идеалистически созданного себе нами самими? Не было ли напущено во все это дело наркотического чада, который под влиянием неприкрашенной жизненной действительности и при ближайшем знакомстве с ней начинает теперь проходить? Ведь вот,

кричали же и считали за непреложную правду, что болгары разорены, обобраны турками до последней крайности, доведены до страшнейшей нищеты, до полного отчаяния, а на поверку оказывается, что каждый из этих «селяков» куда зажиточнее среднего русского мужика, только жить привык он скаредом и, что называется, по-свински, как ни один русский мужик жить не станет. Кому, собственно, нужно это «освобождение»? — уж не горсти ли болгарских «интеллигентов» и политиканов, которые, с помощью досужих или не в меру доверчивых корреспондентов взмывали пену общественного мнения в «либеральной» Европе и в России, не остывшей еще от увлечений добровольческой войны в Сербии? Таким образом, война далеко еще не была доведена до конца, а у «освободителей» явилось уже значительное разочарование в «освобождаемых»; но это, впрочем, скорее, было разочарованием в своих собственных иллюзиях, возникших из собственного же незнакомства со страной и народом, на освобождение которого все ринулись было вначале с таким беззаветным, братским увлечением.

ем.

Между тем, жизнь в Боготе с каждым днем становилась все несноснее. Лошади стояли во дворах, без конюшен, и мерзли. Сена уже около двух месяцев нигде не было ни клочка, кормили соломой, но теперь в окрестных плевненских деревнях уже и вся солома вышла, и потому лошади глодали соломенные и кукурузные кровли сараев, и этим способом была уже съедена добрая половина кровель в Боготе. Об услугах пресловутого «Товарищества» забыли и думать; на деле, его здесь не существовало, хотя Зимница и Систово кишели этой жидовской саранчой, обдeldывавшей в тылу свои бесшабашные гешефты за счет государственного казначейства. Дороговизна стояла страшная. За черствый пшеничный хлеб величиной с обыкновенную трехкопеечную булку, маркитанты драли по франку, за фунт рублевого чая — по полуимпериалу, и в подобном же размере за все остальное. Носились слухи, что вскоре всей армии предстоит зимний переход через Балканы, и все этому радовались, потому что иначе здесь, если не людям, то лошадям уж наверное предстояло

подохнуть с голода. Придунайская Болгария была уже съедена, и голод, так или иначе, должен был способствовать нашему перевалу через хребет в неистощенные еще долины Румелии.

* * *

Рана Атурина совсем зажила, он мог уже свободно владеть рукой, и теперь ничто уже, кроме собственного сердца, не задерживало его в госпитале. Надо было возвращаться в свой полк, ушедший из-под Плевны в окрестности Тырнова и Габрова.

Он написал матери Серафиме подробное письмо, добрая половина которого была, однако, наполнена не его личной жизнью и не подробностями его участия в деле 28-го ноября, а только одной Тамарой, только горячими похвалами ей и рассказами о ее стойком характере и самоотвержении, о том, как она живет здесь, как бодро и с какой замечательной энергией и твердостью характера переносит тяжелые условия и убийственную обстановку здешней жизни, и как внимательно и усердно она ходила за ним во все время лечения, как часто предметом их разговоров и

воспоминаний была она, мать Серафима, какое глубоко почтительное и сердечное чувство питает к ней Тамара, полагая себя бесконечно ей обязанной, и говорит о ней не иначе, как о матери, за которую и считает ее для себя, в нравственном смысле, а в заключение, в письме высказывалась заветная мысль, что именно такая девушка, как Тамара, представляется ему идеалом хорошей жены и матери семейства, и что если бы когда-нибудь он задумал жениться вторично, то конечно, лучшей подруги жизни незачем было бы и искать. В содержание этого письма Атурин, понятно, не посвятил Тамару, но, отправляя его на почту, не воздержался, чтобы не сказать ей, полусуто-полусерьезно, что оно почти сполна посвящено ей и что это с его стороны лишь слабая дань признательности за всю ее доброту и попечения, — пускай-де и мать Серафима узнает об этом все и порадуетя.

Накануне выписки из госпиталя он и сам был обрадован неожиданною наградой. Ему принесли из штаба свежий приказ, где между прочим, значилось, что такого-то гренадерского полка капитан Атурин, за особое отли-

чие и храбрость, оказанные в бою 28-го ноября, при выбитии турок штыками из наших траншей и отбитии, — переводится тем же чином в гвардию. Этот приказ произвел общую сенсацию, как между больными и выздоравливающими офицерами, так и между сестрами и врачами, — все они, более или менее, порадовались за Атурина и все поздравляли его с царскою милостью. Больше всех была рада, конечно, Тамара, которая испытывала в душе даже некоторое горделивое за него чувство — вот он, мол, какой! Подвиг его самим государем признан за особое отличие, и храбрость его засвидетельствована этим приказом пред всею армией, пред целой Россией! Как должна быть горда им и рада за него мать Серафима! — Самого же Атурина особо обрадовало то обстоятельство, что перевели его в тот самый гвардейский стрелковый батальон, где он служил прежде, до отставки, и где еще и поныне находились налицо некоторые из его старых друзей-сослуживцев, которые его хорошо помнили и любили, — и таким образом, он снова, нежданно-негаданно, попадает как бы в свою родную семью, где его

встретят тепло, по-товарищески. В переводе своем именно в этот самый батальон Атурин справедливо усматривал знак особой к себе милости и внимания: стало быть, не забыли, что он некогда служил там, вспомнили об этом обстоятельстве в подобающую минуту и пожелали показать ему это. Вот что было особенно ему дорого! И чего-чего не сделает он теперь, чтобы оправдать на деле столь высокое к себе внимание! Надо торопиться, надо нагонять поскорей свой батальон, находящийся уже с отрядом генерала Гурко в Балканах, на пути к Софии. Он завтра же отправляется туда, только надо сперва заехать в свой гренадерский полк, — откланяться начальству, получить жалованье, рационы, сделать кое-какие расчеты, забрать свой необходимый багаж и проститься со своей ротой и с товарищами. Пред отъездом Атурин явился в главную квартиру — представиться великому князю главнокомандующему и благодарить его за награду. Здесь он был очень ласково принят и приглашен к завтраку, который, впрочем, по местным условиям, оказался очень и очень скромным, так как и сам вели-

кий князь не был избавлен в Боготе от множества почти таких же лишений, какие терпели и все остальные.

Ротная повозка, нарочно присланная за Атуриным, по его просьбе, отправленной в полк телеграммой еще за несколько дней, уже со вчерашнего вечера была на месте и, совсем готовая, дожидала его теперь перед госпиталем, — оставалось проститься со всеми и ехать...

— Ну, сестра, прощайте! — подошел он, после всех остальных к Тамаре. — Даст Бог, может, еще и свидимся... если жив буду...

Та молча протянула ему руку и дружески ответила на его пожатие.

— Спасибо вам за все, за все... Слов у меня нет, — продолжал он задушевым растроганным голосом, — говорить я не мастер... Одно скажу, отныне и навсегда вы будете для меня самым светлым, самым дорогим воспоминанием моей жизни... Дайте еще раз вашу руку, — позвольте поцеловать ее.

И он приник губами к ее руке, и Тамара почувствовала на ней горячий и влажный след скатившейся слезы.

Атурин, со смущенной улыбкой, поспешил вытереть ладонью свои глаза, еще раз, уже в последний, горячо и молча пожал руку девушки и, быстро вскочив в свой немудреный экипаж, снял фуражку и перекрестился.

— С Богом! — сказал он солдату, сидевшему за кучера. — Трогай!

И тут Тамара увидела и почувствовала что последняя улыбка, последний прощальный взгляд его, невольно полный любви и грусти, остановился на ней и был посвящен одной только ей, всецело.

Она перекрестила его вослед, и в эту минуту вся душа ее была полна одною безмолвною молитвою, чтобы Бог сохранил его целым, здоровым и невредимым.

* * *

С отъездом Атурина, ей вдруг показалось все вокруг как-то пусто, как будто чего-то не стало, чего-то ей не хватает, или точно бы в ее нынешней обыденной жизни вдруг образовался какой-то необъяснимый, неясный еще ей самой, но уже чувствуемый пробел. И это странное для нее самой ощущение к вечеру еще усилилось примесью к нему совершенно,

по-видимому, беспричинной грусти; оно не прошло в ее душе даже и на другие сутки. Тамара объясняла его себе тем, что успела за все это время привыкнуть к Атурину, к его присутствию в госпитале, к своему уходу за ним, даже к его голосу, к его улыбке, с какою он встречал ее появление в палате, к его разговорам. Он такой простой, такой хороший, сердечный... Что ж, может она и любит его, как брата, — но только как брата, не более. Ведь между ними есть нравственное, объединяющее их в этом чувстве звено — мать Серафима. А между тем, и в первый, и в последующие дни мысль ее, с некоторым щемящим сердечным беспокойством, неоднократно и невольно, как-то сама собой все возвращалась к Атурину. — Где-то он теперь? Что с ним? Доехал ли? Хорошо ли ему там? Все ли благополучно?.. Не дай Бог, как опять ранят или заболит, — кто-то будет тогда ходить за ним, и так ли, как она ходила?.. Нет, Бог милосерд... Бог услышит ее бескорыстную молитву, Он сохранит его... Ведь она любит его как брата!

В это время дошло до нее новое известие о

Каржоле, которое оказалось уже совсем не из приятных. Случайно попал ей в руки номер одной одесской газеты, где какая-то корреспонденция «с театра военных действий» в очень мрачных и антипатичных красках изображала деятельность жидовской сахарной компании, во главе которой стоит-де некий граф К. де Н. Сухари-де отвратительны: промозглые, затхлые, наполовину с песком и с какою-то глиной, так что не только людям, но и собакам сеть их не безопасно; но компания, заручившись-де и теперь уже громадными барышами от казны, даже и в ус себе не дует, а ее подставной титулованный представитель и знать не знает, каковы у него сухарики, да и не хочет знать, бесшабашно жуируя себе то в Букареште, с опереточными француженками и за рулеткой, то в Зимнице, с известною Мариуцей и за «зеленым столом», с интендантами.

Корреспонденция эта очень огорчила Тамару. Ей было тяжело читать эти, на ее взгляд убийственные строки о своем женихе, но еще тяжелее думать, что их уже все читали, или могут прочесть, — все, в особенности, сестры

и сотбварищи ее по госпиталю, которые знают, что граф жених ее и сейчас же догадаются, о ком идет дело, кто именно скрыт под этими прозрачными инициалами «К. де Н.» — «Господи! Что они могут теперь думать и что будут говорить между собою!» И как она будет смотреть в глаза им!.. Не будет ли всяк из них, глядя теперь на нее, думать про себя: а что, не правы мы были? — И при этой мысли ей становилось больно и стыдно как за него, так и за себя, точно бы и она тоже прикосновенна к этому делу, про которое так нехорошо пишут... И зачем, зачем в эту грязь и подлость замешано его имя!

Стараясь как-нибудь оправдать Каржоля пред собою, хотя бы только в своих собственных глазах, она уверяла себя, что эта корреспонденция, по всей вероятности, чистый вздор, что она несправедлива, пристрастна, преисполнена предвзятой злости и личного недоброжелательства к Каржолю, что это писал, очевидно, или его личный враг, или человек, легковерно поддавшийся клеветническим слухам, — ведь на этих «компанейских», поди-ка, чего-чего только не плетут и какой

только грязью в них не кидают, не разбирая, кто из них и насколько может быть тут виноватым!

Но, как-никак, а инсинуации насчет опереточных француженок и какой-то «известной» Мариуцы все же оказывали на Тамару свое подтачивающее действие. — Неужели это правда? — не раз задавала она самой себе вопрос, полный горечи и сомнений. — Не может быть!..

Но решая, что этого не может быть, все же продолжала сомневаться и думать — неужели правда?.. И отчего обвиняют его именно в этом, а не в другом чем?.. Ей бы лучше хотелось, чтоб обвинение заключалось в чем-нибудь другом, даже в более тяжком, пожалуй, но только не в этом. — Так эгоистически вести легкую жизнь, лишь в свое удовольствие, в то самое время как здесь люди — и какие люди! — самоотверженно умирают под пулями, страдают по госпиталям, думалось ей. — Развлекаться с какими-то француженками, когда я, когда все мы тут выносим массу всяческих невзгод и лишений, голод и холод, — неужели он способен на это?! Неужели он в

состоянии забыть, что в таких же суровых условиях находится здесь и она, его невеста, которую он, казалось, так любит? — Нет, это вздор, это недостойная клевета на него, это невозможно!

Но сколь ни хотелось бы ей разуверить самое себя и как ни старалась она в этом, как ни решительны были все ее отрицания и негодующие отвержения взведенных на Каржоля инсинуаций и обвинений, а мутный и горький осадок этих последних, несмотря ни на что; оставался в душе и разъедал её. И каждый раз, при невольно возвращавшейся к ней мысли и о француженках и какой-то Мариуце, осадок этот вдруг подымался со дна души и бродил, бродил в ней всею своею мутью. Не то, чтобы это была у нее настоящая ревность, — нет, ревновать к каким-то опереточным певицам и прыгуньям — это уж, казалось ей, чересчур: это значило бы слишком мало давать цены себе самой, — просто не уважать себя, — но то было скорее чувство досадного и несколько брезгливого сожаления о самом Харжоле. — Как он решается, как он может, любя ее, пачкаться во всем этом нрав-

ственно нечистоплотном мирке!.. Французенки, рулетка, шансонетка — все это так низменно, так пошло, так не ко времени... Господи, что за малодушие! Что за бесхарактерность!.. Легковесность какая-то в человеке, и как мало уважения к самому себе! — Неужели же он такой, что чуть из глаз вон — и из сердца вон? Казалось бы, это так на него не похоже.

Да, не похоже, а между тем пишут... Отчего ж про других не написали этого!.. Дыму, говорят, без огня не бывает... Вероятно, уж что-нибудь такое да есть!.. Нельзя же, в самом деле, писать такие вещи без всякого повода.

Борясь, таким образом, сама с собою, — то за, то против Каржоля, всячески изыскивая себе доводы в его оправдание, но невольно сознавая их шаткость и потому сдаваясь пред силою обвинений его газетного обличителя, Тамара чувствовала, что как-то путается в изгибах своей собственной души и не может пока разобраться с возникшей там двойственностью какою-то.

Что она любит Каржоля, в этом она не сомневалась: за это говорило ей все ее прошлое;

но не могла она также обманывать и себя в том, что к этому ее чувству, доселе столь светлому, примешалось теперь еще и другое, несколько сложное и мутное чувство, в котором смешивались между собою и сознание оскорбления своему самолюбию, и раздражение, и горечь, и некоторая обида на графа, и — что всего важнее — сомнение в нем. Он уже не был для нее таким безупречным, высоко стоящим идеалом, как прежде, — идеалом, ради которого она беззаветно решилась бы на все, на самые тяжелые жертвы. Вера в него была уже отчасти подорвана, и подорвала ее не только газетная статья, сколько его собственная небрежность и невнимательность по отношению к Тамаре. Статья эта лишь объяснила ей причины его продолжительного молчания. Значит, не болезнь, не удрученность каким-либо горем или неприятностями, не обременение массою деловых занятий, как думалось ей прежде, — а просто-напросто, рассеянная жизнь и «жуирство» мешают ему писать к ней. — Вот что обидно! Невольное разочарование в человеке, в идеале, созданном себе из него, — вот что горько!

Быть может, со временем, он восстановит в ней эту подорванную веру в него, разъяснит ей как-нибудь иначе причину своего странного молчания и все свои действия и поступки, ясно и доказательно опровергнет все возведенные на него обвинения и вернет себе в ее душе свое прежнее место...

Да, быть может. Хорошо, если бы так. Проблеск какой-то смутной надежды на это не покидает еще Тамару. — А проклятое сомнение все же пока остается! И Тамара чувствует, что оно сильнее надежды.

XXIII. МИР

Мы в Сан-Стефано, на берегу Мраморного моря, в виду Константинополя. По старому календарному стилю значится день 19-го февраля 1878 года.

Уже за несколько предшествовавших дней, не без внутренней тревоги и волнения ожидали все исхода мирных переговоров. Турки медлили, тянули, как бы отлынивая от последнего решительного момента, что заключался лишь в росчерке пера... Взоры, мысли, ожидания и упования их обращались к красивой группе Принцевых островов, за скалами которых прятались броненосцы английской эскадры. По направлению к тем же островам, были обращены и жерла наших гвардейских батарей, выдвинутых на высокий мысок, между маяком и Сан-Стефано. Казалось, будто турки ждут последнего решающего слова и дела оттуда, из-за этих скал. Наши тоже были готовы ко всякой случайности. Но англичане затаились за Принцевым архипелагом, точно бы их и нет в Мраморном море... К завитой плющом и розами вилле, заня-

той в Сан-Стефано графом Игнатьевым, то приезжали, то отъезжали от нее щегольские кареты, привозя или увозя в себе дипломатических джентльменов, в черных застегнутых сюртуках и темно-красных фесках. Между русскими ходили слухи, будто мир уже подписан 17-го, и только объявление его отложено до 19-го числа. Уже накануне сего последнего дня было известно, что парад нашим войскам назначен в два часа пополудни, на маячном поле. Ровно в полдень войска с музыкою стали стягиваться к указанному пункту, и через час были уже вытянуты в три линии массивных колонн, протянувшихся от маяка до железной дороги. День был теплый, но пасмурный и встрепанный; поминутно накрапывал мелкий дождик, словно бы не зная, разразится ли ему ливнем, или зарядить поосеннему на целые сутки. На площади, перед домом великого князя, с утра уже стояла громадная толпа красных фесок, цилиндров и поярковых шляп под распущенными дождевыми зонтиками; любопытные женские головки выглядывали из окон скучившихся карет, прикативших сюда из Константинополя.

Перед подъездом верхами ожидали многочисленная свита и конвойные казаки. Весь городок был запружен пестрыми толпами народа, кипел лихорадочною жизнью и деятельностью.

Множество магазинчиков, лавок и лавчонок порастворяли свои окна и двери и наперебой зазывали к себе прохожих русских. Всех этих торгашей, как и толпившуюся публику интересовал один и тот же вопрос: как и что? Точно ли подписан мир, или же войска прямо с парада двинутся на Константинополь? Многие были убеждены, что готовится торжественное вшествие в древнюю Византию. Бьет два часа — время, назначенное для парада, а у подъезда графа Игнатьева все еще стоят турецкие кареты с дремлющими арнаутами на козлах. Ординарец скачет на Маячное поле объявить, что парад отлагается до трех часов пополудни, — и войскам дается команда «вольно». Проголодавшееся офицерство, из тех, что не находились непосредственно в строю, разбрелось по соседним кабачкам и тавернам, которые здесь, с появлением русских, как грибы росли и множились.

Капитан Атурин, с несколькими своими батальонными товарищами, отправился, с разрешения командира, за фронт, на поиски какого-нибудь ходячего маркитанта и, отойдя на некоторое расстояние от батальона, вдруг завидел впереди толпившейся публики небольшую группу русских сестер милосердия.

«А вдруг между ними Тамара?» — мелькнула у него инстинктивная надежда, и он пошел по направлению к этой группе. — Батюшки! Да так и есть!.. Действительно она!.. И сестра Степанида, и сестра Мочалова, и Ахлебинина... и сама старушка здесь, — все знакомые!»

И он почти бегом приблизился к сестрам. — Здравствуйте!

— Ба!.. Капитан?! Капитан Атурин!.. Господи! Вот встреча-то!.. Какими судьбами?.. Живы? Здоровы?.. Что рука? — посыпался на него град приветливых восклицаний и вопросов со стороны приятно удивленных женщин.

Тамара вся зарделась и засияла радостью. Случайно глядя в другую сторону, она не заметила его приближения и обернулась лишь

на его голос, на его первое «здравствуйте», которое он произнес, уже подбегая близко к группе сестер. Почти не веря своим глазам, она едва сдержала себя, чтобы не броситься к нему навстречу.

Он тоже взглянул на нее радостными глазами, и от чуткого сердца и взгляда его не скрылись ни ее невольно встрепенувшееся движение к нему, ни эта краска, мгновенно вспыхнувшая в ее лице, ни теплый, светорадостный луч, блеснувший в больших, выразительных глазах девушки, вместе с удивлением и даже испугом каким-то. Нервное, горячее пожатие руки еще больше подтвердило ему, что для нее эта неожиданная встреча далеко не безразлична.

И действительно, встреча сестер с Атуриным была самая искренняя и душевная. Все они ему обрадовались точно родному, потому что за время пребывания его в боготском госпитале все успели к нему привыкнуть и полюбить его, как покладистого, совсем не капризного, всегда простого с ними и всегда веселого пациента. Подошло и еще несколько офицеров того же батальона и других гвар-

дейских частей. Между ними нашлось три-четыре человека из числа раненых под Горным Дубняком, которые в свое время тоже прошли через боготский госпиталь, — оказались знакомые, и тут уже не было конца обоюдным перекрестным вопросам, весело шутливым замечаниям и сообщениям разных маленьких новостей, касавшихся то сестер и их госпитальной жизни, то самих офицеров, то боевого похода, сломанного теми и другими от Плевны до Сан-Стефано. Оказалось, что сестры здесь уже несколько суток и находятся при подвижном госпитале, расположенном тут же, у Маячного поля.

— Э, да мы тут с вами, выходит, ближайšie соседи! — заметил на это приятно удивленный Атурин. — Вон, видите чифлик? — указал он по направлению к одному хутору. — Наш батальон как раз около него и расположен. Тут и двух верст не будет, совсем близко.

— Будем стало быть видеться? — благосклонно отнеслась к нему начальница.

— Если позволите? — поспешил он приложить с легким поклоном руку к шапке и, как

бы вскользь, взглянул после этого на Тамару. В глазах девушки, показалось ему, будто опять мелькнуло при этом радостно довольное и как бы благодарное ему выражение.

— Вам всегда мы рады, вы хороший, — приветливо обращаясь к нему, вставила свое слово сестра Степанида.

— Даже и больному? — пошутил Атурин.

— Ну, вот! Зачем больному?! — восстали разом все сестры. — Нет, нет, больше не надо болеть! И думать не смейте!.. Здоровому! Здоровому рады мы вам, — приезжайте к нам здоровым, как гость... Больных теперь, слава Богу, немного, времени поэтому у нас в досталь.

«Смирно-о-о!» — пронеслась вдоль по войскам команда, подхваченная командирами отдельных частей, — и все офицеры, уже на ходу посылая сестрам прощальные поклоны, бегом бросились к своим местам.

Было уже три часа дня. Все ждали, что вот-вот сию минуту покажется из устья Сан-Стефанской улицы великий князь со свитой, но с недоумением видят вместо того, что снова скачет к командующему войсками один из

ординарцев его высочества, — и через пять минут войскам опять было подано «вольно». Оказалось, что парад отлагается на неопределенное время, но с тем однако, чтобы войска оставались на поле.

Выждав несколько времени, Атурин вместе с двумя-тремя товарищами опять направился к сестрам, под предлогом раздобыть где-нибудь в толпе маркитанта, на розыски которого и был командирован им один из нестроевых нижних чинов батальона. Но — маркитант маркитантом, а офицеры и помимо того рады были поболтать с сестрами, как со своими, с русскими, рады были видеть самое обличие русской женщины, от которого отвыкли за время долгого похода, слышать мягкие родные звуки русского женского голоса, — ведь все это как бы воочию напоминало им далекую родину, семью, милых сердцу... Атурин же надеялся про себя, что авось либо удастся ему перемолвиться словом, другим и с Тамарой, под шумок общего разговора.

Теплое чувство к этой девушке, не покидавшее его с минуты их разлуки в Боготе, еще теплей и светлей вспыхнуло в нем теперь,

при этой неожиданной встрече. В данную минуту он весь был преисполнен особого жизнерадостного настроения. Для него, уже без всяких сомнений в самом себе, стало ясно, что чувство его к Тамаре не было случайной вспышкой от госпитального безделья, или одним лишь хорошим, благодарным воспоминанием о ней за время, проведенное вместе, за весь ее добрый уход на нем, как думалось порою прежде, в минуты сомнений, — нет, Атурин понял, что он действительно любит ее не как сестру только, но как женщину, даже влюблен в нее, и это окончательно уяснила ему сегодняшняя встреча. Любит ли она тоже? — вот вопрос, который еще настойчивее, чем прежде, встал теперь перед Атуриным, и ему страстно хотелось бы разрешить его для самого себя, убедиться в этом окончательно. Судя по всему, что невольно, хотя и молча обнаружила Тамара сегодня, ему казалось, что да, любит... Но точно ли? Не обманывается ли он одним лишь предположением? Не преувеличивает ли? Не кажется ли это ему потому только, что ему хотелось бы, чтоб оно было так? Всегда ведь приятно верить в то, чему

хочется верить... А может, с ее стороны все это не более как выражение простого удовольствия от встречи со старым знакомым, ее боевым пациентом... может быть просто даже рефлекс от соединенного с ним воспоминания о матери Серафиме?.. Почем знать!

Когда подошедшие к сестрам офицеры объявили им, что парад опять отсрочен, тут уже всех взяло сомнение, что едва ли мир был подписан 17-го, а не вернее ли будет предположить, что он не подписан еще и в настоящую минуту. Иные призадумались, офицерская же молодежь даже обрадовалась, усмотрев в этом обстоятельстве возможность немедленного боевого движения в Царьград, а стало быть, и возможность новых подвигов и отличий. Опять устремились иные бинокли на Принцевы острова, но там все мертво по-прежнему и нет ни малейших признаков какого-либо движения спрятанного флота... Проходит еще час, проходит два часа, а войска все стоят в своих грозных колоннах... Офицеры, оборачиваясь к востоку, поглядывают на ближние турецкие лагеря, что белеют своими конусообразными палатками тут же,

сейчас вот за ручьем, на толпы турецких аскеров, любопытно высыпавшие к самому берегу этого ручья, на Царьград с его минаретами и куполом Айя-Софии, с его Серальским мысом, входом в узкий Босфор и черным лесом кипарисов Скутарийского кладбища... Что-то будет? Чем-то кончится?.. Казалось бы, с этого поля до Царьграда рукой подать! Один шаг — и готово!.. Впереди фронта, перед аналогом, ожидает в полном облачении военное духовенство, еще с двух часов, готовое петь благодарственный молебен. По сторонам фронта стоят громадные толпы самой разнообразной публики, собравшиеся сюда и пешком, и верхом, и в экипажах из Константинополя, Сан-Стефано и со всех окрестных деревень и местечек. Турецкая полиция изо всех сил старается сдерживать на известной линии всю эту публику, с живым любопытством напирающую вперед, поближе к невиданному еще русскому войску. Время, меж тем, клонится к сумеркам.

Проголодавшиеся перотские кавалеры и дамы начинают мало-помалу покидать маячное поле, с разочарованным и усталым выра-

жением на лицах. Досадливая нетерпеливость и озабоченность начинают появляться и у начальников, медленно разъезжающих по фронту; солдатики позевывают и скучая переминаются с ноги на ногу, а дождик — нет-нет, да и начинает накрапывать редкими, мелкими капельками, и порывистый, почти бурный западный ветер с шумом треплет почтенные лохмотья гвардейских знамен; зеленые пенистые волны Пропонтиды прядают одна на другую и с грохотом разбиваются о каменистый берег. Этот непрерывный мерный шум тоже становится монотонным и как бы усыпляет.

— Скоро ли же это кончится!? — досадливо вырываются восклицания у иных офицеров.

— Тянут, проклятые! — отзываются на это другие, посылая туркам эпитеты далеко не лестного свойства.

Сестры хотят уже уходить — проголодались тоже, да и время скоро иным из них заступать в госпитале свою очередь. Но тут, на счастье, одному молодому офицеру удалось захватить маркитанта-разносчика и притащить его к группе стрелков, разговаривавших

с сестрами. Плетеная корзина его в миг была опустошена, зато кошелек значительно пополнился офицерскими пиастрами и франками, — многодогольный этим хитрый грек, по минутно крестясь, для доказательства того, что он православный, только посылал во все стороны сладкие гримасы и вежливые «селямы» своим неторгующимся покупателям, да приговаривал то по-гречески, то по-турецки: «Эвхаристо!.. Шюкюрлер, эфенди!.. эвхаристо!..»[14] Таким образом, офицерам удалось и сестер вдосталь угостить пирожками да тартинками, и самим подкрепиться.

— Как часто вспоминал я о вас, сестра! — с застенчивой улыбкой и несколько понизив голос, обратился Атурин к Тамаре, воспользовавшись удобною минутой, когда все так усердно занялись пирожками и комичным балагуром-пирожником.

— Значит, это было взаимно, — дружески просто ответила она. — Я тоже вспоминала... и не раз...

Это признание словно удар морской волны, так и взмыло всю его душу. — Она вспоминала... она!.. И это он слышит из ее уст, —

она сама сказала это... И не раз, говорит, вспоминала! — Значит, он для нее не совсем-таки ничто, или нечто проходящее в жизни мимо и бесследно; значит, он стоил ее воспоминаний, значит... значит...

И радужные надежды вновь окрылили его душу.

— Спасибо вам, — тихо проговорил он с благодарным чувством. — Знаете ли, много о чем хотелось бы поговорить с вами... серьезно, откровенно...

— Что ж, приезжайте к нам и поговорим, я рада, — все с тою же милой простотой отозвалась ему Тамара.

— Завтра, например, можно? — спросил Атурин.

— Почему же нет? — ведь вам дано разрешение, вас звали...

— В котором часу вы будете свободны?

Тамара назначила ему время между пятью и семью часами вечера, — и они опять обменялись между собою сердечно теплым и светлым взглядом, выразившим обоюдное довольство их друг другом за то, что каждый из них угадал невысказанную мысль и желание

другого, и этим обмененным взглядом оба они как бы закрепили свое условие завтрашней встречи.

Атурин был счастлив. — О! Поскорей бы только настало это желанное завтра! В душе он был уверен, что завтра же прямо и честно выскажет ей все, все, что у него на сердце и — пускай тогда сама решает!

«Смирно-о-о!» опять пронеслась по полю команда начальников, — и разом все встрепенулось, — и все эти массы грозных колонн как бы застыли в мертвом, но напряженно внимательном молчании.

Была половина шестого часа. Великий князь, окруженный многочисленной свитой, показался верхом на выезде из Сан-Стефано и остановился вдали от войск, как будто поджидая кого-то. Минут десять спустя, на поле промчалась открытая коляска, в которой, держась за ободок козел, стоял граф Игнатьев. В приподнятой левой руке его белел сверток бумаги, — мирный договор с Турцией. Через минуту, когда главнокомандующий подскакал галопом к войскам, по полю уже шумело могучее, восторженное «ура!» и гремела военная

музыка. И чем дальше следовал вдоль фронта войск великий князь, тем все больше и громче оглашались победными кликами и поле, и берег, и море, усеянное белыми парусами...

После объезда войск, главнокомандующий вызвал на середину, к аналою, всех офицеров, поздравил всех с миром и благодарил войска. С восторженным воодушевлением раздалось новое «ура», не смолкавшее долгое время и подхваченное толпами собравшегося народа, из среды которого, так же как и из военных рядов, полетели вверх шапки. Заметив впереди той толпы русских сестер милосердия, комендант главной квартиры любезно провел их вперед и с почетом поставил на видное место, в свиту, близ аналая.

Уже наступили сумерки, когда после благодарственного молебствия начался церемониальный марш колоннами, когда же дошла очередь до стрелковых частей, проходивших мимо великого князя бегом, под звуки красивой музыки, Тамара, с непонятым ей самой волнением, жадно устремила ищущие взоры вперед, ожидая, что вот-вот сейчас должен показаться Атурин, и боясь, как бы не прогля-

деть его. И точно: вот он — вот на фланге своей роты. Как стройно, легко и красиво бегут эти лихие солдаты!.. И что за прелесть эти музыкальные звуки!.. Как хорош он сам! Как выразительно его благородно мужественное лицо! Какое одушевление во взоре!

— Наш-то, наш-то сокол, — глядите! — слегка толкая под локоть Тамару, увлеченно шепчет ей сестра Степанида. — Экая прелесть! Экой молодец какой!..

И Тамара с гордостью в душе сознает, что действительно молодец, — еще бы не молодец, он-то!..

— Хорошо, ребята! — раздается вдруг с коня звучный голос главнокомандующего, как раз в этот момент, когда рота Атурина поравнялась с его высочеством. — Спасибо!

И весь батальон, как один человек, ретиво и дружно ответил ему громким «рады стараться!»

И Тамара довольна. Ей приятно, что и Степанида, и другие сестры заметили Атурина, любят им и хвалят, а еще приятнее, что сам великий князь благодарил и похвалил его роту, — точно бы эта рота родная ей... Да,

родная, потому что это его рота, и самый батальон как будто ближе ей и роднее, чем все остальные, потому что он в нем служит. — Ведь мать Серафима, будь она здесь, наверно чувствовала бы то же! — Почему собственно она так горда Атуриным и почему ей приятно все это, в данную минуту она не отдавала себе в том отчета, — чувствовала только прилив какого-то бессознательного счастья, среди которого ее личное существо и все, что вызвано в нем встречей с Атуриным, да и он сам гармонически сливаются в ее душе с общим восторженным настроением. Она чувствовала, что и ее подхватила и несет куда-то могучая волна общей радости от этого мира, от славно законченной войны, которая, слава Богу, уже осталась в прошлом, позади, со всеми своими ужасами и лишениями! И чувствуя все это, с неволью проступавшими на глаза слезами восторга, она точно бы в забытьи каком-то наслаждалась и любовалась всем, что было пред ее глазами: и видом этих бодро проходящих войск, и их молодецки дружными откликами на похвалу своего вождя, и самим вождем на его кровном красавце-коне, и торже-

ственными звуками музыки, и всею картиной окружающей природы. Никогда еще, казалось ей, мир не был празднуем в более драматической и живописной обстановке. Эти две армии, стоящие на расстоянии менее ружейного выстрела, друг против друга, эти шумные порывы довольно бурного ветра, убывающий свет сумерек, сильный плеск волн, сейчас лишь перемежавшийся с возгласами священнослужителей и пением солдат, отдаленный гул и точно бы ропот взволнованного моря, то возвышающего, то понижающего свой грозный голос, и наконец — там вдали, на востоке, стройные минареты и купол святой Софии, образы которых одни только и выделялись отчетливо над смуглым профилем Стамбула, озаренные косыми красноватыми лучами солнца, сквозившего из-за тяжелых свинцовых туч.

Еще не успели пропарадировать пехотные колонны, как вечер стемнел уже окончательно, и можно сказать, наверное, что до этого знаменательного дня ни одна армия не участвовала в столь торжественно настроенном и единственном военном торжестве, — един-

ственным потому, что оно доканчивалось уже в вечерней тьме и происходило на глубоко исторической почве побережья Пропонтиды, в виду мерцавшего вдали множеством огоньков Царьграда и на том самом месте, близ «монастыря святого Стефана», где почти тысячу лет назад находился стан русских дружин Олега.

Глубокое впечатление оставил весь нынешний день в душе Тамары, точно бы некая великая поэма, из-под обаяния которой она все еще не могла достаточно освободиться. Была уже поздняя ночь, но ей не спалось в своей сестринской юрте, да и никому не спалось сегодня. По всему городку и по всем окрестным бивакам горели огни, раздавались русские песни, звуки веселой музыки и «ура» ликующего войска.

XXIV. ПЛАНЫ АТУРИНА

Наконец настало и это «завтра», столь нетерпеливо жданное Атуриным. И ему тоже всю ночь не спалось. С вечера не до сна было за веселым товарищеским ужином со жженкой, — нельзя же было не спрыснуть мир! — а под утро, когда очутился наедине с самим собою в палатке, на своей походной койке, сну мешали взволнованные думы. Все представлялось ему это предстоящее свидание с Тамарой, которое — он был уверен в том — должно решить его и ее судьбу. Он обдумывал, что и как будет говорить ей; в голове его слагались целые импровизации, целые потоки красноречивых признаний, полные блеска и страсти, и нежности, но ни одним из этих потоков не оставался он доволен: все казалось, что это не так и не то, что нужно... А что именно нужно и как все это у него выйдет, — Бог весть... Этого он не знает и сообразить пока не может. С первую его женой оно вышло совсем просто и даже шаблонно как-то, объяснился во время мазурки, та направила его к татам, — он приехал к ним на дру-

гой день после бала, сделал формальное предложение и получил согласие родителей. Но тут, с этою скромной и так просто себя держащей сестрой милосердия выходит что-то совсем другое. Тут этот прием не годится, некстати, — это он чувствовал. Первая жена его была светская девушка хорошей фамилии, обладавшей известными связями и положением в обществе, и вдобавок она ему нравилась. В этих условиях брак не представлялся неравным ни для той, ни для другой стороны, — напротив, с светской точки зрения, он был совершенно естественным и резонным. Но Тамара, — Тамара совсем другое дело. Она представлялась ему точно бы на какой-то высоте, точно бы осиянная каким-то светлым и чистым ореолом подвижничества и самоотвержения. В ней, казалось ему, есть нечто такое, к чему надо подходить с чистым сердцем и чистыми помыслами, с оглядкой, как бы не смутить, не оскорбить ее грубым или пошлым прикосновением к ее внутреннему миру. Но создавая себе из нее такой святой, чисто мечтательный идеал, Атурин в то же время понимал простым рассудочным образом, что

в ней есть все задатки быть хорошей женой и матерью, что она закалена уже немалыми испытаниями, выпавшими на ее долю за время этой войны, и потому ее не смутит, не заставит опустить руки никакая жизненная борьба, никакой труд, никакие неприятные случайности или лишения. — Нет, думалось ему, она сумеет прямо смотреть в глаза жизни, не станет ни ныть, ни хныкать, ни нервничать по пустякам, да и в серьезном чем не растеряется по-бабьи, — словом, будет для мужа не женой-игрушкой, не роскошью дорого стоящей и подчас несносной, а действительным другом и товарищем на жизненной дороге. В этой изящной и, казалось бы, такой хрупкой фигурке ему чувствовался большой характер, большая выдержка, энергия и сила воли. Выжить почти год в таких условиях, как выжила она и не сломиться, выдержать себя все время на высоте своего подвига и глядеть на него, как на самое простое, обыкновенное дело, не замечая и не признавая собственного героизма, — это не шутка, на это не всякая способна!.. Но что ж он скажет ей? Как приступит к делу, к объяснению?!. И Атурин сно-

ва начинал рисовать себе разные предположения, как это должно или как может случиться, и снова чувствовал, что как ни гадай, а все это не то, не так, и все его блестящие, придуманные импровизации никуда не годятся. Совсем не это нужно!

Долго он ворочался на своей жиденькой койке под хаотическим наплывом своих дум и мечтаний, и когда наконец заснул, уже на рассвете, те же думы и грезы назойливо мерещились ему и во сне и витали вокруг образа Тамары. В этот день войскам дан был полный отдых, и потому выспаться можно было вволю. Проснувшись, против обыкновения, довольно поздно, Атурин чувствовал себя свежим, бодрым и много спокойнее против вчерашнего; все разнородные и сильные впечатления знаменательного дня уже поулеглись, и, возвращаясь мыслями к предстоящему объяснению с Тамарой, он попросту решил себе, что придумывать нечего, а пусть будет как будет, как само оно выйдет, — это, мол, лучше всего! Но чем ближе подходило время к условному часу, тем более начинал он испытывать внутренне какое-то лихорадочное

беспокойство и нервную нетерпеливость. — «Что за притча такая!» думалось ему; «и рвешься туда всей душой, и боязно как-то... На «турку» идти было куда как проще! А тут — вот поди же ты!»

Почти за час еще раньше срока приказал он заседлать себе саврасого жеребчика турецкой породы, купленного им у какого-то болгарского попа, и чуть не каждые пять минут поглядывал на свои часы, так что даже некоторые товарищи шутя заметили, что сегодня наш капитан как будто сам не свой, — то рассеянный какой-то, то озабоченный и нервный, — уж не влюблен ли часом? Но Атурин безразлично пропускал мимо ушей все эти дружеские шутки, — не до них ему было. За несколько минут до пяти часов он живо вскочил в седло, вlepил жеребчику для бодрости здоровую нагайку и стрелой помчался по направлению к госпиталю.

Все свободные от дела сестры и сама начальница встретили его очень радушно, за своим вечерним чаем, видимо были рады ему, и он с первой же минуты очутился в положении их общего гостя. С одной стороны,

это ему очень улыбалось, в виду будущих своих посещений, с другой — было немножко досадно, потому что он вовсе не рассчитывал быть гостем всех, а ехал лишь для одной Тамары; но раз, что так уже вышло, ничего не поделаешь. Тамара была тут же вместе со всеми, и все с тою же приветливой улыбкой, с тем же «хорошим» выражением в глазах, видимо довольная в душе его посещением. Но уввы! — остаться с нею наедине хоть на минутку и высказать по душе все, что хотелось, так и не удалось сегодня Атуруину. Из всех его мечтаний, планов и предположений так-таки ровно ничего и не вышло — на этот раз, по крайней мере. Может быть, удастся в следующий?..

Но и на следующий раз вышло не лучше. Хоть и выдалась такая счастливая, казалось бы минутка, что они случайно остались вдвоем, но... на «турку» идти, действительно, было ему много проще, чем тут начать желанный разговор с этою видимо симпатизирующею ему девушкой. — «Просто ни на что не похоже!» досадливо упрекал он потом сам себя. «Ну, что тут такого особенного, казалось бы?!

Сказал бы на «да» или «нет», и конец. А между тем, язык, что называется, прильп к гортани... Дурак дураком стоишь и только!»

Так это дело у него и затянулось «втемную», на неопределенное время. — «Не выгорело сразу, теперь и жди у моря погоды». — Раза два в неделю он уже непременно посещал госпиталь, но всегда на положении общего гостя. Иногда, бывало, хоть на несколько минут мимоездом завернет к сестрам, по пути в Сан-Стефано, или обратно; порою привезет им оттуда каких-нибудь гостинцев, греческих сладостей, египетских бананов, яффских апельсинов; иногда возьмется для той или другой сестры исполнить в городке какое-нибудь маленькое поручение, и в результате всего этого было одно, весьма выгодное для него, обстоятельство, — это то, что с ним окончательно освоились, привыкли к нему, считая как бы за «своего», и если, бывало, он почему-либо дней пять подряд не показывается, сама начальница замечала иногда за вечерним чаем: «А что ж это наш Владимир Васильевич запропал куда-то?.. Уж здоров ли?.. Точно бы и скучно без него как-то.»

Но как-никак, а удобной минуты для разговора с Тамарой наедине решительно не представлялось Атурину. Приедет он, бывало, — и общей беседе нет конца. Подсядут к сестрам за чаем медики, чиновники госпитальные, санитарный капитан, офицеры из числа выздоравливающих, — и разговор невольно, как-то сам собою переходит на далекую родину, по которой почти каждый, особенно после мира, начинал уже в душе испытывать некоторую тоску: домой тянуло. Газеты получались теперь скоро, особенно одесские, а перотские французские липки, своим чередом, каждое утро доставляли в Сан-Стефано самые свежие новости, — и все, как один человек, жадно накидывались на вести из России; всех живейшим образом интересовало, что там делается, как живет, тем более, что, судя по всем этим вестям, на родине, кажись, что-то не ладно, происходит что-то странное... С недоумением узнали все, что еще в январе стреляла в генерала Трепова какая-то Вера Засулич, девица; но как, за что, почему, — неизвестно... Узнали, что и в Одессе было какое-то вооруженное сопротивление чинам полиции

и солдатам, со стрельбою по ним, при обыске квартиры некоего Ковальского, захваченного с тремя мужчинами и четырьмя женщинами, служащими в магазине «Общества потребителей», что в Ростове-на-Дону совершено политическое убийство какого-то рабочего Никонова, за донос, а в начале апреля прочли, не веря собственным глазам, что Вера Засулич, при полной наличности преступления, торжественно оправдана судом присяжных и что приговору этому рукоплескали в зале суда первые сановники государства, газеты же радостно восклицали, что теперь все пойдет легко и прекрасно, ибо дело Засулич не может пройти и не пройдет бесследно... Все это здесь, в Сан-Стефано, после блистательно оконченной войны, казалось странно, дико, непонятно; все это смущало и повергало в тревожное недоумение, — из-за чего там это делается? Верить не хотелось известиям...

XXV. ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ В САН-СТЕФАНО

Пасха в 1878 году пришлась на 16 апреля. К нашим войскам, еще за несколько дней до Светлого воскресенья, особый пароход привез из Одессы массу куличей, пасок, красных яиц, окороков и прочего, чтобы солдаты могли разговеться и на чужбине так же, как у себя на родине.

В пасхальную ночь Сан-Стефано было переполнено народом, нарочно пришедшим из окрестных деревень, причисленных к местному приходу, и даже из Константинополя. Сюда же, в ожидании заутрени, собралась масса русского офицерства, верхами и в экипажах. Все дома в городке были иллюминированы свечами, цветными фонарями, шкаликами и убраны над входами и по стенам гирляндами лавров и мирт. Суда, стоявшие на рейде, тоже подняли на снасти гирлянды цветных фонариков и пестрых флагов, а русские военные пароходы все время жгли ослепительно блестящие фальшфайеры; поэтому вид на море,

при чудном лунном освещении, был необыкновенно эффектен.

Ночь была совершенно ясна, тепла и столь тиха, что свечи не гасли на воздухе и горели ровным пламенем.

Минут за пять до полуночи великий князь пешком пришел в сан-стефанскую греческую церковь, и ровно в полночь из дверей-ее двинулся крестный ход, с великокняжеским стягом, обошедший вокруг храма. Вся площадь, ближайšie улицы и морской берег были усеяны мигающими звездочками разом зажегшихся свечек. Толпы молящихся солдат и народа густо наполняли всю местность, прилегающую к церкви. Заутреню совершало русское и греческое духовенство; на обоих клиросах пели два хора: один из русских любителей, другой — из походных певчих придворной капеллы. На внутренней церковной галерее стояли сестры милосердия и русские военные дамы, недавно приехавшие к мужьям из России. Весь храм, залитый светом, был переполнен офицерами в парадной походной форме, и так как своды его были низковаты, а размеры далеко не просторны, то от множе-

ства народу и свечей в нем стояла жара и духота ужасная. Атурин, поместившийся у стены, в заднем конце внутренней галереи, недалеко от выходных дверей, заметил вдруг, незадолго до конца заутрени, что, пробираясь по галерее между дамами и генералами к выходу, сестра Степанида ведет под руку бледную, ослабевшую Тамару. Он бросился к ним навстречу узнать, что та кое и не надо ли в чем помочь ей?

— Ах, пожалуйста! — озабоченно отозвалась ему Степанида.

— Дурно ей стало от духоты этой. Помогите вывести на воздух, — тут не продерешься.

Атурин принял их под свое покровительство и кое-как успел провести через сплошную толпу на паперть. Здесь, усадив Тамару на каменные ступени церковного помоста, он бросился в ближайший дом за водою. Вольный воздух и несколько глотков прохладной воды освежили девушку и помогли ей собраться с силами; она жаловалась только, что в виски стучит ей.

— Не хотите ли пройтись немного? — предложил ей Атурин.

— Здесь все-таки толпа и теснота — на просторе это пройдет сейчас же.

— И в самом деле, прошлись бы немного, Тамарушка, лучше будет — посоветовала Степанида. — Владимир Васильевич проводил бы вас, а я пока здесь побуду... Ступайте-ка, право!

Атурин подал ей руку, и они пошли, пробираясь сквозь толпу солдат и греков, к морскому берегу.

Здесь было уже просторно. Пройдя несколько шагов к более открытому месту набережной, Тамара остановилась в невольном восхищении пред открывшеюся ей картиной. Чистое, прозрачное небо и глубоко тихое море были залиты светом полной, по-южному яркой луны, отражение которой дробилось в освещенных полосах водных пространств рябью золотистых блесков и трепетно блестящим столбом от края до края прорезывало часть моря. Казалось, будто это небо и море, пропитанные фосфорическим светом, гармонично слились в одно целое и дышат одним таинственно торжественным дыханием чудной, обаятельной ночи.

В отдалении, темные силуэты русских судов сияли по бортам целыми рядами голубых бенгальских огней. Все окна высоких каменных домов на набережной тоже залиты были изнутри ярким светом, а мириады огоньков от пасхальных свечек, все еще как и в начале заутрени, наполняли пространство вокруг церкви и все ведущие к ней ближние проулки.

— Господи, какая прелесть! — в невольном восторге прошептала Тамара, окинув взглядом всю эту дивную, широкую картину. Она облокотилась на каменный барьер набережной и, не отрывая глаз от моря и неба, задумалась.

Атурин, между тем, купил у мальчика-грека, проходившего мимо с корзиной цветов, букет свежих фиалок и предложил его Тамаре.

Вдыхая нежный аромат этих первенцев южной весны, она молча продолжала глядеть в озаренное луною пространство, и в памяти ее невольно воскресла теперь другая пасхальная ночь, какую два года назад она встречала в далеком Украинске. Тогда тоже вся площад-

ка вокруг собора сияла множеством маленьких мигающих огоньков и тоже пахло в недвижимом воздухе фиалками, — и этот знакомый запах, более чем все остальное, вдруг напомнил ей и помог воскресить теперь в ее душе с такою осязательностью и яркостью все подробности прошлого, всю картину той ночи и все, что тогда чувствовалось и переживалось ею...

Тогда тоже была дивная, теплая ночь; в глубоко синем небе, как и здесь теперь, — ни облачка, и звезды горели ярко. В украинских садах зацвели вишни, черешни и сливы, и стояли, осыпанные белыми цветами, точно снегом. Запах смолистого тополя мешался с тонким ароматом фиалок и молодой полыни. Соловьи с разных концов, вблизи и вдали, громко оглашали чуткий воздух своими первыми весенними песнями и доносились из храма, как и теперь вот, светлые звуки пасхальных напевов. Здесь не слышать соловьев; но зато здесь ритмически раздается этот сладко баюкающий лепет волны и легкий шумок небольшого прибоя, ласково набегающего на каменный парапет хрящеватого берега.

Вспомнилось ей, что и тогда, как теперь, все вокруг дышало какою-то таинственной торжественностью и вместе с тем южной негой, от которой на душе у нее испытывалось чувство весенней истомы, доходившее порой до замирания сердца. Вот и теперь — то же самое чувство, та же истома... Тогда, под обаянием их, она первая, вне себя от счастья, бросилась к поджидавшему ее в глубине сквера Каржолу, — и первое «Христос воскрес!» вырвалось для него из ее сердца. А теперь... Где-то теперь этот Каржоль, этот идеал, кумир ее в то время?.. От него все еще нет никакой вести, вот уже восьмой месяц, и никаких слухов о нем не доходит более... Но странно: ей это не так уже больно, как было в Боготе; она уже пообтерпелась, привыкла к его молчанию, — оно не тревожит и даже не огорчает ее больше. Что ж это, неужели равнодушие?.. Но нет, — казалось бы, ведь она любит его, должна любить, как невеста; она привыкла к мысли и к убеждению, что ее судьба должна быть связана с ним, а если нет, — что ж, не она в том виновата!.. Она не давала ему поводов измениться к ней, если он действительно изме-

нился. Но ей все еще думается — правда, все реже и реже, — что со временем все это объяснится и он оправдается перед нею. Она не нарушала и, что бы то ни было, не нарушит первая данного ему слова; она все ж остается и пред Богом, и пред людьми его невестой, а там — что Бог даст!.. Выйдет за него, — хорошо, не выйдет, — что ж, не судьба, значит...

И тут опять невольно вспомнилась ей «обличительная» статья одесской газеты, хлебная операция, сухарная операция, опереточные француженки, рулетка, Мариуца и вся эта грязная муть, с которою мешается имя графа и от которой поэтому невольным образом брезгливо коробит ее нравственное чувство.

Да, тот ли это Каржоль, каким он казался ей два года назад, в ту пасхальную ночь, когда из ее уст для него первого вырвался первый лепет любви, восторга, счастья, когда она все, все готова была отдать для него и все за него выстрадать!.. Увы!.. Кумир ее потускнел, ореол исчез, идеал низведен до каких-то Мариуц и зимницких трущоб с кутящими интендантами...

«Ах, хорошо бы было теперь чувствовать себя совсем, совсем свободно, как вольная птица;..»

И странный он человек! — Ну, если разлюбил, зачем не сказать прямо, зачем не написать, — ведь написать еще легче, чем в глаза сказать, — и она бы, по крайней мере, знала, что все кончено. Она бы не стала упрекать его, — Бог с ним!.. Он бы сам по себе, она — сама по себе. Разве не лучше бы было?.. Но эта неизвестность, эти путы данного слова, — ах, как тяжело все это!

— Послушайте, сестра, — неожиданно раздался вдруг подле нее несколько взволнованный, но решительный голос Атурина. — Что я хотел спросить вас... давно уже...

— Что такое? — как бы очнувшись обратилась к нему Тамара.

— Скажите откровенно, пошли бы вы за меня, если б я сделал вам предложение?

— Предложение? — почти машинально повторила за ним ошеломленная этим девушка.

— Ну, да, предложение выйти за меня замуж, — пояснил он с некоторым внутренним напряжением, как бы пересиливая себя, что-

бы поскорей уже высказать все разом и разрешить свою душу. — Простите, что я так прямо... но... что ж тут!.. За правду — правдой... Пошли бы?

Она взглянула ему прямо в лицо. Озаренное луною, оно показалось ей бледным и несколько взволнованным, но как всегда с открытым и честным выражением в глазах, где просвечивала теперь как будто затаенная боль и томление за да или нет, которым сейчас должна решить ему этот вопрос Тамара.

— Пошла бы, — ответила она ему прямо и просто, несколько подумав.

— Да?! — сделал он невольное движение к ней, весь мгновенно озарясь восторгом безграничного счастья.

— Пошла бы, — подтвердила она, — если бы я не была невестою другого.

Атурина так и отшатнуло назад. На лице его всецело отразилось величайшее, сразу поразившее его удивление и даже как будто испуг и замешательство, так что руки его невольно опустились, точно обессиленные. Всего, казалось ему, можно было ожидать, только не этого...

— Другого? — повторил он так же машинально, как и она за минуту перед этим.

— Да, Владимир Васильевич, я невеста другого, — проговорила Тамара с подавленным вздохом, и в звуке ее дрогнувшего голоса невольно прорвалось при этом точно бы сожаление о чем-то непоправимом и что-то горькое, недосказанное, но бесповоротное.

— Кто ж он?.. Могу я знать его имя? — глухо и сдержанно спросил Атурин упавшим голосом.

Тамара не совсем-то охотно в душе, хотя и не показывая этого, назвала ему фамилию графа.

— Каржоль де Нотрек!? — воскликнул он с новым удивлением. — Который это? Штатский?

— Да, он не военный... Зовут его Валентин Николаевич, — пояснила ему девушка. — А что?.. Вы его знаете? — прибавила она не без скрытого внутреннего беспокойства за ожидаемый ответ, боясь, что он будет не в пользу ее нареченного.

— Н-да, отчасти... встречались когда-то в обществе, в Петербурге, — проговорил как бы

нехотя Атурин, меж тем как лицо его приняло несколько хмурое и озабоченное выражение. — Ведь он теперь в «Товариществе» служит? — спросил он после некоторого раздумья и колебания.

Тамара вся вспыхнула. Никогда еще не было ей так стыдно за Каржоля и так досадно на него за эту «службу» его в «Товариществе», как в эту минуту. Она не знала, что ей ответить, — сказать ли «да», сказать ли «нет» или «не знаю», словом, солгать, — но на последнее язык не поворачивался, и потому, прижав к губам букет фиалок, она старалась глядеть куда-то мимо Атурина и сделала вид, будто не расслышала его вопроса.

— Осенью, когда наш полк переходил за Дунай, — продолжал он, — мне как-то показали его в Зимнице.

Тамару всю передернуло нервной дрожью, точно бы от холода. В голове ее опять мелькнули развеселые интенданты, зеленый стол и Мариуца.

— Вы что-нибудь знаете про него? — не подумав, спросила она вдруг Атурина, с трудно скрываемым беспокойством, и тут же почув-

ствовала, что этот вопрос сорвался у нее с языка совсем, кажись, не кстати, — точно бы она обнаружила им какое-то подозрительное недоверие к своему жениху и дала понять, что за ним есть или может быть что-нибудь не совсем хорошее.

— Я?.. Про него?.. Н-нет... что же?.. Ничего такого, — проговорил Атурин, несколько замявшись и вопросительно взглянув на нее отчасти удивленным и испытующим взглядом.

Ей показалось в этом неопределенном и не совсем твердом ответе что-то уклончивое, точно бы он знает, да не желает высказаться, — и это обстоятельство чисто по-женски подстрекнуло ее на дальнейшую настойчивость, с целью допытаться, тем более, что первый, невольный сорвавшийся, вопрос уже сделан, — хотя, может быть, его и не следовало касаться, — но все равно уже!.. Может быть, Атурин знает про Каржоля что-нибудь такое, что сразу могло бы покончить все ее иллюзии и сомнения на его счет и разъяснить ей наконец, что это за человек, в самом деле? Теперь ей даже хотелось этого. Может быть, это будет та брешь, которая поможет ей вернуть се-

бе свою свободу.

— Нет, скажите мне откровенно! — дружески вкрадчиво приступила она к нему, с женски-кошачьим ласковым движением беря его руку. — Вы как будто стесняетесь чем-то... Не бойтесь огорчить меня, говорите прямо.

— Что ж я могу сказать, раз что это ваш выбор, и вы его невеста? — пожал он плечами. — Одно разве: дай вам Бог всякого счастья!.. Это от души говорю, поверьте!

Тамара осеклась и замолкла. Она поняла, что дальнейшая настойчивость в этом направлении не приведет ни к чему, потому что, в самом деле, странно было с ее стороны и думать, что такой человек, как Атурин, только что сделав ей предложение и узнав, что она невеста другого, стал бы порочить ей этого другого, даже если б и знал про него что-либо. Ей стало досадно на самое себя за то, что, позволив себе увлечься своим, в сущности, нехорошим относительно Каржоля, побуждением, она обнаружила своими неуместными приставаниями с этим вопросом большую несдержанность и даже просто бестактность. Разве не вправе будет Атурин поду-

мать после этого, что она, соблазняясь его предложением, рада искать и ловить первый попавшийся повод, чтоб отделаться от Каржолья? И если Каржоль действительно легковесный или недостойный человек, то какую пустую и легкомысленною должна казаться Атуруину девушка, которая могла увлечься подобным, внешне блестящим человеком, даже до решимости быть его женою!.. Он должен переменить теперь о ней свое мнение, и эта мысль была Тамаре всего больнее. Понизиться в глазах такого человека — это ужасно! Желая проверить свое предположение и убедиться в нем, она искоса и тихо взглянула на Атурина: что он молчит и о чем думает?.. И как странно, в самом деле, это внезапно водворившееся между ними молчание, как будто у обоих у них не стало более ни слов, ни предмета для обмена мыслей, даже для самого ничтожного разговора.

И действительно, оба они в душе чувствовали себя как-то не совсем ловко и свободно друг перед другом. Атурин стоял, облокотясь на барьер, и раздумчиво глядел куда-то в сторону, в морскую даль, с пасмурным и груст-

ным выражением во взоре.

— Пойдемте, однако, пора уже, — подала ему руку Тамара, чтобы как-нибудь кончить эту тяжелую для обоих сцену.

И они молча тронулись по набережной, думая каждый свое и не глядя друг на друга. Но пройдя десятка три шагов, Атурин вдруг остановился и положил свою ладонь на ее руку.

— Вот что, сестра, — заговорил он сердечным и твердо решительным тоном, глядя ей прямо в глаза и как бы ободряя ее ласковым взглядом. — Что бы с вами ни случилось в жизни, знайте одно: у вас есть надежный, искренний друг, который вас никогда не забудет... Одно ваше слово — и я явлюсь к вам... Помните, что бы ни случилось, подчеркнул он. — Вот вам рука моя в том — верная рука! На нее можете положиться.

Она взглянула на него глазами полными слез, с глубоко признательным и верующим в него выражением, которое глубоко запало ему в душу, и без слов, горячо ответила на пожатие протянутой ей руки. Да слов тут и не нужно было. Этот серьезно сердечный тон его и взгляд, каким может смотреть только вза-

правду и крепко любящий человек, сняли с души ее всю тяжесть только что возникших в ней мучительных сомнений. — Нет, он не переменил о ней свое мнение, — она в его глазах все та же! — И с этою мыслью струя отрадного успокоения влилась в сердце Тамары.

После этого они молча, но с облегченною душою, пошли далее и молча же дошли до церковной паперти, где уже с некоторым беспокойством поджидала Тамару сестра Степанида.

XXVI. ЗА ВРЕМЯ ТОМЛЕНЬЯ ПОД ЦАРЬГРАДОМ

Глядя из «прекрасного далека», трудно было верить странным и смутным вестям из России, а между тем, там все более и более разыгрывалась в самом состоянии общества какая-то тревожная драма с оттенком бесшабашной оргии.

Политические процессы размножились до такой степени, что даже внутренние хроникеры либеральных газет, по их собственному сознанию, начинали путаться в их числе. Прежде, по крайней мере, эти процессы ограничивались одними столицами, теперь же стали появляться и в провинциях, и не было того уголовно-политического дела, в котором не оказались бы замешанными евреи и еврейки, из категории «учащихся». То было время, когда не то что суд присяжных, а даже военно-окружной суд в Одессе, в марте месяце, по делу какого-то Фомичева о преступной пропаганде в войсках, приговаривал фельдфебеля, за именование у себя книг преступного со-

держания, к трехнедельному аресту и оправдывал главного пропагандиста, Фомичева, которого тут же «молодежь» подхватила на руки и торжественно понесла из суда кутить в тот самый трактир, где прежде он был арестован, а затем отправилась гурьбой к его защитнику Вейнбергу и устроила последнему уличную овацию.

С 20 марта начались сходки и беспорядки в Киевском университете, возбужденные извне людьми «известного направления». Поводом к ним послужило покушение 23-го февраля на жизнь товарища прокурора Котляревского, повлекшее за собой несколько студенческих арестов. — И вот, в тот самый день 31-го марта, когда в Петербурге была оправдана Вера Засулич, и оправдание это было встречено уличными овациями «интеллигентной толпы» в честь «героини» и ее защитника, при выстрелах на Шпалерной из толпы в полицию, — в тот самый день в Киеве был объявлен приговор университетского суда, которым 134 человека исключались из университета. Между виновными значительный процент принадлежал евреям. После этого, в

воздаяние за такой приговор, 5-го апреля было сделано на университетском крыльце нападение на ректора Матвеева, которому нанесен камнем удар в висок, сваливший его без чувств на помост. Тот же приговор отразился и в Москве. Когда 3-го апреля привезли по Курской дороге в Москву пятнадцать киевских студентов, высылаемых в дальние губернии, то ко времени их прибытия на вокзале собралась «молодежь», которая встретила привезенных криками «ура!» и двинулась гурьбой провожать их арестантские кареты до пересыльной тюрьмы. У Охотного ряда толпу эту жестоко избили мясники и приказчики, рыбники, лабазники и т. п. Замечательно, между прочим, что самые либеральные газеты разразились за это побоище страстными нареканиями на правительство: оно должно-де было выслать жандармов и войско для укрощения приказчиков. А для укрощения бунтарей? — об этом умалчивалось.

Рядом с явлениями преступно политического и агитационного характера, разыгрывались не менее замечательные явления и другого разлагающего, в общественном смысле,

порядка. Еще у всех свежо было в памяти, как в «Московском ссудном и учетном банке», при заправительстве жида Ландау, было расхищено в пользу берлинского жида Струсберга семь миллионов рублей, выданных ему под заведомо фиктивные ценности, как вдруг, в конце марта, обнаружилась и в петербургском «Обществе взаимного поземельного кредита» более чем двухмиллионная растрата, сделанная кассиром-бонвиваном Юханцевым, а там и пошло: петербургское «Общество взаимного кредита», обобранное кассиром Бритневым, Киевский банк, разворованный своими жидами Сиони, Либергом и Шмулеви-чем, банки Тульский, Орловский и проч., и проч. Об огульном воровстве, которому подвергается общественный и казенный сундук, приходилось слышать и читать чуть не каждый день: там подкопались под казначейство, здесь вытащили деньги из окружного суда, тут из городской думы, тут из земской управы, там из духовной консистории... Одновременно с этим шли и крупные святотатства — ограбление церковей, икон... На Святой неделе в Петербурге, в Исаакиевском соборе обнару-

жено похищение бриллиантов с иконы Богоматери, на четыре тысячи рублей, а в Одесском соборе, в самый день Пасхи, украдена архиерейская митра с драгоценными камнями, — прямо с престола, сейчас же по окончании литургии. Следы многих таких покраж обнаруживались потом у еврейских ювелиров, закладчиков и кабатчиков. И замечательно, что мотивами всех этих бесшабашных хищений являлись не бедность, не нужда, а самое пустое тщеславие, минутные прихоти, жажда безумной роскоши, утонченных оргий и разврата. Даже либеральная печать при всем ее предубеждении против «отцов», — и та признавала, что «при наших отцах мы что-то не запоем подобных колоссальных краж», что «мы, очевидно, развитее, образованнее наших отцов, но из этого выходит только то, что куши наших краж достигли колоссальных размеров». Даже из дел благотворительности ухитрялись люди делать себе выгодные гешефты. Так, белостокские суконные фабриканты, сделав пожертвование в пользу «Красного Креста», через неделю или две подняли на 20 % цены на свои товары и,

таким образом, свои грошовые, сравнительно с их торговыми оборотами и барышами, пожертвования переложили с избытками не только на своих потребителей, но и на рабочих, уменьшив последним задельную плату. Но тут, впрочем, удивляться нечему, так как все эти фабриканты — или евреи, или немцы.

Все это были вести из отечества. Но и свои «тыловые» известия оказывались не лучше. У одного интенданта бурный ветер уносит пять тысяч четвертей муки (по десять рублей за четверть), у другого исчезает, по причине «порчи», склад сена в триста тысяч пудов, в таком пункте, где его совсем не было нужно. А уж о пресловутом «Товариществе» нечего и говорить. Оно поставляло овес зеленее сушеного горошка, хлеб совершенно сырой, сахара — буквально, наполовину с землею, муку с 10 % рожков (спорынья), спирт в 32 градуса крепости и т. д. 17-го мая в Одессу прибыл целый груз таких образцов, тщательно упакованный и опечатанный, для экспертизы, в следственную комиссию. Собраны были все эти вещественные доказательства в пятнадцати пунктах складов и запасов в Румынии.

Одновременно с этим, взялись и за специально сухарные дела; но тут, на первых же порах, явилась и некоторая препона: в Букареште сгорела сухарная фабрика Власова и Изенбека, вследствие умышленного поджога, а там пошли и другие, всякого рода, препоны...

После движения нашей армии за Балканы, приготовление ржаных сухарей было передано крупным товариществам, прикрывавшимся громкими именами: Шереметев, Оболенский и К, Баранов, Данилевский и К, Посохов и К. — Еврея, по наружности, тут уже не было видно, кроме как в числе мелких агентов. Одна из этих компаний напала на благую мысль: передать производство выпечки южно-русским крестьянам, а самим явиться только посредниками. Опыт вполне удался. Сама компания получила с казны за пуд сухарей 2р. 55к.; передала же мелким производителям по 1 р. 70 к., но так дорого потому только, что обязала этих производителей покупать муку у себя же, из своих компанейских складов, по неимоверно высоким ценам, почему производители и получили барыша по

10 копеек с пуда. Но это еще не все. Патриотическая компания благоразумно предоставила весь риск ведения дела мелким предпринимателям; те понастроили печей, сушилок, иные убили на это последние крохи и все вообще понаделали у евреев долгов за значительные проценты, в ожидании грядущих заработков. Но тут компания выкинула неожиданный фокус. Она не устояла в подряде с казной, но об этом умолчала перед производителями— ведь не она рискует! — а затем, в январе, когда, по условию, оставалось еще два месяца производства, внезапно объявила, что больше не принимает сухарей и не считает себя связанною какими-нибудь «условиями». Эффект вышел чрезвычайный. — Отчаяние и разорение для крестьян. Толпы рабочих по 800 человек, тщетно добиваясь управы, ходили по улицам южно-русских городов, с воплем о том, что они разорены и не вознаграждены компаниею; несколько дней они оставались в этих шатаниях без крова, а затем и без хлеба, так как испеченных сухарей хватило им в пищу лишь ненадолго.

Точно так же и букарештская «контора пе-

репечения сухарей для армии», действовавшая якобы от имени князя Оболенского, отпуская по ненадобности своих работников, нанятых в калужской губернии, произвела им расчет на бумаге, но денег не выдала, на том заботливом основании, что рабочие могут-де пропить их дорогою, и объявила, что они получают свою плату в Унгенах, куда и отправила 129 человек рабочих, снабдив их на прокорм ста рублями. Но в Унгенах никаких денег не оказалось; ждали их там рабочие семь дней, — кормиться наконец стало нечем. Кое-как добрались они до Кишинева и подали просьбу, — пошла бесплодная, длинная переписка, и пришлось христарадничать.

В июле добралось наконец следствие и до киевского сухарного завода.

Капитал на это дело был вложен известным Поляковым, орудовал делом Персвоицков и евреи, а снаружи все оно прикрывалось титулованным именем князя Урусова. Хлеб оказался горьким и кислым на вкус, и выпекался так, что его нельзя было резать, — на куски крошился; приготавливался он, как доказал химический анализ, на гнилой воде, с

примесью золы, песка, глины и других дешевых веществ. Из показаний свидетелей и рабочих обнаружилось, что вода на сухари бралась из канавы, протекающей по кладбищу тифозных пленных турок, или из пруда, где стирали больничное белье и купали лошадей, что стены завода были покрыты плесенью, и вообще, сухари, разложенные химически, заключали в себе столько вредных примесей, что предполагавшиеся сначала физиологические опыты были отменены, из опасений вредных последствий. А между тем, эти опыты в течение войны, ежедневно производились над солдатскими желудками, и даже не «во имя науки», а просто потому, что, по мнению жидов, солдатское брюхо все переварит. Принимал от завода и сдавал сухари армии доктор Шейнфельд, а компания оправдывалась тем, что если на заводе и попались-де сухари «не совсем удовлетворительные», то из этого еще не следует, чтобы они предназначались к сдаче, — «мы-де докажем, что у «Товарищества» не только не было злонамеренности, но даже не было простого намерения сдать те сухари, которые киевская экс-

пертиза нашла неудовлетворительными, а если часть их и проникла в армию, то это по ошибке, по недосмотру мелких агентов-отправителей». Выходило, что вредные сухари пеклись так себе, для собственного развлечения компаньонов. Одесская экспертиза тоже признала сухари никуда не годными даже для свиней, если б и мешать их наполовину с мукою. Благодаря В.И. Левковичу[15], человеку, знающему дело и неподкупному, одесское следствие над деяниями «Товарищества» пошло было энергически и беспристрастно, несмотря на ранги и капиталы подследственных лиц; привлечены были к ответственности самые сильные и крупные тузы в мире поставок. Вообще, крупные факты наглейшего обирания казны и армии, в различных видоизменениях, проходившие безнаказанно с самого начала войны, проявляясь то в виде картонных малкиелевских подметок и гнилого сукна, то в виде испорченного когановского сена, подмоченного овса, никуда не годных консервов, пропавших вагонов с полушубками, — факты эти начали теперь получать надлежащее освещение. Но тут нежданно встре-

тилась препона: Левкович, привлечший «самых сильных», вдруг должен был подать рапорт о болезни и выехать за границу. Израиль, крупный и мелкий, возликовал и возрадовался. С плеч его скатилась тяжелая гиря, — Дамоклов меч был искусно отведен в сторону, чтобы разить только мелкую интендантскую сошку.

Не менее печальное зрелище представляли собой и «вольные погонцы». Известный Варшавский получил — с казны за подводческое дело более двадцати миллионов рублей. Крупный подряд его был раздроблен им самим по частям и очень выгодно роздан для эксплуатации, или как бы на откуп, множеству малых предпринимателей из евреев. В Одессе устроено было даже нечто в роде «акционерного общества» для найма погонцев. Акционеры, в расчете на поживу, вносили свои паевые доли с тем, чтобы после получить на них из общей суммы барышей крупный дивидент, и все подобные взносы поступали к некоему Миньковскому. Погонцы, нанявшиеся в «конторах» Варшавского, были поряжены с хорошими подводами и крепки-

ми лошадами по 90 и по 100 кредитных рублей в месяц, не подозревая, по большей части, разницы между бумажкой и золотом. Местными властями не предпринималось никаких мер к ограждению их от невыгодных сделок; напротив, было получено распоряжение от начальства — оказывать агентам г. Варшавского «всевозможное содействие» к успешному заготовлению подвод и не допускать ни в чем задержек. Впрочем, местным властям и трудно было предотвратить обманы, так как договоры делались агентами Варшавского на местах словесно, а оформлялись уже потом в Николаеве и в других городах, у нотариусов евреев, когда погонцы уже были на походе. Содержание контрактов никому из нанимавшихся доподлинно известно не было, так как они прочитывались им — если еще жида достаивали их прочтением — наскоро, с упущениями, умолчаниями и разными увертливыми объяснениями сомнительных пунктов. Так же не была им известна и курсовая разница в цене денег в России и за границей. Когда же некоторые из погонцев возбуждали, по слуху, вопрос об этой разни-

це, то агенты уверяли их, что все это вздор, который пускают в народ разные смутьяны, враги России, что деньги везде имеют одинаковую цену. О том, что они вконец обмануты и отданы на жертву жидам, догадывались погонцы только за Дунаем, а иные уже и за Балканами. Кормить лошадей и продовольствовать себя они, по условию, должны были сами, из своего жалованья. Но тут дороговизна, а подчас и полное отсутствие фуража, падение кредитного рубля, тяжелая, невыносимая для животных работа, неаккуратные расчеты агентов, всевозможные обсчитывания и жидовские штрафы за все — про все вскоре довели погонцев до нищенства. Жалованье выдавалось им несвоевременно, — обыкновенно, спустя три, четыре недели после срока, и случалось даже, что выплачивали его не русскими кредитками, а турецкими кайме, не имевшими тогда уже ровно никакой цены. В ответ же на свои требования, они нередко получали от жидов только брань, пинки да нагайки, — на то ведь жида и офицерские кокарды носили — и лошади погонщицкие безвременно падали от изнурения и голода. Многие не

получали денег и потому еще, что в их расчетных книжках подложно записывались агентами небывалые выдачи и штрафы. Когда же погонцы, дойдя до крайности, вынуждены были продавать лошадей и фургоны, то все это было скуплено у них за бесценок самими же нанимателями-подрядчиками, которые, кстати, остроумно приняли вынужденный ими уход погонцев за нарушение условий. Истинно еврейская «игра ума»: не платить, вынудить продать «худобу» и фургоны, самим же их купить и потому эту самую сделку выставить нарушением контракта со стороны ими же разоренных погонцев! Агенты-наниматели: Айзенвайс, Найбарец, Гирнит, Бидерман и другие — воспользовались впоследствии услугами адвоката Рихтера, который и на суде не стыдился утверждать, что нарушители условия — не кто иной, как сами погонцы. Впрочем, дело это, тянувшееся Бог знает сколько времени, за разными оттяжками, проволочками и адвокатскими увертками, было поднято только ничтожной горстью погонцев (42 человека); остальные, видя его безнадежность, махнули рукой и даже не пи-

тали мысли тягаться с словкими нанимателями, имеющими средства, умеющими находить готовых к их услугам адвокатов и действующими по плану, тогда как погонец умеет только жаловаться на судьбу и не дерзает рассчитывать на свое право. В марте и апреле, около двух месяцев, слонялись эти несчастные по Сан-Стефано, валяясь в грязи без крова, по улицам, огородам, полям и болотам. Собралось их там три «отделения», около тысячи человек, состоявших в распоряжении агента Пинковского. Жаловались они несколько раз и в штаб, и в комендантское управление, и в интендантство, после чего всегда следовало строжайшее приказание рассчитать их и отправить в Россию с ближайшим пароходом; но приказание каждый раз оставалось без исполнения. Постоянно оказывалось, что самого Пинковского нет в Сан-Стефано, живет он где-то в Константинополе, а погонцы между тем бедствуют, к стыду нашему, на глазах у иностранцев и турок. Последние деньжонки, какие имелись еще в запасе, и те прохарчили они в Сан-Стефано в ожидании получения окончательного расче-

та по книжкам. Напрасно ездили они в Константинополь искать Пинковского, — его там не оказывалось; он скрывался и может быть уже уехал в Россию. А дома поля этих несчастных оставались тем временем невспаханными и незасеянными... Бывши до войны зажиточными хозяевами, погонцы вообще потеряли за Дунаем все и должны были под конец побираться на чужбине у своих и чужих именем Христовым. Ужасное их положение приняло уже в глазах иностранцев характер настоящего скандала для русских, для управления действующей армии, для самой России. Стыд и срам были за русское имя и достоинство при виде этих оборванных, разоренных нищих, протягивающих руку за подаянием к туркам, грекам, англичанам и немцам. Им и самим было совестно, да голод не свой брат! И рады-радехоньки были они, когда начальство, потеряв уже всякую надежду на жидовских агентов, распорядилось наконец само отправить их на казенных пароходах в Россию, куда вернулись они пешими, голыми, босыми и без гроша денег. Добрая половина их умерла в Турции от тифа и изнурения голодом.

Никто из крестьян на службу погонщицкую больше не поступал, несмотря на новые заманчивые приглашения евреев и обещания золотых гор. Но в конце концов потерпели не одни погонцы. Хотя слухи о печальной участи их стали довольно быстро распространяться по югу России, но это нисколько не смущало акционеров жидовского одесского «общества», а скорее распаляло их мечты о значительных дивидендах.

Вышло, однако же, не совсем так, как предполагалось. Заправлявшие делом агенты объяснили своим доверителям, что страдали не погонцы, а напротив — интересы самого акционерного общества; погонцы же отличались только жадностью, неисправностью, кляузничеством и т. п., почему и надежды на дивидент не оправдались. И вышло, что погонщицкая операция, на которую казна отпустила Варшавскому 20 миллионов рублей, была эксплуатацией не только темных крестьян, но и людей, падких до наживы. Зато в липких жидовских руках на этой ловкой операции оказались десятки миллионов.

К августу «Товарищество» Гререра, Горви-

ца и Когана прекратило в Букареште платежи и было признано там несостоятельным. Общая сумма его долгов обозначилась пока в 26 миллионов франков. Предварительное дознание, производившееся в Букареште особо присланной из Сан-Стефано комиссией, с первых же шагов следствия раскрыло ужасные злоупотребления по поставке не только испорченных, но умышленно фальсифицированных припасов, что отразилось в чрезвычайно большом проценте болезненности в войсках, и злоупотребления эти, — как оказалось уже тогда, на первых же порах, — превысили цифру 12 миллионов рублей золотом. Тем не менее, несмотря на эти раскрытия и даже на формальную несостоятельность «Товарищества», почему-то было признано возможным выдать ему из русской казны, впредь до расчета, еще 6 миллионов рублей золотом! До того же времени было уплачено казной «Товариществу» 70 миллионов металлических рублей, но не довольствуясь этим, оно собиралось предъявить казне иск еще на 28 миллионов тех же металлических рублей, для какой цели и пустило в газетах слух, что

вызывает к себе на помощь грозного правительству адвоката, — самого Спасовича. В защиту жидовской компании выступили в Букареште специальные публицисты, издававшие для этого особые брошюры и газетные листки вроде «Записок гражданина» некоего жидка Лернера. Да и в самой России, не говоря уже о чисто еврейских изданиях, за этих компаньонов стояла часть либеральной печати, и даже в числе солидных не либеральных органов были такие, что обходили эти дела молчанием или ограничивались только перепечаткой строго официальных сведений, без всяких комментариев. Компаньоны не унывали: никакой суд для них не мог быть страшен, ввиду самого условия их с интенданством и массы оправдательных документов, какими, в силу условия, считались даже никем не засвидетельствованные записки и счета частных лиц. Да и кроме того, по условию же, «Товарищество» за свою неисправность «во всяком случае», отвечало перед казной «только представленным в обеспечение исправности залогом, в размере 500 тысяч рублей». Таким образом, жида взыскали за эту

войну громаднейшую контрибуцию с русско-го народа. Даже второстепенные и третьесте-пенные агенты вроде Громбаха, Сахара, Мень-ковского и т. д., приехавшие в Румынию ни-щими и несостоятельными должниками, а иные даже бежавшими от долгов, возвраща-лись теперь в ту же Россию домовладельца-ми, землевладельцами, крупными помещика-ми, богачами с сотнями тысяч в карманах, а порой и «кавалерами» некоторых орденов, чуть ли даже не с мечами, «за особые заслу-ги». Потому-то жидаы и были так недовольны скорым, по их мнению, заключением мира. Продолжайся война, — контрибуция их с Рос-сии могла быть вдвое, втрое, вдесятеро боль-ше. Как же тут не жаловаться! Пролезли они всюду, даже в уполномоченные «Красного Креста», занимаясь в то же время и выгодны-ми поставками в армию. С «Красным Кре-стом» был, между прочим, такой случай: кер-ченские граждане отправили с душевным усердием две значительные посылки по семи тюков с платьем и вещами для дунайской ар-мии на имя г. Рафаиловича, уполномоченно-го «Красного Креста» в Будапеште. И что же!

Через несколько месяцев первая посылка возвращается по почте обратно в Керчь, «за неявкой получателя», а о другой — ни слуху ни духу. «Хотят ли подобные господа благодетели, спрашивалось тогда по этому поводу в печати, хотят ли они подорвать в самом корне побуждения к патриотическим жертвованиям со стороны русского общества, его порыв к облегчению участи наших страждущих воинов», — и тут же, по поводу известия о взятии одесским почетным гражданином А.Рафаловичем подряда на доставку в Сан-Стефано прессованного сена, по 73 коп. за пуд, замечалось, что «если это тот самый Рафалович, уполномоченный «Красного Креста», на которого недавно жаловались керченские жители, тогда понятно: не явился за получением тюков, будучи занят более интересными поставками».

Все это читалось, передавалось из уст в уста, и хорошо замечалось и даже чувствовалось в Сан-Стефано. И в самом деле: в политических процессах — жида, в мятежных уличных демонстрациях — жида, в либеральной печати и адвокатуре — жида, в банковских

крахах — они же; в разных хищениях и святотатствах, в огульном ограблении казны и армии — тоже жида, в сухарном и погонщицком деле, пустившем по миру тысячи русских крестьян — опять-таки жида, даже в «Красном Кресте» — и там без них не обошлось! Все это до глубины души возмущало русских людей под Царьградом. Особенно, видя, как эти жида и здесь ходят с нагло торжествующими физиономиями и знать себе не хотят никаких распоряжений и приказаний начальства, если они им не выгодны. И вот тут-то, под Царьградом, впервые невольно призадумались о «еврейском вопросе в России» даже и те, кто о нем до сих пор никогда и не думал. Тут впервые всеми сознательно почувствовалось и сказалось остерегающее слово «жид идет!» — и этот «жид» казался страшнее всякой войны, всякой европейской коалиции против России. Слишком уж больно и оскорбительно это было!

* * *

Еще более угнетающим образом действовали на общий дух русских под Царьградом политические вести из Европы, в которых те-

перь не было недостатка. Тотчас же вслед за миром укоренилась было уверенность в буд-то бы состоявшемся тесном союзе Турции с Россией против Англии и Австро-Венгрии; но уже в марте, когда турки возвели вокруг Константинополя сильные укрепления, эта уверенность уступила место более основательному сознанию, что турецкое правительство совершенно подчинилось видам наших противников. В то же время пошли первые слухи о том, что Россия согласилась на какой-то общеевропейский конгресс и что на близкое осуществление его будто бы подает большие надежды ее неожиданная уступчивость, которой однако же в Европе не доверяли, предполагая в этом какое-нибудь скрытое коварство. Знаменитое бисмарковское «*Vtati possidentes*» как бы подстрекало косвенным образом Россию к неуступчивости, в предвидении англо-австрийского союза, который или вынудил бы нас на новую войну, или заставил бы делать новые непосильно напряженные приготовления к ней и нести новые жертвы, расстраивающие и финансы и вообще благосостояние страны. Но мы еще крепко веровали

в Бисмарка и его дружбу.

Англия, между тем, будто бы готовила полуторатысячную десантную армию для действий на Балканском полуострове совместно с Турцией — армию, в действительности изображенную всего лишь семью тысячами каких-то привезенных на Мальту несчастных синайцев; Андраши потребовал кредита в шестьдесят миллионов гульденов за мобилизацию; в Венгрии будто бы готова уже восьмидесятитысячная армия, да в Галичине сорок тысяч войск в двух лагерях. Но всего знаменательнее оказался в то время неожиданный поворот общественного мнения во Франции относительно восточных дел и России. Предания Крымской войны, казалось, снова вступают у французов в свою силу. Еще недавно господствовавшее у них свежее сознание, что Россия в 1875 году остановила своим словом новый, уже занесенный было над Францией удар Германии, вдруг как будто позабылось, исчезло, — а вместе с тем исчезла и подготовленная герцогом Деказом почва для франко-русского союза. С победой оппортунистской партии все это вдруг изме-

нилось. Вчерашние симпатии к России сменились враждебным к ней и дружественным к Англии настроением. В этом направлении сильно работали органы Гамбетты и оппортунистов; «Republique Francais», «Temps», и «Jurnal des debats», а под их влиянием и вся французская печать все более и более проникалась неприязненным чувством к России.

В это же время крайнее неудовольствие против той же России проявляли и Сербия, и Румыния, и Греция, пальца о палец не ударившая, чтобы помочь в войне за освобождение балканского христианства. Ристич, в своей речи в скупщине прямо высказывал, что Сербия под австрийской эгидой может достигнуть такой силы, какой она никогда не дождется при покровительстве России, что с помощью австрийской политики сербы получат возможность основать большое южно-славянское государство, простирающееся от Дуная до Эгейского моря и от берегов Искера до Адриатического моря, и что только этим путем можно положить предел безграничному русскому произволу и поставить под мощную охрану Габсбургской монархии националь-

ное сербское достояние, сербский язык, литературу, веру и в особенности конституционный образ правления, и этим самым-де явится деятельный противовес московским тайным замыслам. Румыния тоже возгремела против России. В Букареште вновь раздались речи о «великой миссии» Румынии как передового моста Европы против «московского варварства». По вопросу о возвращении России отторгнутого у ней в 1856 году клочка придунайской Бессарабии, сенат и палата депутатов единогласно постановили поддерживать целостность румынской территории и не допускать отторжения какой бы то ни было ее части, хотя бы за земельное или какое-либо другое вознаграждение. С этой целью Румыния начала даже готовить против России свою армию, намереваясь присоединить ее к австрийцам. Даже болгарские политики, у которых еще не зажили спины от вчерашних турецких канчуков, — и те уже заносчиво мечтали, что будущее на Босфоре принадлежит не «отживающей» России, а им, в смысле великой болгарской империи, со столицей в Царьграде, что пускай только Рос-

сия поможет им окончательно стать на ноги, а там они уж расправятся с ней без церемонии и сделают из своей великой Болгарской империи навеки твердый оплот для европейской цивилизации против «московской азиатчины». Выходило, как будто Россия жестоко виновата в чем-то перед всеми, и большими и малыми, — все вдруг оскалили против нее зубы и зарычали или затывкали.

Положение было какое-то странное, двусмысленное, полное лжи и предательства. В Сан-Стефано, приглядываясь и прислушиваясь ко всему этому, не знали, чему верить, чего ожидать, кто друг, кто недруг. Мирное настроение смешивалось с боевой тревогой. С одной стороны, расточаются отовсюду мирные уверения, с другой, — все напряженно спешат вооружаться в громадных размерах. Из всего этого получалась томительная и странная противоречивость слов и действий, ряд каких-то логических абсурдов. Австрийская официозная печать еще во время самой войны весьма знаменательно высказывалась, что «Россия и Турция обе почувствуют, что хотя обе они достаточно сильны, чтобы нано-

сить друг другу чувствительные удары, но слишком слабы, чтобы воспротивиться воле Европы при устройстве восточных дел». Очевидно, что выражаться подобным образом можно было только при полной уверенности, что для Австрии обеспечена поддержка Германии и что со временем эта австро-германская солидарность обнаружится наяву.

И при таких-то обстоятельствах должен был собраться в Берлине европейский ареопаг, с Россией в роли подсудимой, — точно бы она была обязана теперь заключать новый мир, не с Турцией, а с Европой, которая оставалась только зрительницей русско-турецкого поединка. И это в то время, когда в самой Европе, в своих домашних делах, было очень беспокойно, когда в Англии шли колоссальные стачки и забастовки рабочих, а в Германии велась ожесточенная внутренняя борьба с социал-демократами, и когда в Берлине, на расстоянии десятидневного срока, дважды стреляли по императору Вильгельму.

В России вновь возникло патриотическое воодушевление, выразившееся во всенародных единодушных пожертвованиях на приоб-

решение крейсеров добровольного флота для войны с Англией, причем кое-где не обошлось, конечно, и без некоторых курьезов, вроде того, например, что одно из нарочных собраний различных представителей судебного ведомства порешило соорудить особый крейсер судебного ведомства, и так и назвать его «крейсером судебного ведомства».

Но между общественным настроением России и деятельностью ее дипломатов уже невольно сказывался внутренний разлад. Общество и народ были готовы на новые жертвы, даже на новую войну, чтобы отстоять результаты Сан-Стефанского мира; дипломаты же делали все новые и новые уступки наглым притязанием Европы. Заседания Берлинского конгресса открылись 1-го июня, но еще ранее конгресса, чуть не накануне его, русская дипломатия, в особом соглашении с Англией, признала за последней право протектората над мало-азийскими турецкими провинциями и дала ей уверение, что в будущем границы России со стороны азиатской Турции не будут более расширяемы. В самый же день открытия конгресса австро-венгерское прави-

тельство издало указ о мобилизации своей армии, чтобы оказать этим большее давление на податливость русской дипломатии, зная, что Родопское восстание — эта подшепнутая Европой неофициальная война Турции против России, оттягивает значительную часть наших сил и, до известной степени, связывает нам руки.

Главным действующим лицом, блестящим героем, деятельным фактором и авторитетным вершителем на конгрессе явился не князь Бисмарк, удовольствовавшийся для видимости скромной ролью «честного маклера», а возведенный в сан лорда Беконсфильда еврей Бенъямин Дизраэли, — и одной из первых забот его было доведенное до счастливого конца стремление отстоять полное гражданское равноправие и свободу эксплуатации для евреев в Румынии, Сербии и в прочих вновь возникающих политических организациях на Балканском полуострове. Это был первый положительный и крупный результат конгресса, заставивший возликовать все еврейство, сразу почувствовавшее, какое широкое новое поле открывается для его высасываю-

щей деятельности! Затем конгресс с редким единодушием разрешил Австрии бессрочно занять Боснию и Герцеговину, подразумевая под этим, как естественное следствие такого занятия, вассальное подчинение австрийским видам и независимой Сербии, и независимой Черногории, и всей западной части Балканского полуострова вплоть до Эгейского моря. И русская дипломатия, по замечанию И.С.Ахсакова, видела во всем этом «даже какое-то особое торжество своей политики, и с увлечением, которому граф Аддраши даже и не вдруг поверил, приветствовала как новую эру разграничение сфер влияния России и Австрии на Балканском полуострове». В конце концов выходило, что мы дрались как бы за тем только, чтоб отдать во власть Австрии славян, даже и тех, которые до сих пор пользовались относительной свободой, да еще для того, чтобы предоставить евреям полную свободу эксплуатации всех этих христианских народностей, до сих пор не знавших еще этой язвы египетской. Уже во время самого конгресса между Англией и Турцией была заключена особая конвенция, — в сущности, оборо-

нительный союз, — в силу которого Англия забрала себе остров Кипр. Сюрпризное объявление этой конвенции из уст самого Беконсфильда и завершило собою, 1-го июня, Берлинский конгресс, по выражению дипломатии, «самым неожиданным и блестящим образом». Это был настоящий финальный *coup de theatre* всего конгресса. «Неужели все это сон, не просто страшные грезы, хотя бы и наяву?» — с чувством ужаса и горечи восклицал И.С.Аксаков[16], — «Неужели и впрямь на каждом из нас уже горит неизгладимое клеймо позора? Не мерещится ли нам все то, что мы будто слышим, видим, читаем? Или наоборот, прошлое было грезой? Галлюцинация, не более как галлюцинация — все то, чем мы утешались и славились еще менее полугода тому назад?! И пленные турецкие армии под Плевной, Шипкой и на Кавказе, и зимний переход русских войск через Балканы, и геройские подвиги наших солдат, потрясшие мир изумлением, и торжественное шествие их до Царьграда — эти необычайные победы, купленные десятками тысяч русских жизней, эти несметные жертвы, принесенные русским народом,

эти порывы, это священнодействие русского духа, — все это сказки, миф, порождение воспаленной фантазии... Вот к чему послужила вся балканская страда русских солдат! Стоило для этого отмораживать ноги тысячами во время пятимесячного Шипкинского сидения, стоило гибнуть в снегах и льдинах, выдерживать напор бешеных Сулеймановских полчищ, совершать неслыханный, невиданный в истории зимний переход через досягающие до неба скалы!»

Нигде, может быть, не чувствовалась живее и ближе вся горечь и скорбь этих слов, как в Сан-Стефано и на русских позициях под Царьградом, на виду этих минаретов и купола св. Софии. Нигде не сказывалась так явно перемена отношений к нам со стороны всех этих разношерстных представителей Европы и местных населений, так как именно там, где еще так недавно все они были преисполнены удивления и почтения к русской силе, а теперь глядели на нее, эту силу, с нескрываемой пренебрежительной насмешкой. И все это приходилось терпеть молча, с болью горькой обиды в ежечасно оскорбляемом русском

сердце. Дух уныния, озлобленной скуки и апатии все более и более овладевал русскими под Царьградом. Нравственно удушливое положение их становилось невыносимым, — хотя бы домой скорее, что ли, от этого жгучего стыда и позора! — вот каково было всеобщее чувство. Бежать, бежать прочь и дальше от всех этих немых и живых свидетелей вчерашних наших торжеств и подвигов, — вот было общее желание. И с какой завистью гляделось на тех счастливцев, которые могли тогда же совсем уехать в Россию!

К этой мертвящей, томительной скуке и апатии, еще усиливавшейся от продолжительного бездействия и стоянки в нездоровых местностях, присоединились болезни, — болотные лихорадки, сыпной и пятнистый тиф, близкий к чуме. Солдаты ежедневно мерли десятками по госпиталям, русские кладбища позади лагерных позиций все разрастались и разрастались... Жара стояла убийственная. Плохо зарытые болгарами трупы людей и животных на полях сражений, внутри страны, распространяли зловоние и грозили чумой. Кроме строевых учений начальство стара-

лось занимать войска обширными работами на пристанях, по выгрузке различных предметов довольствия, улучшением путей сообщения в районах их расположения, закрытием падали, лежащей по всем дорогам и вблизи селений, и т. п. Но несмотря ни на что, эта двусмысленная неопределенность положения и полная безвестность насчет ближайшего будущего все-таки накладывали на всех и все в русских станах печать унылой скуки, а вести с Запада и в особенности из Берлина плодили глухое раздражение и горечь сдержанной злобы и на чужих и на своих, — «Вот они, наши настоящие нигилисты!» — повторялось тогда на чужбине вслед за Аксаковым, — «Нигилисты, для которых не существует в России ни русской народности, ни православия, ни преданий, которые, как и нигилисты вроде Боголюбовых, Засулич и К, одинаково лишены всякого исторического сознания и всякого живого национального чувства; и те и другие — иностранцы в России!» И действительно, «самый злейший враг России и престола не мог бы изобрести чего-либо пагубнее для нашего внутреннего спокойствия и ми-

ра». Берлинский конгресс действительно казался, в особенности там, в Сан-Стефано, «открытым заговором против русского народа, — заговором с участием самих представителей России», этих «государственных нигилистов», как определил тогда и конгресс, и наших дипломатов, Аксаков.

Но что же! Зато Берлин добился своей цели: Россия была временно ослаблена войной, ее расстроены финансы стали в еще большую зависимость от Берлина, и Франция от нее отвернулась; между ней и Россией возникло недоверие и охлаждение; славяне ускользнули из-под русского влияния; в среду балканских христиан и их молодых государственных организмов, благодаря умышленному их расчленению и нарочно несправедливому определению их этнографических границ, было брошено злое семя взаимной зависти, вражды и будущих раздоров и усобиц, Австро-Венгрия получила подачку за свой позор Садовой и Пражского мира, и естественным образом должна была отныне пристегнуться к Германии, Англия прикарманила Кипр, ограничила Россию в Малой Азии, — и

ликующий еврей Беконсфильд возвратился в Лондон истинным триумфатором. «Всемирный Еврейский Союз» — эта новая великая держава — окрылился и расправил свои когти, а «честный маклер» в Берлине потирал от удовольствия руки: Россия получила от него «достойное возмездие за 1875 год: «не заступайся вперед за Францию!»

XXVII. ПРАВДА СКАЗАЛАСЬ

Общая апатия и скука под Царьградом, общее нравственное недомогание, глухое раздражение и недовольство невольным образом отразились и на сестрах милосердия. Пока кипела война, пока совершались все эти изумительные переходы и подвиги и приносились великие жертвы народом и армией, — нравственное настроение сестер оставалось приподнятым на ту высоту, где они являлись олицетворением самоотверженности и героизма; там не было среди них места никакой мелочности, ни дрызгам, напротив, все они единодушно были заняты своим общим великим делом, все великодушно помогали в работе одна другой, христиански носили тяготы друг друга, и в этом дружеском единодушии и в сознании своего святого призвания и долга крылся тот великий стимул, который нравственно облегчал этим женщинам их великие, часто сверхсильные, труды и лишения, побуждая переносить все это бодро и охотно. Но замолкли громы войны, прошли дни подвигов и торжеств, началась долгая, бездей-

ственная стоянка под Царьградом, полная лишь самых будничных и однообразных злоб и забот текущего дня, — сегодня, как вчера, вчера, как сегодня, все одно и то же без малейшего просвета и разнообразия, при полной неизвестности, что будет впредь и долго ли протянется такое скучное положение, — и вот мало-помалу в среде сестер невольно стали обнаруживаться, незамечавшиеся прежде, последствия несходства личных характеров, темпераментов и лет, неравенства в степени образования, развития, разницы их прежних общественных положений, среды и т. п. Житейская, нередко чисто женская, мелочность под влиянием однообразия и скуки в обиходе вступала между ними в свои права, и тут уже начинали разыгрываться в своем мирке мелочные страсти, самолюбия, эгоистические побуждения, — пошли кое-какие взаимные столкновения, неудовольствия друг на друга, мелкая зависть, мелкие дразги, мелкие сплетни и ссоры, — и вся эта перемена сделалась исподволь, так обыкновенно, просто и незаметно, как самое естественное дело, точно бы так тому и следовало быть.

Добрая доля всех этих мелочей обрушилась и на голову Тамары. Заметилось вдруг, что она хороша собою, — красивее и моложе всех, — чего прежде как-то не замечалось. Заметилось, что она будто бы слишком уже стала заниматься своим скромным туалетом, — зачем, например, завелись у нее эти духи «violette de Parme», это тонкое парижское мыло, как будто нельзя мыться обыкновенным яичным или кокосовым! Зачем появились эти маленькие boucles l'amour на лбу и висках? Каждый бантик, черная бархатка на шее, какой-нибудь цветок в волосах, манера носить головную косынку и т. п., — все это относилось на счет ее кокетства, неприличного для сестры милосердия. Заметилось также, что Ахтурин «ухаживает» за ней, да и сама она тоже, кажется, неравнодушна к нему, а это уже прямое бесстыдство — кокетничать с человеком, завлекать его, будучи невестой другого! Вспомнилось, что, как-никак, и все-таки она «жидовка», «из насих», и что, в сущности, она в общине, как говорится, сбоку припека, — чужая, пришлая особа, временная доброволка, сегодня здесь, завтра упорхну-

ла, — не то что настоящая «штатная» сестра милосердия, коренная общница, которая всю жизнь уже посвятила этому делу. А из всего этого, по женской логике, выводилось заключение, что Тамара вообще слишком много о себе думает и ведет себя не так, как прилично бы сестре, не мешало бы-де поскромнее, так как ее ветреность может, пожалуй, компрометировать всю общину. Правда, далеко не все сестры разделяли насчет Тамары такое мнение, но довольно уже было и того, что в их среде образовалась такая «партия», и это тем хуже, что в «партии» оказалась и старшая «сестра», имевшая по своему положению немалое влияние на старушку-начальницу. Пошли разные «шпильки», намеки и даже замечания, поселявшие взаимную рознь и охлаждение между Тамарой и «партией», и все это с течением времени начинало все больше и больше досаждало и надоедало ей, так что нужно было немало самообладания, чтобы подавлять в себе чувство раздражения и сносить покорно, как требовала общественная дисциплина, замечания старшей сестры, часто не совсем справедливые и придиричи-

вые. Тамара, наконец, стала замечать, что и сама начальница как будто переменялась к ней, сделалась как-то суше, официальнее, и это ее глубоко огорчало. Хорошо еще, что при ней оставалась неизменно добрая и преданная сестра Степанида, с которой она могла порой в откровенном разговоре облегчить свою душу, зная, что всегда встретит в ней искреннее к себе сочувствие и утешение в своих печалях и досадах. И действительно, сестра Степанида своим сердечным словом и простым, здравомысленным отношением к делу всегда, бывало, хоть на время вносила нечто примиряющее и целебное в ее мучимое сердце. Это одно только и поддерживало Тамару, не имевшую и даже не видевшую пока никакого исхода из своего зависимого положения. Куда она пойдет здесь, на чужбине, что предпримет, на что решится, не имея ни достаточно влиятельной поддержки, ни средств, кроме того скромного жалования, на свои личные маленькие нужды, какое временно дает ей «Красный Крест» за госпитальную службу? Поневоле приходилось пока терпеть и смиряться в ожидании лучшего... Но лучшего

ли! — вот вопрос, все еще покрытый для нее полной неизвестностью.

С Атуриным, после объяснения в пасхальную ночь, отношения ее остались по-прежнему добрые, дружеские, только он сделался несколько сдержаннее, даже еще почтительнее к ней с виду, и уже ни словом ни взглядом не пытался более выражать или напомиать свои чувства. Тем не менее его посещения давали «партии» пищу к разным шпилькам и известному злословию между собой на счет Тамары, что иногда прорывалось обиняками даже в его присутствии. Заметив это, он стал бывать гораздо реже, не желая ни ее подвергать этим шпилькам и сплетням, ни в самом себе напрасно беречь серьезное чувство, невольно пробуждаемое самым видом и присутствием любимой девушки, так как после объяснения с ней знал, что все равно из этого ничего не выйдет. Тамара понимала его побуждения и причины, заставлявшие его поступать таким образом, и потому оставалась в душе очень ему благодарна за это, хотя видеть его реже, чем прежде, и не иметь возможности ни разу даже поговорить, как хоте-

лось бы, казалось ей досадным лишением и несправедливой жертвой, которую оба они, как бы по безмолвному соглашению между собой, вынуждены приносить ее «доброжелательницам», чтобы не давать лишней пищи их умозаклучениям и злословию. Но понимая все это и подчиняясь такому положению, она, однако же, с сожалением убеждалась в душе, что жертва эта, кажется, совершенно напрасна, так как несмотря ни на что, доброжелательницы из «партии» все равно ведь говорят и говорить от этого не перестанут.

— Господи, до чего все это мне надоело! Просто, рада бы бежать, куда глаза глядят! — говорила однажды Тамара сестре Стспаниде. — Тут никакого терпения не хватит!

— А знаете, что я себе думаю? — поразмыслив, ответила ей на это сестра. — Ведь Атурин-то, давно уже замечаю я, любит вас серьезно, и сдается мне так, что готов бы, пожалуй, хоть сейчас жениться.

— Ну, и что ж из этого? — грустно усмехнулась Тамара.

— Как что?! Одно ваше слово — и готово. Вот вам и выход.

— Дорогая моя, но вы забываете, что у меня уже есть жених, которому я дала слово, — возразила девушка.

— Э, полноте, пожалуйста! — досадливо качнула головой Степанида. — Жених, жених! Чего же он медлит-то, жених этот? Где он? Шутка сказать, столько месяцев ни слуху ни духу! Ни строки не написать, не интересоваться, как и что с моею невестой! Да разве это любовь, извините меня?! Да я бы, на вашем месте, на такого-то жениха давным-давно плюнула бы, да и вся недолга!

— Это легко сказать, — раздумчиво заметила Тамара. — Будь я уверена, что он действительно не любит, или забыл меня, я бы это сделала, но... почему знать! — быть может, есть какие-нибудь обстоятельства, которые вынуждают его поступать таким образом, быть может, иначе ему невозможно, и он даже не виноват в этом... И пока во мне есть еще такие сомнения, я не нарушу своего слова.

— И буду ждать у моря погоды? — с усмешкой подсказала ей подруга.

— И буду ждать, — убежденно подтверди-

ла девушка. — Буду ждать, пока не разберусь окончательно.

— Сами себя только напрасно мучите — с дружески укоризненным сожалением заметила Степанида.

— Почему напрасно?

— Да потому, что вы его ведь не любите.

— Кого это? Графа? — вскинула на нее удивленный и несколько встревоженный взгляд Тамара. — Почему вы так думаете?

— Потому что любите Атурина.

— Атурина?! — невольно воскликнула она, вся мгновенно вспыхнув при этом слове.

— Ну, разумеется! — спокойно и просто, со свойственной ей прямою подтвердила сестра Степанида. — Разве у меня глаз нет? Давно я это про себя, голубушка моя, замечаю.

— То есть, как люблю?! Как друга, как брата, как очень, очень хорошего человека, — да, пожалуй! — согласилась Тамара, пытаясь подобрать подходящие объяснения в оправдание своего чувства. — Он, к тому же, самый близкий родной матери Серафиме, женщине самой дорогой для меня на свете, которую я почитаю за мать... С этой точки зрения, если хо-

тите, я действительно люблю его, но... не более!

— Полноте, милая! — слегка махнула рукой Степанида, — «Как друга», «как брата»! Все это пустяки, придуманные слова и только! А на сердце-то совсем не то!

— Да зачем же я стала бы лгать вам? — возразила Тамара, — Вам-то, подумайте!

— Не мне, мой друг, — самой себе лжете! Сами себе признаться не хотите, или боитесь, вот что! — теплым тоном искреннего убеждения заметила ей Степанида. — Говорите-то вы одно, а лицо выдает совсем другое. С чего же это вы вся вдруг вспыхнули, как маков цвет, чуть только я назвала его имя?

Тамара замолкла и опустила голову, точно бы уличенная. И в самом деле, до этой минуты никогда еще вопрос о том, что она любит Атурина, и какой именно любовью, не вставал перед нею так прямо и с такой неотразимой ясностью. Если этот вопрос и шевелился когда в ее душе, то всегда более или менее смутно, и всегда она старалась при этом разуберять себя в этой смутно чувствуемой истине, объясняя себе свое чувство к Атуруину

именно дружескими, братскими побуждениями, — словом, всеми посторонними причинами, только не тем, чем оно есть на самом деле в глубине ее сердца. И на этих, придуманных самой себе, объяснениях и разуверениях ей удавалось до поры до времени как бы обманывать себя и баюкать в себе подозрительную мысль и тревожный вопрос об истинном значении своей перемены к Каржолю. То, что доселе чувствовалось смутно и отгонялось ею от себя, как некий тревожащий признак, вдруг получило теперь силу и осязательность действительного факта. Слово сказано, и этим словом все осветилось и все определилось для самой Тамары, и она чувствует в душе, что все возражения против него будут несостоятельны и бессильны. Но что же делать ей? «Плюнуть», как говорит Степанида, на Каржоля и идти за Атурина? Да, но если бы ей не встретился на жизненной дороге Атурин, разве она бы на него «плюнула»? Разве без этого обстоятельства она разлюбила бы графа из-за того только, что он несколько месяцев не пишет, по причине, которая и до сих пор остается еще неизвестной? — Нет, она навер-

ное мучилась и терзалась бы этим, сомневалась бы и досадовала, — все это так, но разлюбить... едва ли такая мысль пришла бы ей в голову, не будь тут Атурина. А что, если причина молчания графа окажется уважительной? И если, к тому же, он все еще любит ее по-прежнему? Чем, в таком случае, оправдывает она перед собственной совестью свое отступничество? Только своим личным, эгоистическим чувством? — Понравился, мол, другой, и этого довольно!

— Да имеет ли она право, — нравственное право на это? Ведь это было бы преступно, низко, подло с ее стороны, — ведь это измена, за которую она сама себя всю жизнь презирала бы. — Нет, что бы там ни было, но пока все вопросы относительно Каржоля не выяснятся для нее окончательно, она не изменит раз данному слову. Перед богом и людьми она все-таки его невеста, и если лукавый попутал ее этой любовью к другому, она найдет в себе силы заглушить, убить со временем это несчастное чувство, и все-таки останется верна своему долгу.

— Что же вы так задумались, Тамарушка,

и головку повесили? — обратилась к ней Степанида, ласково кладя ей обе руки на плечи. — Может, на меня рассердились, что я там попросту брякнула вам? — Простите, дорогая, ведь я от сердца...

— Нет, не то, — успокоила ее Тамара. — Я знаю, что от сердца, и знаю, что вы меня любите... А раздумалась я над вашими словами.

— Что ж так? — вопросительно взглянула на нее Степанида. — Слова, кажись, не мудреные...

— Видите ли, может быть, вы и правы, — принялась объяснять ей девушка, — но идти мне за Атурина невозможно: я уже отказала ему, и он знает причину, почему — я не скрыла от него... Стало быть, и говорить об этом больше не станем... никогда, слышите, никогда, дорогая моя, я прошу вас! — говорила она тоном убедительной дружеской просьбы, пожимая ей руки. — Тяжело мне все это! Ужасно тяжело! А что до графа, — прибавила Тамара, — пусть будет, что Бог даст, но первая своего слова я не нарушу.

— Неисправимая вы идеалистка, как я погляжу! — с ласковым укором покачала на нее

головой Степанида. А впрочем", Бог чистую душу видит и знает, куда ведет. Его святая воля!

И в заключение этой откровенной беседы, обе они от души расцеловались друг с дружкой.

XXVIII. ПОЗДНИЙ ОТКЛИК

Долго крепившийся нервный организм Тамары наконец не выдержал, — она заболела.

Сколько раз, бывало, во время войны, особенно среди зимних лишений, почувствует она вдруг недомогание и думает себе — вот-вот расхвораюсь; но тотчас же добрый прием хины, потогонное или иные подручные средства, а главное — нравственное возбуждение и подъем духа, при сознании, что нечего нежничать и баловать себя, что хворать не время и некогда, — помогали ей переламывать болезнь в самом начале; затем, день-другой полного спокойствия, отдыха, и она опять чувствует себя бодро и весело, и снова спешит уже к обычным своим обязанностям. Но здесь, теперь, при изменившихся обстоятельствах, это, по большей части, угнетенное состояние ее духа, монотонная жизнь, сильная дневная жара и влажные ночи, пропитанные болотными испарениями, самый воздух, не чувствительно насыщенный миазмами разных болезней, — все это одолело наконец и ее

здоровую, выносливую натуру. Она схватила себе довольно серьезную болотную лихорадку.

Немедленно же принятые энергичные меры, внимательное отношение врачей и заботливый уход сестры Степаниды, вместе с несколькими другими сестрами, при естественных силах молодого организма Татары, помогли ей в конце концов справиться с этой изнурительной болезнью, и недели через две она уже заметно стала поправляться.

Начальница общины навещала ее каждый день, в ее особой, отведенной для заболевавших сестер, юрте, и здесь больная воочию увидела, что если у старушки и были прежде какие-то причины к некоторому охлаждению к ней, то теперь все это прошло, уступив свое место самому доброму и сочувственному вниманию. Это ее сердечно радовало и утешало. Питательная, вкусная пища и хорошее вино, в которых у «Красного Креста» не было недостатка, помогали, в свою очередь, восстановлению и укреплению сил девушки.

В период своего выздоровления она получила однажды с почты письмо и, взглянув на

надпись, сразу узнала почерк Каржоля. Оно было адресовано на имя начальницы «для передачи сестре Тамаре Бендавид». Эта неожиданная посылка не только удивила, но даже встревожила и как-то испугала ее, — точно бы в письме наверное должно заключаться что-нибудь неприятное, а может и роковое, и поэтому она несколько минут оставалась в нерешительности — вскрывать ли и читать ли его сейчас же. Но тут же, упрекнув себя в малодушии, Тамара пересилила свое неприятное и колеблющееся чувство и, дрожащими от волнения руками сорвав конверт, развернула мелко исписанный листок бумаги.

Граф начинал свое послание, конечно, с испрашиваний у нее прощения за долгое молчание, которое старался оправдать множеством причин, где фигурировали и его будто бы тяжкая болезнь, и подавляющая масса неотложных и важнейших дел, и страшные неприятности с интендантством, с казной, с тыловым начальством, со следственной комиссией, и необходимость двукратных экстренных поездок в Россию, по делам «Товарищества», а главное — по этому нелепому след-

ствию, которое испортило ему много крови, но от которого, в конце концов, лично ему удалось отделаться довольно благополучно, так как следственные и судебные власти не могли не убедиться из дела, что он играл лишь подставную, декоративную роль, не имея никакой возможности сам влиять на доброкачественность поставок. Но главная из причин молчания, к удивлению Тамары, относилась насчет жидовского шпионства. Каржоль писал, что первое, чем встретил его Блудштейн по возвращении из-под Плевны, был вопрос, — для чего он виделся с Тамарой? — вопрос, который будто бы совершенно смутил неподготовленного к нему графа.

Это очень удивило Тамару. Каким образом мог Блудштейн узнать о ее свидании с Каржолем так скоро, если из госпиталя положительно некому было передать ему об этом? Да и о чем тут передавать? Что за важность, в самом деле, какое-то случайное свидание, не продолжавшееся и полчаса? Кто мог обратить на это внимание, и кому какой интерес в этом? Насколько она теперь припоминала, в это

время не было у них ни между фельдшерами и служителями, ни между больными солдатами никого из украинских евреев, относительно которых еще можно было бы с большой натяжкой допустить, что кто-нибудь из них мог, пожалуй, знать в лицо и ее, и графа, и быть знакомым с Блудштейном; точно так же и из агентов «Товарищества» никто, кроме графа, не приезжал в госпиталь ни в тот, ни в последующие дни. Откуда же вдруг такая электрическая быстрота и спиритическое ясновидение у «дядюшки» Блудштейна?! Все это показалось ей очень странным, и ссылка Каржоля на Блудштейна довольно подозрительной, тем более, что он не давал в письме объяснения, каким образом могло это произойти, а говорил только, что и сам не понимает, откуда все это стало известно Блудштейну. Он удивлялся лишь дьявольски ловко организованному шпионству евреев, чему, однако, Тамара плохо верила, будучи убеждена, что из ее товарок и сослуживцев по госпиталю решительно никто не знаком с Блудштейном и решительно никому из них неизвестна ее украинская история с Каржолем и кагалом,

а еще менее могло быть известно кому-либо отношение к этой истории Блудштейна, о чем и сама-то она узнала лишь в Зимнице от самого же графа. Да едва ли и сам Блудштейн мог знать, что она находится в числе сестер Богоявленской общины и что была в те дни под Плевной. Да и наконец, что за дело всем этим евреям, занятым обработкой своих крупнейших гешефтов, до какой-то там «выкрестки», навсегда уже потерянной для еврейства и совсем не претендующей к тому же на свои капиталы?! Хотя ранее, из желания объяснить и оправдать молчание Каржоля, она и делала себе разные догадки и предположения, даже самые невозможные, но теперь, пораздумав, — эта ссылка графа и жидовское шпионство Блудштейна показалась ей натянутой и маловероятной. Невольным образом приходило на мысль, уж не нарочно ли придумана им такая история?

Далее граф писал, что Блудштейн, заметив при своем вопросе его невольное смущение, тут же поставил ему категорический ультиматум: прекратить всякие дальнейшие сношения с Тамарой, личные и письменные, или

иначе он будет немедленно уволен со службы «Товариществу», и все долговые обязательства его тотчас же представятся к взысканию. — «Попятно, прибавлял граф, что имея такую петлю на шее и видя уже на себе пример изумительного шпионства евреев, не оставалось ничего иного, как только подчиниться, скрепя сердце, этому ультиматуму и дать Блудштейну требуемое им слово, тем более, когда я был убежден, что отныне тайный присмотр за мной станет еще строже и что малейшая попытка с моей стороны подать вам о себе весть неизбежно повлечет за собой окончательное разрушение всех самых дорогих, самых заветных моих надежд на будущее счастье. Из двух зол пришлось избрать меньшее и временное, чтобы сохранить эти святые надежды. Теперь же, — продолжал Каржоль, — когда все мои дела и счета с евреями кончены и я опять свободен, мне уже незачем насиловать себя и скрываться, и я пишу вам это письмо совершенно открыто»; Граф извещал, что он находится теперь в Петербурге, где первым же делом по приезде поспешил справиться в правлении «Красного Креста» о

местонахождении сестер Богоявленской общины, последствием чего и является его настоящее письмо. Он писал, что истосковался по Тамаре, исстрадался от мнительности за ее судьбу и здоровье, что любит ее все так же глубоко и свято, и ждет не дождется того блаженного часа, когда, наконец, опять увидится с нею для того, чтобы впредь никогда уже не разлучаться больше. Он выражал надежду, поданную ему в «Красном Кресте», что богоявленские сестры вернутся в Петербург, вероятно, осенью, и обещал приготовить к тому времени для Тамары уютное, изящное гнездышко, где она с полным комфортом отдохнет от всех своих трудов и где он постарается всем своим существом доставить ей возможно полное счастье, а главное — поскорее жениться. Он-де и сам бы приехал к ней в Сан-Стефано, но, к сожалению, некоторые новые, крайне важные и нетерпящие дела, о которых скучно было бы распространяться, лишают его пока этой возможности. Затем шли пламенные уверения любви, заочные поцелуи, объятия и пр., но адреса, куда именно отвечать ему, — к удивлению Тамары, приписа-

но не было.

Странное, какое-то двойственное и даже неприятное, впечатление произвело все это письмо на девушку, — точно бы позабытый долг, неожиданно предъявленный к уплате, когда уплатить его нечем. С одной стороны, несмотря на свои сомнения в правдивости оправданий Каржоля, ей все-таки было несколько утешительно думать, что его молчание имеет за собой совокупность причин более извинительных, чем легкое жуирство с француженками и картежные кутежи с интендантами. Все же, по крайней мере, в этом письме своем, столь полном нежности к ней, он обнаруживает себя не совсем уже таким пустым, легковесным человеком, как думалось ей порою, в долгий период его молчания, и все же он любит ее. Но с другой стороны, эта-то вот любовь и пугала Тамару. Она признавала себя теперь в страшном, неоплатном долгу-тперед Каржолем и видела неизбежную необходимость принести себя, ради него, в жертву на всю свою жизнь, когда сердце ее — страшно подумать! — охладело уже к этому человеку. Что это будет за жизнь! Что ждет ее

впереди, когда она свяжет навеки судьбу свою с человеком, которого даже и уважать-то не совсем может... Придется делать над собой страшную нравственную ломку, выходить замуж, любя другого, скрывать и давить в себе это чувство, отвечать на немилые ласки, обречь себя, быть может, на притворство, лгать... О, Господи! — Нет, ни лгать, ни притворяться она не сможет и не сумеет, — это не ее натура. Что тут делать? Объяснить ему напрямик, что она больше не любит его? — Но за что же тогда он, ради нее, перенес все эти нравственные пытки и материальные жертвы, оскорбление своего достоинства, унижение своего имени, всю эту еврейскую кабалу свою, службу в позорном «Товариществе»? За что? Ведь он же прямо говорил ей еще в Зимнице, что весь этот крест несет только ради нее. Ведь он тогда же возвращал ей, если она разочаровалась в нем, ее слово, и она отвергла это, — она любила его. И если он после этого выдержал свой тяжкий искус до конца, то как же она-то? Кто же теперь прав и кто виноват между ними?

До этого письма она втайне думала и наде-

ялась, что Каржоль разлюбил и позабыл ее, и что рано или поздно это обстоятельство смет с нее путы нравственно обязательных к нему отношений, что, может быть, они друг с другом и не встретятся-больше в жизни, а там уже время так или иначе довершит остальное, и она вздохнет, наконец, свободно..

Суждено ли ей быть за Атуриным, или нет — это другой вопрос, но она надеялась, что будет, по крайней мере, свободно располагать своей судьбой. Хотя она и твердо была убеждена, что первая ни в каком случае не нарушит данного слова и что если придется, то до конца исполнит свой долг, — но с течением времени ей все более и более начинало казаться, что едва ли придется когда исполнять это нравственное обязательство. И вдруг долг предъявляется ко взысканию!

В душе ее закипело смешанной чувство злобной досады и на судьбу, и на Каржоля, и на это слишком позднее письмо, и на самое себя — зачем все это так случилось! — и даже на сестру Степаниду — зачем та глаза ей раскрыла, зачем ее чувство к Атурину так-таки и назвала прямо любовью! Минутами она чув-

ствовала теперь к Каржолу даже ненависть. Но если он виноват, то и она ведь не права перед ним тоже, — быть может, еще более, чем он. Ей смутно чувствовалось, что в письме этом есть какая-то фальшь, что-то неискреннее, переиначенное, недоговоренное, но сама-то она разве не лгала все время перед собою, перед собственной совестью и, мысленно, перед тем же Каржолем? Разве она не старалась столько раз уверять себя, что любит его, должна любить, и что чувство ее к Атуруину ничего общего с этого рода любовью не имеет? Разве не виновата она в том, что, любя одного, допустила себя увлечься другим? Разве не преступно это? Скажи она Атуруину еще в Боготе, чуть только заметила в нем первые проблески его увлечения, что у нее есть жених и что она этого жениха любит, наверное он не дал бы этому увлечению дальнейшего развития, постарался бы притушить его в самом начале, и на том бы все кончилось. Однако же, она тогда не сделала этого, — напротив, ей было приятно, самолюбию ее льстило, что она могла внушить «такое» чувство «такому» человеку. Стало быть она сама поощря-

ла его, сама играла с огнем — и доигралась... Но в сущности, к чему все эти поздние упреки и сожаления! Что толку-то!? Будь что будет! И если действительность не оправдала ее тайных надежд и ожиданий, если судьба требует теперь от нее расплаты, — что ж, надо иметь мужество исполнить данное слово, надо переломить себя всю, до самых сокровенных изгибов и тайников души, честно примириться со своей долей и, во имя долга, заставить себя быть честной женой.

Тяжко было решение это для Тамары, но обсуждая по совести и беспристрастно данное положение, она убедилась, что другого ничего не остается. Это был как бы приговор ее над самой собой.

XXIX. НА ОТЛЕТЕ

В тот же день под вечер, во время вторичного посещения врача, навестила Тамару и начальница общины.

— Ну вот, слава Богу, — ласково заговорила старушка, — теперь вы и на мой взгляд заметно поправились.

— Теперь сестра Тамара у нас совсем молодец! — весело подтвердил и доктор. — Еще денька два, три на поправку, и конец. Только вот что, — прибавил он серьезным тоном, обращаясь к начальнице. — Болотная лихорадка, это, как вы сами знаете, такая серьезная вещь, что раз заполучивши ее, уже никоим образом нельзя оставаться в лихорадочной местности, надо как можно скорее вон, вон и вон отсюда! И мой вам добрый совет, — как только сестра поправится, сейчас же ее, по первому абцугу, отправить в Россию. Там, в привычном климате, есть много шансов рассчитывать, что болезнь больше не вернется, а здесь — не дай бог! — здесь она рискует каждый день схватить ее вновь, благо, почва-то в организме подготовлена.

— Что ж, можно будет отправить с первым пароходом, — согласилась начальница. — Сестра Тамара за всю компанию столько потрудилась, что ей не грех и отдохнуть. Я готова даже просить у главноуполномоченного об особом пособии для вас, — обратилась она к девушке. — Надеюсь, не откажут. Вы куда предполагали бы лучше отправиться? В Одессу, или на родину, в Украинск?

— В Петербург, — заявила Тамара.

— Да?! Вот как!? — удивилась старушка. — Ну что ж, и прекрасно! Приют для вас в доме нашей общины всегда готов. — Надо будет списаться только... ну, да это завтра же можно. Вы как же? — прибавила она, несколько подумав, — предполагаете остаться в общине? — тогда мы зачислим вас в комплект штатных сестер, благо, теперь есть вакансии.

Предложение это далеко не обрадовало Тамару. Вспомнив все женские дразги и сплетни «партии» и придирки старшей сестры, она имела все поводы рассчитывать, что при таких условиях дальнейшая жизнь в общине будет для нее совсем не сладка, и потому поблагодарила начальницу за ее доброе предло-

жение, объяснив при этом, что жених ее теперь уже в Петербурге и что поэтому приют в общине, по всей вероятности, потребуется для нее лишь на непродолжительное время.

— Ну, это уж как знаете, это ваше дело, а мы, со своей стороны, чем богаты, тем и рады, — благодушно заметила старушка. — Да! — вспомнила она, — я получила сегодня письмо на ваше имя, вам передали?

Тамара поблагодарила ее и объяснила, кстати, что это письмо от ее жениха.

— Ну вот и прекрасно! Стало быть, для вас есть все причины радоваться и спешить с отъездом... Ну, дай вам Бог всего хорошего! Дай Бог! Поправляйтесь же, милая, поскорее... А насчет пособия я завтра же, непременно! — подтвердила ей, уходя, старушка.

* * *

Случайно узнав о болезни Тамары, Атурин очень встревожился. Известие это сильно его опечалило, тем более, что пока она больна, он не мог уже ее видеть, когда как тут-то вот и хотелось бы помочь ей хоть чем-нибудь, быть подле нее, утешать, облегчать ее страдания. Он чаще прежнего стал наведываться в гос-

питаль, а в те дни, когда из-за службы не мог быть сам, нарочно присылал к сестре Степаниде денщика или вестового узнать, как здоровье Тамары.

— Вас, однако, это очень интересует? — как бы в шутку, но не без цели уязвить, заметила ему однажды старшая сестра.

— Что ж, — возразил он, — надеюсь, в этом нет ничего странного, если вам угодно будет вспомнить, как сестра Тамара ходила за мной в Боготе.

— Ну, конечно! — согласилась та с кисло-сладкой миной. — Понятно, из чувства признательности.

— Именно из-за этого самого, — сухо и выразительно подтвердил ей Атурин.

И он продолжал каждый день справляться о ее здоровье, решившись пренебречь какими бы то ни было пересудами и умозаключениями «партии». Что ему было до них и до всей этой «партии», если она, его дорогая, страдает и если этим только он и может выразить ей свое участие!

Зато как же и обрадовался Атурин, когда, заехав однажды, часов около девяти утра,

неожиданно увидел саму Тамару, которой после болезни разрешено было уже выходить из юрты на легкую прогулку. Она сильно похудела, побледнела и осунулась, хотя легкий румянец воскресающей жизни уже играл на ее щеках.

Обрадовалась ему и она, но к этой радости, в глубине души у нее примешалось и горькое чувство от сознания, что после письма Каржоля все уже кончено и что это свидание ее с Атуриным, быть может, последнее.

К счастью, случилось так, что кроме сестры Степаниды, водившей Тамару под руку, никого из посторонних в ту минуту поблизости не было, — можно, значит, вполне воспользоваться той редко счастливой минутой, — и Тамара решилась сказать Атурину, как другу, все: и про письмо, и про свой вскоре предстоящий отъезд в Петербург, и про вероятность своей близкой свадьбы, хотя и была заранее уверена, что ему будет очень горько узнать все это. Но что же делать! Ей казалось, лучше высказать прямо самой, чем скрывать, замалчивать или предоставлять ему узнать впоследствии от других, от «пар-

тии», которая, конечно, не пожалеет при этом своих собственных красок. И Тамара сказала ему все, но сказала так, что в ее словах, в выражении ее грустных глаз, в звуке мягкого, тихого голоса, — во всем он живо почувствовал, насколько дорог он ей и как тяжело ей было решиться на эту бесповоротную жертву, приносимую ею лишь из чувства своеобразно понимаемого долга.

— Да вы знаете ли, наконец, человека-то этого? Хорошо ли знаете его? — не выдержав, горячо воскликнул Атурин с чувством, похожим на то, с каким бросаются на помощь к утопающему или чтоб удержать стоящего на краю пропасти.

— Владимир Васильевич, — кротко, но веско остановила она его, наложив слегка ладонь на его руку, — раз, что я решилась, мне ничего больше знать не следует. Во всяком случае, решения своего я уже не переменю, я обязана исполнить свое слово, — поймите, обязана. Что делать! Видно, так надо, — судьба!

— Эту судьбу мы сами себе создаем из своих собственных заблуждений или капри-

зов! — с чувством едкой горечи проговорил, отвернувшись в сторону, Атурин.

— Останемся навсегда добрыми, любящими друзьями! — сердечно старалась утешить его Тамара, сопровождая свои слова ласково просящим взглядом. — Никто, как Бог, почему знать...

Но он безнадежно и грустно махнул рукой, очевидно, не веря в ту слабую нить какой-то смутной надежды, которую в этих последних словах как будто подавала ему Тамара.

Значит, и моя судьба решена тоже, — как бы про себя, задумчиво и тихо проговорил он, после некоторого молчания.

— Как решена? Что это значит? — с несколько тревожным недоумением спросила его Тамара.

— Так. Значит, я остаюсь в Болгарии?

— В Болгарии? — удивилась она. — Это почему? Зачем в Болгарии?

— Вызывают офицеров, желающих на службу в болгарские войска, — объяснил Атурин.

— Да вам-то что ж от того? — спросила сестра Степанида, удивленная не менее Тама-

ры. — Вызывают, — ну, пускай себе вызывают, а вы, слава Богу, и у себя в батальоне, как-жись, не обижены.

— Как вам сказать? Конечно, не обижен, — согласился Атурин, — но дело в том, что пока была война, все и у нас шло как по маслу, а теперь вот, как началось это сан-стефанское безделье проклятое, так и пошли между молодежью разные карьерные соображения да расчеты, — когда кому быть произведенным, или кто мог бы уже быть, да не производится и тому подобное. Между прочим, додумались себе и до меня, что я, мол, хоть и хороший товарищ, а все же пришлый человек, сел им на шею, закрываю собою производство, ну, и прочее там...

И Атурин сообщил обоим сестрам, что все эти сетования и соображения батальонной молодежи, по его мнению, вероятно, дошли до командира, и были приняты последним в некоторое внимание. Это свое предположение он основывал на том, что третьего дня командир пригласил его к себе, чтобы сообщить, что вот-де, требуются лучшие достойнейшие офицеры для болгар, а потому не же-

лаете ли прямо получить болгарскую дружину? — Содержание отличное, золотом, права — командира отдельного батальона, а вместе с назначением последует и переименование в чин полковника болгарской службы, и все это при том еще важном условии, что Атурин, служа в болгарских войсках, будет в то же время числиться, не занимая вакансии, в своем гвардейском батальоне, с правом всегда, когда ни пожелает, вернуться в него опять на службу, а потому, если он хочет, то командир с особенным удовольствием будет рекомендовать его, как образцового во всех отношениях офицера, и заранее уверен, что ему вполне удастся устроить это дело.

— Я понял, — говорил Атурин, — откуда дует этот ветер, и обещал подумать... А теперь и думать, значит, нечего, — прямо решаюсь!

— Да что ж, если и чин полковничий, и жалованье хорошее, и все прочее, почему ж не остаться? Дело выгодное! — одобрительно решила сестра Степанида.

— Выгодно, нет ли, а если ничего лучшего не имеешь в виду, поневоле останешься. В Петербург возвращаться теперь мне не хотелось

бы... Уж лучше в Болгарии!

— Но разве вы намерены всегда продолжать военную службу? — спросила Тамара.

— Всегда ли, не знаю; но теперь, по крайней мере— намерен. А что?

— Нет, я думала, что, может быть, вы возвратитесь опять в свой уезд, в имение, будете по-прежнему предводителем.

Атурин только рукой махнул с горько-иронической усмешкой.

— Во-первых, — объяснил он, — поступая в полк, я сдал свое имение на несколько лет в аренду, а во-вторых, на место меня избран в предводители уже другой, человек той партии, которой я сочувствовать не могу, так что в деревне мне пока делать нечего. Но это все бы ничего, — прибавил он, — а главное...

И он замолк, не решаясь договаривать.

— Главное... что? — несмело спросила Тамара.

— Ах, сестра, неужели это не понятно?! — с плохо сдержанным горько-досадливым порывом вырвалось восклицание у Атурина. — Ведь вы будете жить в Петербурге, не так ли? — спросил он.

— По всей вероятности, да.

— Ну, так что же и спрашивать!? Поверьте, что мне гораздо легче будет в Болгарии, — по-дальше, по крайней мере.

Тамара поняла, что он не хочет возвращаться в Петербург, потому, что ему было бы слишком тяжело жить вблизи ее, в одном городе, и встречаться в одном обществе, видя ее женой другого. И действительно, мучиться вечным сомнением о непоказной стороне ее жизни, о ее счастии, быть может, о ее затаенных страданиях, и тем самым вечно и напрасно мучить и растравлять, как больную рану, и свое и ее сердце, — напрасно потому, что она ведь не пожалуется никому, не выдаст своих нравственных мучений, все затаит в себе, все будет сносить молча и до конца, из принципа, что «так надо», что это требует от нее и самолюбие, и чувство добровольно взятого на себя долга. Все это было бы невыносимо, и все это будущее так живо и ясно представилось теперь Атуруину. Встречаться с нею далее, когда она уже будет женой другого, это значило бы только терзать ее душу, вечно искушать, вечно поджигать и дразнить ее чув-

ство, не давая успокоиться ей и забыться, тогда как из искушения этого ничего быть не может, кроме разве катастрофы. Он знал Каржоля слишком мало, — более по наслышке, — но и того, что ему было известно об этом человеке и чего так упорно не желала знать Тамара, казалось ему достаточным, чтобы заставить его сомневаться в ее будущем супружеском счастье.

— Однако вот что, сестра, — обратился он к ней на прощание, — вы помните мои последние слова? Тогда... в ту ночь... на Светлое воскресенье?

— Помню, подтвердила ему девушка, с полным сознанием, о чем говорил он.

— Ну, так я еще раз повторяю: что бы ни случилось, — вот моя рука, рассчитывайте смело и не забывайте.

* * *

Несколько дней спустя пароход «Русского общества» принял на борт несколько сот больных и слабосильных солдат, десятка два офицеров и четыре сестры милосердия, в числе которых была и Тамара. Все они уезжали в Россию «на поправку». Старушка-начальница

и большая часть сестер проводили девушку до парохода и сердечно простились с ней. Ввиду ее отъезда все мелкие дразги и неудовольствия против нее даже и среди «партии» умолкли, тем более, когда всем уже было известно, что она не остается в общине и, стало быть, ни у кого ничего не перебивает и перебивать не будет. Начальнице удалось исходатайствовать для нее свидетельство на бесплатный проезд по железным дорогам и денежное пособие, достаточное для того, чтобы при готовом помещении в доме общины обернуться на первое время в своих нуждах в Петербурге.

Сестра Степанида была, конечно, огорчена более всех, — она давно уже так привыкла к Тамаре и так сердечно успела полюбить ее, оставаясь с нею неразлучно в течение всей компании.

Атурин тоже приехал, но здесь уже некогда и негде было ему поговорить и проститься с Тамарой, как хотелось бы. На народе и в присутствии сестер пришлось ограничиться только тем, что они сердечно пожали друг другу руки.

— Помните же мои последние слова, Тамара! — тихо проговорил он ей при этом.

Девушка молча, но выразительно поблагодарила признательным взглядом.

Вахтенный офицер, между тем, попросил всех провожающих и остающихся удалиться с палубы. Затем подали долгий свисток, убрали сходни — и дали «ход вперед» машине. Пароход, пыхтя и пеня винтом зеленую воду, тронулся с места — и множество белых платков и фуражек прощально замелькали в воздухе; одними из них махали с бортов парохода, другими — с легких каюков и с пристани.

Часа полтора спустя пароход уже плыл мимо очаровательных берегов Босфора, с каждой минутой приближая своих путников к дорогой родине.

XXX. ВОСХОДЯЩЕЕ СВЕТИЛО БЛУДШТЕЙНА

Румынская часть сухарной операции Абрама Иоселиовича Блудштейна, благодаря влиятельной поддержке «экселенца» Мерзеску, закончилось блистательно. «Экселенц» был удовлетворен сполна условленным в начале дела куражем в двести пятьдесят тысяч рублей, а потому облапошенные румынские крестьяне, несмотря на все свои жалобы и домогательства по судам, остались ни с чем, встречая повсюду один лишь ответ: «Вольно же вам было добровольно заключать такие условия!»— зато в кармане Абрама Иоселиовича миллион пятьсот рублей остались чистоганом, за покрытием всех расходов, и так как эта часть его казенного подряда была выполнена своевременно, и сухари, сколь ни плохи они были, все же не браковались приемщиком, военным врачом Зунделиовичем, то Абрам Иоселиович рассчитывал за свою аккуратность и патриотизм получить даже орден, и с этой целью уже «запустил жуков»

куда следовало. Он вполне был уверен, что «жуки» сделают свое дело — и орден наверно украсит собою его благородную грудь, а может и шею. Ведь украшают же других благородных евреев — и скольких еще! — почему ж бы ему быть исключением?

Другая, менее значительная часть сухарной операции — что была исполнена в Украинской губернии, хотя закончилась для него не так блистательно, но и тут, несмотря на все старания следователей и прокуратуры «упечь» достойнейшего Абрама Иоселиовича вместе с официальным представителем его фиктивной «компании», графом Каржоль де Нотрек, ничего нельзя было поделывать, и все начеты на него остались без результатов, так как все, что лишь можно было ему вытянуть и получить с казны, он уже вытянул и получил заранее, да и главная масса сухарей украинской поставки была своевременно принята казенными приемщиками и — худо ли, хорошо ли, но давно уже съедена войсками.

Для окончания этих своих «маленьких неприятностей» со следственной комиссией, Абраму Иоселиовичу пришлось на время пе-

реехать в Одессу, куда вместе с ним прибыл, разумеется, и граф Каржоль, как ответственный представитель «компании». Там же пребывали теперь, по случаю подобного же следствия, и главные тузы пресловутого «Товарищества». Сюда были выписаны ими лучшие, «таланты» российской адвокатуры для совета и защиты «справедливых интересов» еврейских предпринимателей против «недобросовестной» казны, а менее известные адвокаты из жидов, полячков и армян, греков и русаков, сами налетели, как воронье на падаль, с предложением своих услуг «потерпевшим» и «несправедливо обвиняемым».

Местные адвокатские «силы» только щелкали на них зубами, видя, как это воронье пытается перебить у них добычу. Абрам Иоселиович, конечно, не преминул воспользоваться одной из «лучших сил» и, с помощью ее казуистики, успел кое-как выкрутиться сам и даже спасти Каржоля. В силу этого он уже считал себя прямым его благодетелем, хотя в начале следственного производства и думал себе, что я-де в стороне, пускай отдувается один Каржоль, на то он и официальный

представитель, на то его и нанимали! Но следователи добрались до сути и, под прикрытием фиктивной фирмы Каржоля, открыли самого Блудштейна. Такая неделикатность с их стороны поневоле вынудила Абрама Иоселиовича обратиться к искусному адвокату, который, при внимательном рассмотрении всех данных дела, нашел, что можно выручить Блудштейна и не топя Каржоля, а лучше совершенно обелить в юридическом отношении «честь» их совместной компании, — и обелил, за приличный гонорар, конечно. Уголовная часть обвинения, касавшаяся умышленной фальсификации муки, подмешанной известью, глиной и т. п., благополучно отпала, а гражданский иск был Блудштейну не страшен. По точному смыслу заключенного с казной контракта, «компания» графа Каржоля отвечала «во всяком случае» только суммой представленного ею в обеспечение исправности залога, который ограничивался всего лишь сотнею тысяч рублей. Ввиду же того, что, вся в совокупности сухарная операция Блудштейна, раскинутая в Россини и Румынии, принесла ему более двух с половиной

миллионов чистого барыша, он и спорить не хотел из-за таких пустяков, как сто тысяч, и великодушно предоставил казне воспользоваться ими, если угодно, в виде неустойки. Но в конце концов, при помощи ловкого адвоката, даже и этим не пришлось ему поплатиться, и вся неустойка ограничилась лишь сорока с чем-то тысячами.

Два миллиона пятьдесят тысяч — это был его собственный, личный барыш по отдельному сухарному предприятию, которое он взял на свой собственный риск, вложив в него свой собственный капитал, хотя, впрочем, и воспользовался для него же частью чужих денег, порученных ему Украинским еврейским обществом как своему доверенному представителю в операциях главного «Товарищества». Но это «позаимствование» было уже его, так сказать, домашнее дело, маленький коммерческий секрет, в который, по его мнению, никто не имел права совать свой нос, раз операция удалась и он аккуратно выплачивает вкладчикам проценты. Впрочем, и по операциям главного «Товарищества», в качестве представителя краинского общества,

Абрам Иоселиович тоже лицом в грязь не ударил, и поддержал свою «честь» перед единоверцами-однообщественниками. За время всей войны он успел-таки доставить им дивидент из прибылей «Товарищества» в размере восьмидесяти на сто. Были, правда, разочарованные и недовольные, которые рассчитывали получить, по крайней мере, триста на сто; но, по справедливости, кто же мог сказать, что Абрам Иоселиович обманул общественное доверие? Во мнении большинства Украинского Израиля, и восемьдесят на сто были признаны довольно удовлетворительным процентом, хотя, конечно, сто на сто было бы еще лучше. Все, однако же, помирились на восьмидесяти очень охотно, когда узнали, что в Одессе мелкие акционеры-вкладчики по погонной операции, рассчитывавшие на очень большую наживу, в результате не поживились ровно ничем, и даже свои собственные вклады потеряли, хотя «агенты» этой операции и вернулись домой богачами. Ввиду этого, действия Абрама Иоселиовича были признаны не только добросовестными, но заслуживающими даже общественной благодарно-

сти, которая и была поднесена ему Украинским еврейским обществом в виде почетного адреса.

Таким образом, ловкий Абрам Иоселиович и капиталы приобрел, и невинность сохранил. Всем его заслугам пред Отечеством оставалось только увенчаться орденом. Но и за этим дело не стало. «Жуки», запущенные куда следовало, возымели свое действие — и шея благородного Абрама Иоселиовича вскоре украсилась блестящим Станиславом, данным ему «за пожертвование» хотя и по другому ведомству, но в сущности, для него это было решительно все равно, — был бы Станислав на шее! Нужды нет, что орден был «з птицом», как знак для нехристиан установленный, — «птицу» в кружке не всякий различит сразу, а в общем рисунке все же видно, что Станислав, и все должны будут теперь титуловать Абрама Иоселиовича «кавалером» и «его высокородием». Но мало того: польстясь на знаки отличий, он сумел доставить себе и орден Румынской «звезды», исходатайствованный для него, за особый гонорар, «экселенцем» Мерзеску, в воздаяние за споспешествование

подъему экономического благосостояния румынских земледельцев. Чтобы быть вполне декорированным, оставалось только получить орден бразильской «розы» и персидского «льва и солнца», но он не сомневался, что и это вскоре последует, стоит лишь захотеть. Словом, Абрам Иоселиович воссиял и возвеличился, и уже начинал подумывать о том, что ему, как большому кораблю, надлежит и большое плавание — не в мелких водах какого-нибудь Украинска, а в море финансовых и иных важных тузов Петербурга. Ведь если плавают там такие киты, как «генералы» Пошляков и Паршавский, бывшие в начале своей карьеры не более как жалкими пескарями, то почему бы не плавать и Абраму Блудштейну, особенно имея уже за собою фонд свыше, чем в два с половиной миллиона? И почему ж бы ему тоже не быть генералом? Чем он хуже каких-нибудь Паршавских и Пошляковых? — Пхэ!.. были бы деньги, а генералом будет!

И Абрам Иоселиович решил себе перенести главный штаб своей деятельности в Петербург, не разрывая, однако, связей и с Укра-

инском. Он был убежден, что в новом своем положении, в Петербурге, он может быть даже полезнее для дел Украинского Израиля, чем там, на месте. Там он имел дело лишь с губернатором да с крупными губернскими чиновниками, которые не всегда-то еще и допускали его до себя, — здесь же, может быть будет иметь дела с сенаторами, с членами разных высоких советов, с министрами... Чем черт не шутит! Были бы деньги, в кармане, была бы на плечах голова, а остальное всё придет в свой черед и само собою, все: и роскошный палаццо на Английской набережной, и почет, и генеральский чин, и титул австрийского барона, и звезды, и ленты... И будет у него своя приемная, полная в назначенные часы разных дельцов, тузов и звездоносцев, терпеливо ожидающих его аудиенции; и будет он задавать блестящие банкеты и рауты с разными «артистичными жнаменитостями», аристократами, дипломатами, министрами, сановниками; и будет у него свой собственный «Петербургско-Украинский» банк и своя большая газета, покорному редактору которой он будет «внушать своих вжглядов и

мисшлюв насчет финанцы, палытика и еврейсшкий вопрос», и при все том будут еще у него и дела, дела — миллионные дела и гешефты!

У Абрама Иоселиовича порою просто дух захватывало от мечтательного предвкушения всех сладостей этого будущего своего блеска и величия. Он не сомневался, что выгодно купит себе по дешевой цене и славу, и популярность, приобретет и вес, и влияние, силу и могущество, что министры и сановники будут интимно обращаться к нему за советами и с маленькими просьбами по их личным биржевым и акционерным делам, или за протекцией в пользу каких-нибудь своих бедных родственников, вроде погоревших ротмистров или вылетевших в трубу губернаторов, о предоставлении им приличного местечка по его обширной администрации. А он за это, в свой черед, будет влиять через таких сановников в пользу своих собственных дел и еврейского вопроса. Да, его ожидает высокопочетная, почтенная старость, и когда он умрет, наконец, окруженный, как патриарх, своими многочисленными благодетельствованными

ми родственниками, то великую тяжесть этой «общественной утраты» живо почувствует весь российский, а может и германский Израиль, а за траурной колесницей его, отягченной множеством венков, повалится, как бурный поток, вместе с генералами, сановниками и депутациями, многотысячная, бесконечная толпа петербургского еврейства, имеющего и неимеющего права жительства в столице, а еврейские газеты, в обширных хвалебных некрологах его на первой странице не напишут о нем просто, что он «скончался», как всякий обыкновенный смертный, но изобразят в горестно высоком стиле, что наш незабвенный Абрам Иоселиович, наш неутомимый филантроп и народный печальник «спустил дух свой». Но это будет не скоро, и хотя подобная «кончина» представляется даже в увлекательных красках, но лучше думать не о ней, а о предстоящих в недалеком будущем и богатых гешефтах. Это гораздо практичнее. И Абрам Иоселиович думал.

XXXI. НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ

Благополучно покончив дела с казной, Блудштейн пригласил к себе Каржоля и с приятной улыбкой заявил ему, что «Товарищество» не нуждается больше в его услугах и поручило ему, Блудштейну, выразить графу благодарность за его службу, что он и исполняет-де с особенным удовольствием.

— А как же расчет-то? — заикнулся было граф, огорошенный этим внезапным заявлением.

— Расчет? Какой расчет? — с видом недоумения отозвался на это Блудштейн. — Расчеты все кончены.

— Да, то есть вы хотите сказать, кончены с казной, — поправил его Каржоль. — Но я не про казну говорю, а про себя, про расчет компании со мной.

— З вами? — удивился Абрам Иоселионович. — Но каково же з вами расчет?! Вы же получали свое жалованье и, кроме того, вам выдавалось и на прогоны, и на суточные, и на

представительности, когда нужно было. — вы же все это получали! Каково же еще расчет? Бог з вами! што ви!?

— Как какого? — возразил Каржоль, поняв, что его хотят спустить ни с чем, и потому едва сдерживая в себе негодование. — По условию, я должен быть участником в пяти процентах вашей чистой прибыли.

— Должны, — согласился Блудштейн. — Это так, но вы и участвовали.

— Хорошо, так позвольте мне эту пятую долю!

— А долг ваш нашему бедному Бендавид вы забывали? — прищурясь на один глаз, спокойно и размеренно спросил Абрам Иоселиович.

— Нет, не забыл, положим, но... ведь не вся же моя доля, надеюсь, пошла на покрытие этого долга?

— Вся! — категорически отрезал Блудштейн, с несмущаемой наглостью глядя ему прямо в глаза.

— Как так! Ведь вам одному очистилось, по моим расчетам, более двух миллионов рублей?

— По вашим — может быть, — усмехнулся невозмутимый еврей — а по моим нет.

— Однако позвольте! Этого не может быть! — загорячился Каржоль. — Я вам с карандашом в руках докажу! Расчет тут самый ясный, арифметический! Как же так?

— Так, — хладнокровно подтвердил тот, углубясь в свое кресло и тихо пощелкивая пальцами левой руки по краю письменного стола. Так. Мне мой карман лучше знать, как вам, и когда я говорю так, то так. Абрам Осипович Блудштейн до ветру слова не кидает, — заметьте! — и никому не позволит считать в своем бумажнике.

— Я для вас не посторонний человек, — заметил на это граф тоном задетого достоинства. — Я, кажется, ваш компаньон.

— Пхе!.. компаньон! — пренебрежительно усмехнулся еврей. — Пазжволте взнать, ви много денег в компанию вложили?

— Я вложил мое имя, — заметил граф с оттенком благородной гордости, надеюсь, что это что-нибудь да значит!

— Н-но! За ваше имя вам и платили... Вы были такой же наймит, как и всякий другой...

Кому за труды, а вам за имя.

— Я основываю мое право не на найме, а на нашем договоре, — веско подтвердил Каржоль. — По договору, я ваш дольщик.

— А по документам, звините, вы должник гаспадина Бендавид, который полномочил меня получить з вас долг, и я это сделал. Ну?

— Хорошо, — согласился несколько опешенный граф, — но в таком случае, где же мои документы? Если вы были посредником между мной и Бендавидом, так возвратите мне их!

— О, неприменно! — с видом благородного достоинства, подняв к лицу обе ладони, заявил Блудштейн, и затем, отперев ключом свою конторку, вынул из нее деловой портфель, порылся в нем с минуту и достал две бумаги.

— Вы любопытны были видеть ваш расчет, — вот ваш расчет, извольте! — подал он одну из этих бумаг Каржолю. — Тут прописано все, чево вы получили, и все чево вам следует, — можете проверить в конторе по книгам, по вашим распискам, как хотите. А вот и

ваше условие с «Товариществом», — продолжал он, подавая другую бумагу, — потрудитесь расписаться на нем, что вы удовлетворены сполна, а затем и документов зайчас получаете.

— Но где же эти документы, — спросил граф, внутренне колеблясь. — Я бы хотел видеть их.

— И увидите. Документы здесь, — похлопал еврей по портфелю, — будьте сшпакой-ный!

— Так покажите наперед, — ведь вам все равно, а я желал бы убедиться, все ли они тут, прежде чем подписывать.

— Што это?! И где мы? И с кем мы? — с видом обиженного и негодующею достоинства вступился за себя Блудштейн. — И когда же я после всего не заслужил еще вашего доверия!? Это мне удивительно даже! Мы з вами, кажется, порабочнии люди, и когда я вам говорю, что документы здесь, и что вы их сейчас имеете получить, то я правду говорю! И прошу мне верить и не оскорблять меня таким манером!

Наткнувшись на такой благородно-само-

любивый отпор со стороны Абрама Иоселиовича, Каржоль сейчас же сообразил себе, что лучше, пожалуй, не доводить пока дело до ссоры и польстить жиду своим доверием, — авось еще он пригодится! Поэтому граф поспешил успокоить его, что вы-де совсем не в таком смысле поняли мои слова, — и зачем же, мол, понимать таким образом, когда у него и в помышлении не было оскорблять такого почтенного человека, или не доверять ему, после стольких лет знакомства и т. д.

Тот успокоился, и Каржоль принялся после этого внимательно проверять поданный ему расчет, где красивым конторским почерком были прописаны все произведенные ему авансы, выдачи, жалованье и т. п. Итог составлял довольно изрядную сумму, и граф не мог не согласиться, что все прописанное было верно, до единой копейки. — Неужели же, в самом деле, он за всю кампанию проухал такие деньги?! Тридцать девять тысяч с лишком! Да ведь это целый куш! Одного жалованья за это время получено тринадцать тысяч... И где все это? Куда истрачено? Как, когда? — И сам теперь не понимает! Деньги про-

цедились между рук, как вода сквозь сито, точно бы их и не было... А и в те времена, когда они были, графу никогда не казалось, что их у него достаточно; он всегда более или менее нуждался и чувствовал постоянную потребность «призанять», «перехватить», так что теперь, вместо «куша», у него остаются только там и сям новые «должишки», сделанные то у того, то у другого «на перехватку». Из представленного ему расчета он мог убедиться, однако, что жида, когда им было нужно, не жалели ему денег «на представительность», и будь он порасчетливее, поэкономнее, то добрая половина, если не две трети, полученной им суммы, легко могла бы остаться у него в кармане, и «представительность» от этого нисколько бы не пострадала бы. Кто же виноват, если вышло иначе? На кого пенять?

Но это еще не все. Просматривая расчетный лист далее, он добрался и до итога причитавшихся ему пятипроцентных прибылей, в количестве 101.000 рублей. Из этой суммы 91.600 рублей были отчислены в уплату долга Бендаvidу, с прибавкой к ним 9.160 рублей

процентов за два года, по пяти в год, — итого 100.760 рублей. В остатке значилось 240 рублей. Но последним авансом, неделю тому назад, было выдано ему 1.000 рублей, и таким образом выходило, что он еще в долгу у «Товарищества» на 760 рублей. Это поразило графа непритворным горем, тем более, что явилось для него совершенной неожиданностью. Беспечно цедя между рук притекавшие к нему деньги, он все время жил мечтательной уверенностью, что денег у него впереди еще много, так как пятипроцентная его доля должна принести ему тысяч двести, по крайней мере, — и если около ста из них пойдут на уплату Бендаvidу, то все же у него останется чистых не менее ста тысяч. И вдруг, вместо того, 760 рублей долгу! Какая злая насмешка! Из-за чего человек трудился, давал напрокат свое имя, принимал на себя помой газетной печати, мытарился и отписывался в следственной комиссии, рисковал угодить в «места не столь отдаленные», бегал, как гончая собака, хлопотал, надрывался и унижался более года ради этих людей, — из-за чего?! Чтобы в конце концов им же остаться должным! Граф молча, с

удрученным видом положил расчетный лист на стол перед собой и задумался. При чем же он теперь остается? Что ждет его впереди? На какие средства существовать далее, и где они, эти средства?

— Проверили? — обратился к нему Блудштейн. — Как видите, все верно, аж до копейка.

— Но ведь долг Бендавиду составляет всего 91.600,— возразил Каржоль, — Да и то еще, какой это долг! Из него пятьдесят тысяч приходится на вексель, под который мне было выдано вами на выезд из Украинска всего только пять тысяч.

— Да, но ведь вэксюль был подписан вами?

— Так что ж из этого?

— Как что? Вы же не сможете оспаривать свою подпись, — значит, документ законный. О чем разговаривать?

— Юридически, может быть, и законный, — согласился граф, — но он, во всяком случае, фиктивный, дутый, как и многие другие.

— Другие? — с неудовольствием нахмурил-

ся Блудштейн. — Какие это другие?

— Там есть, например, один вексель на пять тысяч, — продолжал граф, — за который я получил от вас только половину, и вы сами честным словом обещали мне когда-то не требовать с меня больше.

— Ян не требовал! — нервно поднял еврей к лицу обе ладони, как бы защищаясь и оправдываясь, — и разве ж вы можете сказать, что я требовал? — Я не требовал, пока вексоль был мой. Но теперь он не мой и гаспадина Бендавид. А гаспадин Бендавид не хочет знать никаких частных сделок, он желает уплаты по наличная цифра. Это же его дело, я тут ни причем... И я думаю так, что вы еще должны быть рады и счастливы, что кончаете так легко за своими долгами. Благодарите Бог и меня, что я вам дал такую возможность!

Каржоль снова удрученно задумался.

— Спустите мне хоть проценты! — взмолился он наконец, — Ведь я, даже и по-вашему, должен всего девяносто одну тысячу, а вы начли тут слишком сто! — Девять тысяч для меня не шутка, в моем положении!

Блудштейн только головой-покачал, с усмешкой печального сожаления.

— Ай-яй, какой же вы, звините меня, неблагодарный! Когда же вы видели, чтоб капитал не давал никакого процента? Что ж это будет за капитал?! Пфэ! Бендавид и то был такой великодушный, что взял с вас только по пять процентов на год, — то само, что казна дает. Это же с его стороны, согласитесь, совсем безкорыстно. Девять тысяч за два года, — помилуйте, да это антык! Найдите, пажалуста, теперь за такой процент, кто вам даст? Нет, оставьте! Мы об этом с вами и разговаривать не станем, — заключил он самым решительным и непреклонным образом.

Каржоль опять замолк и потупился... На душе у него было очень скверно.

— Там есть еще маленькаво должок за вами, — продолжал между тем Блудштейн, указывая на расчетный лист. — Пустяков каких-то, семьсот с чем-то рублей, кажется... Когда прикажете получить?

Граф только плечами пожал, выражая этим окончательную невозможность рассчитаться в настоящее время и даже полную

неизвестность насчет уплаты в будущем.

— Н-ну, я, пожалуй, попрошу «Товарищество», чтобы вам отсрочили, — предложил Абрам Иоселиович. — Может они будут согласны взять с вас вексель.

И говоря это несколько небрежным тоном, он был уверен, что поразил Каржоля таким необычайным великодушием и тот рассыплется перед ним в тысяче самых признательных и прочувствованных благодарностей. Но, к удивлению его, Каржоль не поразился и не рассыпался.

— Однако, это выходит, — начал он после грустного и тяжелого раздумья, — выходит, что за всю мою службу, за все мои труды и старания, я вышвырнут вами на улицу, как выжатый лимон, без средств, даже без гроша в кармане! Другие там, разные Сахары, Миньковские вернулись богачами, а я — круглый нищий, хоть руку протягивай! И это за то, что служил вам добросовестно, честно, не обворовывал, как другие, «Товарищество»... Спасибо! Нечего сказать, наградили!

— А кто ж вам виноватый? — с неприятным удивлением расставил ладони Блуд-

штейн. — Кабы мы не платили вам, а мы же платили хорошо! — Ну, вы и копили бы себе! Сахар! Вы говорите, Сахар. — Сахар, может, меньше вашего получал, но Сахар в карты не играет. Сахар з артистками не знаком, шимпанскаво не пьет... Сахар начал с маленького гешефт, заработал на нем, стал делать гешефт побольше; сделал побольше, — принимайся за большой гешефт, а там и пошло, и пошло, — зато Сахар, звините, обстоятельный человек, — ну, зато и богач теперь. Были бы вы такой, как Сахар, были бы и вы богач. Когда ж тут кто, кроме вас самих, виноватый?!

— Но ведь мне, поймите, завтра есть нечего будет! Я даже выехать отсюда не могу! — ударяя себя в грудь, патетически доказывал Каржоль. — Выгонят меня из гостиницы, я на тротуаре ночевать должен.

Блудштейн только плечами пожал, сопровождая это движение закрытием век, — дескать, что же делать с этим! Мы не виноваты!

Граф нервно сорвался с места и в волнении заходил по комнате. Положение его представлялось ему мрачным, безнадежным, ужасным... и тем более ужасным, что не да-

лее как час назад он еще надеялся на свою пятипроцентную долю, как на каменную гору, никак не думал получить так скоро отказ от службы в «Товариществе» и рассчитывал почему-то на это «Товарищество», как на неиссякаемый источник... Он полагал, что за покрытием долга Бендаvidу ему с избытком хватит остатков этой пятипроцентной дата, чтобы начать и кончить в самом непродолжительном времени свое бракоразводное дело, прожить, как следует приличному человеку, до возвращения Тамары в Россию, приготовить и обдуманно устроить для нее «изящное гнездышко» — «un nid commode, pareil à un corbeille ravissante», — жениться на ней, нанять блестящего адвоката и начать против Бендавида процесс за ее миллионы. И вдруг все это лопается, как мыльный пузырь, и он опять остается на жизненном распутьи ни с чем и ни при чем, как год тому назад, после ликвидации анилинового завода, и даже хуже, чем тогда; в то время у него, по крайней мере, было хоть триста рублей, которых не потребовал с него шалый купец Гусятников, а теперь и трехсот копеек нет. Да что ж это, на-

конец, судьба, — издевается над ним она, что ли!?! Неужели же надо унижаться перед этим жидом, выпрашивать, вымаливать у него, как милости, какую-нибудь подачку, и видеть, как он будет при этом над тобою ломаться?

Но как ни раздумывал Каржоль, а печальная действительность беспощадно указывала ему, что больше ничего не остается, как только смириться и покорно обратиться к великодушному Абраму Иоселиовичу. Он знал, что разбогатевшие и проползающие в знатность жида любят его.

Пересилив себя, граф стал просить его войти, по чувству гуманности, в его безвыходное положение и исходатайствовать ему у «Товарищества» за всю его службу хоть какую-нибудь награду — ну, хоть три тысячи рублей! Ведь для «Товарищества», в сущности, это ничего не стоит, ведь это пустяк, какие-нибудь три тысячи, а для него они теперь огромные деньги! Абрам Иоселиович так добр, так благороден и всегда был к нему так благосклонен и столько раз уже выручал его из беды, что наверное и теперь не откажет оказать ему это

истинное благодеяние!

Еврейское самолюбие Блудштейна было польщено в высокой степени. Все эти величания его «благородным», «гуманным», «великодушным», «благодетелем» ласкали его слух и радовали сердце. Видеть перед собой титулованного «гойя», который перед посторонними людьми держит себя с таким барским достоинством, видеть теперь его чем-то вроде червяка, во прахе ползущего и униженно вымаливающего, как милости, его протекции, заставить этого «гхарисштократа» кланяться себе и ухаживать за своею «осьшобой», — о! это было высокое наслаждение, истинный «симхас ганешеф» — праздник души для Абрама Йоселиовича, который усматривал в этом факте лишь легкое начало того, что со временем ожидает его в Петербурге, где и не такие еще графы Каржоли будут лебезить перед ним и кланяться, и заискивать его милостивого внимания и покровительства.

— Н-ну, харашо! Это, я думаю, можно будет устроить... я поговорю, — с благосклонной снисходительностью обнадежил он графа. — Заходите ко мне завтра, хоть в это время, мы

и покончим.

Обрадованный Каржоль схватил в обе руки протянутую ему потную, волосатую длань Блудштейна и выразительно, с большим чувством потряс ее.

— Вы — моя надежда, единственная надежда! — чуть не захлебываясь от полноты чувства, патетически проговорил ему граф.

Тот усмехнулся с полупрезрительной, полудовольной миной и махнул рукой.

— Оставьте, пажалуста, эти басни! Што я для вас таково? — заговорил он, как бы в шутку, тоном напускного смирения, сквозь который, однако, так и прорывалось наружу торжествующее ликование его души. — Вы же такой важный барин, а я для вас — пархатый жид, Абрамка! Хе-хе-хе... Не так ли?

И он с покровительственной фамильярностью слегка похлопал по плечу Каржоля.

— Абрам Йоселиович! Ну, как вам не стыдно! — солидно запротестовал последний против его слов, точно бы и взаправду возмущаясь в душе таким безобразным предположением. — Что это вы говорите, право! Разве ж я вам давал когда повод думать обо мне подоб-

ное!? Я, который вас так уважаю...

— Ну, ну, харашо! — самодовольно бормотал во след ему Блудштейн, провожая его из комнаты.

XXXII. В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ

На следующий день в назначенный час Каржоль деликатно постучался в дверь номера, занимаемого в гостинице Блудштейном.

— Антре! — возгласил ему изнутри Абрам Иоселиович, научившийся этому «образованному слову» еще в Бухаресте и полагавший, что отныне, при его капиталах и высоком положении, ему надлежит употреблять как можно больше таких «хороших образованных слов».

— Прошу, — указал он графу на кресло, стоявшее против письменного стола, за которым сам восседал в эту минуту, не потрудившись приподняться навстречу гостю и ограничась лишь протягиванием ему левой руки для пожатия.

Граф скромно присел на указанное место и, молча улыбаясь какой-то неопределенной улыбкой, вопросительно смотрел на хозяина, с тем нерешительно ласковым и ожидающим

выражением в пытливых глазах, какое бывает у умных псов, когда они приближаются к занятому едой человеку, не будучи уверены, обласкают ли их и бросят ли косточку, или дадут пинка.

— Н-ну, паздравляю! Выпросил! — торжественно объявил ему Блудштейн, с покровительственным видом. — Трудно было, а выпросил, удалось, слава Богу! И я очень рад, я хочу, чтоб вы видели, как «Товарищество» поступило з вами благородным манером!

Обрадованный Каржоль вздохнул свободней, отвесил признательный поклон и насто-рожил уши.

— «Товарищество», — продолжал еврей тем же манифестирующим тоном, точно бы объявляя невесть какую высочайшую милость, — прощает ваш долг в семьсот шестьдесят рублей и, кроме того, жертвует вам одна тысяча рублей! Довольны?

Физиономия графа, вопреки ожиданиям Блудштейна, не только не расширилась в восторженно-счастливую улыбку, а напротив, разочарованно вытянулась, с видом замешательства и недоумения. — Как же так. Ведь он

рассчитывал на три тысячи! Ему менее трех не обойтись! Конечно, он в высшей степени признателен достопочтеннейшему Абраму Осиповичу за его милостивое участие к нему и ходатайство, и, конечно, тысяча рублей все же лучше, чем ничего, но тем не менее, ему нужны именно три тысячи, — нужны до зарезу, — иначе, он погибший человек! Бога ради, нельзя ли исходатайствовать три!? Ведь как он и служил, как старался, как работал в интересах «Товарищества»: И неужели же «Товарищество», за всю его службу поспеет на какие-нибудь три тысячи?!

— Н-ну, так и быть! Я вам прибавляю еще одна тысяча от себя! Не пищите! — согласился, наконец, махнув рукой, Блудштейн. Но в снисходительно милостивом и, в то же время, пренебрежительном тоне, каким были произнесены эти слова, сказалось нечто жестоко оскорбительное для самолюбия Каржоля. — О! Не нуждайся он в такой степени в деньгах, он показал бы этому хаму, как говорить с собой подобным тоном!

Но — нужда его проклятая... Что поделаешь! Надо глотать обиду и улыбаться, кла-

няться и благодарить! — И Каржоль улыбался.

— Вот ассигновка от «Товарищества», — продолжал, между тем, Блудштейн, достав из портфеля совсем уже готовый, подписанный бланк. — А вот зайчас и от меня чек напишу вам, но болше, пожалуста, не приставайте! Болше ни одна копейка! Вы и то нам сто пятьдесят тысячов стоите, — довольно с вас! Будет!

Каржоль только нервно сжимал ручку своего кресла, чтобы сдержать и перемочь внутри себя подымавшееся негодование и — нечего делать! — выслушивать все эти бесцеремонные выходки «зазнавшегося жида», скрепя сердце, да еще и с приятной улыбкой на лице, — дескать, ничего, дружеская шутка! Блудштейн, между тем, написал чек и, вырвав из тетрадки, присоединил его к «товарищеской ассигновке». Поднявшийся с места Каржоль уже протянул было к ним руку, как вдруг Абрам Иоселиович, заметивший это движение, поспешно прикрыл их на столе своей ладонью.

— Пазвольте! — внушительно остановил

он графа. — На период ви должны расписаться на вашем условии, что получили сполна все, что вам причиталось и, сверх того, двух тысяч в награда от «Товарищество», и никаких больше претензий до него не имеете.

— А как насчет моих... документов? — не совсем-то уверенно заикнулся граф.

— А вот сначала распишитесь, а там и получите, — не задержу, не бойтесь.

Ввиду соблазна, представляемого чеком и ассигновкой, по которым сейчас же можно получить нужные до зарезу деньги, Каржолу не оставалось ничего более, как беспрекословно исполнить волю Блудштейна, потому что, заспорь он еще теперь, — жид, пожалуй, рассердится, закапризничает и, чего доброго, возьмет назад свой чек, и тогда уже ничего с ним не поделаешь. Надо, стало быть, пользоваться редкой минутой его «великодушного» настроения, — и граф немедленно же написал на своем контракте все, что от него требовалось, и расписался под этим.

— Н-ну, вот теперь дело в порядке! — весело заключил Блудштейн, и оседлав свой нос плохо державшимся на нем, по непривычке,

золотым пенсне, взял контракт из рук Каржолья, внимательно перечитал все написанное сейчас последним, не торопясь, аккуратно сложил бумагу и понес ее к своей конторке, из которой по-вчерашнему достал портфель, бережно запрятал в него документ и затем, порывшись немного, достал оттуда какую-то сложенную бумагу, а портфель запер опять в конторку и ключ положил к себе в карман.

— Н-ну, вот вам чек, вот ассигновка, — заговорил он после этого самодовольно любезным тоном, передавая графу из рук в руки одно вслед за другим. — А вот и докумэнт ваш на квит из Бендавид.

— Это что ж такое? — выпучив глаза на лист бумаги, в полном недоумении спросил Каржоль, как-то не решаясь даже взять его из рук Блудштейна.

— Это? Докумэнт, — говорю вам. — Прочитайте.

Граф недоверчиво развернул бумагу и, не вполне понимая, в чем тут дело, наскоро пробежал ее глазами. То было засвидетельствованное нотариальным порядком заявление от имени Соломона Бендавида, в коем этот

последний собственноручной своей подписью засвидетельствовал, что весь долг ему графа Валентина Николаевича Каржоль де Нотрек на сумму 100.760 рублей получен им сполна и что засим он, Бендавид, никаких претензий к нему не имеет.

— Я не понимаю, что ж это такое? — совершенно ошарашенный, проговорил граф, вскидываясь глазами то на Блудштейна, то на бумагу.

— Чево же тут непонятново? — спокойно пожал тот плечами. — Заявление, что долг ваш уплачен. — кажется, ясно!

— Да, но документы? Где же, собственно, документы, векселя и все прочее? Пожалуйста мне документы!

— А докумэнтов же нет, — развел руками Абрам Иоселиович.

— Как нет? — воскликнул Каржоль, в высшей степени удивленный и пораженный этим нагло спокойным признанием.

— Так, нет и только.

— Да что вы меня морочите! Где ж они?

— Ну, вот вам заместо докумэнты! — ткнул он на бендавидовское заявление. — Вот эта

самая бумага! Вам не все равно?

— Позвольте, как все равно?! — Далеко не все равно! Я выдавал известные документы и желаю получить их обратно, — именно, те самые, которые я выдавал. Я не хочу, чтобы они оставались Бог-весть где и в чьих руках. Позвольте мне именно эти самые документы.

— А когда ж я вам говорю, что их нету. И чего ж вы еще хотите?! Откудова я их возьму?

— У кого ж они? — продолжал настойчиво допытывать граф. — У Бендавида?

— И у Бендавид нету.

— Так где ж, наконец?

— Ай, Бог мой, и чего вы так до меня чипляетесь! — с легким оттенком досады нетерпеливо дернулся в сторону Блудштейн. — Где, где! Ну, как где? Когда же вы не знаете? Сами же говорили мне — помнило? — что исчезли во время погрому, что их кацапы на клочки порвали... Еще спрашивали меня, правда это? Когда ж не помните?

— Да, но вы тогда божились мне, что они целешеньки, и я вам поверил, как порядочному человеку, уверениям вашим, слову вашему честному...

— А я же и сам тогда думал, что целешеньки, — оправдывался Блудштейн, принимая на себя вид наивной невинности, — я и сам так думал, божусь вам, а потом оказалось, что нету... Я даже очень был удивленный с того... Я сам только недавно узнал, — чеснаво слова!

— Так за что же я, черт возьми, целый год тянул вашу ляжку, гнул свою спину, унижался перед вами! — вспыхнул граф.

— За что вы сок из меня выжимали, всю душу мою выматывали? За что?

— Пазвольте! Не горячитесь, прошу вас! — дружески хладнокровно, но с достоинством остановил его Блудштейн. — Выслушайте меня. Ведь вы же сагласный в том, что были должны гаспадину Бендавид? Так?

— Так что ж из того?! — нетерпеливо возразил граф, не понимая еще, к чему тот клонит свои доводы, но уже заранее ожидая какой-нибудь чисто жидовской уловки.

— Пазвольте! Значит так? — Н-ну, а когда так, то и докумэнтов никаких не надо, зачем тут документы, помилуйте?! Кабы мы имели дело с каким прахвост, из ширлатан, з мазурик, — ну, то так. А вы же порабочный гаспа-

дин, благородный человек, — одного вашего честно графсково слова в тысяча раз больше и верней, как всяких докумэнтов! Я так думаю, по крайней мере. Невжели же я ошибалсе? И в ком? Подумаитю. В графе Каржоль! И можно этому быть?! Пфсс! Што мои уши слышат?! Ай-яй-яй! Кто это говорит? Сам себе не веру!

И «дядюшка» Блудштейн, закрыв себе уши ладонями и качая головой, дружески стыдил самого же Каржоля. Он рассчитывал задеть в нем этим самую чувствительную струнку насчет его благородства и личного достоинства, думая, что после этого граф наверное плюнет и не станет больше разговаривать о документах.

Того это наконец взорвало не на шутку.

— Да! — подступил он с искаженным от негодования лицом почти в упор к еврею, грозя ему обозленными глазами. — Да, я тоже не думал, что буду иметь дело с мазуриками и прохвостами, однако же ошибся!

— Што ви хотите этим сказать? — отскочил от него Блудштейн, как резиновый мячик, но все еще не теряя своего «гонору».

— То, что сказал, не более и не менее! — подтвердил граф, грозно продолжая наступать на него размеренно медленными шагами. — А! Так вот что! Теперь я понимаю, — говорил он, сжимая свои кулаки, — понимаю, почему вам надо было вынудить мою расписку на контракте прежде, чем отдать мне эту бумагу. За такие подлые проделки бьют!

— Нно! Шыпа! — подняв обе ладони, ментально отскочил еврей к дверям своего номера и схватился за пуговку электрического звонка.

Каржоль, при этом последнем движении опомнясь, остановился посередине комнаты.

— Ежели ви хотите сделать скандал, — пригрозил ему, в свой черед, Блудштейн, — я пошлю за палыция, за кельнер, за люди и составлю претакол! Это одно, а другово — дам знать в банк и до контора, чтоб вам не выдавали деньги — ни по чек, ни по ассигновка!

Последняя угроза окончательно отрезвила графа. Руки его опустились, кулаки разжались и, отойдя неверными шагами к своему креслу, он бессильно и молча погрузился в него, опустив удрученную голову на руку. Он

только теперь понял, насколько был одурачен жидами, которые воспользовались им как выгодной вещью для своей эксплуатации, и еще чванятся над ним своим же великодушием! Хорошо великодушие! Но что же остается ему в своем положении?! Не распишись он так легкомысленно десять минут назад на своем контракте, — о! тогда бы совсем другое дело! Тогда бы он заставил этих жидов отдать себе всю свою пятипроцентную долю, судом заставил бы! Проклятая доверчивость! И как было не догадаться, что Блудштейн не даром отвиливает с документами, не хочет показать их! О, будь он уверен, что их действительно не существует — не жида, а он теперь был бы господином своего положения! Но ведь как же ловко провели его! Мастерски провели! И теперь что же остается? Сказать самому себе дурака и благодарить судьбу, что удалось вырвать хоть две тысячи да еще этот документ в придачу. И опять, выходит, надо смириться, а то еще, чего доброго, эта жидовская морда, озлившись и в самом деле, распорядится, чтобы не выдавали деньги.

И подняв голову с руки, граф искоса бро-

сил несмелый взгляд на Блудштейна, который, нервно похрустывая пальцами, шагал из угла в угол по диагонали своей комнаты, с благородным видом «всшкорбленного» достоинства.

— Простите меня, добрейший Абрам Осипович, — тихо произнес он с глубоким покаянным вздохом, поднимаясь с места. — Я невольно оскорбил вас... Виноват! Я... я... сумасшедший... безумный... я сам себя не помнил... Что делать! Виноват! Мне совестно... и стыдно...

— Ага! Додумали? — с полупрезрительной усмешкой и не глядя на него, отозвался Блудштейн.

— Простите, — повторил еще тише и глуше Каржоль, покорно опуская повинную голову. И вдруг, мускулы его лица нервно задержались, нижняя губа затрепетала, и он поспешил достать свой носовой платок, чтобы скрыть в нем горькие слезы, невольно хлынувшие из глаз. То были слезы обиды и разочарования — плач над иллюзией, слезы безмолвной досады и на судьбу, и на этих людей, и на самого себя, слезы оскорбленного само-

любия, которое должно переживать в эту минуту такое ужасное унижение... и перед кем же, вдобавок!

— Н-ну, Бог з вами! Я же не злой человек! — махнул рукой Блудштейн. — Берить докумэнта, берить деньгов, и ступайте с Богом! Так лучше будет, повертю!

И Каржоль с опущенной головой тихо вышел из комнаты, не удостоенный пожатия руки Блудштейном.

* * *

По уходе его, у Абрама Иоселиовича точно гора с плеч свалилась. Он никак не думал раздаться так дешево с графом. Он ожидал с его стороны более бурных сцен и настойчивых домогательств, может быть, даже судебного процесса, и вдруг, вместо всего этого один маленький «пшик»! Стоило только показать некоторую выдержку, и дело кончилось на каких-то пустых двух тысячах! Теперь граф Каржоль достаточно уже изучен Блудштейном. Женатый на Ольге и вечно нуждающийся в копейке, полуголодный пролетарий, — он, по мнению Блудштейна, не мог быть более опасен для Бендавида и Украин-

ского кагала своими притязаниями на Тамару. Прошло уже с тех пор, как случилась эта история, два года; за это время и у графа, и у девчонки пыл поохладел, вероятно. По крайней мере, что касается графа, то у него, казалось Блудштейну, судя по его бухарестским и зимницким похождениям, даже наверное нет никакого пыла! А что до девчонки, то Бог знает, где она находится, может быть, тоже успела уже позабыть Каржоля. Словом, думалось ему, это дело можно считать поконченным. Предусмотрительный «мондры Абрам» успел вовремя отворотить грозившую опасность, ловко направив Каржоля год тому назад в новое русло, воспользовался им для еврейских же выгод и интересов, выжал из него все, что можно, получил с него для Бендавида деньги, которые иначе, при отсутствии документов, никогда бы не были получены, будь Каржоль даже состоятелен, — словом, Абрам исполнил все, что подобает доброму сыну Израиля, и граф может идти себе теперь на все четыре стороны. И как хорошо, как предусмотрительно сделал Абрам, списавшись своевременно с Бендавидом, чтобы тот выслал ему поскорее

это формальное заявление! Как оно пришло к стати и как пригодились! Получить таким образом безнадежные сто тысяч, получить их из ничего — вот истинная «игра ума», достойная «мондrego Абрама»!

Но вот вопрос: отдавать или не отдавать эти деньги Бендаvidу? Стоит ли отдавать? Ведь старик все равно считал их безнадежными, погибшими. Прибавится ли к его капиталам эта лишняя сотня, нет ли, — что ему, в сущности!? Не разбогатеет он с того и не обеднеет, — так же будет, как и был. А с юридической точки зрения, он даже и права не имеет требовать их. Ведь он с Блудштейном не заключал на этот счет никакого особого формального условия и не выдавал ему никакой доверенности. Сделка Блудштейна с Каржолем состоялась с глазу на глаз, без свидетелей, — кто знает, кто может доказать? Скажут, что у Каржоля было условие с «Товариществом» на пятипроцентную долю, — да, но как это считать прибыли в карманах «Товарищества», когда оно и само еще должно тягаться с казной? Может, и никаких еще прибылей не окажется; может, «Товарищество»

еще «сбанкрутует»? Со стороны «Товарищества», ввиду такой возможности и вообще ввиду неопределенного положения его дел, было бы очень неосторожно выдавать Каржолу его проценты, и оно, положим, могло кончить с ним на какой-нибудь, более выгодной для себя частной сделке, в чем он и расписался в контракте. Это уже его дело соглашаться на такую сделку. Не пойдет же Бендавид искать Каржоля и справляться у него! А потребует старик возвратить ему его заявление, — что ж, можно пообещать — завтра да послезавтра, а там и затянуть, позабыть за разными хлопотами... И наконец, разве не могло бы это заявление затеряться где-нибудь между бумагами, особенно в такой массе бумаг? Когда-нибудь, со временем, оно, может быть, и отыщется, — и Бендавид может быть спокоен, что как только отыщется, Блудштейн сейчас же возвратит его. Во всяком случае, Бендавид должен быть ему благодарен, что он обезопасил его от происков Каржоля, вполне обезвредил последнего. Это ли еще не услуга?! Это ли не благодеяние?!

Итак, что же? Отдать или не отдавать? Во-

прос, над которым следует еще крепко подумать. Сто тысяч — не шутка! И особенно, когда старик за все графские документы заплатил только сорок! Сто пятьдесят процентов барыша — не слишком ли жирно уже будет? Что ему! Куда ему такие деньги? Он уже дела свои, — можно сказать, закончил, он одинок и живет на покое, в могилу смотрит, а Блудштейн только что начинает, у Блудштейна семья, Блудштейну надо еще жить, работать, зарабатывать, расширять и развивать свои гешефты, ради семьи. Конечно, Блудштейну деньги нужнее! И он извлечет из них гораздо большую пользу не только для себя, но и вообще для Израиля. Разве в этом может быть какое-нибудь сомнение?

Во всяком случае, торопиться с отдачей пока еще нечего. Время терпит, и время же укажет, как поступить «залучше».

И на этом решении Абрам Иоселиович успокоился, вполне примиренный со своей совестью, и в полном убеждении, что исполнил все, что мог и что ему следовало сделать как доброму отцу семейства и доброму еврею, — все, даже великодушие свое показал

презренному «гойю»! Ибо сказано, «пускай и псы пользуются крохами от трапезы вашей».

XXXIII. НОВЫМ ПУТЕМ — К СТАРОЙ ЦЕЛИ

Каржоль в тот же день с вечерним поездом уехал из Одессы. Ему больше нечего было там делать, а проживаться без цели, — пожалуй, опять все деньги незаметно процедишь сквозь пальцы. Здесь ожидать ему больше нечего, надеяться и рассчитывать больше не на что. «Товарищество», его «конторы», жида, их дела и гешефты, их вечно мятущаяся, лихорадочно-суетливая деятельность, даже самые жидовские физиономии, самый вид жидов и запах, — все это омерзело графу после вчерашних и сегодняшних его крушений до такой степени, что даже самый город этот жидовский, со всей его показной, нарядной роскошью «а'la france», раздражающе действовал ему на нервы, стал противен, невыносим, — и он поспешил выбраться из него как можно скорее.

Уезжал он с удрученным, пришибленным состоянием духа, еще и сам не зная, что предпримет и даже куда направит свой путь — в

Петербург ли, в Москву ли. В сущности, для него было теперь совершенно безразлично, куда ни ехать. Чувствовал он себя только глубоко несчастным человеком, как и в те дни, когда бежал из Кохма-Богословска к себе на завод, после свадьбы с Ольгой. В таком угнетенном состоянии только и оставалось одно, что самоуслаждаться минорным ропотом и в нем черпать себе скудное утешение. И он роптал, — роптал и на судьбу, и на жидов, на их коварство и даже отчасти на самого себя, но на себя всего менее, — разве на свое «рыцарское» доверие к людям. За что судьба, в самом деле, так к нему несправедлива?

Что сделал он такого ужасного, что она так его преследует? Он не вор, не разбойник, не убийца; он никому, кажется, не сделал никакого зла, никакой подлости, за которую могли бы его клеймить и указывать на него пальцем, — напротив, при своих отношениях с людьми он всегда старался быть джентльменом и, где мог, с удовольствием делал им приятное и разные одолжения. Убеждения его тоже не крайние: он не нигилист, но и не ретроград, Боже избави! — напротив, симпатии его

всегда на стороне прогресса, гуманности, всякой эмансипации и вообще либеральных веяний современной эпохи. Призовите его к служебной, к общественной, к какой угодно, к государственной даже деятельности, он за все возьмется и все будет делать когда не лучше, то и не хуже других. Служил вот в «Товариществе»; другие там плутовали, надували, воровали, тащили где и что можно, а он ничего не накрал, честно довольствовался лишь тем, что ему платили. И что же? В конце концов, еще им же должен остался! В чем же его можно упрекнуть, по совести? Если он не лучше, то и не хуже других. Уж во всяком случае, не хуже: он такой же, как и все. Но нет ему ни в чем удачи до конца! Другим везет, а ему нет. И сколько раз уже замечал он, что за какое дело не возьмется, все у него, кажись, идет прекрасно, но вдруг, ни с того ни с сего, — трах! — обрывается, где и не чаешь! Безо всякой с его стороны вины, — само обрывается! Точно бы тут что-то роковое... Судьба проклятая!

Но от этого минорного настроения переход к чувству досады и бессильной злобы поды-

мался в нем каждый раз, чуть только мысль его возвращалась к воспоминанию о том, как оболванил и облапошил его «мерзавец» Блудштейн. Это, в самом деле, было оскорбительно. Он рад был бы отомстить «этому негодяю» жестоко и беспощадно, и с наслаждением исполнил бы свою «справедливую месть», но в то же время — увы! — с прискорбием признавал, что мстить ему нечем, что Блудштейн не только силен своим положением, карманом и юридическим правом, но и совершенно неуязвим для него. Поэтому граф утешался ребяческой надеждой, что ничего, мол, рано или поздно, так или иначе, а уж отомщу! Будет помнить! И в воображении его точно так же ребячески рисовались неопределенные картины, как он уже отомстил и торжествует над Блудштейном, и как этот уничтоженный, поверженный во прах, презренный жид пресмыкается у его ног и вымаливает себе пощады. Но это были лишь краткие минуты злобного мечтательного забытья. Возвращаясь же к действительности, граф испытывал только беспокойное занывание сердца, отражавшееся тоскливо-сосущим чувством под «ложеч-

кой», и нравственную удрученность, усталость, точно бы разбитость какую-то. Весь свет казался ему постылым, и жизнь представлялась не имеющей ни цены, ни смысла.

Но вот прошел день, другой в дороге, — острый прилив горечи и разочарования у графа за это время несколько ослабел, притупился, нервы его поуспокоились, и он как будто приобвык к последствиям своей одесской неудачи и к новому своему положению. Постоянно свежий, здоровый летний воздух; разнообразные, непрестанно меняющиеся в вагонном окошке картины мирной русской природы, в которой уже как будто самой уже есть что-то ровное, спокойное, умиротворяющее; эти обширные поля, волнующиеся нивы, тихие леса — сначала разнообразно кудрявые, потом все сосновые, — селения в садах, с деревянными трехглавыми церквями, торговые местечки, уездные городишки, все новые и новые лица, мелькающие на станциях, все это — кроме неизбежных жидов, один вид которых поднимал в нем чувство ненавистного омерзения, — невольно развлекая мысль и внимание графа, мало-помалу и незаметно,

однако же в достаточной мере подействовало на него успокоительным, умиротворяющим образом, и он, не доезжая еще до Проста, уже решил себе, что в Москву не стоит, незачем, а лучше ехать прямо в Петербург. На это нашлись у него и достаточно веские причины. Во-первых, рассуждая теперь хладнокровнее, положение его уже не представлялось ему таким безысходным и отчаянно мрачным, как в день выезда из Одессы; напротив, у него есть даже некоторые благоприятные шансы, и первый из таковых — это, конечно, деньги. Все-таки, около двух тысяч в кармане для первого начала кое-что значат; с ними, при некоторой сдержанности, можно кое-как обернуться, тем более, что бельем и современно модными, даже достаточно свежими костюмами (предмет его постоянной и тщательной заботливости) он пока обеспечен, и эта важная статья, значит, исключается из расходов... Во-вторых, успокоившись душевно, граф все-таки далеко не отказался от мысли отомстить или, по крайней мере, насолить жидам, и более всех, конечно, Бендаvidу с Блудштейном. И в самом деле, стоит ли ему из-за какой-ни-

будь одесской неудачи окончательно отказываться от своих видов и планов насчет Тамары! С какой стати? Что случилось такое, из-за чего он был бы вынужден поставить над этими планами крест? Напротив, теперь-то он и может действовать гораздо смелее и свободнее, так как над ним нет уже сдерживающей узды, какой были его векселя в руках Бендавида. Теперь его таким фокусом не запугаешь! И если сообразить хорошенько, то какого маху дали эти жида, выдав ему формальное заявление Бендавида! На сто тысяч, дураки, польстились и не сообразили того, что сами же себя продают за чечевичную похлебку! Теперь он свободен и покажет им себя. Нет, господа евреи, мы еще поборемся и — посмотрим, чья-то возьмет! Плохой тот игрок, кто до конца не надеется выиграть. И как знать, может быть, счастливая талия вернется к нему снова; но уж теперь-то он дураком не будет! — нет, excusez du peu, уже выучен! Баста!

Но для осуществления планов насчет Тамары надо прежде всего начать бракоразводное дело с Ольгой, и вот для этой-то цели и необходимо ехать в Петербург, — там он ее и

захватит врасплох, как снег на голову. Говорят, эти бракоразводные дела без денег не делаются, — ну что же, на первый раз у него для начала есть свободная тысяча рублей, а там, если впоследствии потребуется еще, можно будет как-нибудь извернуться, добыть, занять на проценты, предложить дельцам векселя в обеспечение насчет будущих капиталов, вообще устроить чтонибудь в таком роде.

Это, впрочем, уже детали. Главное, надо как можно скорее начинать и скорее кончать процесс. Но с такими вескими доказательствами, как Ольгины письма к Пупу, дело не может замедлиться: улики так ясны, так недвусмысленны и неопровержимы, что никакой, самый дошлый адвокат, не выкрутит из них Ольгу. А раз, что граф будет свободен от брачных уз, — о! тут уже на его улице праздник! Тут только поскорее женись и заваривай жидам кашу. Ура!

Правда, и здесь опять-таки понадобятся деньги, на эту кашу, но граф рассчитывал, что добыть их будет уже менее трудно. Если бы у него для начала и не было даже средств, то и это ничего не значит: на такое дело, как юри-

дически бесспорный миллионный иск, да что б не найти денег? Какой вздор! Всегда можно подыскать человечка, который согласится рискнуть своим капиталом, если будет уверен что получит вдвое больше. Да стоит лишь найти какого-нибудь хорошего, состоятельного адвоката, с которым заключить условие на выгодный для него куш, и он охотно поведет процесс, в ожидании будущих благ, даже на свои собственные средства, так что все дело не будет стоить графу предварительно даже ни копейки. Ведь такие примеры бывали и бывают. Адвокаты даже ищут подобных дел, — это их слава, их имя, их счастье, своего рода биржевая игра... О! Адвокаты всегда найдутся, было бы болото, говорит пословица... И вот, это вторая причина, ради которой надо ехать в Петербург. Там это дело скорее устроишь, да и с адвокатом надо будет заблаговременно познакомиться, сойтись, объяснить ему дело, заинтересовать его. Все это железо надо ковать, пока горячо. А у графа энергии еще много, и вера в себя не утрачена! Стало быть, падать духом и кукситься нечего, не такое время!

И мечтательное воображение уже рисовало ему самые радужные картины будущего...

Черт возьми, он должен быть богатым и он будет! Перебиваться со дня на день из кулька в рогожку и вечно быть в зависимости от случайных обстоятельств ему уже надоело. Он давно уже поставил себе эту цель жизни, и он ее добьется. Он желает, наконец, жить «в свое удовольствие», *comme disent les Apraksintzi*, — жить хорошо, спокойно и не стесняясь, как прилично в его прирожденном положении, с его именем, с его прежними связями в обществе, которые, конечно, постарается возобновить. Ведь в чем же и весь смысл и весь смак жизни, если не в этом? А иначе, черт ли в ней! До сих пор он служил только вольной или невольной ступенью для других: для Ольги, для Блудштейна, для «Товарищества», и все эти «другие» эгоистически пользовались им для своих собственных целей. Довольно! Теперь и он, в свою очередь, хочет сделать из них ступени для себя, чтобы придти, наконец, и к своей собственной цели.

Что до Тамары, то о ней Каржоль думал менее всего. Он совершенно был уверен в ней

и спокоен насчет ее любви к нему, которая представлялась ему даже чем-то вроде обожания его особы. Да и как ей не обожать? Ведь что она, в сущности? — жалкая, хоть и богатая, еврейская девочка — совсем еще девочка, выросшая в каком-то захолустном еврейском Украинске, под ревнивым крылом старозаконной семьи, не имеющей настоящего понятия ни о жизни, ни о людях, ни о свете, кроме как по книжкам, разве. Кою она знает, что она видела, что понимает? И кого же, наконец, могла она встретить в своей монотонной, почти замкнутой жизни лучше и обаятельнее Каржоля? Правда, она не глупенькая, в ней есть кое-какие задатки, подающие надежду, что, взяв ее в умелые руки, из нее можно будет впоследствии выработать приличную для света жену; но пока ведь она совсем еще ребенок, над ней еще работать надо, шлифовать ее. Она должна считать себе за счастье быть его женой, потому что, что ж у нее? — одни только деньги, да и те еще в перспективе, а он даст ей родовитое, титулованное имя и положение в свете, — разве этого мало?! Граф был убежден, что и до сих пор,

как прежде, он для Тамары все — кумир, божество, идеал, что она все так же слепо любит его первой любовью и слепо верит в него, что в его руках она, как мягкий воск: какую фигурку ни пожелает, ту из нее и вылепит, что каждое слово для нее закон, и она всегда послушно пойдет за ним и сделает для него все, что он ни захочет. Ведь он уж это видел и испытал на деле; она столько раз доказывала ему это, начиная с побега в монастырь и кончай хоть бы бумажником Аполлона Пупа. Нет, она вся в его руках — вся в его воле. О ней пока заботиться нечего.

Правда, он виноват перед Тамарой. Среди своих «товарищеских» дел и в вихре рассеянной, легко скользившей жизни в Румынии, он давненько-таки не подавал ей о себе никакой вести. И черт знает, просто, как это так случилось?! Не то, чтоб он совсем забыл ее, — нет, — хотя порою, говоря по совести, и забывал-таки, но все же, ее «глупенькая головка» приходила ему иногда на память, и даже не редко, и ему было тогда как будто жалко ее и совестно перед нею, и он, с укоризной самому себе, вспоминал в такие минуты, что надо бы

порадовать девочку, написать ей, давно бы уже следовало, — и каждый раз давал себе твердое слово, что завтра же напишет непременно. Но приходило «завтра» и непременно приносило с собой свои нетерпящие дела и безотлагательные хлопоты, — то то, то другое, — интендантство, «Товарищество», тыловое начальство, Блудштейн, Мерзеску, румынские власти, сахарное дело, какие-нибудь неприятные официальные ищросы, экстренные отписки, объяснения и проч. и проч. А там опять вдруг какая-нибудь приятельская компания случайно подвернулась... Человек еле успел покончить кое-как должностные дела, проголодался, спешит в ресторан, — глядь, навстречу ему уже дружески несутся из-за какого-нибудь уставленного бутылками столика знакомые, покушавшие голоса: — *Ha! eh! eh! comte! Vous voila!* Здорово, дружище! Подсаживайся Граф, только вас и не доставало!» И граф поневоле подсаживается, и ест, и чокается, и сам «ставит», в ответ приятелям, и идесь его непременно заговорят, закружат, увлекут... театр, актриски, ужин с шансонетками, рулетка или зеленый стол. Глядь, — ан

день и прошел, как точно бы его и не бывало! И возвратясь домой, пресыщенный, усталый, измочаленный, граф с досадой вспоминает, что и сегодня опять не написал Тамаре! Так и не успел — завертели, черти проклятые и, нечего делать, приходится отложить письмо до завтра. Завтра уж, мол, непременно, во что бы то ни стало напишу! И успокоившись на этом благом решении, он засыпал тяжелым, одурманенным, беспокойным сном. Но наступает новое «завтра» — и повторяется все та же старая история. А там прошло уже незаметным образом столько дней, недель и месяцев, что и писать стало как-то неудобно. Все-таки, ведь это труд, и не малый, да и тяжелый: надо оправдываться, сочинять, придумывать извиняющие причины, насиловать свой мозг, настраивать себя на собственный «нежно-пламенный» лад и прочее, — а когда ему все это делать? — положительно нет времени. Ну да ничего! Со временем как-нибудь напишет, что-нибудь, да придумает и оправдается. Или еще лучше: если ему опять дадут командировку в штаб действующей армии (можно будет даже нарочно выпросить ее), он

непременно разыщет там Тамару, постарается увидеться с нею и на словах объяснить все дело, — на словах это гораздо проще и скорее выходит, да и выскажешь гораздо больше, лучше и полнее, чем в письме. Ну, разумеется! Ведь она добренькая, она любит его и, конечно, простит, — разве ж она в состоянии сердиться?

Но тут, как на зло, подошла вскоре такая полоса в его жизни, что граф на несколько месяцев просто голову потерял. Началась она осенью, со встречи его в Зимнице с некоей «известною» Мариуцой. Он и сам понять не мог, что за притягательная сила кроется для него в этой женщине, в которую влюбился с первого же раза и увлекся ею, как сам же говорил, до безобразия, точно бы она околдовала его. В ней было что-то напоминавшее ему физически Ольгу. И все равно, как к той испытывал он некогда неодолимое чувственное влечение, так и к этой, — только к этой еще больше. Лицо ее, тело ее, склад, походка, движения, — словом, вся она задорно вызывала в нем жажду обладать ею, и если это называется любовью, то только двух женщин и любил

он в своей жизни, — Ольгу да Мариуцу. Он видел или воображал в ней то, чего другие не замечали и чего, может быть, в ней даже и не было, и, наконец, создал себе из нее какой-то культ желаемого тела. До такой степени даже с Ольгой у него не доходило. Хитрая пройдоха, не то полуцыганского, не то полу жидовского происхождения, вкусившая от бухарестской и даже венской «цивилизации», она сразу поняла, что с таким обалделым человеком можно делать все, что угодно, хоть веревки вить из него, и — легко благосклонная ко всем другим, она систематически мучила и томила одного лишь Каржоля, оставаясь только для него недоступною, и тем все больше и больше разжигала его страсть и дразнила самолюбие: неужели же ее-то он не добьется! Он!!! Ведь это даже оскорбительно! Каржоль понимал, что вся цена этой женщине пять золотых, что и в Зимницу-то она приехала нарочно за тем, чтобы «зарабатывать» себе эти золотые, — и тем не менее, готов был чуть не молиться на нее, изнывал перед нею, только бы она снизошла к нему. Он во что бы то ни стало, уже чисто из самолюбия, хотел до-

биться своего и потому безрасчетно швырял на подарки ей и на ее всякие прихоти бешеные деньги, брал вперед в «Товариществе», занимал, выигрывал, — все на нее! Это была какая-то странная, животная страсть на подкладке психического каприза, но она была выше его воли. Когда же Мариуца, рассчитав, что такую игру надолго затягивать нельзя, — а то, пожалуй, плюнет человек и пойдет прочь — подарила его, наконец, своей благосклонностью, то сумасшедшему счастью Каржоля, казалось, не было меры и пределов. Здесь он уже забыл не только Тамару, но и все на свете, кроме текущих дел «Товарищества», да и о тех-то помнил лишь потому, что они дают ему средства к жизни, которые ему нужны на Мариуцу. Теперь он мог гордиться тем, что покори́л ее сердце или тело — это все равно ему, — и хвастаться ею перед приятелями-интендантами, как своей любовницей. Наконец, Блудштейн, давно уже знавший и терпевший это, даже радуясь в душе такому состоянию Каржоля (о Тамарке, значит, больше не думает!), внушительно заметил ему однажды, что зимницкий кли́мат, очевидно, вре-

ден для его здоровья, так как он стал очень «манкирывать за своими служебными обязанностями, а между тем денег все просит вперед да вперед, и потому одно из двух: или служит как следует, или «Товарищество» уволит его без расчета, — это-де поручено ему дружески передать графу. Ввиду такого ультиматума Каржоль как будто образумился, стал жить поскромнее, заниматься делами, и Абрам Иоселиович, воспользовавшись этой переменной, не замедлил дать ему командировку в Одессу, будучи уверен, что на том и конец шалым его похождениям с Мариуцой. Заботился же он об этом потому, что граф нужен был еще и ему лично, и «Товариществу». Но «мондры Абрам» ошибся: Мариуца тайком поскакала вслед за графом в Букарешт, а оттуда вместе с ним в Одессу, а там у них продолжалось все то же, до тех пор, пока Мариуца не встретила с богатым еврейским банкиром Рафиновичем, на которого, конечно, не замедлила сейчас же бесповоротно променять Каржоля. К счастью для служебных отношений последнего, это случилось довольно скоро, через какую-нибудь неделю, — но самолюбие, и

ревность, и страсть его долго не могли помириться с таким предпочтением. Граф готов был наделать из-за этой женщины тысячу новых глупостей, если бы телеграмма «Товарищества» не вытребовала его спешно опять в Букарешт для важных деловых объяснений с высшим тыловым начальством. Здесь встретили его опять масса дел и поручений, актриски, оперетка, приятели, — все это помогло ему, наконец, отрешиться от своего угара и забыть Мариуцу, но оно не заставило его вспомнить Тамару. Он до такой степени все это время прожигал свою жизнь, что Тамара отошла от него на самый дальний план, как нечно смутное, бледное, даже неприятное для воспоминаний. К тому же он совсем потерял ее из виду, — Бог знает даже, где она теперь находится. Да впрочем, в сущности, и беспокоиться ему в особенности не о чем: Тамара, конечно, все такая же, и стоит ему лишь поманить ее, — она сейчас же все позабудет и прискачет хоть куда угодно.

Но вспоминая обо всем этом теперь, в купе вагона, Каржоль спохватился, что скоро, однако, год — целый год, как он ее не видел и

не писал к ней. Это стало ему крайне досадно, но — что же делать! — надо как ни на есть поправить свою проруху. И он решил себе, что, по приезде в Петербург, сейчас же напишет ей длинное, горячее послание, разукрасив его всеми возможными доводами в свою пользу, и еще в пути стал придумывать на досуге, как и чем оправдываться в письме перед нею.

XXXIV. ПО «СПЕЦИАЛИСТАМ»

Подъезжая к Петербургу, Каржоль долго колебался, остановиться ли ему «по привычке» у Демута, или избрать на сей раз какие-нибудь скромненькие, но приличные «нумера», по рублю в сутки. Хоть это и свинство, собственно говоря, жить в рублевых нумерах, черт знает где и черт знает с кем, но, во внимание к тому, что фонд его, и без того уже не великий, с каждым днем неизбежно должен был все таять, граф решил «выдержать характер», смирить себя на время и удовольствоваться какими-нибудь «chambres garnies», пока судьба не пошлет чего-нибудь лучшего. Таким образом выбор его пал на меблированные комнаты, содержимые в четвертом этаже громадного дома на Вознесенском проспекте рижской молодящихся лет девицей, Амалией Францевной Шписс. Доставил его сюда «номерной» прямо с вокзала, вместе с чемоданами. Рижская девица, с подведенными глазами и взбитой прической, была польщена тем, что у нее останавливается «граф», да еще такой красивый, — «ganz

zierlich, fein und ein so hoftlicher Cavalier!»— и потому уступила ему довольно приличную комнату за тридцать рублей в месяц, — «aber so bulig nur fur den Herrn Graf». — и даже предложила некоторые удобства, вроде утреннего Milchcaffé und das Friihstuck, und den Mittag, ganz complet, oder auf Portionnen — как угодно — за очень умеренную плату. Граф нашел, что и это все, по нужде, будет очень ему кстати, хоть и придется, вероятно, морщиться от жареных подошв и глотать эссен-тукские лепешки против последствий чухонской кухни, но — что же делать! — надо пока смириться и привыкать. С его стороны это было чисто героическое решение, и он сам удивлялся своему стоицизму.

Fraulein Schpiess с первого же дня стала особенно усиленно ухаживать за графом, как за самым почетным, самым знатным своим жильцом и всячески заботиться о его комфорте. «Ах! В свое время она тоже была знакома и с графами, и с баронами!» Она даже собственноручно по утрам пыль обмахивала петушиным султаном с его письменного стола и цветы в его комнате поливала, а встречала и про-

вожала его не иначе, как книксенами, и ежели говорила с ним, то непременно со сладкой ужимкой и играя глазами. Граф находил, что хотя это и глупо в таком солидном возрасте, но не мешает, ибо лучше пусть ему сентиментально и благосклонно улыбаются, чем глядят букой: от благосклонности зависит кредит, в котором никогда не лишнее иметь заручку, и потому он милостиво позволял ухаживать за собой, принимая это со стороны «Frau Amalia» даже как должное.

Освоившись в новом своем положении и разобравшись с чемоданами, он на другой же день отправился в Правление «Красного Креста» за справкой насчет Тамары и узнал не только о месте ее нахождения в сан-стефанском военно-подвижном госпитале, но и еще то, весьма важное для него обстоятельство, что сестры Богоявленской общины возвратятся в Петербург не ранее осени. Это последнее обстоятельство истинно обрадовало графа. До осени, слава Богу, еще далеко и, значит, в это время он успеет покончить свое бракоразводное дело ранее приезда Тамары, чтобы встретить ее уже настоящим женихом и — сейчас

же под венец, без проволочек! А уж потом, женившись, можно будет как-нибудь, в подходящую минуту, открыть ей свои прошлые «ныне пока еще — увы! — настоящие» отношения к Ольге, представить нею низость ее шантажного с ним поступка, совершенного при помощи внезапности и наглого насилия, и все, чего ему стоило сбросить с себя брачные узы ради Тамары, — но открыть и представить, разумеется, насколько это нужно и в таком освещении, в каком ему выгодно.

В тот же день вечером он воздержался даже от искушения прокатиться в «Ливадию», где шла «*Varbe bleue*» с очень интересными «новыми» француженками, или отправиться, по старинке, в любезный сердцу «Демидрон» с его Филиппо, Грендор и Кадуджами, — всем этим стоически пренебрег он и засел за известное уже письмо к Тамаре, которое на следующее утро и пошло по назначению — в Сан-Стефано..

Видеться с Ольгой он находил пока преждевременным. Она не должна и подозревать о его присутствии в Петербурге; пусть лучше этот процесс нагрянет на нее совершенно

неожиданным сюрпризом. Но вот вопрос: где найти адвоката? Граф как давно уже расстался с Петербургом, что теперь совсем «*pas au courant*» относительно его жизни, общества, дел и знаменитостей. Не по календарю же разыскивать их, тем более, что по этим бракоразводным делам есть свои особые «специалисты», которые в дела другого рода, по большей части, уж и не путаются. Вот напасть на такого-то «специалиста» ему и важно, а где возьмешь его без рекомендации, да и за рекомендацией к кому обратишься? — Дело все-таки щекотливое, свое, интимное, в которое посвящать без особенной надобности и прежде времени посторонних людей не следует. Положим, он мог бы разыскать кого-нибудь из прежних своих светских приятелей и к ним обратиться за советом, но лучше пока этого не делать: почему знать, а вдруг кто-нибудь знаком с его женой? Раздумывая, как ему быть в своем затруднительном положении, граф напал на счастливую мысль: не лучше ли всего ехать ему прямо в консисторию, обратиться там к кому-нибудь из «подходящих» чиновником и просить его указать

хорошею адвоката? Ведь кому как не им известны все такие «специалисты»! И граф на другой же день так и сделал.

В консистории он, однако же, поступил «en diplomate», то есть, не выложил так-таки прямо, что специалист-де нужен ему для себя самого, но, на всякий случай, «pour sauver les apparences» и из предосторожности, свернул дело на «одного приятеля», который желает-де начать с женой бракоразводный процесс и просит его справиться насчет подходящего адвоката, так вот — не можете ли указать, какого, только хорошего?

Там были так любезны, что указали ему даже нескольких — и «поважней», и «попроще». Если дело, мол, сложное, затруднительное, то нужен специалист «поважней», чтобы, неровен час, не провалить его; а если обыкновенное, то можно и «попроще». Каржоль записал себе в книжку несколько адресов и, поблагодарив, решил отправиться сначала к адвокату «поважней» — посмотреть, что это за птица и чего она может стоить. Смutilа его немножко только фамилия: жидом что-то пахнет. Яков Моисеевич Смаргунер. Неужели

же и по этим делам нынче жида орудуют?! Господи, уж и в консисторию пробрались, к пресвитерам!

Господин Смаргунер занимал очень приличную квартиру на Литейной в бельэтаже одного из домов затейливой архитектуры, — и первый же взгляд на его приемную, где графу пришлось подождать несколько времени до аудиенции, убедил его, что здесь дело пахнет, должно быть, не кушами, а уймами денег. Куда ни плюнь — все или роскошный буль, или дивная бронза, группы Либериha в углах, кантонские инкрустации на разных эбеновых этажерках, севр на лампах, вьюсаксы на стенных кронштейнах; на каждом буфе драпировки, на каждой мебели так и лежит печать Лизере или Лавотона. Но — странное дело! — все это носит такой случайный, смешанно-сбродный характер, что невольно наводит на подозрение — не приобретены ли вещи эти задешево и по случаю с аукциона, или накуплены зря у Дарзанза, Давида, Юнкера только потому, что в глаза по своему блеску оросились? Во всяком случае, это истинно «адвокатская» обстановка, видимо, была

устроена на тщеславный показ и рассчитана на то, чтобы сразу бить ею в нос каждому вновь являющемуся клиенту.

— Прошу покорно! — высунул адвокат по направлению к Каржолю свой нос из дверей кабинета, откуда только что вышла перед ним какая-то стройная дама в черном шелковом платье под густой опущенной вуалью.

Тот вошел в кабинет, где на каждой вещи точно так же лежала печать жирных кушей, но уже в характере роскошно комфортабельной простоты, солидности и серьезности.

— Граф Каржоль де Нотрек? — в виде вопроса, прочел «специалист» на визитной карточке, еще раньше переданной ему через приличного фрачного лакея.

Граф утвердительно кивнул на это кротким поклоном.

— Прошу садиться. Дело имеете?

— Н-да... то есть... приятель один... хотелось бы посоветоваться, заговорил Каржоль, несколько путаясь и стесняясь.

Господин Смаргунер с видом делового человека взглянул на свои золотые часы, как бы давая этим чувствовать посетителю, что вре-

мя мое — деньги мои, и расположившись за роскошным письменным столом, сосредоточенно приготовился выслушать.

— Прошу объяснить, — предложил он несколько суховатым, как бы официальным тоном.

Граф, невольно чувствуя какую-то внутреннюю неловкость и потому смущаясь, принялся кое-как и не без запинок излагать ему сущность своих намерений и обстоятельства дела, а сам в то же время, вглядываясь порою в тонкие и несколько хищные черты гладко выбритую и выхоленного лица его, обрамленного одной лишь «американской» бородой, без усов, все более и более убеждался, что перед ним сидит человек непременно семитского происхождения. Это был плотный мужчина лет под пятьдесят, безукоризненно и солидно одетый весь в черное, с солидным и даже внушительно важным выражением лица, которое точно бы давало заранее чувствовать, что человек знает себе цену и считает ее на очень крупные цифры. «Черт его разберет, что он теперь себе думает!», — с некоторым беспокойством шевелилось в душе Каржо-

ля, — «Точно сфинкс какой, сидит и глазом не моргнет! Разбери его!»

Изложение дела дошло, наконец, до писем Ольги к Аполлону Пупу, в смысле самых существенных и важных доказательств.

— Письма с вами? — коротко спросил господин Смаргунер.

— Со мной, — предупредительно сделал граф движение рукой к боковому карману.

— Попрошу показать.

— Позвольте, я вам прочту их, — это не долго...

— Виноват, я должен видеть их и... вникнуть в степень их важности.

Граф понял, что Смаргунер желает читать сам и... — хоть и не совсем-то это было ему приятно, но нечего делать, — передал адвокату известный пакетец.

Тот солидно вздел на нос золотое пенсне, неторопливо развернул письма и записочки, с видом опытного следователя осмотрел их внешность и систематически стал прочитывать про себя одно за другим, подкладывая их по мере прочтения в прежнем порядке, и затем, вложив опять все в пакетец, передал по-

следний графу.

— Это все? — спросил он.

— Все.

— Гм... Не много. Других доказательств не имеете?

— То есть... каких же еще? — спросил Каржоль с недоумением.

— Более веских, в смысле юридическом.

— Помилуйте, — воскликнул граф, удивленный и озадаченный донельзя. — Это ли еще не доказательства?! Чего ж еще весче?

Но господин Смаргунер только головой покачал отрицательно, с легкой иронической усмешкой на своих тонких, растянутых губах.

— Письма не суть прямые улики, — пояснил он докторальным тоном, — при случае они могут, пожалуй, сыграть роль некоторых косвенных доказательств, но не более.

Каржоль так и опешил, даже рот, как дурак, на него раскрыл.

— Закон требует улик положительных, — продолжал между тем разжевывать ему адвокат, — и точно определяет при том, каких именно.

— То есть, что же, собственно, я не пони-

маю, — в тоскливо досадливом затруднении пожал плечами граф.

Тот посмотрел на него холодно строгими и удивленными глазами, — точно бы перед ним младенец какой несмышленный: что ты, мол, батюшка, с луны свалился, что ли?

— En flagrant delit, при двух достоверных свидетелях, — внушительно отчеканил он. — Понимаете?

— Да, но, согласитесь, что это... это... это требование невозможное! — заговорил граф, весь покраснев до ушей от смущения перед взглядом Смаргунера и при мысли, что он пойман на собственной, довольно-таки наивной недогадливости, хотя, казалось бы, нетрудно было понять еще с первого намека. — Какая же порядочная женщина решится... в присутствии свидетелей, подумайте! — лепетал он, чтобы поправиться, но чувствуя сам, что говорит, кажется, глупости, и чем дальше, тем больше. — И, наконец, разве же могут быть свидетели подобных положений! Мыслимое ли дело допустить...

— Извините, если я уклонюсь от бесцельного диспута по этому предмету, — вежливо,

но суховато поспешил предупредить его Смаргунер. — Я не вхожу в рассмотрение, что мыслимо или что немыслимо, я только сообщаю вам, чего в данном случае требует закон. Есть у вас такие доказательства, или вы можете их представить, — прекрасно; а нет, то письма ваши ровно ни к чему не послужат.

— Значит, по-вашему, это дело безнадежное? — разочарованно спросил граф, сбитый с последней своей позиции.

— Я этого не говорю, — значительно поднял свои птичьи, дугообразные брови Смаргунер. — Безнадежных дел я, как юрист, вообще не признаю. Всякое дело может быть и надежным и безнадежным, смотря по тому, как за него взяться и как повести.

Каржоль несколько ожил.

— Итак, вы могли бы взяться, значит? — спросил он.

— Мм... отчего же! Если вам угодно поручить его мне, я не вижу причины к отказу.

— В таком случае, я уже буду просить вас, — качнулся граф к нему корпусом, в виде любезного поклона.

— Хорошо-с, — согласился Смаргунер и

устремил на него холодный, испытующий взор, как бы соображая что-то, прибавил неторопливо размеренным тоном. — Это будет стоить тридцать тысяч рублей.

— Так много! — пришел граф в неподдельный ужас.

— Это не много, — спокойно возразил Смаргунер. — Дело очень сложное и крайне трудное, — пояснил он, — Будь обе стороны согласны на развод, тогда и разговоров нет: вы бы приняли на себя известную роль, как это обыкновенно делается, — и в две-три недели мы бы кончили. Но картина вопроса совсем изменяется, когда одна сторона, как в данном случае, например, ищет развода, а другая не желает его. Ведь здесь является уже борьба; здесь надо, так сказать, из ничего создать целую обстановку, и обстановку, в юридическом смысле, солидную, доказательную, а это стоит недешево.

— Но у меня, к сожалению, в настоящую минуту нет таких денег, — вздохнул граф, думая про себя, не поторговаться ли, — авось-либо, спустить добрую толику.

— Это уже ваше дело, — безразлично по-

жал плечами Смаргунер.

— Но, может быть, мы смогли бы сойтись с вами на несколько меньшей сумме?

— Меньше ни копейки, — вежливо-сухо и непоколебимо отпарировал адвокат.

— Или разве вот что? — предложил ему граф с таким видом, будто ему только сейчас пришла в голову счастливая идея. — Не могли ли бы вы удовольствоваться пока известными обязательствами, которые я вам охотно выдал бы на себя, кроме, конечно, той суммы, что придется дать еще наличными для начала дела? Это меня бы устраивало.

— Гм... Какого же рода обязательства? — опять поднял Смаргунер на него свои дугообразные брови.

— Какого вам угодно, — условие, вексель, расписка, что знаете.

— У вас есть достаточное имущественное обеспечение под такой вексель? — все так же пунктуально и невозмутимо ровно осведомился адвокат, глядя на графа таким взором, точно бы он изучает его и, судя по ответу, сейчас безошибочно выведет себе опытное заключение, с кем имеет дело, — с человеком

ли обстоятельным, или с ничего не стоящим щелкопером. — И Каржоль невольно, инстинктивно как-то, почувствовал сокровенный смысл этого взгляда.

— То есть, видите ли, — поспешил он объяснить, внутренне поеживаясь, — надо вам сказать, развод нужен мне, собственно, для того, чтобы жениться на особе очень состоятельной... то есть такой состоятельной, что какие-нибудь тридцать тысяч являются тут совершенными пустяками... Тут миллионы, — вы понимаете, — миллионы! Свадьба сейчас же вслед за разводом, а затем, хоть на другой же день, вы бы получили все, что следует.

— Гм... Значит, вы могли бы представить за себя надежных поручителей?

— Видите ли, — замялся несколько граф. — За поручителями, конечно, дело не стало бы, но... признаюсь, мне не хотелось бы обращаться к приятелям по такому щекотливому вопросу, — сами согласитесь...

— Зачем же к приятелям! Разве родители вашей невесты не могли бы поставить свой бланк?

— Да, но у нее нет родителей, она сирота.

— Значит, опекун есть, он мог бы.

— Мм... н-нет, и опекуна нет... никого нет, — сирота, говорю.

— Стало быть, совершеннолетняя? — Тогда это еще проще: пускай сама поставит.

— О! Она с удовольствием! Но... к сожалению, ее нет теперь в Петербурге, она приедет только осенью, а мне надо, чтобы дело к ее приезду было уже закончено.

— В таком случае, вам остается поискать достаточных средств, суховато посоветовал Смаргунер и поднялся со своего рабочего кресла, явно давая этим Каржолю понять, что далее разговаривать им не о чем.

Тому оставалось только встать, в свой черед, и молча откланяться.

Итак, первый блин, что называется, комом. Граф вышел от господина Смаргунера крайне обескураженным. Что же это такое?! Он, который рассчитывал, что имея в своих руках такие поразительные доказательства, — ему бы, по-настоящему, даже и адвокатов никаких не надо, — оказывается вдруг в дураках! Опять-таки в дураках! Господи, да

доколе же! «Косвенные улики!» Это-то косвенные? Прошу покорно! Да нет, этого быть не может! Тут что-нибудь да не так! Не вернее ли будет, что жид просто запугать его рассчитывал, чтобы содрать побольше? Тридцать тысяч тоже! Экие ведь кушища валяют, как ни почему! Бессовестный народ! Он, граф Каржоль де Нотрек, подумаешь, за тринадцать тысяч жалованья более года трудился, как почтовая лошадь, жизнью своей даже под Плевной рисковал, а тут какому-нибудь Смаргунеру за то, что две-три крючоктворные бумажки составит, тридцать тысяч вдруг отваливай! Господи, да где же справедливость, наконец?! «Косвенные!» Нет, это все «музыка»: Это ясно! Нечего, значит, падать духом, а лучше попытать счастья у других, что «попроще». Попроще-то, пожалуй, поговорчивей. Да и ну их к черту, всех этих Смаргунеров! И без них надоело с жидами вечно возиться! Пойдем к православному.

И граф на другой день поехал к специалисту «попроще».

* * *

Специалистом «попроще» оказался Васи-

лий Иванович Красноперов, кандидат прав и присяжный стряпчий Коммерческого суда, не брезгающий при случае и бракоразводными делами. Место жительства — Кабинетская улица, поближе к купечеству. Квартира уже не в бельэтаже, а поближе к небесам, в четвертом этаже, но приличная. Обстановка — ординарная, но солидная. Кабинет, рядом с комнатой «помощников» и «клерков», носит характер чисто деловой, но несколько беспорядочный, небрежный. Наружность Красноперова такая, что всякому мимоходящему как будто говорит: «Голубчик, расцелуй меня! Я цыганист, я гитарист, я душа-человек, я весь нараспашку!» — Большая рыжая борода, умеренная лысина, золотые очки, и вдобавок — уже и некоторый округлый сальничек начинает образовываться. Имя Красноперова как защитника никогда не гремело ни в одном из громких, знаменитых процессов, на которых другие его собратья по профессии составляли себе славу и деньги; ни одна из защит его не блистала перлами и адамантами красноречия, ни одно из выигранных им дел не могло быть названо выдающимся по эффективно-

сти, но в том совершенно особенном и не всем доступном мире, где «работают» кураторы и председатели конкурсов, «действуют» присяжные попечители лиц, впавших в несостоятельность и, наконец, где «орудуют» члены торговых администраций, — там имя «многоуважаемого» и «милейшего» Василия Ивановича встречалось гораздо чаще других. Он знает, где раки зимуют. По купечеству «душа-человек» был очень и очень известен и про него там говорили многозначительно: «дошел!» При этом, однако, несмотря на цыган, и вечные купеческие свадьбы, поминки и именинные кулебяки, неизбежно сопровождаемые бесчисленными «опрокидонтами» очищенной, хересов и мадерцы, Красноперов, к удивлению своих товарищей, всегда оказывался в уровень с «последним словом науки» и с последним влиянием практических приемов юриспруденции, собственно по ведению процесса, и являлся иногда, в своем роде, даже новатором, прокладывая новые пути и русла, по которым за ним, уже ничтоже сумняся, следовали прочие его собратья. И новаторство это нередко просто поражало

именно необычайной практичностью своих приемов.

Каржоля с первой же минуты расположили в его пользу эта простота и необыкновенное открытое добродушие в обхождении с ним, как с клиентом, — точно бы Василий Иванович всю душу свою перед ним выкладывает, точно бы так вот и желает от всего сердца сразу посвятить его во все тайны, махинации и возможные стадии процесса и даже как будто слить его с собой в одно существо, — точно бы это процесс его собственный, кровный. Он и не говорил о нем иначе, как «наш процесс», «наше дело», «мы так-то поведем», «мы то-то сделаем». Словом, Каржоль чувствовал себя как будто его сотоварищем, другом, сотрудником или даже соучастником на все добрые и недобрые. Относительно Ольгиных писем Красноперов выразился прямо, что это, мол, не существенно, они-де, и не понадобятся, потому что мы прямо докажем факт.

Граф, однако, выразил сомнение, что едва ли это будет так просто. Ведь сочиненный «факт», как ловко ни сочини его, все-таки мо-

жет вдруг обнаружить свою несостоятельность там, где и не ожидаешь. Свидетели, например, будут утверждать, что видели там-то и тогда-то, а она вдруг возьмет да как раз и докажет фактически свое alibi, — ну, и что же тогда?

Краснопёрое на это только рассмеялся, как на речи совсем детские.

— Голубчик мой! — убедительно принялся он урезонивать Каржоля, даже как будто пристыживая его дружески. — Да разве же мы станем заниматься сочинением глупых накрываний и гостиницах, в ресторанах и тому подобное? Это все старые, рутинные приемы, которые мы с вами бросим. Да и зачем вам запутывать посторонних людей? Тут ведь сейчас противная сторона схватится за швейцара, за коридорного, за татарина там, — ну, и перепутаются, конечно! Сбить-то не трудно! Ведь подобные грубые приемы уже не один процесс проваливали! Нет мы это сделаем гораздо проще: не в ресторане, а в театре, в ложе литерной, — понимаете?

Граф, не совсем понимая, однако, вскинулся на него вопросительным взглядом.

— Свидетели у нас будут тоже ведь не какие-нибудь, а порядочные люди — люди из общества, интеллигентные, достойные всякого доверия, — продолжал Красноперов. — Ну, и предположите теперь, что свидетели эти сидят в соседней ложе, рядом, видят в ней pardon! — вашу супругу, невольно обращают при этом на нее внимание, как на интересную особу... А затем, уж вы не беспокойтесь: они и услышат и увидят все, что следует, и не собьются. В Мариинском театре, например, это хоть в любой ложе могло случиться, — там все они ведь с аванложами и с драпировками. В этом и вся суть, все, что требовалось доказать! Понимаете?

— Понимаю, поддакнул граф. — Но все-таки alibi проклятое! Мне кажется, что все это, сколь оно не остроумно, не устраняет, однако, возможность доказывать alibi.

— Батенька мой! Полноте! — убедительно дотронулся Красноперов ладонью до его колена. — Позвольте вас спросить, как это она докажет свое alibi в театре? Хотел бы я знать! Тут ведь ни швейцаров, ни татар! А спектакли весь сезон каждый день бывают, — зна-

чит, и дня даже в точности помнить не требуется, а просто — приблизительно, когда-то, мол, в таком-то месяце. Ну-с, поди-ка, возражай на это!

Каржоль даже весело расхохотался, потирая руки, от такой ловкой находчивости милейшего Василия Ивановича и понял из сего, что имеет дело с такой тонкой и продувной бестией, что перед ней и сам Смаргунер, пожалуй, спасует.

— Ну, и скажите же откровенно, что это будет стоить? — спросил он.

— По совести, десять тысяч, голубчик.

— Ой-ой! — почесал граф за ухом, поморщась.

— Зато наверняка, без осечки! — похвалился Красноперов. — И весь процесс окончим — много, если через месяц! Потому тут, сами видите, никаких разговоров!

Каржоль, из деликатности и по некоторой уклончивости своей натуры, не хотел на первый раз портить ни ему, ни себе приятного впечатления и потому не стал сегодня торговаться, но решил себе прежде попытать еще кого-нибудь из «попроще», а Красноперова,

на всякий случай, иметь в виду с тем, чтобы предложить ему впоследствии, когда еще покороче сойдется с ним, сделку на вексель.

Расстались они самым дружеским образом, крепко пожимая друг другу руки, и даже расцеловались.

На следующий день граф отправился отыскивать специалиста «еще попроще», решив себе попытать уже всех, чтобы уже затем с наибольшей основательностью остановить свой выбор на самом подходящем.

В сообщенном ему адресе значилось: «Ассинкрит Смарагдович Малахитов. Пески, Болотная улица, дом номер такой-то».

Отыскивая по бесконечной Болотной улице данный номер, Каржоль наконец увидел его на воротах одноэтажного деревянного домика о семи окнах по фасаду. Ниже номера золотая надпись на синей жестяной доске гласила: «Дом жены коллежского асессора, госпожи Малахитовой». Ворота были закрыты, подъезда или крыльца с улицы не имелось. Расплачиваясь с извозчиком, Каржоль бросил взгляд на домик: ничего-себе, старенький, но крепкий и поддерживается в порядке;

стекла в окнах чистые, видно, что моются; внутри видны белые тюлевые занавески, а на подоконниках фуксии, герань, золотое деревце, бальзаминчики, турецкая гвоздичка и даже «розаны». Граф толкнулся в калитку — отворилась наполовину, а дальше цепь не пускает. Но ничего: нагнувшись под цепь, удалось кое-как проникнуть во двор со внутренним палисадником из двух берез и нескольких кустов акации. Во дворе ни души, но зато бродит утка с утятами у врытого в землю корыта, да куры у сарайчика роются. Совсем идиллия! Кудлатая старая собака на цепи, при будке, тотчас же, конечно, добросовестно облаяла незнакомого человека, и вскоре на этот лай недоверчиво выглянула из-за угла какая-то баба, видимо, из породы «куфарок».

— Вам кого надо будет?

Граф назвал имя хозяина. — Дома?

— Дома, дома. — Пожалуйста сюда, на парадное! Обождите малость, сейчас отворю.

И через минуту, отомкнув ему изнутри «парадную» дверь, запертую, кроме замка, еще на крючок и цепочку, та же «кухарка» впустила его в полутемную прихожую, куда

сию же минуту любопытно заглянула из смежной кухни в стеклянную дверь какая-то женская голова в белом чепце, — вероятно, сама хозяйка. Графа сразу обдало тем особым кисловато-прелым и немножко затхлым запахом, который присущ воздуху старых, десятками лет обжитых деревянных домишек: не то здесь капусту недавно квасили, не то лампадное масло пролили, не то сушеную треску варили. А кроме того, еще и тараканами пахло.

— Пожалуйте в зал, они сейчас выйдут.

Каржоль вошел в «зал». Светлая комната в три окна, на которых подвешены клетки с поющими «кинарейками». В переднем углу большой висячий старокупечески киот с образом в серебряном окладе и лампадка теплится. По крашеному на лощеному полу, чистоты ради, постлана от дверей до дверей половиковая дорожка. Старинная мебель, — диван с овальным столом, под ковровой салфеткой, и вокруг шесть мягких стульев; на диване гарусная подушка с вышитой на ней черной собакой, у собаки бисерные глаза. В простенках два ломберных стола, покрытых бе-

лыми вязаными салфетками, и на каждом по паре необожженных стеариновых свечей в «апликейных» шандалах. У другой стены старинный стеклянный шкафчик с зеркалом сзади, и в нем — столовое и чайное серебро, серебряные стопки, чарки, солонки, живописные фарфоровые чашки невской прежних времен фабрики, пастушок фарфоровый, такие же яйца пасхальные, чучело зимородка на сучке, игрушечная мышка на колесиках и еще что-то в подобном же безделушечном роде. На стенах — живописные премии «Нивы», фотографические семейные портреты, два литографированных святителя в белых клобуках, а под портретами — гимназический похвальный лист, за отличные успехи и поведение, полученный, вероятнее всего, сыном хозяина и выставленный, в черной рамке под стеклом, как гордость семьи, на почетное место.

Пока Каржоль дожидался, через «зал» прошмыгнула «куфарка» с сюртуком для барина и вбежала вслед за ней старая-престарая подслеповатая болонка, подозрительно обнюхала «чужого» и хрипло протявкала на него, но

больше «для проформы», чем в силу необходимости. Старый кот вышел тоже, — жирный, ленивый, заспанный, — и не удостоив никаким вниманием гостя, тотчас улегся в клубочек на одно из мягких кресел.

Из соседней комнаты время от времени слышалось катаральное покашливание и покахтывание хозяина, и вот, наконец, появился он сам — благоуветливый, елейный старичок, выстриженный под гребенку, с выцветшими табачного оттенка глазами, но еще бодрый, с краснинкой в лице и крепкий.

Каржоль представился и объяснил, что является к нему в силу рекомендации, данной в консистории.

— Ага, по супружеским обстоятельствам, значит? — сразу же домекнулся Малахитов. — Что же, располагайте, готов к услугам, всегда готов. Прошу покорно, на диванец, на диванец пожалуйте.

Граф уселся и, без дальних околичностей, приступил к объяснению своего дела. Старичок слушал с приятной улыбкой, сложив ручку на ручку и склонив на бочок голову, и в каждом подходящем случае одобрительно

вставлял свои немногословные восклицания, вроде: «прекрасно-с!», «бесподобно-с!», «благородно-с!», «очень хорошо-с!» Говорил он немножко певуче, слегка протягивая в каждом слове ту гласную, на которую следует ударение, отчего сама речь его получала очень подкупающий своим елейным благодушием характер.

Как и с первыми двумя «специалистами», вопрос дошел-таки до вещественных доказательств: писем, бумажника и карточки.

Ассинкрит Смарагдович благосклонно пересмотрел все это, любовался даже на соблазнительную карточку Ольги, заметив при этом: «Особа благовидная!» и на вопрос Каржоля, имеет ли все это цену в смысле доказательств, дал ответ совершенно убедительный.

— Еще бы-с! Помилуйте, как же не имеет? Непременно имеет! Надо всем воспользоваться, всем-с, дабы предстать во всеоружии. Я никогда никакой мелочишкой в этих делах не брезгаю-с. Как можно! Сам во Славнобубенской консистории некогда пятнадцать лет без малого секретарем состоял, так уж дела-то

эти, могу сказать, до тонкостей знаю. Это уж с тем и возьмите!

— Стало быть, можно обойтись и без свидетелей? — спросил обрадованный граф.

— Без свидетелей? Э-э, не-ет! Без свидетелей невозможно-с! Свидетели тут первое дело. А вот, ежели в дополнение к свидетельским показаниям да выдвинем мы еще и эти доказательства, — ну, тогда бесподобно!

А без того, они ломаного шелега не стоят и ни в какое внимание не примутся, это уж поверьте.

Быстротечная радость графа сменилась досадой и озабоченностью, и он — просто уже, чтобы душу себе облегчить, с саркастической горечью начал изъяснять Малахитову то же, что и Смаргунеру, что это-де требование закона чистейший абсурд, не выдерживающий ни малейшей критики; какие же могут быть в таких делах свидетели, которые действительно видели бы все собственными глазами! Это или насмешка над здравым смыслом или одна комедия.

— Комедия! Совершенная комедия-с, вот как на театрах все равно представляют! — не

преминул сейчас же согласиться с ним Малахитов. — И разве же кто-нибудь думает серьезно, что свидетели точно все видели? Никогда-с! Им ведь ни на волос не верят.

— Господи, что вы говорите? Ни на волос?! Так зачем же они? — горячился и возмущался Каржоль. — Ведь это же выходит сознательное допущение лжесвидетельства!

— Что же делать — закон-с! — полушепотом проговорил Малахитов, разводя руками. — И непременно сознательное, как же иначе!?

Возмущенный и точно бы подавленный негодованием, граф замолк и погрузился в досадливое раздумье, — как ни кинь, все клин ему выходит.

— Да вы, впрочем, на этот счет не беспокойтесь! — утешил его, махнув рукой, Малахитов. — Это все пустяки-с! Мы вам подыщем самых, что называется, достоверных лжесвидетелей, что хотите, покажут! Хе-хе-хе! Есть тут у меня такие дружки, под Лаврой живут, так и поселились, чтобы уж, знаете, поблизости было, не далеко ходить чтоб... Это я вам предоставлю сколько угодно!

— Признаюсь, я решительно не понимаю, — заговорил Каржоль, как бы в ответ на свою собственную, давящую его мысль, — как это отвергать доказательство прямое, неопровержимое и требовать заведомо ложного! Что за дичь такая!

— Это ничего-с, поверьте! — ублажал его Малахитов. — Только надо сообразоваться с законом. Закон требует, чтобы был лжесвидетель, — прекрасно-с! Исполним закон: лжесвидетель будет. Закон требует двух — бесподобно-с! Удовлетворим ему, представим и другого, это все в нашей власти. Сколько бы закон ни потребовал, столько и представим!

Ассинкрит Смарагдович говорил так благодушно спокойно и так уверенно, с неподдельным духом человека, умудренного громадным опытом и многолетней практикой, что у графа сложилось полное внутреннее убеждение в его пользу. Этот, мол, будет, пожалуй, понадежнее самого Красноперова! Не юрист, не краснобай, ученых степеней не имеет, к «сословию» не принадлежит, а дело, кажется, знает в корень, и даже насчет писем утешил, сказал, что пригодятся! Вот что значит опыт-

ность-то! Недаром пятнадцать лет в консистерских секретарях сидел! Может, и выгна-ли-то за взятки по этим самым делам, — ну, да что до того! Главное, — дока и, очевидно, «свой человек» у консистерских, все печки-лавочки знает, все хода-выходы, вот что важно! И какой предусмотрительный! «Закон», все «закон», даже и домик-вон «по-закону», из предосторожности, на женино имя перевел... Нет, прекрасный старичок, «бесподобный»! Только что-то заломит он за дело? То же, поди-ка, что-нибудь вроде десяти тысяч хватит? Вот и крутись тогда, как знаешь!

— Ну-с, а как же насчет вознаграждения за труды? — спросил Каржоль. — Только предупреждаю, — поспешил он прибавить, — я человек небогатый и много дать не могу. Душевно бы рад, но не из чего!

— Зачем много? Я многого не возьму, — успокоил его Малахитов. — Мы это по-божески, по-христиански, чтобы никому не обидно, ни вам, ни мне, — а что только самое дело стоит, то и положим.

— Ну, и как по-вашему? — осведомился граф. — Сколько оно может стоить?

— Да что ж, три тыщеночки положите; и довольно-с.

Тот только крикнул на это, с досадливым жестом прищелкнув пальцами.

— Разве много-с? — благодушно удивился старец. — Это уж, кажется, по совести, чего нельзя дешевле. Ведь с вас другие, поди-ка, не то заламывали! У господина Смаргунера, к примеру, изволили быть?

— Н-нет, — слегка замялся Каржоль, — а что?

— Ну, как нет! — недоверчиво мотнул головой вверх Малахитов. — Уж наверное были! Без того невозможно-с.

— Да почему вы так уверены?

— Я-то? Хе, хе, хе, батюшка мой! Потому и уверен, что знаю. Не побывавши у Смаргунера и у других, сюда никто не заворачивает оглобли. Это уж такой порядок. Ну, а как нарвутся-с, тогда и к Ассинкриту Смарагдовичу! Тогда и он хорош! Ведь правда-с?

Каржоль должен был сознаться, что так, но ведь он почем же знал? Ему в консистории рекомендовали.

— Так, так, конечно-с! Ну, и у Васьки Крас-

ноперова были?

— Был и у Красноперова.

— Та-ак-с. Вот жох, так жох, скажу я вам! Ай-ай какая выжига, — и не дай ты, Господи! — качал головой и отмахивался руками Малахитов.

— мне, напротив, — заметил граф, — он показался очень милым, душевным человеком.

— Ну, еще бы! — иронически согласился старец. — Без мыла в любую душу влезет, — тем и берет! Все мои ученики-с, — похвалился он, — ей-Богу-с! И Смаргунер, и тот же Красноперов — все мои!. Нынче-то — ух, какие важные стали! На рысаках с резинами разъезжают, на нашего брата с благородным пренебрежением смотрят, а спервоначалу-то, как только-что пошли было по этим самым бракоразводным делам, так, верите ли, редкую неделю, бывало, не заглянет с поклоном. — «К вам-де, Ассинкрит Смарагдович, батюшка! Поделитесь своей опытностью, поучите нас, молокососов, как и что!

Боюсь, мол, дело не провалить бы!» — Ну, и наставишь бывало по христианскому-то чувству. А теперь, гляди-ка, кушища какие загре-

бают, — ума помрачение!., ну, скажите откровенно, поисповедуйтесь старику, подмигнул он поощрительно Каржолу. — Шмаргун-то этот много заломил с вас?., а?..

Тот признался, что тридцать тысяч, а Красноперое — десять.

— Так, так! Это по-ихнему, по-новомодному! Совсем как следует быть! — слегка замал старец ладонями на графа. — Ну, и судите же сами: Шмаргун — тридцать, Васька — десять, а я-грешный, — только три тысчонки! А ведь дело-то все одно же. Что за тридцать, что за три, — работа все та же!.. Дурак и даст пожалуй тридцать, коли богатый, а не богатый, или который порассудительней, плюнет, да ко мне же придет. От того и дел этих у меня больше-с. Ястреб и высоко летает, да редко хватает, а курочка по зернышку клюет, да сыта бывает. Так-то-с!

Каржоль согласился, что три тысячи, конечно, немного, но беда в том, что сразу дать такую сумму он никак не может.

— Зачем же сразу? — Сразу не надо, я и не прошу сразу! — убедительно принялся уговаривать его Малахитов. — Что я христопрода-

вещь какой, что ли, чтобы взять человека за горло и душить?!. Я же ведь понимаю, — всякий дает по силе своей возможности: может человек сразу — прекрасно-с! не может, — и пречудесно! Все равно, частями получим в рассрочку.

Граф сознался, что это для него самое удобное.

— Ну, все конечно-с удобнее! еще бы!.. Сначала на подъем дела, на посошок, что бы ходчее шло, вы, разумеется, выдадите мне малую толику, рублишек эдак триста, пятьсот даже, коли не трудно, а там — по мере течения, сами будете видеть. Где нужна подмазка, там подмажем, но в меру, без баловства, и все это, даст Бог, кончим-с миром, благородно, по-божески, как следует.

Каржоль был внутренне в восторге. — Вот стоворчивого человека судьба послала! Не человек, а просто клад!.. Ни к кому больше и ехать не стоит, — с ним кончать сейчас же!

И он протянул Малахитову руку в знак своего окончательного решения, даже предложил задаток, если тому угодно.

— Зачем же задаток? — Это излишне-с, от-

казался деликатно старец. — Мы все это оформим законным порядком, — пояснил он. — Сначала между собой условице заключим-с, вы мне установленную доверенность выдадите, затем прошеньице по пунктам составим, вы его представите в консисторию, — вместе пойдем, — там его в очередь подвергнут рассмотрению-с и составят постановление о начатии дела, равно как и о вызове супруге вашей к заслушанию прошения вашего, ну, и так далее, по порядку-с. А при подписании условица, вот вы мне тогда сотняжки три-четыре пожалуете, — это я не откажусь, потому тут сейчас же кое-какие расходы будут.

Каржоль, удивляясь в душе нелюбостязательности Малахитова, охотно согласился на его предложения и только просил как можно скорее начинать и еще скорее кончать всю эту консисторскую процедуру.

— Хе, хе, хе! Раньше срока не кончим, — пожал плечами старец. — Всякому овощу свое время, говорится, — так и тут: пошлют супруге через полицию позывную повестку, к заслушанию то есть, — ну, а она может и уклониться, конечно; медицинское свиде-

тельство представит, — вот и заковыка-с!..
Глядь, — неделя, другая и уплыла, а дело пока
стоп!.. Затем иерея пошлют еще, и к вам, и к
супруге-с.

— Это зачем еще? — удивился граф.

— А как же-с? Неприменно иерея! Без
иерея нельзя, таков порядок, потому как он
должен увещевать вас пастырским словом
своим, чтобы склонить стороны к миру. Ну,
вы тогда, конечно, сейчас же царя Алексея
Михайловича ему в руку — красненькую то
есть, — знаете, по докторски, при пожатии;
он и отрепортует в консисторию, что увеще-
вал, мол, и склонял, но стороны остались,
упорствуя в закоснении своих враждебных
чувств. Вот тогда уж и пойдет настоящий про-
цесс! Вызовут свидетелей, потом супругу-с
для законных возражений с ее стороны, оч-
ной свод им сделают, те будут уличать, она
отрицать и, быть может, даже своих собствен-
ных свидетелей выставит, — ну, тогда уже мы
возражать будем, в дополнение-с. Потом судо-
говорение, — тут уж вы только на меня смот-
рите и делайте то, что я вам заранее укажу, —
все хорошо будет!.. Ну-с, а затем, консистория

постановит свое определение-с; недельки через полторы нам его объявят в окончательной форме, и тогда-вот мы вас поздравим и выпьем, пожалуй, вкупе по бокальчику-с. Вот, дело-то и в шляпе будет. Чудесно-с!..

И на этом Каржоль расстался с ним — до скорого свидания, совершенно успокоенный, уверенный в успехе, полный самых радужных надежд на будущее и как нельзя более довольный своим «специалистом». Судьба как будто начинает опять ему улыбаться, счастливая талия снова идет ему в руку.

XXXV. «СУДЬБА» ОПЯТЬ СТАВИТ БАРЬЕРЫ

Через три дня формальное условие и доверенность были уже составлены Малахитовым и подписаны графом у нотариуса, а еще через три дня он, вместе со старцем, представил прошение свое в консисторию, и дело пошло обычно практикуемым порядком.

Прошло дней двенадцать. Каржоль за все это время успел уже совершенно войти в свою нормальную колею, вполне приспособился к условиям новой своей жизни и к «нумерному режиму» Амалии Францевны, шутил и забавлялся в одинаковой мере и с нею, и с ее попугаем: попугая дразнил и переучивал с немецкого на французский язык, против чего всегда восставала хозяйка, в качестве прирожденной тевтонки, а перед самою тевтонкой в шутку вздыхал сентиментально и не без тонкого комизма отвечал порою на ее кокетничанье, что не мешало ей, однако же, принимать это в несколько серьезную сторону и питать про себя некоторые сладкие

надежды. Словом, он обжился в «шписовских номерах», сделался там как бы своим, человеком, даже принимал, при посредстве Амалии Францевны, платоническое участие в интересах и быте своих соседей и соквартирантов, то есть, попросту, слушал о них ее разные сплетни, в особенности «пикантного» характера, с удовольствием пил по утрам «Milchcaffé», читал «Петербургскую газету», чтобы быть au courant новостей дня и репертуара, «фриштыкал» вместе с Fraulein Amalia, затем где-нибудь фланировал до обеда, — и этот беспечный и дешевый образ жизни даже очень ему понравился. Прежних знакомств своих он пока еще не возобновил, не желая стесняться перед бывшими приятелями нынешнею своею «номерной» обстановкой, но не удержался, чтобы несколько раз за эти дни не побывать и в «Ливадиях», и в «Аркадиях», и в «Демидронах», — нельзя же без того: сердце не камень, да и что иначе делать в Петербурге летом!

Беспечно сидел он однажды после завтрака у себя в комнате, просматривая по «Петербургской Газете» дневной репертуар загород-

ных театров и раздумывая, каким образом убить бы ему сегодня свое время до обеда, как вдруг в его дверь постучались. Он пригласил войти, — и на пороге, к удивлению его, оказался запыхавшийся от высокой лестницы Малахитов.

— Ассинкрит Смарагдович! Драгоценнейший гость! Какими судьбами?! Что скажете, почтеннейший.

— Да что, батюшка, скверно-с! — вздохнул тот, хлопнув себя об полы руками.

Физиономия Каржоля недоумело вытянулась.

— Что такое? — спросил он упавшим голосом.

— Заковыка-с!.. какой и не чаяли, — вот какая-с!

— Да в чем дело?.. Не томите, Бога ради, говорите прямо!..

— Я и то прямо-с. Ея сиятельство, супруга-то ваша-тю-тю!..

— Как тю-тю?! — вскочил Каржоль с места, точно ошпаренный.

— Так-с! На месте жительства не оказалась, — объявил старец, обтирая фуляровым

платком со лба обильную испарину, — послали эта ей из консистории позывную повестку, а участковый пристав возвращает ее вдруг вчера с сюрпризом, надписью на сем же: «отмечена такого-то числа выбывшею за границу». Вот-те и свечка!

— Да быть не может! — воскликнул взволнованный Каржоль. — Это какая-нибудь увертка!.. Непременно увертка, не иначе!

— Я и сам так думал, — подхватил Малахитов, — я и сам-с, а потому сегодня же утречком, желая удостовериться, самолично поскакал к ним, то есть к ее-то сиятельству, на квартиру, на площадь Большого театра. Был-с!

— Ну, и что же?

— Никаких сомнений. Я было и за старшего дворника, и за швейцара, и за книгу даже домовую — покажи-ка! для убеждения совесть, знаете, — ну, и никаких! В Париже-с. Уехали еще в мае, квартиру за собой оставили, и раньше как к концу сентября не будут.

— Что-ж теперь делать? — воскликнул в истинном отчаянии Каржоль, в конец пораженный и ошеломленный этим ужасным для

него известием.

— Ждать! — развел руками Малахитов. — Что ж тут больше?.. Ничего не поделаешь!

— Ждать... да если невозможно ждать!..

Вам-то ждать хорошо, а каково мне!.. Я к осени непременно — поймите вы, — непременно должен быть разведен, от этого вся судьба моя зависит!.. Если нужно денег — возьмите, пожалуйста, я не постою за этим, только Бога ради не затягивайте!.. Нельзя ли как-нибудь без нее порешить?

— Без ее сиятельства-с? — Невозможно. Об этом и думать нечего.

— Разве не может быть постановлено заочное решение?

— Заочное? — Что вы помилуйте!.. Ведь это не у мирового судьи-с! Тут должны быть в самой точности соблюдены все формы и требования закона, дабы обвиняемой стороне предоставлено было право самоличной защиты. А иначе, святейший синод не утвердит решения. Это так не делается-с.

Каржоль в отчаянии схватился за голову и заходил по комнате. Что ж теперь делать? Боже мой, что делать ему?! До осени. — Шутка

ли, терять задаром столько времени!.. А осенью нагрянет Тамара, и процесс совпадет как раз с ее приездом... Как он будет изворачиваться тут перед нею? Чем отговариваться? Придется опять затягивать, откладывая со дня на день свадьбу. — Но какие же причины представит он в оправдание этой затяжки? Поневоле ведь она может усомниться в нем наконец, подумать, что он отлынивает и только морочит ее. Господи, да что ж это такое?!

Малахитов, как мог, принялся было утешать его и представлять свои «резоны», что дело, мат, от этого нисколько не пострадает, и что осенью, чуть только супруга препожалует сюда, ее сразу же привлекут, и тогда уже не отвертится! А он, со своей стороны, постарается повести дельце как можно энергичнее, на всех парах, и в заключение все будет бесподобно. — Но что могли значить все эти «резоны» и утешения добрейшего Ассинкрита Смарагдовича пред внутренними соображениями Каржоля, которыми не мог же он откровенно и, так сказать, наголо с ним делиться!

В это время вошла в комнату кухарка-чухонка и подала графу письмо со штемпелем городской почты. Но тот, в пылу своей острой озабоченности досадным оборотом обстоятельств, не обратив внимание на штемпель, и только неприятно удивился, — кой-черт еще вздумал некстати присылать ему письма? Откуда это и от кого принесла нелегкая? — Быстро сорвал с досадой конверт, он пробежал письмо глазами и просто остолбенел от внутреннего ужаса.

«Третьего дня», прочитал он, «я приехала в Петербург и, справясь в адресном столе о вашем адресе, спешу уведомить, что последнее письмо ваше было получено мною в Сан-Стефано незадолго до моего отъезда. Если желаете видеть меня и переговорить, назначьте время, я буду ожидать вас.

Самым удобным местом для нашей встречи, мне кажется, могла бы служить приемная зала нашей общины, в здании которой я и живу теперь временно. На всякий случай, прилагаю адрес общины. Тамара.»

«Этого только недоставало!»-мысленно воскликнул Каржоль, опуская обессилившие

руки. «Той нет, эта прискакала!.. И какой странный, холодный тон письма, сухость какая-то, — даже не похоже на Тамару, точно бы это совсем другая женщина пишет! Поразительно даже!.. Что бы это значило? Гневаться изволит? Но нет, каким образом, вместо осени, и почему это вдруг теперь она прискакала? Неужели же вследствие его последнего письма? — Очевидно, не иначе. Да, гневаться изволят, но прискакать не замедлили. — Ах, и дернула же его нелегкая поторопиться с отправкой этого несчастного письма!.. Это черт знает что такое!.. Сунуться в воду, не спросясь броду, не справясь сначала здесь ли Ольга, не начавши бракоразводного дела, не сообразившись со своим положением, — то есть, глупее, смешнее, мальчишнее поступить было невозможно! И все это наделал он — он, считающий себя таким умным, таким тонким человеком!.. Какая неосторожность! какой жестокий промах!.. Ну, и что ж теперь? — Надо отвечать, спешить на свидание, лгать, притворяться, изображать собою счастливейшего смертного, когда у самого кошки скребут на сердце... Отвечать... Что отвечать?.. А не отве-

тить — еще хуже: зная адрес, она, пожалуй, сама прискачет к нему завтра, послезавтра, — не все-ль равно, когда! — каждую минуту может, хоть сейчас!.. Нет, тут остается одно: бежать, бежать, скорей из Петербурга, бежать сегодня же, пока она не успела еще накрыть его. Куда? — все равно! Хоть в Москву.

«Да, в Москву! Это — идея! — И там, в Москве, выждать событий. Из Москвы, обдумав хорошенько, он может дать ответ Тамаре. Можно будет уверить ее, что письмо ее уже не застало его в Петербурге и было переслано ему квартирною хозяйкой в Москву, куда он накануне вечером должен был выехать экстренным образом, по крайне важному для него делу, — ну, и так далее, там уже что-нибудь придумаем.»

«Да, это так. Ничего иначе не остается, и надо ехать сегодня же.»

«Судьба, как видно, ставит ему новый барьер, но он через него перескочит. — Он не сдастся! En avant, sapristi!.. и нечего больше раздумывать!»

Малахитов все время молча «пристойным образом» следил за Каржолем и замечал про

себя, что с ним как будто творится «нечто неподобное»: должно быть, получил еще какую-то загвоздку, — даже в лице переменялся. Но «вопрошать» его он не считал «благодарным» и потому делал вид, будто ничего особенного не замечает, хотя самому, в душе, очень хотелось бы знать, для разных своих «приватных» соображений, что случилось и что за письмо получено графом?

Но граф начал первый, и тем отчасти удовлетворил его молчаливому любопытству, объявив, что вследствие этого письма, должен сегодня же ехать в Москву. Сколько времени придется там пробыть, — пока и сам еще не знает; но во всяком случае просит почтеннейшего Ассинкрита Смарагдовича устроить через какого-нибудь подходящего человека наблюдение в доме графини; если неравно ей вздумается вернуться раньше осени, то чтобы знать это тотчас же. — И тогда, как только она приедет, вы сейчас же давайте мне знать телеграммой, — и я немедленно же явлюсь.

— Что ж, это возможно, — охотно согласился Малахитов. — Самое лучшее, через местно-

го околodочного: им-то, в участке, это будет сейчас известно, и они не умедлят. Можно будет пообещать за это... поблагодарить... Это легче легкого- с, будьте покойны!

— Значит, я в надежде? — протянул Каржоль ему руку. — А пока извините, многоуважаемый!.. Некогда, надо торопиться.

По уходе Малахитова, граф сейчас же отправился к Амалии Францевне и объявил ей о своем отъезде. Та даже руками всплеснула: «Mein Gott, ist es möglich?!» — но он утешил ее, что уезжает по экстренному делу не на долгое время, и даже часть вещей своих оставляет у нее, — значит, это может служить ей ручательством за его скорое возвращение; комнату его, если хочет, может пока сдать, чтобы не стояла даром, но по приезде, он опять займет ее, непременно ее же. А главное вот что: если на сих днях будет кто-нибудь его спрашивать, — кто бы ни пришел, мужчина ли, дама ли, — говорить всем, что граф еще вчерашнего числа вечером (число заметьте! не перепутайте!) уехал экстренно в Москву и велел все письма, какие будут, тотчас же отправлять к нему в гостиницу Дюссо, — это, мол, его мос-

ковский адрес, — и одно-де такое письмо уже отправлено. Не забудьте же, главное, что уже отправлено, нынешнего числа; как только было получено, сейчас же и отправили. — Понимаете? — А если спросят, когда граф будет назад, отвечать, что неизвестно. Так и прислуге всей приказать, чтобы хорошенько запомнили. Амалия Францевна, хотя и с сердечною грустью (Ах! могла ль она не грустить!..) примирилась с мыслью о необходимости временно расстаться с таким прекрасным жильцом и дала ему слово исполнить в точности все его распоряжения, а затем даже сама пошла помогать ему укладываться.

В тот же день, захватив с собой лишь один чемодан с бельем и костюмами, граф с курьерским поездом уехал в Москву. Слава Богу, критическая минута пока миновала! Авось он и совсем избежит ее!

XXXVI. НА РАСПУТЬИ

Напрасно прождав два дня ответа на свое письмо, Тамара — как ни претило ей это, но нечего делать — решилась отправиться сама в «шписовские нумера», чтобы отыскать там Каржоля или узнать, по крайней мере, причину его странного молчания. Да и надо же было наконец объясниться с ним положительным образом, чтобы выяснить себе, во-первых, целый ряд недоумений, невольно вызванных в ней его последним письмом, полученным ею в Сан-Стефано, а затем узнать от него что-либо определенное и насчет их предполагаемого общего будущего. Последняя задача в особенности казалась ей неприятною, неловкою (точно бы она сама навязывается ему!), но Тамара надеялась, что, вероятно, сам граф облегчит ей эту тяжелую задачу, заговорив первый о своих намерениях и шинах. Если свадьба, то когда же именно? Узнать относительно этого что-нибудь ясное и точное было ей необходимо, потому что хотя она и пользуется теперь гостеприимством общины, но оставаться в таком неопределенном поло-

жении продолжительное время, жить как бы «на хлебах из милости», не вступая в штат общинных сестер и тем, быть может, отымая место у какой-нибудь другой кандидатки из числа ожидающих, как манны небесной, открытия штатной вакансии, — казалось Тамаре не совсем удобным и справедливым. Она еще в Сан-Стефано заявляла начальнице и некоторым другим сестрам, что пребывание ее в общинном доме будет непродолжительно, лишь на первое время, пока она не устроится иначе. Поэтому, если свадьба не может почему-либо состояться в скорости, то ей надо немедленно же подумать, как именно устроиться в ожидании дальнейшей перемены своей судьбы. Все это, думалось ей, может быть решено только после объяснения с графом, и потому последнее представлялось совершенно необходимым теперь же.

В «шписовских номерах» прислуга ей сказала как раз то, чему научил Каржоль хозяйку пред своим отъездом. Впрочем, услышав из своей комнаты, что чей-то незнакомый, молодой женский голос спрашивает графа Каржоля, Fraulein Amalia не утерпела, чтобы

тотчас же не выскочить в коридор самой и не посмотреть из любопытства, а отчасти и из ревнивого чувства, кто спрашивает и зачем.

Тамаре стало очень досадно, когда она узнала от самой Fraulein Schriess день и число отъезда графа, — досадно потому, что день этот совпал как раз со днем и даже чуть не с часом отправления к нему ее письма, — точно бы судьба нарочно устраивает им игру в прятки! Она сюда, он отсюда! Что за странная случайность!.. Но ей было утешительно, по крайней мере, узнать, что письмо ее, полученное в «нумерах» будто бы на другой день утром после его отъезда, было немедленно же отправлено к нему в Москву, как и все вообще письма, получаемые на ее имя. Славу Богу, хоть не пропало, и теперь ей можно быть уверенной, что оно дошло по назначению, — стало быть, граф не может не ответить, и ответ его, по всей вероятности, не замедлится: она получит его не сегодня-завтра. На вопрос о времени возвращения графа в Петербург, Fraulein Amalia согласно данной ей инструкции, не ответила ничего определенного: может быть скоро, а может и нет, смотря по то-

му, как дела позволят, так как он сказывал-де, что уезжает по очень важным и экстренным делам. Что же касается его московского адреса, то Тамаре показалось, что замаявшаяся хозяйка как будто затрудняется или даже просто не хочет сообщить его, — зачем-де надо вам адрес?

— Понятно, затем, чтобы писать к нему.

— Aber alle Briefe kann man hier adressiren, — они все равно зайчас переслайт nach Moskau, к каспатин грааф.

Такая уклончивость показалась Тамаре странною и даже несколько подозрительною, — точно бы Каржоль от кого-то и зачем-то скрывается. Да не менее странным показался и самый тон, каким говорила с нею эта наштукатуренная и подрисованная особа со взбитою прической, — тон недовольный, подозрительный, двусмысленный какой-то, как будто она считает ее Бог знает за кого, или даже ревнует ее к Каржолю, и это тем более чувствовалось, что во все время разговора в прихожей, Fraulein Schpiess не переставала пытливо оглядывать Тамару довольно неприязненным взглядом. Тем не менее, эта послед-

няя уже с некоторою настойчивостью «попросила» сообщить ей адрес Каржоля. Но та все-таки продолжала уклоняться под тем предлогом, что если граф будет отвечать ей на письмо, то, конечно, сам не преминет сообщить и свой адрес, коль скоро найдет это нужным. Это было совсем уже глупо, как и вообще все объяснение с нею немки, совершенно выходящее из рамок инструкции, преподанной Каржомем: но Fraulein Amalia добросовестно вообразила себе, что она оберегает этим его интересы и спокойствие, так как он, уезжая, в особенности внушал ей, что, быть может, его будет спрашивать какая-то дама, и — почему знать, — уже не от этой ли самой дамы он и уехал так поспешно и такой взволнованный? Может быть, она его преследует и, может, поэтому-то ей вовсе не следует знать его адрес? Между тем, такая странная скрытность квартирной хозяйки, женщины, казалось бы, совершенно посторонней графу, еще более усилила подозрение Тамары, что отъезд его последовал неспроста, что Каржоль действительно находит нужным скрываться. Но от кого — от кредиторов? от евреев? Этого не мо-

жет быть: по его словам, единственным кредитором его был ее дед, которому уже уплачено все сполна, как сам же он писал ей, а с Украинскими и «Товарищескими» евреями все дела и счета его тоже кончены, и опять-таки сам же он, в том письме своем, сообщал ей, что теперь он свободен, что ему незачем насиловать себя и скрываться и что поэтому он пишет ей совершенно открыто. Ведь это же его подлинные слова, — так от кого же и зачем ему прятаться? Уж не от нее ли самой? Больше, казалось бы, не от кого, и в особенности здесь, в Петербурге. А может быть, он и вовсе не уезжал отсюда?.. Может, он здесь, — даже и в эту самую минуту здесь, за стеной, за этою вот дверью, и только заранее, на случай ее прихода, велел сказать ей — именно ей, что уехал?.. Может, он почему-то не желает видеться с нею? Но в таком случае, зачем же ему было писать к ней в Сан-Стефано!.. Или эта немка все врет сама от себя? Зачем, с какой стати? Из ревности разве? Она смотрит так, как будто и в самом деле ревнует ее к Каржолу. Это еще что такое?! — И Тамара должна была сознаться самой себе, что изо

всей этой путаницы ее собственных предположений, в связи с этим скрываемым адресом и вообще каким-то сторожким по отношению к ней поведением этой разрисованной особы, выходит что-то странное, совсем непонятное.

— Разве это такой секрет, его адрес? — с удивлением спросила она. — Или вам не приказано сообщать его?

— Нээт, эти не зекрэт, и граф не приказил, нишиво не приказил... Aber warum brauchen sie das?.. Bitte, Mamsell, sind sie eine Verwandte des Herrn Grafen, oder etwas... так только?

Оставив последний, довольно наглый вопрос без ответа, Тамара вынуждена была наконец высказать ей, что если граф точно в Москве, то скрывать его адрес более чем странно и совершенно бесцельно, так как ей достаточно послать запрос о нем открытым письмом в московский Адресный стол, чтобы через день получить его официально; но это будет только лишняя проволочка времени.

Однако умная Fraulein не вразумилась и этим аргументом. Не находя, что ответить, она только оглядела еще раз Тамару неприязненным ревнивым взглядом и, величественно

но повернувшись к ней спиной, удалилась, не дожидая ее ухода, в свою комнату.

Не добившись никакого толку, Тамара ушла из «шписовских номеров» расстроенная, раздосадованная и в полном недоумении, что все это значит и что теперь ей делать? Во всем поведении Каржоля относительно ее, казалось ей, было что-то загадочное. И в самом деле, это его молчание, длившееся чуть не год и неожиданно прерванное последним письмом, эти странные оправдания, какими оно наполнено, и теперь вот этот внезапный, совпадающий как раз с ее приездом, отъезд его в Москву по каким-то «делам» (и все-то у него «дела», везде «дела и дела»... Что это за «дела» такие?) это скрыванье своего адреса (Тамаре вспомнилось, что и в последнем письме своем он тоже не сообщал его) и, наконец, эта странная, двусмысленная какая-то ех-красавица с ее ревнивыми, наглыми взглядами и неприличным нахальным тоном, которая нашла уместным быть как-то настороже при объяснении с нею, точно бы это в ее интересах скрывать, где граф находится, — да что ж это такое?! Во всем этом

чувствуется какая-то темная и, быть может, не совсем-то хорошая подкладка. Люди с чистыми делами и чистой совестью едва ли так поступают. Уже в письме его чувствовалось ей недоговоренное, как будто он что-то скрывает от нее, и теперь вот опять скрыванье чего-то и от кого-то. Зачем все это? И что такое, наконец, этот граф Каржоль, в самом деле? Каков его нравственный облик?

Тамара даже сама смутилась от этого своего вопроса, еще впервые поставленного ею пред собою так жестко, с такою беспощадною наготой и прямолинейностью. Правда, явился он у нее в минуту большого огорчения своею неудачей и под влиянием гневной досады на графа и на всю неприятную, подлую сцену, какой она только что подверглась «в нумерах», но тем не менее, уже явился — вот что важно в перипетиях ее чувства и отношений к Каржолу, — граф сам довел ее до этого. — По крайней мере, за самую возможность подобного вопроса она не себя, а его упрекнула.

И вспомнился ей тут Владимир Атурин в минуту последнего их свидания в сан-стефанском госпитале, когда она сообщила ему о

своём отъезде в Петербург для предстоящей вскоре свадьбы; вспомнились его слова: «Да знаете ли вы, наконец, человека-то этого? хорошо ли знаете его?»— слова, горячо и невольно вырвавшиеся у него из сердца. Но увы! — она сама остановила его тогда, сказав, что если раз уже решилась на такой шаг, то ничего больше знать ей не следует. Этими своими словами она отрезала себе отступление. А ведь Атурин, по всей вероятности, знал что-нибудь про графа такое, что могло бы еще вовремя остановить ее. И она захотела этого, она предпочла отвергнуть собственное счастье с дорогим любимым человеком, чтобы «платить старый долг» и, во имя этого долга и данного слова, изломать себя всю до корня и идти до конца на неизвестное. На кого же пенять теперь, как не на самое себя! — И вот, это «неизвестное» уже начинает развертываться перед нею, и она стоит пред ним, точно бы на каком-то распутии, в темную ночь, не зная, куда идти, на что решаться и что будет далее.

По возвращении ее в общинный дом, швейцар подал ей телеграмму, полученную в

ее отсутствие. — Неужели от Каржоля? — подумалось ей с несколько тревожным чувством в душе, как словно бы она уже не ожидала от него для себя ничего хорошего. Вскрыв ее тут же на нижней площадке лестницы, Тамара прежде всего взглянула на подпись, — там стояло «Каржоль».

«Рад несказанно приезду», писал он. — «Какая досада, что лишен возможности сейчас же возвратиться в Петербург. Крайне важные, нетерпящие дела призывают немедленно в Кохма-Богословск, потом во Владимир, Нижний, может быть, Пермь. От этого все зависит. Умоляю не беспокоиться, ждать терпеливо и верить по-прежнему. Как только кончу, прилечу тотчас. До свидания, дорогая».

Известие это несколько успокоило Тамару. — Стало быть, граф действительно в Москве, и ей не солгали в «нумерах», утверждая то же самое. Это обстоятельство дало ей справедливый повод тут же упрекнуть себя за свою чересчур уже подозрительную, мрачно настроенную мнительность. Из телеграммы видно, что он вовсе и не думает скрываться, как вообразилось ей вдруг с чего-то! — напро-

тив, поспешил откликнуться тотчас же, и так тепло, так обрадованно. Что ж, может быть, и в самом деле, выдалась такая случайность, что ему пришлось уехать как раз накануне, тем более, что не мог же он святым духом знать о ее приезде! Судя по сан-стефанскому письму, он ведь рассчитывал на ее возвращение не раньше осени, вместе с другими сестрами. А дела, — что ж, быть может, и взаправду дела эти так важны, что их невозможно бросить. Быть может, от них зависит все его будущее благосостояние. Во всяком случае, она слишком поддалась впечатлениям своей досады и слишком поспешила осудить его — может быть, даже не заслуженно. А отчего? Не оттого ли, что уже не любит его больше по-прежнему и не прочь бы отделаться от него? Это гадко. В этом ей стыдно сознаться самой себе, но это так. И теперь, если заглянуть поглубже в ее душу, — не рада ли она для этого придирааться ко всякому подходящему случаю?

Не готова ли всякую свою досаду и неудачу, как и сегодня вот, вымещать на Каржолу и выискивать в нем, ради своего собственного

оправдания, всякие слабости, недостатки, пороки, упрекать и винить во всем его, и только его, тогда как, в сущности, не сама ли она больше всех виновата: Нехорошая-то, выходит, она сама, потому что в глубине души ей хочется, вместо Каржоля, видеть своим мужем Атурина. Темная-то подкладка, вот она где! — не в нем, а в ней самой, в ее собственном, охладевшем к нему сердце. А он, может быть, все еще любит ее и верит в нее по-прежнему, и бьется, как рыба об лед, с этими своими «делами» из-за того только, чтобы устроить их же обоюдную будущую судьбу, чтобы для нее же, для «своей Тамары», доставить больше удобств и спокойствия в обеспеченной жизни. А она? Всю дорогу от Сан-Стефано до Петербурга, вспомнила ли она хоть раз о нем без затаенной горечи и желчи, без смутного страха за предстоящее свидание с ним и за надвигающуюся все ближе и ближе развязку, в виде неизбежной свадьбы, которую она была бы рада отдалить как можно больше? Нет, с самой минуты разлуки и до сегодня она думала и скучала только об Атурине, только его образ царил в ее воспоминаниях, — и это

готовясь быть женою другого!.. И после этого она смеет еще себя оправдывать! Нет, она не права, глубоко не права пред Каржолем, и потому обязана искупить свою вину, если бы и потребовалось для этого принести себя в жертву. Что же делать, когда обстоятельства, по-видимому, слагаются так, что судьба ее — хочешь, не хочешь — должна быть связана с этим человеком!.. Надо примириться, — этого требует долг и честь ее и, наконец, по отношению к Каржолю — просто человеческое чувство справедливости.

Так думала теперь Тамара после телеграммы и рассчитывала, что эта телеграмма, вероятно, не будет последнею, что вслед за нею, конечно, придет подробное письмо, которое граф не преминет написать ей при первой возможности, и, наконец, что отсутствие его не должно быть продолжительным, особенно, когда он уже знает, что она в Петербурге. Поэтому Тамара положила себе последовать совету и просьбе самого же Каржоля и ждать спокойно его возвращения, тем более, что пристанище обеспечено ей пока в доме общины.

Но вот прошло уже около двух месяцев. Сентябрь стоял на исходе, а между тем, о Каржоле, после его телеграммы, — ни слуху, ни духу! Опять словно в воду канул. Чем дальше шло время, тем сильнее становилось скрытое беспокойство Тамары пред неизвестностью о своем будущем. Маленькая искорка чего-то, вроде веры в Каржоля, вспыхнувшая было в ее душе после его отклика из Москвы, опять понемногу угасла в ней под наплывом сомнений, недоверия и даже злобы на этого человека, так бесцеремонно играющего ее судьбою. Да черт с ним, наконец! Что она за дура такая, чтобы вечно убаюкиваться его сладкими словами и обещаниями и покорно ждать редких проявлений его внимания, когда-то еще будет ему угодно оказать ей такую благосклонность!.. Да, права была сестра Степанида, когда советовала «плюнуть» на него и не думать больше об этом браке, в котором, как видно, ничего путного не будет... Вот и опять пропал, опять упорно молчит, не пишет... Уже не опять ли какие-нибудь зимницкие интенданты да Мариуцы причиной тому? — Ведь неда-

ром же писали тогда в газетах. — А она жди, как покорная овечка, пока соблаговолят о ней вспомнить! Нет, кончено! Пора взяться за ум, пора самой самостоятельно подумать и позаботиться о своей судьбе. Изо всей этой канители, очевидно, ничего не выйдет. И позаботиться надо теперь же, не теряя ни одного дня, потому что в общине получено уже официальное извещение, что сестры, командированные на Балканский полуостров, должны прибыть сюда в непродолжительном времени, и в доме все уже готовится к их приезду и встрече. Тамаре, стало быть, придется уходить. Оставаться в общине, памятуя интриги «партии» и придирки старшей сестры, ей не хотелось: в этом отношении довольно с нее и сан-стефанйких испытаний! Да и самолюбие не позволяло оставаться. — Как! они опять увидят ее здесь и не замужем, после того, как она, пред отъездом своим, объявила всем, что не останется в сестрах, и разблаговестила об ожидающей ее свадьбе? — Нет, это невозможно. Подумать только, сколько предстоит ей встретить язвительных взглядов, улыбочек, удивлений и притворных сожалений!

ний, сколько новых сплетен и пересудов!.. Нет, этого она переносить не намерена и постарается уйти ранее их приезда.

Но как и куда уйти? — вот вопрос. К кому обратиться за советом и содействием.

Прежде всего ей вспомнилась высокая восприимница ее от купели. К ней разве? — Чего же ближе, казалось бы, и тем более, что она так добра и встретит свою крестницу, конечно, благосклонным образом. Но тут взяло Тамару некоторое раздумье. Великая княгиня и без того уже сделала для нее все, что было в ее возможности: помогла ей средствами, одеда, обула ее, устроила ей обеспеченную жизнь в общине. С чем же придет Тамара к ней теперь, с какой просьбой, и что скажет на самый естественный вопрос: почему вы не хотите оставаться в общине? Разве там так нехорошо? — Ну, и что ж отвечать на это? — Да, нехорошо, мол, потому что там завелись партии, дразги, сплетни, интриги, отравляющие все существование, то есть, другими словами, пожаловаться ей на общину, на старшую сестру, на добрую старушку-начальницу. Да разве это благовидно! И разве ее высокая

покровительница не вправе будет посмотреть на нее самое как на первую интриганку и каверзницу, которая поторопилась бежать к ней ранее приезда прочих? А если скрыть настоящую причину своего нежелания оставаться в общине, то чем же тогда объяснить его? Неспособностью к делу? — Об этом и заикнуться странно было бы после такого опыта в течение целой войны. Желанием перемены места и деятельности, желанием большей свободы и самостоятельности? — Но ведь тогда великая княгиня, конечно, взглянет на это как на вздорный каприз, не более, и будет совершенно права со своей точки зрения, потому что если живут в подобном положении другие сестры — и сколько еще! — живут и не жалуется на свою участь, а делают добросовестно свое скромное дело, то чего же ей-то еще нужно!? Что она за феникс такой?! — Живи, как другие, благо тебя устроили, дали приют и кусок хлеба, и возможность честно работать, — чего ж еще больше?.. И в самом деле, с какой стати и с какого права пойдет она обременять свою высокую восприемницу лишними заботами о се-

бе, когда у той и без нее довольно дела? Не слишком ли это будет притязательно и даже дерзко с ее стороны? — Нет, и так и сяк, это дело не подходящее. Надо искать другого пути. К кому же? К отцу Александру, который крестил и наставлял ее в вере? — О, да, с его стороны она несомненно встретит полное к себе сочувствие, он сумеет раскрыть-всю ее душу, вызвать ее на полную откровенность, и у него наверное найдется для нее живое, теплое слово утешения и христианской любви; все это так; но он — что же может он сделать для нее, кроме как только посоветовать смирить себя и оставаться в общине! А в общине она уже ни за что не останется, — нет, самолюбие и гордость ее в этом случае сильнее. И если бы даже отцу Александру и удалось уговорить ее, то это будет лишь на время: жизнь возьмет-таки рано или поздно свое! И что же тогда? — Интриги и мелкие дразги пойдут своим чередом, а самолюбие и гордость ее возопиют снова и, кроме новых пут и новых нравственных мучений для нее впоследствии, из этого ничего не выйдет. Нет, оставаться в общине нельзя, это уже решено, — и

надо, стало быть, искать исхода самостоятельно. У нее остается еще около сорока рублей из выданного ей в Сан-Стефано пособия; с этими деньгами можно, пожалуй, перебраться, хоть на первое время, на частную квартиру, нанять себе за дешевую цену маленькую комнатку со столом в каком-нибудь скромном семействе, на Выборгской или на Петербургской, и публиковаться в газетах. Ведь у нее есть диплом об окончании курса в гимназии первую ученицей, с золотою медалью, — неужели с таким веским дипломом не найдется для нее где-нибудь места домашней учительницы, гувернантки? Она может, наконец, быть приходящею и давать уроки в разных домах, по часам, или заняться перепиской, корректурой, переводами, — ведь она так хорошо знает языки, — стоит только обратиться в редакции, в типографии, в конторы, в банки, в комиссионерства, — не там, так тут наверное найдется что-нибудь подходящее.

* * *

Почти в таком же положении, как Тамара, временно пребывала с нею в общинном доме и другая добровольница, Любушка Кучаева, по-

ступившая в «Красный Крест» на время войны и работавшая вместе с Тамарой в сан-стедфанском госпитале. Она возвратилась в Петербург тоже «на поправку», вследствие перенесенной болезни, но приехала несколько позднее Тамары и была помещена пока, до приискания себе места, в одной с нею комнате.

Кучаева не принадлежала к «партии», и потому отношения между обеими сожительницами были добрые, товарищеские. Общность нынешнего своего неопределенного положения поневоле сделала их откровенными между собою и заставила сочувствовать друг дружке и делиться предположениями и планами насчет устройства собственной жизни. Скромные планы эти не выходили из тесного круга забот о том, как бы и ще бы получить подходящее место, которое давало бы маленький кусочек хлеба. Кучаева была вообще гораздо практичнее Тамары, в некотором роде «кулак-девка», несравненно больше ее потерялась в жизни, вкусив от древа познания добра и зла и, как прирожденная петербуржанка из сословия разночинцев, хорошо зна-

ла условия здешней жизни и общее положение «мыслящего пролетариата». Кроме того, она сумела сохранить еще от времен своих «медицинских курсов» кое-какие отношения и связи в круге профессоров и дам-патронесс из разряда свободомыслящих.

В конце сентября, вернувшись однажды вечером из «города» и едва успев войти в комнату, Любушка радостно объявила Тамаре

— Ну, милочка, поздравьте меня — местом раздобылась!

— Да? — приятно удивилась та. — Поздравляю!.. Где же и какое место?

— В Бабьегонском земстве; еду фельдшерницей в уезд... Триста в год жалованья и казенное помещение при больнице. Отлично!

— Ну, слава Богу! Душевно рада за вас! — горячо пожала ей руку Тамара.

— Мерсишки!.. Если хотите, я и вам могу устроить? — весело предложила Любушка.

— Да что вы говорите?! — с недоверчивым, но радостным удивлением отозвалась Тамара.

— Ей-Богу!.. Да что же? Ведь, главное, себе-то самой уже обработала, а теперь и для

других, значит, можно. Отчего не помочь хорошей товарке!.. Желаете?

— Еще бы!.. Но ведь вот беда только, — я не держала экзамен на фельдшерицу, а без диплома не возьмут, пожалуй?

— Да я и не приглашаю вас непременно в фельдшерицы, — им нужны и сельские учительницы, а это вы ведь можете.

— Это-то могу; но расскажите, голубушка, толком: как и в чем дело?

И Любушка «толком» рассказала ей, что еще в те годы, как училась на медицинских курсах, ее облюбовала и стала принимать в ней особенное участие некая дама-филантропка, Агрипина (по просту Аграфена) Петровна Миропольцева, которая в то время почему-то особенно специализировала себя по части курсов и курсисток. У этой Агрипины очень большой и крайне разнообразный круг знакомства, который она при случае, и эксплуатирует в пользу «учащейся и нуждающейся молодежи». Любушка, по старой памяти, объявилась к ней еще в один из первых же дней по прибытии своем в Петербург, — прямо с заявлением, что очень-де нуждается

в месте, и та обещала ей раздобыть что-нибудь подходящее. А теперь вот приехали в Петербург Бабьегонский предводитель и председатель земской уездной управы, тоже знакомые Агрипины, и Агрипина сейчас же воспользовалась ими, чтоб устроить Любушку, — ну, и устроила. А Любушка, видя, что дело ее уже слажено, закинула Агрипине доброе словцо и за свою приятельницу Тамару, — нельзя ли, мол, заодно уже и для нее что-нибудь у этих господ наладить? — Агрипина порасспросила у нее, кто и что такое Тамара, при чем Любушка, конечно, дала о ней наилучший отзыв, — и та обещала похлопотать, но выразила желание наперед лично познакомиться с Тамарой. — Так вот если желаете, — предложила в заключение Любушка, — отправимтесь вместе хоть завтра же, я вас представлю.

Выслушав все это, обрадованная Тамара не знала, как благодарить свою сожительницу и, конечно, ухватилась за ее предложение. Если бы только это удалось, то лучшего исхода, казалось ей, желать пока невозможно.

На другой же день, к трем часам пополу-

дни, обе они поехали к г-же Миропольцевой.

XXXVII. СВОБОДОМЫСЛЯЩАЯ ФИЛАНТРОПКА

Роскошная квартира в солидном казенном доме. Внизу — представительный швейцар в официальной ливрее «ведомства»; в прихожей — пара серьезных, прилично выбритых, форменных курьеров с медалями на шее. Приемная в строго выдержанном официальном стиле, с солидной мебелировкой на счет казны — как и вся квартира, впрочем, — и с надлежащими портретами в массивных золоченых рамах. Из каждого угла так и веет нагоняющею холод министерскою атмосферой. Все это невольно нагнало холод и на Тамару, возбудив в ее душе незнакомое ей доселе жуткое чувство не то страха какого-то, не то сконфуженности пред чем-то совершенно ей неизвестным. Под подавляющим впечатлением всей этой обстановки и по естественной аналогии с нею, — эта самая дама-патронесса вообразилась Тамаре особою неприступною, гордо величественною, которая непременно должна обдавать холодом своего величия

каждого приходящего к ней, и потому девушка уже заранее испытывала некоторый страх перед нею и опасение как за самое себя, так и за предстоящую аудиенцию: каково-то сойдет эта аудиенция и понравится ли сама она столь важной даме, уже наверное «аристократке», каких она еще и не видывала. Но холод ощущений от всей этой внушительно imponирующей обстановки несколько смягчался для нее звуками рояля, доносившимися в приемную откуда-то из внутренних комнат. Звуки эти все же вносили сюда отголосок как будто иной, более живой и теплой жизни. Тамара обратилась было к ливрейному «министерского вида» лакею, с просьбой доложить о них генеральше. Но тот, очевидно, давно уже привыкнув к подобным посетительницам, не счел даже нужным утруждать себя лишним хождением к барыне.

— Пожалуйте, барышни, просто! К ним и без доклада можно, — пригласил он их с фамильярно благодушною ухмылкой и открыл дверь.

Любушка Кучаева, с уверенным видом освоенного в доме и привычного человека,

бойко повела Тамару через несколько комнат прямо в кабинет хозяйки.

— Очень рада познакомиться! — встав из-за рояля, преувеличенно ласково и с деланною простотою протянула эта последняя обе руки навстречу Тамаре. — Э, да какая вы хорошенькая! — воскликнула она вдруг, весело взглядываясь в черты лица девушки.

Та невольно смутилась от неожиданности такого приветствия.

— Право! — подтвердила, как бы ободряя ее филантропка. Здравствуйте, Кучаева, садитесь. Хотите чаю?

И не дожидая ответа, она нажала пуговку электрического звонка и приказала вошедшему человеку подать чайный прибор и печенье.

Это была очень эффектная особа лет сорока, с припудренными волосами и лицом, сохранившая еще свою красоту и эластичность форм, очень живая, бойкая и одетая хотя и по-домашнему, но с чисто парижским шиком. Впрочем, наружность ее и манера держать себя напоминали скорее кокетку «de la haute volée», чем петербургскую «сановницу».

Кабинет ее тоже представлял смесь кокетливого изящества и роскоши с претензией на интеллигентную деловитость. Множество разных «bijouteries» и «petits riens», иногда и с немножко скабрёзным оттенком, прелестно уютные, укрытые уголки, располагающие к грешным помыслам и сладострастной неге, а с другой стороны — чисто департаментские папки и картонные ящики, с наклеенными на них крупно печатными надписями, вроде «по переплетной артели», «по дешевым столовым и ночлежным приютам», «по обществу покровительства женскому труду» и т. п. На изящных книжных полках и кое-где по столам — весь перец современной французской порнографии вперемежку с новейшим соком российской либеральной и радикальной эрудиции — по большей части, с надписями от авторов. Тут красовались, как бы небрежно и невзначай, но не без тщеславного умысла, положенные на вид книжки и брошюры, с бьющими в нос заглавиями, как например «Экономическое худосочие» г. Щелкунова, с надписью «Хорошему человеку, А.П. Миропольцевой, от автора»; «По чужим альковам», ро-

ман Сержа Недопрыгина, с надписью «От автора-поклонника»; «Социология в связи с биологией и психологией и ее методические особенности» профессора Глагольцева, и то же с надписью «Единомышленнице»; «Порабощение русской женщины», и опять-таки с какою-то авторскою надписью; «Успехи женской самостоятельности», «Руководство к упражнениям на трупе», «Оплодотворение и дробление животного яйца по современному состоянию науки», «Проституция от древнейших и до новейших времен» и т. п., и все с надписями более или менее комплиментного и лестного свойства. В сюжетах картин, висевших по стенам, тоже выражалась двойственность направления и симпатий хозяйки дома: с одной стороны, Леда, сладострастно замирающая под крыльями лебедя, и разделтая восточная одалиска в гареме, с другой — как верх торжества российского «художественного» реализма, — Христос в образе жидовина-заговорщика, «Отравившаяся курсистка» и паршиво-плюгавый мужичонка, казнящий что-то на ноге.

— Вы ведь еврейка? — обратилась вдруг

хозяйка к Тамаре, усаживаясь против нее на свою излюбленную восточную кушетку.

— По происхождению, да, — подтвердила девушка, опять невольно смутившись от такого неожиданного и, в глубине души, не совсем-то приятного ей вопроса.

— Ужасно люблю евреев! — заявила вдруг филантропка, не без расчета, вероятно, польстить этим Тамаре. — Чрезвычайно даровитая, талантливая нация!.. И притом в выражении их лиц есть что-то одухотворенное, какая-то щемящая нотка затаенного внутреннего страдания и страсти. Ужасно мне это нравится!.. У меня есть много друзей между евреями, — да вот хоть бы Шефтель. Вы знаете Шефтеля? — Он в консерватории, ученик еще, но что за талант!.. Я в его пользу концерт устраиваю, и знаете, чем я была занята перед вашим приходом? — обратилась она к Кунаевой. — Разбирала его «Marche funebre» на смерть Нечаева.

— Разве Нечаев умер? — удивилась та.

— Нет, но это все равно. Прелестная вещь! Мне даже больше нравится, чем его «Русская Марсельеза». Вы не слыхали его «Марселье-

зу»? — спросила она Тамару. — Нет?..

О, это пробел в вашей жизни, большой пробел! Хотите, я вам сыграю: *Vraiment, cest une chose admirable!* — Сколько Плеска, силы, сколько этого *entrain!*.. Так и поджигает вас невольню!..

И вскочив с кушетки, она живо пересела за рояль и бойко, с экспрессией разыграла жидовско-русскую марсельезу, а затем, заодно уже, стены ее казенной квартиры огласились и туками марша на будущую смерть Нечаева, с которым она тоже сочла нужным познакомить своих посетительниц.

— И какая он прелесть!.. Я вам покажу его карточку.

И опять сорвавшись с места, Агрипина Петровна взяла с шмаленного разными кипсеками стола большой альбом и показала в нем Тамаре кабинетный портрет молодого жидочка с откинутою назад и всклокоченною гривой, который, позируя перед фотографом, явно старался придать своей физиономии артистически вдохновенное выражение.

Quelle beaute! quelle exspression poetique! nest ce pas?.. Минутами я просто готова в него

влюбиться, в особенности когда он играет... О! надо видеть его, когда он играет! Это будущий Рубинштейн, наша гордость, наша слава, но только он гораздо развитей Рубинштейна, и я давно уже прошу моего друга Сквасова написать о нем критический этюд в газетах.

А ни обратите внимание на этот альбом? — перескочила она к новой мысли, адресуясь к Тамаре. — Это замечательный альбом. Мне, во-первых, поднесли его в знак признательности ученицы организованной мною переплетной артели, а во-вторых, в нем собраны все мои лучшие друзья. Между ними вы найдете немало знаменитостей — из людей порядочно мыслящих, разумеется, — иных я сюда не пускаю.

— Ах, кстати! — неожиданно повернулась филантропка к Кунаевой — Вы, кажется, хотели видеть карточку Веры Засулич, — могу вам показать ее, мне вчера добыли из Третьего Отделения. Что вы так взглянули на меня? — перекинула она вдруг глазами на Тамару. — Это что про Третье-то я упомянула? О, у меня и там есть знакомые!.. Это, знаете, не мешает, а притом же, в настоящее время и

там не без честно мыслящих людей, — это ведь не прежние времена! Я даже место там доставила одному молодому человеку и тем спасла его от надзора полиции.

— А вот, я покажу вам редкость! — Этим можно похвастаться! — порывисто кинулась вдруг, ни с того ни с сего, Агрипина в другую сторону, к своему письменному столу, и сняла с него синий бархатный альбом в изящной бронзовой отделке. — Это книга автографов. Здесь у меня собраны *des pensees, des maximes, des vers et des souscriptions* разных политических и литературных знаменитостей, — вот, полюбуйтеесь-ка!

Тамара из вежливости начала перелистывать альбом — и перед ее глазами запестрила вереница самых разнообразных имен, подобранных более или менее в одном направлении, впрочем, не без исключений и в пользу «противного лагеря», если таковыми являлись действительные, общепризнанные знаменитости. Тут вперемежку между собою, самым неожиданным, иногда просто курьезным, образом сталкивались имена Виктора Гюго и Сержа Недопрыгина, редактора-изда-

теля Цюцюлевича и прусского министра Путкамера, Поля Касаньяка и публициста Щелкунова. Далее следовали сочетания вроде Тургенева с Альфонсом Ротшильдом и придворного пастора Штеккера с Сарой Вернар, или Гладстона с известною каскадною певицей Терезой и с начинающим еврейским поэтиком Шкловским, расчеркнувшимся под стихами:

*«Вседержитель, Ты не прав,
Ненавидя человека!»*

Или вот имена Феликса Пиа, Рошфора, Луи Блана и вдруг епископа Дюпанлу, а затем, известной Луизы Мишель под афоризмом «Ni Dieu, ni maître!» и имя Поля Деруледа под экспромтом:

*Po ur combat a outrance —
Vive la Russie et la France!
En avant, tous les deux bras a bras!
Et mille fois Hourra!!!*

А там уже, далее, шли Сальвини, Клячко, Бебель и Либкнет, Верди, Леон Гамбетта, Понсон-дю-Терайль, Зорилья, Парнель, Менотти Гарибальди, «генерал» Кюзере и проч. и

проч. Было, между прочим, и несколько имен русских эмигрантов, вроде Драгоманова и Ткачева, подписавшихся под отрешенною фразой: «И охота вам, право, напускать сюда столько буржуйной сволочи!»

Было и несколько русских «сановников», чином не ниже тайного советника, удостоенных, впрочем, этой чести за свое строго либеральное направление, и только «Prince Gortchakoff», подписавшийся под каким-то отменно тонким, дипломатически комплиментным максимом, явился оригинальным исключением между ними. Хозяйка не без самодовольства поспешила заявить, что это все ее «друзья» и знакомые, и Тамаре стало понятно, что погоню за всеми этими «именами», выпрошенными, быть может и не без назойливости, по большей части во время шатаний непоседливой Агрипины по разным «заграницам», она устраивает только ради удовлетворения своему собственному тщеславию, — дескать, и я, стало быть, то же «знаменитость» и, в некотором роде, «политическая величина», если дружна со столькими «celebrities» целой Европы!

— Ну, что? — заговорила, между тем, филантропка с Кунаевой, — вы, поди-ка, рады, что отделались наконец от всех ваших больных и раненых?.. Ах, кстати, о раненых! Вы знаете, на днях мне очень удалась подписка в их пользу, — ей-Богу!.. Навязали было мне ее из «Красного Креста», — ну, отказаться неловко, конечно, а только уж какая теперь подписка! Сами согласитесь, раз война кончена, кому какое дело до раненых?! Но вот тут-то и пришла мне счастливая идея: в прошлый вторник (это день, который я — нечего делать! — отдаю непроизводительно моим светским знакомым) я объявила всем моим гостям, что выделяю голубую гостиную из числа остальных комнат и открываю доступ в нее желающим только за особый налог в пользу раненых, по пяти рублей с индивида или по десяти с каждой пары, но зато с правом вести там без цензуры самые вольные разговоры, которые в остальных комнатах воспрещаются под страхом штрафа, тоже в пять рублей. И что же вы себе думали? — в один вечер собрала со штрафами более ста рублей! — Вот что значит остроумная идея!..

И знаете, я хочу отныне постоянно применять этот метод и к другим нашим сборам.

Тамара, между тем, покончив с альбомом автографов и думая про себя, когда-же-то наконец заговорит филантропка с нею о деле, — рассеянно перевела глаза на висевшие против нее картины. Агрипина сейчас же это заметила.

— Ах, вы любуетесь на моих любимцев!?! — обратилась она к ней, не докончив рассказ о счастливом проекте будущих сборов. — Это, можно сказать, шедевры русской школы, и мой друг Сквасов от них в восторге. Это вот — Христос, работа нашего знаменитого Фэ. Вглядитесь, какая могучая экспрессия и сколько глубокой, современной мысли в сюжете, сколько реализма при этом! Он, знаете, пропагандирует совершенно новую идею «Христа» в живописи, — это гениально!.. А этого мужичка — это мне подарил мой друг Брюквин... Тоже ведь какая сочность кисти и какова смелость замысла! Мурильевский «Мальчик с собакой» перед этим, по-моему, ничего не стоит!.. А вот это — «Курсистка», работы моего приятеля Взъерошенко... Вообще, у меня и

картины, книги, и ноты, большею частью, все от самих авторов, и все с их подписями. Таковую коллекцию, могу с гордостью сказать, у нас, в матушке-России, в этой «великой Федоре», как любит называть ее мой милеиший Благосветлов, вы не в каждом доме встретите.

В это время вошедший человек доложил о приезде какой-то светской знакомой г-жи Миропольцевой.

— Проси! — Вот прескучная и препустейшая баба! — с безнадежным вздохом подняв глаза к небу и как бы покоряясь печальной необходимости принимать эту «бабу», отрекомендовала ее Агрипина своим посетительницам, хотя тем до нее было столько же дела, как до китайской императрицы. Вместе с этим она несколько натянуто поднялась с места, давая понять им, что теперь они могут удалиться.

— Мне Кучаева говорила, что вы желали бы места сельской учительницы? — обратилась она уже на ходу к Тамаре. — Я думаю, это можно будет устроить. Да вот что: приезжайте послезавтра вечером; я напишу к нашим Бабьегонцам, чтобы они тоже были, и сведу

вас. Это мы в два слова обрабатываем.

Тамара едва успела поблагодарить, как Агрипина Петровна, уже не обращая на нее внимания, с приятнейшею улыбкой и чуть не с распростертыми объятиями бросилась навстречу входившей гостье.

* * *

— Ну, как она вам показалась? — спросила Любушка, уже выйдя на улицу.

— Да как вам сказать!.. Странная какая-то. Толком ни о чем не расспросила, а натрещала с три короба, и все только о себе, — точно бы ей хотелось не столько со мной познакомиться, сколько себя показать, — на, мол, смотри, какова я, и восторгайся! — Вот уж никак не ожидала, что такие аристократки бывают!

— Э, милочка, какая же она аристократка! — просто дурында, которою нашему брату при случае надо воспользоваться. Вы думаете, она все это по убеждению? — Вовсе нет! Какие там убеждения! — Игра в бирюльки, и только.

И Любушка при сем удобном случае рассказала всю, так сказать, подноготную своей давнишней покровительницы.

Единственная дочь и наследница воронежского прасола, шибко разбогатевшего на крупных казенных подрядах и потому возмечтавшего, что и он тоже может со своим суконным рылом пролезть в баре, Аграфена или Грушенька, обратившаяся тогда в Agrippine, а впоследствии в Агрипину Петровну, получила «блестящее», по тогдашнему времени, домашнее образование, а затем окончательно отшлифовалась уже в Париже. Тятенька мечтал было выдать ее не иначе, как за князя, или, по крайней мере, за графа, а она, после Парижа, будучи уже довольно зрелой девой, предпочла по каким-то соображениям выйти просто за господина Миропольцева, человека уже пожилого, но с известным «весом» и «положением» по службе. И господин Миропольцев оказался для нее самым удобным мужем, потому что ни в чем ее не стеснял, и сама она нисколько им не стеснялась. Всегдашнею и самою заветной мечтой Агрипины Петровны было попасть ко двору; но когда супруг ее достиг наконец такого служебного положения, которое давало ей право быть туда представленною, то ко двору ее по-

чему-то не приняли. Это ее крайне взбесило, огорчило и обозлило, так что с досады она и ударилась в «оппозицию» и сразу сделалась великой либералкой, — только поэтому. Да и время к тому же было самое удобное для всяческого либерализма. Отсюда и все ее фрондерские бравады, и все это покровительство «учащимся» и «протестующим». Она задалась целью создать себе из этой игры в оппозицию громкое общественное «имя», не по служебному положению мужа, а свое собственное, самостоятельное и независимо от его карьеры и — сколь ни дурашна сама по себе — до известной степени добилась-таки этого. А допустить бы ее ко двору, все это фрондерство завтра же как рукой сняло бы, и она сделалась бы «plus royaliste que le roi», — в этом не может быть никакого сомнения. И на сколько теперь ее интимный кабинет служит резервуаром всяких придворных сплетен, сенсационных слухов и пикантных анекдотов насчет высших сфер, так этот же самый кабинет при изменившихся обстоятельствах, мог бы служить палладиумом для всяких проектов насчет «спасения России» и охранительных ме-

роприятий, — ибо от одного только никак не могла бы отказаться Агрипина, — это от игра- ния выдающейся «политической» роли в том или другом направлении. Это уже ее натура, темперамент, и ей непременно надо во что- нибудь путаться, совать свой нос и агитиро- вать так или иначе. Детей у нее нет и не бы- ло, а потому роль «общественной деятельни- цы», при таком темпераменте, самая для нее подходящая, и она хлопотливо делит ее в сво- их досужих недосугах между попечениями об «учащихся» и своих мопсиках. Супруг Агри- пины Петровны, в чине тайного советника, занимал очень важный пост в министерской иерархии ведомства юстиции и являл собою тип совершенно высохшей кабинетной му- мии, чиновника-доктринера, так сказать, об- росшего мохом либеральной благонамерен- ности и заморозившегося на «священной неприкосновенности» судебных уставов 1864 года, в редакции коих он принимал некогда, как член комиссии, самое деятельное и «пло- дотворное» участие. Гости его супруги, по большей части не были его гостями; о боль- шинстве ее знакомых он не имел даже поня-

тия, кто они и что они? — даже по фамилиям не знал их и потому почти никогда не выходил к ним. В то время, как в ее гостиной и столовой стоял шум, гам и дым коромыслом от разных педагогичек, фребеличек, «учащихся» и «протестующих», он уединенно сидел в своем деловом кабинете за «текущими» бумагами, и если делал когда исключения, показываясь в гостиной, то это только для «особ первых четырех классов», посещавших время от времени салон его супруги, да для хорошеньких женщин, которым поклонялся чисто платонически, — иначе, впрочем, он теперь и не мог бы, — и это нисколько не возбуждало ревность его супруги. Напротив, она сама даже охотно заботилась о том, чтобы доставлять ему при случае такое невинное развлечение. Будучи сама красивою женщиной, она — что очень редко в женщинах, — не завидовала красоте других и не стеснялась ею; она даже любила, чтобы ее гостиная блистала хорошенькими женщинами, если только они не чересчур уже «prudes et bigotes», любят «поврать» и позволяют за собой ухаживать.

XXXVIII. СРЕДИ «УЧАЩИХСЯ» И «ПРОТЕСТУЮЩИХ»

Приехав в назначенный вечер к Агрипине Петровне, Тамара застала ее в столовой, во главе длинного, сервированного для чая, стола, за которым сидело несколько, более или менее случайных и сбродных, гостей: без них же не обходилось у Агрипины ни одного вечера, если сама она оставалась дома. Нет-нет, да кто-нибудь и набежит на «огонек». От этого, в составе ее ежедневных, незваных и неожиданных гостей, за исключением только вторников, всегда оказывалась довольно странная смесь, «одежд и лиц, племен, наречий, состояний», так что нередко сама она не знала, как быть с такими разнополюсными противоположностями, в особенности, когда, в качестве хозяйки дома, ей вдруг представлялась необходимость оградить какого-нибудь почтенного тайного, хоть и либерально-го, советника, или какого-нибудь совершенно приличного светского снобсика, из числа ее поклонников, от бестактных и грубо задирчи-

вых выходок кудластого семинара Нерыдаева, назойливо язвительного технолога Подкаретного или «непримиримой» девицы Цыбиковой.

Таковую же «смесь одежд и лиц» застала здесь и Тамара, которую хозяйка представила всем своим гостям сразу, отрекомендовав ее «девицей Бендавид», из наших. Эта последняя прибавка несколько смутила девушку, так как она не знала, отнести ли ее к своему еврейскому происхождению, как ничем невызванную дерзость, или же к ее предполагаемому свободомыслию, что было бы неправдой, рядя ее в чужие перья. Заметив это смущение и домекнувшись по нем о своем промахе, хозяйка, чтобы загладить его и ободрить свою гостью, поспешила оказать ей особое внимание и любезность, усадив ее подле себя, на первое место.

Между гостями, в свою очередь названными хозяйкою Тамаре, находилось несколько «педагогичек», «фребеличек», «медичек», наминавших скорее дохлых семинаристов или мордастых кантонистов в юбках, чем женщин, и те же неизменные «завсегдатели»

этого дома, Нерыдаев и Подкаретный, — оба в красных кумачевых косоворотках, серых «спинджаках» и высоких сапожищах — затем, жидок-пианист Шефтель, «зжнамени-тый» автор «Русской Марсельезу», и стриже-ная, сивовласая и сизоносая девица Цыбико-ва, лет уже под пятьдесят, которую Агрипина почему-то сочла нужным познакомить с Та-марой отдельно, прибавив, что «имя ее вам, конечно, известно», и лестно аттестовав ее при этом «нашей русской Луизою Мишель».

— А вы из каких будете? — тут же, с места, приступила эта «Луиза» к Тамаре. — Из уча-щихся, или просто из протестующих?

— То есть, как это? — немножко смеша-лась та. — Я, pardon, не совсем понимаю во-проса?

— Девица Бендавид — сестра милосер-дия, — поспешила пояснить за нее сама хо-зяйка. — Всю войну выдержала на Балкан-ском полуострове, недавно только верну-лась...

— Ах, это из сердоболок, значит! — мотну-ла головой «непримиримая» и, находя, что этим весь дальнейший интерес к Тамаре для

нее исчерпан, немедленно же повернулась в другую сторону.

Тут же, в числе гостей, находились еще какой-то министерски-приличного вида тайный советник «с апломбом и с весом» и приглашенные нарочно ради Тамары бабьегонские земцы, — предводитель Коржиков и председатель управы де-Казатис. Первый из земцев являл собой мягкую фигурку вечно улыбающегося, неопределенных лет, человечка, похожего на тушканчика или вообще на какого-то грызунка, из числа тех моложаво-бесцветных белобрысеньких людей, о которых говорится, что маленькая собачка до старости щенок; второй же был сухощавый, но коренастый и несколько сутуловатый старик, с большими южными глазами и целою копной сиво-курчавых волос на большой голове, который говорил обо всем не иначе, как резким, крикливым голосом и с резкими энергическими жестами, в совершенную противоположность тайному советнику, приличные манеры коего отличались замечательной сдержанностью, а тихий и ровный голос издавал отчетливые звуки с некоторым придыха-

тельным шипением, точно бы он внутри ехидно злорадствует чему-то. Двум бабьегонским земцам Тамара была представлена тоже отдельно, с пояснением, что это та самая девица, с которой Агрипина уже познакомила их заочно. Оба поэтому отнеслись к ней очень любезно.

Все гости, — мужчины и женщины, — за исключением тайного советника и де-Казатиса, напропалую пыхтели нарочно поставленными для них «хозяйскими» папиросами, отчего над столом стояло уже целое облако табачного дыма, и с аппетитом кушали чай из стаканов с тартинками и филипповскими калачами. С этими последними, в особенности, технолог Подкаретный распорядился «очень просто», разрывая над лотком руками цельный калач, хотя это гораздо удобней и опрятней можно было бы сделать ножом, и отправляя его к себе за щеки большими кусками. Докончив свой стакан чая, он сейчас же принялся за сливки и стал хлебать их прямо из молочника, делая это, очевидно, нарочно: по-вашему, дескать, оно неприлично, а мне «наплявать!»

Тамара застала продолжение какого-то общего разговора, прерванного на минуту ее появлением.

— Вы говорите, немцы, — возобновил тот же разговор тайный советник, обращаясь к де-Казатису, — что ж из того, что они нам угрожают?

— Как что? — горячился земец. — Не успели кончить одну войну, как придется начинать другую?

— И прекрасно-с, я очень рад!

— Да что-ж тут прекрасного?! Помилосердствуйте! — Отхватят от нас Остзейский край, Литву, Польшу, Украину...

— И прекрасно-с, пускай отхватят. Чем скорей, тем лучше.

— Да я вовсе не желаю быть под немцем!

— Напрасно-с. Под немцем, по крайней мере, порядка больше будет, культуры больше, и общество получит известные правовые гарантии, которые уравниют нас наконец с Европой.

— Да мы, молодое поколение, — мы этих гарантий и сами добьемся.

— Н-ну-с, это бабушка еще надвое говори-

ла. Бисмарк вам даст их скорей, чем Тимашев.

— Да ведь это же, однако, новое разоренье для народа, для платежных сил! Подумайте, — шутка сказать, война! И без того уже бедствуем! У нас вон земство второй год зерно на обсеменение полей покупает!

— И прекрасно-с, и прекрасно-с!.. Пускай!.. По-моему, чем хуже, тем лучше, — по крайней мере, к развязке ближе.

Тайный советник, щеголяя своим отменным либерализмом, очевидно желал полебезить пред «молодым поколением», с целью понравиться наличным его представителям.

— Это петербургский взгляд, — возразил ему на последнюю фразу де-Казатис. — Мы, земское молодое поколение, желаем развязки, может, не менее вашего, но думаем осуществить ее иначе, — во всяком случае, без немцев.

— А вы, «дединька», тоже «молодое поколение?» — нагло бросил в упор ему неожиданный вопрос Подкаретный, явно издевающимся тоном, хотя видел его всего во второй или в третий раз в жизни.

— А вы как полагаете? — не смущаясь, от-

ветил ему вопросом же ретивый земец, у которого, действительно, была хроническая слабость причислять себя к «молодому поколению», так что при каждом удобном случае, он непременно вставлял в свой разговор фразу «мы, молодое поколение», или «задачи наши, как молодого поколения» и т. п.

— Да вам сколько годков-то? Зубки прорезались? Покажите зубки! — пристал к нему Подкаретный.

— Годков?.. А вы как полагаете? Ну-тка?

— Ха-ха-а!.. Поди-ка, уже под семьдесят, коли не под восемьдесят? — Песок, чай, сыплется!.. Ась?.. Песочком-то подсыпаете?

— Годы тут ничего не значат, сударь! — обиженно заметил вскипятившийся земец. — Вас-то еще и в проекте не было у папеньки с маменькой, когда я уже был молодым поколеньем! Я всю мою жизнь принадлежал к молодому поколенью и всегда разделял все его лучшие стремления!

— Ха-ха-а! Стремленья!.. Это в своем-то земском курятнике сидя?

— В курятнике мы больше дела делаем и служим народу, чем иной недоучка-свистун в

Петербуррге! — с достоинством отрезал ему «дединька» и с недовольным видом круто от-вернулся в другую сторону.

— Та-ак-с! — иронически ухмыльнулся сре-занный технолог и, как бы не считая нужным спорить с ним далее, обратился через стол к хозяйке.

— Аграфен Пятровна! Пляхните-ка мне ма-лость чайку в стакашек!

Подкаретный знал, что она не любит, ко-гда ее зовут Аграфеной, но потому-то именно и называл ее так, «чтобы позлить бабу». Он сделал себе, в некотором роде, специальность всех злить и всем говорить неприятные ве-щи; тем не менее, в данном кружке все терпе-ли это, холопски побаиваясь его за язык и за совершенную беззастенчивость в словах и по-ступках, так как для него не существовало различия между позволительным и невоз-можным, честным и бесчестным, даже с кружковской точки зрения. И Подкаретный знал, что его побаиваются, и это поддавало ему еще более «форсу».

Агрипина Петровна только поморщилась, но все же очень любезно налила ему чаю и,

воспользовавшись благополучным прекращением неприятного «incident» между ее «за-всегдателем», и «дединькой», чтобы отвлечь мысли последнего в другую сторону, обратилась к нему с ласковым напоминанием своей давешней просьбы насчет Тамары.

— Как же, как же! Ведь вы уже говорили нам, не забуду-с! — отозвался ей земец.

— Да, так вот переговорите с ней самой, — предложила та, указав на девушку.

— Что ж, мы очень охотно! Вакансии у нас теперь есть, — повернулся он к Тамаре, — и если за вас ходатайствует сама Агрипина Петровна, то это выше всякого диплома; лучшей рекомендации нам и не надо. Мы, молодое поколение, должны поддерживать друг друга в служении общему делу, — это наша святая обязанность.

И вручив Тамаре свою визитную карточку с адресом гостиницы, где остановился, он предложил ей зайти к нему завтра, около часу дня, чтоб окончательно переговорить об условиях, подписать контракт и получить на проезд подъемные деньги. Все дело, как и предсказывала Агрипина, действительно,

сладилось с двух слов, и девушка была необычайно рада этому. Теперь она, по крайней мере, может быть спокойна за свое дальнейшее существование и уехать в провинцию еще до возвращения сестер с Балканского полуострова.

XXXIX. ЧЕГО НИ ТА, НИ ДРУГАЯ НЕ ОЖИДАЛА

В это время из кабинета г-на Миропольцева вышла в столовую молодая дама, вся в черном, на которую Тамара, занятая своими собственными мыслями, не обратила было в начале никакого внимания, тем более, что как раз в эту минуту «дединька» турчал ей под ухо что-то такое насчет священных обязанностей молодого поколения, и она, глядя на него и думая о другом, машинально поддакивала ему только молчаливыми кивками.

— Ну, что, душечка, кончили? — участливо обратилась Агрипина к подошедшей к ней даме. — Что он вам посоветовал?

— *Arres!* — сдержанно ответила гостя и опустилась подле нее на свободный стул, рядом с Тамарой.

— Ах, вот позвольте вас познакомить, — представила их друг дружке Агрипина, — девица Бендавид, — графиня Каржоль де Нотрек.

При этом имени Тамара невольно вздрог-

нула и с недоумевающим удивлением подняла глаза на даму. Только теперь взгляделась она в черты ее лица и узнала.

Перед нею была Ольга.

— Господи!.. Тамара?! Да неужели это ты?.. Я тебя совсем не узнала... Как ты переменилась, однако, как возмужала, — совсем как будто другие черты, другое выражение! — говорила удивленная Ольга, протягивая ей руку и, вместе с этим, замявшись на мгновение в нерешительности, ограничиться ли ей одним пожатием, или расцеловаться. Но она тут же мигом сообразила, что последнее, на всякий случай, будет, пожалуй, лучше, — и потому немедленно расцеловала ее, по-видимому, самым непритворным образом, как добрая, старая приятельница.

— Э, да вы, оказывается, знакомы и даже дружны? — удивилась в свою очередь хозяйка.

— Мы то? — Еще бы!.. Мы с нею семь лет на одной скамейке в гимназии сидели! — как будто и в самом деле обрадованно, заявила ей Ольга. — Вот встреча-то!.. Ну, как и что ты? Какими судьбами? Расскажи пожалуйста, — я

так рада!

— Постой, — вполголоса остановила ее побледневшая девушка, с трудом пересиливая в себе внутреннее волнение, — если я не ослышалась, тебя мне назвали... графиней...

— Каржоль де Нотрек? — подхватила Ольга. — Да, ты не ослышалась, я замужем.

— Как?! За графом Каржолем?.. За которым же это?

— Да за Валентином, — за каким же еще?!

— За Валентином? — почти машинально повторила ошеломленная Тамара, — когда же это?

— О, уже скоро два года! — Вот, на днях будет. Разве же ты не знала?

Тамара побледнела еще больше и только могла отрицательно покачать головой.

— Ну, полно! — понизила и Ольга, в свой черед, голос до той степени, чтобы посторонние не могли слышать их дальнейшую беседу. — Уж будто ты не знала, — ты-то?

— В первый раз слышу, — почти шепотом, через силу проговорила Тамара, глядя какими-то странными, недоумевающими и удивленными глазами на свою старую подругу,

точно бы вглядываясь в нее как во что-то совсем новое, неизвестное. Ольга со своей стороны, тоже окинула ее явно недоверчивым взглядом.

— Странно! — улыбнулась она раздумчиво, — а я была уверена, что тебе-то это ближе всех должно быть известно.

— Мне?.. Почему так?

— О, моя милая, если уж весь Украинск кричал о его намерениях относительно тебя, то, согласишься, как же тебе-то не знать их? С кем же он мог быть более откровенен, как не с тобою?!

— Я тебя не понимаю, — недоумело проговорила Тамара, — в чем дело?., можешь объяснить мне?

— Мм... здесь неудобно. Если хочешь, пойдём в другую комнату. Pardon, chere! — обратилась она к Агрипине, вставая из-за стола. — Мы хотим немножко поговорить по душе со старою подругой.

И Ольга увлекла Тамару в один из уединенных, таинственно уютных уголков смежной гостиной, оставшейся пока совершенно свободною от посторонних свидетелей. Здесь,

наедине, она могла говорить не стесняясь.

— Ведь ты же выходишь за него замуж, — напрямик и сразу высказалась она, следя по лицу девушки, какое впечатление произведет на нее эта, в упор брошенная ей, правда.

— Да, он делал мне предложение... неоднократно даже возобновлял его, даже недавно, — и я обещала. Но я не знала, что он женат, я и не подозревала этого!

— И ты это говоришь правду, Тамара? — серьезно и строго спросила Ольга.

— Убей меня Бог, если это ложь! — перекрестилась девушка. — Довольно с тебя?

— О! какой же негодяй, однако! — с негодованием воскликнула возмущенная Ольга. — Я думала, что он, по крайней мере, от тебя-то не скрывает правды, что вы вместе, с обоюдного согласия, идете к своей цели, а выходит, — ты такая же жертва его обманов, какою была и я в свое время. Но я за себя хоть отомстила: я заставила его жениться на себе, чтобы дать законное имя его же собственному ребенку.

— Ребенку? — удивленно повторила за нею Тамара, у которой только теперь начинали раскрываться глаза на истинное положение

ние дела, — у тебя от него ребенок?.. Так это, значит, правда была — все, что болталось когда-то о ваших отношениях в Украинске?

— К несчастью, — вздохнула Ольга, — правда.

— И это все в то самое время, когда он и меня уверял в своей любви и вырывал из семьи?

— В то самое. Скажу даже более: в ту самую ночь, в тот самый час, когда он уводил тебя к Серафиме, я, не зная еще вашей истории, была в его кабинете, я пришла тогда сказать ему, что беременна. — Значит, клявшись тебе в своей любви и ломая всю твою жизнь, он уже знал это.

— Господи! Да что ж это такое?! — с чувством внутреннего омерзения и ужаса всплеснула руками Тамара.

— игра, мой друг, азартная игра, не более! — горько усмехнулась Ольга. — Ведь он игрок по натуре. Пока не было тебя, казалась ему и я выгодною партией: явилась ты со своими миллионами, — меня по боку, за тебя принялся. Ему не мы, а наши деньги нужны, и только деньги, поверь мне.

— Да совесть-то... совесть-то где же?!

— Э, моя милая, что за наивность! Совесть!.. У таких людей это лишний груз, который они не задумываясь бросают за борт. И неужели ж, ты думаешь, он в самом деле любит или когда-нибудь любил тебя?

— О, что до его любви, — махнула рукою Тамара, — я давно уже стала в ней сомневаться! И если ты видишь меня здесь, то это потому, что он подорвал во мне уже последнюю надежду и веру в нее. Я решила лучше взять место сельской учительницы в каком-то Бабьегонском уезде, чем еще дальше тянуть всю эту глупую канитель.

— Вот, признаюсь, тон, какого я от тебя менее всего ожидала! — удивилась Ольга. — Ну, и скажи мне откровенно, любишь ты его?

— Любила когда-то, но...

— Но после сегодняшнего вечера больше не любишь? Так что-ли? — с улыбкой подхватила Ольга, предполагая, что досказывает мысль подруги.

— О, нет!.. Сегодняшний вечер — это только последняя капля, переполнившая чашу. Я смущена, это правда, — да и как не смутиться

пред таким сюрпризом!.. Но в то же время и рада, — веришь ли, счастлива даже, что все это кончается таким образом. Слава Богу! Теперь я, по крайней мере, вольный казак, цепей нет на мне больше!

И вызванная Ольгой на откровенность, Тамара в коротких словах рассказала ей всю историю своих отношений к Каржолу, начиная со встреч у Санковских и кончая его последней московскою телеграммой. Она не скрыла и того, что поведение Каржоля давно уже начало казаться ей несколько странным, и что его продолжительное молчание и безучастие к ней, в связи с газетными намеками насчет его вовсе недвусмысленных отношений к каким-то актрисам, немало способствовали ее разочарованию в нем и даже постепенному охлаждению, тем более, что в это время встретился ей другой человек, более достойный, который любил ее, но которому она отказала, наперекор собственному сердцу, из нежелания нарушить слово, данное Каржолу, пока не убедится окончательно, что он не стоит такой жертвы. И вот теперь, благодаря встрече с Ольгой, она убедилась в этом. Те-

перь ей становится все понятно, все: и настоящая подкладка того письма его, что было передано ей в монастыре через келейницу Наталью, где он предупреждал и умолял ее не верить городским сплетням, приплетающим к ее делу одну из ее подруг; понятно и ответное письмо Сашеньки Санковской, полученное ею уже в Петербурге, после крещения, которое еще тогда заронило в ее душу первые сомнения в искренности Каржоля и в том, что не играет ли он с нею одну комедию, так как Сашенька сообщила, между прочим, о его интимных отношениях к Ольге, и даже о том, что Ольга от него «в интересном положении», чему, однако же, Тамара не хотела тогда поверить, имея в виду его первое письмо, и любя его, старалась рассеять в себе эти сомнения. Ей тогда казалось, что на него клеветают просто по людскому недоброжелательству или, еще скорее, из зависти к ней. Вспомнила она теперь и свою первую после годовой разлуки, встречу с ним на войне, в зимницком госпитале, когда он, вместо того, чтоб обрадовать ее, старался прежде всего вызнать, помирилась ли она с родными, так как от этого-де

зависит дедушкино наследство. Это наследство интересовало его более, чем ее чувство! Вспомнила и несколько странных, загадочных слов, сказанных им тогда же, по поводу письма Сашеньки, насчет Ольги, поведение которой в эпизоде ухода Тамары в монастырь он объяснил только ее эксцентричностью и психопатством, желанием приплести себя, ни с того, ни с сего к «интересной истории». А между тем, он в это время был уже ее мужем, отцом ее ребенка, и все это скрыл от Тамары. Теперь ей стала понятна и та изворотливость и недосказанность его оправдательного санстефанского письма, в котором ей невольно чувствовалось какая-то фальшь, полная умышленных, обдуманых умолчаний; понятно и все его странное молчание в течение стольких месяцев. Все эти мелкие детали, из которых каждая в свое время, бывало, так и резнет ее каким-то внутренним диссонансом, но которые затем более или менее сглаживались впоследствии и забывались в потоке его нежных и «честных» речей и в силе ее собственного чувства, — все это всплыло теперь в ее памяти и осветилось истинным, непод-

крашенным светом. Совокупность всех этих, в отдельности, может быть, и мелочных, обстоятельств ясно указала ей теперь, что главный интерес графа по отношению к ней заключался не в ней самой, а только в ее состоянии, добиться которого иначе как через женитьбу ему не было возможности, спомнилось ей, как ее деньги и наследство интересовали его еще до ухода ее в монастырь, как при ночном свидании с нею в дедовском саду, он старался убедить ее, что никто, ни дед, ни кагал не имеют права лишить ее отцовского наследства, что напрасно она думает, будто кагал может секвестровать его, что при помощи наших знаменитых адвокатов, дело ее бесспорно и наверное будет выиграно ею. Да, эти расчеты на ее деньги проскальзывали у него еще тогда, сколь ни старался он их маскировать. Теперь все ясно, как ясно и то, что инсинуации одесской газеты насчет опереточных француженок, зимницких интендантов и Мариуцы были правдой. А если так, то, значит, он никогда не любил ее, и все его «пылкие» фразы и чувства были одним лишь притворством. Но только вот вопрос: будучи

уже женатым, на что он рассчитывал, уверяя ее в сан-стефанском письме, что свадьба их состоится нынешней осенью? Неужели на вторичный брак от живой жены?

— Нет, гораздо проще: на развод со мною, — пояснила ей Ольга и рассказала при этом, что, возвратясь на прошлой неделе из Парижа, она была крайне озадачена, получив третьего дня через полицию консисторскую повестку по бракоразводному делу. Не зная, как быть и что с этим делать, она сейчас же кинулась посоветоваться к своему доброму другу Миропольцеву, как к замечательному и опытному юристу, и тот дал ей совет — прежде всего постараться самой повидаться с графом и уговорить его не делать этих глупостей, или узнать у него, по крайней мере, на каких основаниях ищет он развода? Ведь чтоб обвинить ее, нужны чрезвычайно веские юридические данные, — надо знать, что это за данные такие? Узнать же это можно и из его прошения, поданного в консисторию. А там уже, смотря по тому, что окажется, будет видно, как действовать ей далее. Последовав этому совету, Ольга в тот же день узнала ад-

рес графа и написала ему письмо, прося его приехать к себе объясниться по поводу затеянного им дела, а вчера была сама в консистории, где показали ей прошение; но прошение это самое ординарное, по обыкновенному шаблону, где он просто обвиняет ее в супружеской неверности на основании достоверных свидетельств, какие своевременно будут им представлены, в дополнение к прошению, а также просит о разводе и потому еще, что со дня их брака она живет отдельно от него, по собственному своему желанию, что может быть доказано и по документам. Таким образом, из прошения нельзя было почерпнуть никаких данных, и вся надежда оставалась лишь на личное свидание с графом. Сегодня утром он наконец был у нее.

— Так он здесь? — перебила ее удивленная Тамара. — Это значит, еще новая ложь! По московской телеграмме, я считала его или в Нижнем, или в Перми?

— Нет, он все время был в Москве, поджидая моего возвращения, — подтвердила ей Ольга, — Могу тебя уверить в этом на основании его же собственных слов.

— Господи, и зачем эти вечные враки, вечная путаница и заметание своих следов?! — с чувством брезгливого сожаления пожала плечами Тамара.

— Неужели непонятно: Просто, чтоб избежать преждевременной встречи с тобой и лишних объяснений в письмах, — для меня это так ясно!

И Ольга далее рассказала ей, что сегодняшнее свидание с графом прошло с его стороны без всяких сцен, даже в очень сдержанной и вполне приличной форме, но на все ее доводы и просьбы не подымать такого скандального дела он остался непреклонен, и когда наконец она объявила ему, что, по мнению опытных юристов, с которыми она-де советовалась, дело кончится ничем, так как у него нет и быть не может никаких фактических против нее доказательств, то он с торжествующей иронией возразил на это, что не угодно ли ей вспомнить про кое-какие свои письма, — не к нему, разумеется, а к человеку сердечно более ей близкому.

— Письма? — встрепенулась Тамара. — Кстати, ты получила прошлым летом малень-

кую посылку из армии?

— Из армии? — с удивлением переспросила Ольга. — Нет, ничего не получала.

— Как?!. Ничего?

— Решительно ничего. А в чем дело?

Тамара, с невольным движением внутреннего ужаса и досады на самое себя, схватилась за голову и закрыла лицо руками.

— Боже мой!.. Что я наделала! Что я наделала?!.. Теперь все понимаю... Это моя вина.

И она рассказала ей весь плевненский эпизод с Аполлоном Пупом, как он умер на ее руках в радищевском госпитале, как выразил ей свою предсмертную волю насчет Ольгина медальона и бумажника с ее письмами, и как ловко успел Каржоль на его похоронах выманить у нее этот бумажник, прежде даже чем она успела развернуть его, и если он мог сделать тогда такую мерзость, то, нет сомнения, что сегодняшний намек его относится именно к этим самым письмам.

— Это было последнее наше свиданье, — прибавила Тамара, — и после того я уже не видела его больше, и даже от переписки со мной он себя уволил.

Весь этот рассказ глубоко поразил и до отчаяния взволновал Ольгу. Не говоря уже о том, насколько ей больно, что самые заветные ее письма попали вдруг в чужие руки — и в какие, к тому же! — но главное смутило ее то, что, заручившись такими фактическими доказательствами, граф действительно может рассчитывать на успех развода, и дело ее, стало быть, пропало!

— Нет! — энергично возразила ей Тамара, — не пропало!.. Мой был промах, мне и поправлять его. Письма эти должны быть возвращены тебе. Во что бы то ни стало! Я должна добиться этого, и добьюсь!

— Милая, — грустно усмехнулась Ольга, — неужели ты думаешь, он так легко расстанется с ними, если на этом строятся все его планы?

— Да, эти планы могли строиться, в расчете на мои деньги и мою слепоту, — согласилась Тамара, — но если я ему в глаза решительно и прямо объявлю, что никогда не буду его женой, — какой интерес для него тогда в этом разводе и на что ему письма?

— Как на что? — Не так, так иначе, он мо-

жет всю жизнь шантажировать меня ими.

— Нет, я заставлю его отдать! — упрямо подтвердила ей возмущенная девушка. — Можешь ты доставить мне возможность видеться с ним?

— Возможность видеться... Но где же и как? — в затруднении пожала та плечами.

— У тебя, понятно, и в твоем же присутствии. Ведь если он согласился быть у тебя сегодня, то ты могла бы найти предлог позвать его завтра.

— Да, но захочет ли он приехать?

— Напиши, что имеешь сообщить ему нечто крайне важное и экстренное по его же делу, заинтересуй его этим, и приедет.

— Попытаюсь, — согласилась Ольга и прибавила, что на всякий случай, все-таки зайдет сейчас еще раз к Миропольцеву сообщить об этих письмах, — может, он ей что и посоветует, — и затем они условились, что завтра Тамара заедет к ней от де-Казатиса, около двух часов дня, и чтобы к этому времени Ольга пригласила Каржоля. Если же он уклонится, то послезавтра — уж так и быть! — они сами отправятся вдвоем к нему на квартиру, а

только письма, так или иначе, должны быть
выручены. Это теперь долг чести для Тамары,
ее ближайшая задача.

XL. В ОЖИДАНИИ РАЗВЯЗКИ

В ней проснулась оскорбленная женщина. Она не могла простить Каржолу его притворства, этого чисто актерского и тирания своей роли при каждом свидании с нею, его систематически рассчитанных завлеканий ее, тогда еще столь неопытной и доверчивой девушки, этого двухлетнего дураченья ее своею любовью, этого снисходительного отношения к ней сверху вниз, точно к какой-нибудь ничтожной дурочке; не могла простить и его сознательного обмана с этою женитьбою, столь тщательно от нее скрываемой, и с этими письмами, которые были выманены у нее с такой иезуитской и шулерской ловкостью, тем более, что всеми этими поступками, как теперь уже вполне для нее обнаружилось, руководила одна лишь погоня за легкою наживой, стремление заполучить в свои руки крупный куш, употребив для этого ступенями двух женщин — ее и Ольгу. Но еще более не могла она простить ему того, что он так изводил и томил ее целые два года в лучших ее чувствах и побуждениях, что, оставаясь вер-

ною своему слову, она ради него пожертвовала не только своею семьею, но уже разочаровавшись в нем и разлюбив его, все-таки отвергла человека любимого, человека достойного, который мог бы составить ее счастье. Нет, этого простить нельзя! Тамаре хотелось бы теперь за все это мстить Каржолу, и если бы только представилась ей возможность отомстить ему нравственно, она исполнила бы это даже с величайшим наслаждением. Из-за чего, в самом деле, она столько выстрадала, столько намаялась своими тайными душевными муками, своими сомнениями, самоукорами и самообвинениями, своею тяжелою нравственною борьбой между сознанием долга по отношению к слову, данному Каржолу, и собственной любовью к Атурину? Из-за чего разбила и эту любовь, и свое, столь возможное, столь близкое счастье, а быть может и счастье любимого человека? Столько жертв, столько самоотречения, и для чего! — Чтоб убедиться в конце концов в одном лишь подлом обмане, и в недостойных эгоистических проделках своего бывшего «идеала»!.. Слава Богу еще, что все это открылось ей во-

время! А что было бы, если о она уже стала женою Каржоля и узнала бы всю горькую правду только впоследствии? И вот, вместе с оскорбленно злобным чувством к этому человеку, она испытывала теперь и великую Радость, — радость освобождения от нравственных пут, точно бы ее вдруг выпустили из мрачной тюрьмы на вольный свет Божий, радость сознания, что донесла свой крест до конца, что может теперь, как хочет, располагать своею судьбой, не насилуя себя во имя долга брачными узами с таким человеком, и что собственная совесть не сделает ей больше за него никакого упрека. Это нравственное ощущение возвратившейся к ней личной свободы и безупречной совести сказывалось в ней даже сильнее негодования против Каржоля, и оно все более и более вливало в ее душу мир и успокоение. Бог не попустил ее совершить роковой, непоправимый шаг. Он видимо хранит ее, это — знамение Его великой милости, — да будет же Его святая воля!..

Но Ольгины письма, так или иначе, а все же должны быть выручены.

* * *

Откровенно переговорив еще раз с Миропольцевым, Ольга вышла от него еще более успокоенною, чем давеча. Он разбил все ее страхи и опасения насчет писем, доказав, что для бракоразводного процесса, по действующим русским узаконениям, они не имеют значения в смысле непосредственной, прямой улики, — словом повторил все то, что высказывали в свое время и «сих дел специалисты» Каржолу. Но письма эти, по его мнению, все же не следует оставлять в его руках, потому что мало ли как могут воспользоваться ими, или он сам, или, через него, другие лица, с чисто шантажными целями! Могут даже из мести просто опубликовать их в какой-нибудь уличной газетке и тем компрометировать на весь мир ее доброе имя. Он подал ей мысль, что если на графа не подействуют никакие убеждения, то можно будет поугатать его Третьим Отделением и, в случае крайности, даже действительно обратиться туда за содействием; хотя такой путь и не Сочувственен, но... что же делать! А *coquin — coquin et demi!* Стесняться в подобном случае принципами нечего.

Успокоенная Ольга поэтому решила себе непременно воспользоваться помощью Тамары. Она была теперь очень довольна собою за свою сообразительность и такт, вовремя и кстати подсказавшие ей, что лучше встретиться с этою своею «соперницей» дружелюбно и как ни в чем не бывало, чем показать ей хотя бы тень того, что она против нее что-либо имеет. Благодаря такому дипломатическому маневру, Ольга по крайней мере узнала теперь очень важные для себя вещи, ознакомилась с истинным положением дела и даже приобрела в лице Тамары надежную союзницу. А встретиться она с нею холодно и сухо, всех этих важных шансов на ее стороне не было бы. Нет, она решительно призвана быть дипломаткой, — это ее прямая карьера!

Но обдумывая, уже у себя дома, как поступить относительно приглашения к себе Каржоля, — назначить ли ему такое время, чтоб он уже застал Тамару у нее, или же объяснить с ним предварительно самой, *tete a tete*, — Ольга рассудила, что второе будет хотя и не так эффектно, но, по некоторым причинам, пожалуй, удобнее для них обоих, тем бо-

лее, что у нее из последнего совещания с Миропольцевым возник в голове целый план относительно уловления Каржоля. Почему знать, может быть, Каржоль будет еще не бесполезен для ее целей впоследствии, и именно в качестве мужа...

В виду всех этих соображений, написав графу французское письмо, насколько возможно, любезное, взяв за основание для этого мотив, предложенный Тамарой, то есть, необходимость некоторого весьма важного и экстренного сообщения по затеянному им делу, Ольга назначила ему время свидания получасом ранее, чем условилась с нею, и просила уведомить ее хотя бы в двух словах, может ли он исполнить ее просьбу? Если же какие-либо обстоятельства не позволяют ему приехать в предлагаемый час, то пускай благоволит сам назначить время, и она будет ожидать его. С этою целью, письмо было отправлено пораньше утром, чтобы оно успело застать Каржоля еще дома, и отправлено не по почте, а с кучером, которому приказано дожидаться у графа ответа.

* * *

Самолюбие Каржоля было очень польщено этим вторичным посланием Ольги и, в особенности, его элегантно любезным тоном. — «Ага! прикрутило, значит!» — Его совершенно удовлетворяло приятное сознание, что перевес силы теперь в его руках, что Ольга видимо заискивает в нем и что он может поэтому «доминировать» над нею. Конечно, он останется непреклонен в своих решениях: развод во всяком случае должен состояться, но — в силу ли сознания этого своего превосходства, или в силу старых воспоминаний о хорошем периоде их отношений, — ему все-таки приятно лишний раз видеть эту «фатальную» женщину, а главное видеть и чувствовать самого себя пред нею в роли торжествующего, но благодарного мстителя. О! он будет в высшей степени благороден и даже, насколько возможно, великодушен перед нею! Для этого он готов даже предложить ей такие безобидные для обеих сторон условия, что развод не повлечет за собою ни для него, ни для нее никакого ограничения гражданских прав. Стоит лишь ей согласиться на его предложения, и он тогда готов, пожалуй, взять вину на се-

бя, — пускай сама начинает процесс против него. Малахитов уверяет, что это легче легкого повернуть дело таким образом — И граф уже заранее рисовался пред самим собою ролью такого великодушного мужа и готовился кокетничать ею пред Ольгой. Поэтому он не замедлил ответить ей на том же языке и в столь же элегантном любезном стиле, что готов исполнить ее желание и явится в назначенное ею время.

XII. ПЕРЕД АТАКОЙ

Получив этот ответ, Ольга сочла его, в некотором роде, счастливым предзнаменованием: окунь идет на удочку. Поэтому она постаралась обдумать хорошенько не только свою роль в предстоящем объяснении, но даже и самый костюм свой, и прическу, и разные мелочи туалета, рассчитывая, что все это может и даже должно влиять на Каржоля в известном, желаемом ею, смысле. Она давно уже и достаточно хорошо изучила слабые стороны его натуры и характера, чтобы знать, чем именно можно, при случае, повлиять на него молодой и красивой женщине. А это влияние прямо входило в расчет задуманного ею плана. Оглядев себя в большое трюмо, она, к особенному своему удовольствию, осталась совершенно удовлетворена и своим изящным домашним костюмом, и этим общим тоном своего лица, и видом всей фигуры, а затем, на всякий случай предусмотрительно отдала прислуге приказ не принимать сегодня никого, кроме графа и девицы Бендавид, которых впустить без доклада, — и, чувствуя себя те-

перь во всеоружии, удобно расположилась в гостиной, стараясь, пока есть еще время, успокоить в себе некоторое душевное волнение, невольно возбуждаемое ожиданием предстоящей решительной атаки и ее, пока еще гадательного, исхода. — Как то все кончится?..

Граф не заставил долго ожидать себя и явился почти минута в минуту, как ему было назначено. Такая примерная аккуратность тоже показалась Ольге хорошим признаком: стало-быть, очень заинтересован, — иначе, конечно, не стал бы так спешить.

— Простите, что опять потревожила вас, — любезно встретила она его, не протянув, впрочем, руки. — Но... причина слишком серьезна. Садитесь, пожалуйста, и поговоримте.

Каржоль сел на указанное ему кресло, спиной ко входным дверям, и с несколько натянутым видом особо вежливой сдержанности, изъявил готовность выслушать.

— Что прикажете?

— Вчера вечером, — начала Ольга. — Я совсем неожиданно получила самые точные сведения о Тамаре.

Тот ничего не сказал на это, — только головою кивнул, в том смысле, что принимаю-де к сведению, и вскинул на нее ожидающе вопросительный взгляд, как бы говоря им: далее?

— На основании этих сведений, — продолжала она, — я могу вам сказать, что Тамара замуж за вас не пойдет, так как ей стало известно, что вы женаты.

Каржоль, с невольным движением удивленности, откинулся несколько назад, на спинку своего кресла.

— Поэтому, мне кажется, ваши затеи с этим разводом совершенно бесцельны, — заключила Ольга.

— Да, но позвольте вас спросить, однако, — недоверчиво заметил граф, — из какого источника идут эти сведения?

— Из источника достаточно надежного, и в этом вы сейчас убедитесь. Начнемте хотя бы с того, что ни один из ваших расчетов до сих пор не оправдывается. Вы, например, рассчитывали, что Тамара вернется сюда не раньше осени, и потому поторопились написать ей в Сан-Стефано письмо, обещая приготовить ей

к приезду «уютное гнездышко» и тотчас же обвенчаться, — очевидно, в надежде, что развод к тому времени будет уже кончен, — ну, а она, вместо того, приехала летом. Ведь так?.. Это верно?

Каржоль слегка побледнел, и в глазах его сказалося вдруг смутное чувство тревоги. Из этих слов Ольги он уразумел, что источник ее, в самом деле, должен быть верен; в особенности поразило его это упоминание о санстефанском письме, с фразой насчет «уютного гнездышка», которую он, насколько помнится, действительно употребил в нем. Откуда все это могло сделаться известным Ольге?

— О приезде своем в Петербург, — продолжала она между тем, — Тамара уведомила вас немедленно; но вы, вместо того чтоб спешить к ней на свидание, которое вам предлагалось, поспешили уехать в Москву и из Москвы прислали успокоительную телеграмму, извещая, что должны сейчас же ехать по делам в Нижний и в Пермь. Так, или не так?

— Положим, так, — согласился несколько смущенный граф. — Но откуда вы это знаете?

— А, это уже мое дело! И если я позволила

себе немножко распространиться насчет всех этих подробностей, то это только, чтоб убедить вас, что мой источник верен. Надеюсь, после этого, вы можете поверить и тому, что она знает о вашей женитьбе.

— Что ж, это еще ничего не значит, если и знает, — усмехнулся граф несколько самонадеянно и небрежно.

— Как?! Это вас не пугает? — удивилась Ольга

— Нимало.

— Тогда почему же вы от нее скрывали это?

— Очень просто: до сих пор я не имел удобного случая объяснить ей это обстоятельство; но если оно известно, — что ж! — мне остается только рассказать ей, каким образом все это случилось, и я уверен, она меня оправдает.

— Не слишком ли преждевременна, граф, такая уверенность?

— Не думаю. Тамара слишком любит меня и верит мне.

— «Слишком»?.. Смотрите, не ошибитесь. Я имею, напротив, основания думать, что она

вас больше не любит.

— Ха-ха! — самонадеянно усмехнулся Каржоль, откинув назад голову. — Позвольте этому не поверить. Я слишком хорошо знаю ее, чтобы говорить с такою уверенностью. Не спорю, может быть, она и сердита на меня; но если бы даже и так, то поверьте, — полчаса интимного разговора между ней и мною совершенно достаточно, чтобы весь этот гнев ее преложился на милость, и она окажется после такого разговора еще более любящей и на все готовой.

— А если она любит другого? — не без коварства закинула ему Ольга вопрос, тоном, полным сомнений и самой язвительной подзирительности, в надежде смутить его этим.

— О, какой вздор! — засмеялся граф. — Этого быть не может!

— Ну, а если!.. Предположите себе такую возможность?

— Даже и предполагать не стану, а прямо заявляю вам, что это невозможно.

Ольга только головой покачала с лукаво сомневающеюся усмешкой.

— Извините, граф, я вижу, вы ее совсем не

знаете. Вы думаете, это все та же наивная, доверчивая девочка, что и два года назад?.. А я слышала, она так переменилась, так, можно сказать, выросла и нравственно, и физически, что мы бы с вами даже не узнали ее. Два года таких испытаний, как переход в христианство и война, — это в состоянии изменить любого человека, а в особенности такую натуру, как Тамара... И потому делали-ль вы сами все, для того, чтобы охладить, даже убить ее чувство? Вспомните-ка!

— Что ж я такое делал? — с недоумением пожал Каржоль плечами. — Кажется, ничего особенного... То же, что и все: служил, работал для нее же, для нашего будущего, писал ей, когда была возможность, — правда, не часто, но она знает уже причину... Чего ж еще?

— Хм!.. «Ничего?» — Ну, это ваше дело, вам лучше знать, правы ли вы перед нею...

— Да нет, позвольте, — приступил он к Ольге, — меня гораздо более интересует, откуда все это вам известно?

— А, это уже мое дело, — загадочно улыбнулась она.

— Mais non, dites franchement, вы верно ви-

делись с нею?

— Нет, не виделась; но вы видите, что я знаю, и знаю даже гораздо больше, чем вы думаете, — ну, да это пускай при мне и остается!.. Мне только хотелось предупредить вас, что вы напрасно будете убивать и время, и хлопоты ваши, и деньги на этот процесс. Но раз, что вы так уверены в своем могуществе над Тамарой, я оставляю этот вопрос, — делайте как знаете. Поговоримте теперь собственно о деле, — предложила Ольга.

— К вашим услугам, — слегка поклонился граф.

— Я читала в консистории ваше прошение, — продолжала она, — и, признаюсь вам, только удивлялась его... как бы это вам сказать? — его безосновательности. — *Pardon mais cest une frivolite absolue* — и если вы только с этим выступите против меня, то я вас поздравляю! — Там нет ни одного, сколько-нибудь серьезного, довода. В прошлый раз вы намекнули мне, правда, на мои письма, — но ведь письма не доказательство! — заметила Ольга, с пренебрежительною усмешкой, как о вещи совершенно жалкой и ничтож-

ной. — Не знаю, известно ли вам, но я могу вас уверить, что консисторский суд, по закону, не примет их ни в какое внимание.

Слова эти в устах Ольги истинно поразили Каржоля. — «Ага! подумалось ему, — стало быть, уже успела переговорить со специалистами!» — Но он, не теряя своего апломба, многозначительно заявил ей, что принятие или не принятие во внимание будет зависеть от того, как поведется дело, и что его адвокат, напротив, находит в этих письмах самое существенное подспорье.

— Не знаю, что находит ваш адвокат, но знаю, чего требует закон, а этого вам доказать не удастся.

— Вы полагаете? — иронически спросил граф, вспомнив кстати идею Красноперова об аванложах Мариинского театра.

— Я говорю вам это со слов такого авторитета, как Миропольцев, — внушительно пояснила Ольга. — Надеюсь, это немножко повыше ваших адвокатов.

— Н-ну, как знать! Одно — теория, другое — практика, — усомнился граф, делая многозначительную мину.

— Во всяком случае, посильнее! — подчеркнула она. — И за плечами такого человека я остаюсь совершенно спокойна. При его связях и влиянии, ваши адвокаты могут в двадцать четыре часа очень далеко улететь из Петербурга, да и не одни адвокаты!., и потому мне не страшна никакая консистория. Конечно, вы можете сделать мне этим процессом скандал, но не более, да и то еще — смотрите, как бы не промахнуться!

— Ольга Орестовна, не будемте ссориться и пугать друг друга, — начал вдруг Каржоль, переменив свой несколько сухой и натянутый тон на более простой и искренний. — Вы знаете, что развод мне необходим, и я, *Coute que coule*, должен его добиться. Позвольте же поэтому предложить вам такие условия, которые будут безобидны для нас обоих. Я понимаю, что для женщины порядочной и тяжело, и некрасиво фигурировать в таком деле в качестве обвиняемой стороны, — что ж, я готов избавить вас от этого. Согласитесь на мои условия и начинайте сами процесс против меня, — я возьму вину на себя, проделаю всю гнусную комедию, какая в этих случаях требу-

ется, и мы будем разведены без скандала; вы останетесь при вашем настоящем имени, графиню Каржоль де Нотрек, и получите полное право выйти замуж за кого вам угодно и когда угодно.

— Но ведь тогда вы уже лишитесь права жениться, — возразила Ольга. — Какой же вам расчет?

— О, об этом не беспокойтесь! — ответил он самым уверенным тоном. — Через неделю после развода и я женюсь преспокойнейшим образом, — ведь вы же, надеюсь, не станете преследовать меня за это судом? — Я говорил и с московскими специалистами, и со своим адвокатом; все они единогласно утверждают, что это вполне возможно, если заинтересованная сторона не возражает, а заинтересованною стороною являетесь тут только вы одна; они говорят, что консисторская практика сплошь и рядом знает такие примеры и обыкновенно глядит сквозь пальцы, коль скоро заинтересованная сторона молчит. Итак, начинайте сами, я готов сделать вам эту уступку.

— Благодарю вас, — с легкой иронией поклонилась Ольга. — Вы готовы, но я, вот ви-

дите-ли, не готова к положению разводки и вовсе не желаю его.

— Однако же это необходимо! C'est une necessite absolue! — я не шучу, — так и подумайте же, не выгоднее ли вам воспользоваться всеми преимуществами нападающей стороны, чем нести все последствия обвиненной?

— Нет, граф, никакой необходимости я в этом не вижу, да и вам от души советую бросить это пустое дело: обожжетесь!

— С такими доказательствами, как у меня в кармане, — уверенно похлопал он себя по левому боку, — не обожгусь, сударыня!

— Это вы все насчет писем-то? — засмеялась она.

— А хотя бы и так! — похвалился он вызывающим тоном.

— Полноте, я уже сказала вам, что они никакого значения не имеют.

— Предоставьте мне это лучше знать, Ольга Орестовна.

— Да притом же я уверена, — продолжала она, не без умысла вызнать, при себе ли у него эти письма, — я уверена, что все это

только одни «страшные слова», — своего рода «жупель», которым вы пытаетесь запугать меня, для того, чтобы я, во избежание скандала, скорее сдалась на ваши условия, а в действительности у вас никаких писем нет, да и быть не может, — откуда вам взять их?

— Представьте, что есть, Ольга Орестовна, — есть, и с этим сокровищем я даже никогда не расстаюсь, так при себе и ношу его, из опасения, чтоб как-нибудь не пропало.

— Слова, слова и слова! — махнула она рукой. — И этим словам я не верю.

— Ан поверите!.. Придется поверить, да жаль, что поздно будет.

Ольга отрицательно покачала головой.

— Ну, чем же уверить вас? Хотите, покажу, пожалуй?

— Не покажете, граф, потому что показать вам нечего.

— Вы так думаете? — Ну, так взгляните же и уверьтесь!

И видя, что она точно бы поддразнивает его и потому желая в свой черед поддразнить и ее, он достал из бокового кармана изящный бумажник и показал его Ольге, но только из-

дали — «а то, неравно еще, как бы не вырвала».

— Вам знакома эта вещица? — с улыбкой спросил он. — Узнаете?

Ольга взгляделась и действительно узнала бумажник, подаренный ею Аполлону, но по наружности осталась совершенно равнодушной, что отчасти даже удивило графа, — «как! неужели никакого впечатления?!»

— Ну-с, а это изящное произведение узнаете? — продолжал он, раскрыв бумажник и показывая внутреннюю его сторону, где была вставлена известная карточка Ольги. — Я могу вам напомнить даже надпись, которую вы собственноручно изволили сделать на обороте: «A mon bien-aime Poupitchik ta fidele Olga en souvenir du 17 octobre 1876». — Довольно с вас этого? Теперь убедились? — спросил он в заключение торжествующим тоном и поспешил отправить бумажник обратно в свой боковой карман, и даже застегнулся для пущей уверенности.

— И все-таки, я повторяю вам то же, что и прежде, — спокойно и уверенно начала после этого Ольга, — бросьте это пустое дело, обо-

жжетесь!

— Да откуда, наконец, у вас такая непоколебимая уверенность? — воскликнул Каржоль с удивлением и даже досадую в душе, что весь эксперимент его с бумажником не произвел решительно никакого эффекта. А он так рассчитывал именно на этот эффект, и для того даже нарочно захватил свое «сокровище» с собою.

— Моя уверенность, — продолжала она тем же невозмутимо спокойным тоном, глядя ему прямо в глаза, — моя уверенность основана, по-первых, на том, что у меня больше средств, чем у вас, и потому я могу перекупить всех ваших адвокатов; во-вторых, на том, что за мною стоят слишком сильные и высокопоставленные люди, с которыми бороться вам не по плечу, а в-третьих, стоит лишь мне захотеть, — и вы завтра же будете высланы из Петербурга с жандармами. Не угодно ли начинать тогда процесс из какого-нибудь Холмогорска?

— Ну, теперь уже вы начинаете, кажется, грозить мне «жупелом», — небрежно усмехнулся граф, хотя у самого внутри немнож-

ко-таки екнуло, — «а чем, мол, черт не шутит!»— С жандармами высылают людей не так легко, как кажется, — продолжал он, — а меня к тому же и не за что. Что же касается до высокопоставленных людей, то они тут, полагаю, не причем и в семейное дело путаться не станут, а что до моих средств, то ведь вы в моем кармане не считали и, наконец, не все адвокаты продажны.

— А, если так, оставайтесь при вашей уверенности, и посмотрим, чья возьмет! — тоном холодной и несколько загадочной угрозы заметила Ольга.

— Ну, послушайте, будемте говорить, как друзья! — предложил ей вдруг Каржоль решительным и самым искренним образом. — Скажите откровенно, что вы хотите за развод?.. Дайте мне возможность жениться на Тамаре, и я охотно выдам вам за это формальное обязательство на себя — ну, во сколько вы желали бы?.. Хотите сто тысяч? Я вам через час привезу вексель.

— Слишком дешево цените, граф, мою репутацию, — улыбнулась Ольга.

— Ну, виноват, хотите двести?.. Двести ты-

сяч, — ведь это куш, предел мечтаний стольких обладателей выигрышных билетов!.. Подумайте!.. И за такой пустяк, как поднять против меня дело, где вы уже нисколько не рискуете своею репутацией!.. Ольга Орестовна, — совсем уже дружески и даже задушевно продолжал он, протягивая ей обе руки, — ударимте по рукам на двухстах и останемтесь друзьями!.. Я выдам вам два векселя по сто тысяч, сроком на полтора года, и по окончании процесса за Тамирино наследство вы сейчас же получите эти деньги. Согласны?

— Вы, граф, однако, продаете шкуру медведя, еще не убив его, — напомнила она не в меру увлекшемуся собеседнику. — Позвольте же вас уверить, что вам никогда — понимаете ли, — никогда не убить его! Повторяю еще раз, Тамара не пойдет за вас.

— Ну, уж позвольте мне это лучше знать! — подфыркнул он самоуверенным тоном.

— Ничего вы не знаете и знать не хотите, а потому, я вижу, разговаривать с вами об этом, — только слова терять по-пустому!

— Но нет, позвольте, я вам представлю все

доводы, — горячо настаивал Каржоль. — Я разовью перед вами целую картину положения, и вы тогда сами согласитесь, что я...

Но он не успел еще досказать своей фразы, как Ольга, взглянув мимо его головы по направлению к дверям, моментально изобразила на своем лице как бы неожиданно удивленную улыбку и приветливо привстала кому-то навстречу. Он обернулся и недоумевая, кто б это мог так некстати помешать их интересному объяснению, увидел какую-то женскую фигуру, которая неслышными шагами приближалась к Ольге по мягкому ковру гостиной. Но еще одно мгновение — и граф оцепенел от ужаса.

Мимо него, как бы не замечая его присутствия, прошла Тамара.

XLII. АТАКОВАН

Сначала он просто не узнал ее, — до такой степени, на его взгляд, изменилось ее лицо, его выражение и весь характер. В этом лице явился отблеск какой-то серьезной и строгой мысли, на нем легла печать сильной, но сдержанной, самообладающей воли, в каждой черте сказывался особенный нравственный закал, — словом одухотворилось нечто такое, чего и тени не было прежде. Она точно бы выросла и окрепла за это время, что они не виделись, и стала еще красивее.

К удивлению графа, бывшие подруги, как ни в чем не бывало, расцеловались между собою самым дружеским образом, и вслед за тем, Ольга, указывая на него, проговорила веселым, но полным, иронии, тоном:

— Позволь, мой друг, представить тебе моего мужа, а твоего жениха. Что, граф, не ожидали такой встречи?

Тамара, ничего не промолвив на это представление, только окинула графа холодно равнодушным взглядом, в котором Каржолу инстинктивно показалось, что между ним и

ею как будто все уже кончено. Неужели это так, в самом деле? Ему бы лучше хотелось, чтобы этот взгляд метал на него молнии гнева, горел бы ненавистью, пускай даже презрением к нему, — это все же выражало бы хоть какое-нибудь чувство, хоть малейшую связь с прошлым, которое авось-либо можно бы было и восстановить со временем; но такое ледящее безразличное равнодушие, — оно ужасно, и его никак не ожидал он от Тамары. Ее внезапное появление, затем Ольгина рекомендация его в качестве «мужа и жениха» и, наконец, этот покончивший его взгляд, — все это ошеломило графа, что он окончательно растерялся, и даже до такой степени, что совсем некстати ответил на взгляд Тамары глупым поклоном, сопроводив его, еще того глупее, натянуто приятною салонною улыбкой, которая так и осталась на его обесмыслившемся лице.

— А мы только-что ризы твои делили, — весело заявила Ольга Тамаре.

— Ризы? — повторила та, не понимая, что хочет сказать этим ее подруга.

— Да, ризы! Представь себе, — продолжала

Ольга все тем же смеющимся, весело злорадным и довольным тоном, — Граф предлагает мне за согласие на развод... Как ты думаешь, что? — двести тысяч рублей! Ni plus, ni moins!.. Но ты думаешь, это он из своих денег? — Нет, мой друг, из твоих, из твоего личного наследства, которое он рассчитывает женившись оттягать у бабушки. И знаешь, — в похвалу ему будь сказано, — даже высказал при этом примерную заботливость о твоих интересах, — ей-Богу! — Сначала было поприжался и предложил только сто, но видит, я не соблазняюсь, — нечего делать, накинул еще сто, даже через час векселя привезти предлагал. Видишь, какой он у нас расчетливый, экономный, и как это много обещает для супружеской жизни!.. Что ж вы стоите, граф? — Садитесь!

Но граф стоял по-прежнему в невозможном положении, дурак дураком, то бледнея от внутреннего ужаса, то вспыхивая краской смущения от беспощадной откровенности Ольги, каждое слово которой точно бы резало его на части. Не находя в замешательстве, куда девать свои глаза и руки, он только время

от времени нервно подрягивал в коленке ногой да дробно притоптывал носком сапога по полу, в желании заглушить этим чувство нравственной боли, похожее на то, как будто его секут или живьем на сковородке поджаривают.

— Прежде чем сказать вам что-либо, — серьезно и сухо обратилась наконец к нему Тамара, — позвольте вас спросить, что сделали вы с письмами, которые я доверила вам переслать к Ольге?

Каржоль почувствовал, что настает решительная минута, для которой ему необходимо собрать все свое самообладание и проявить хоть какое-нибудь личное достоинство, — пускай фальшивое, пускай бесстыжее, но достоинство, чтобы хоть этим спасти себя в глазах Тамары, а вместе с тем, быть может, спасти и последнюю, слабую нить надежды на примирение с нею.

— Я... я их препроводил... то есть виноват, не то... Я не то хотел сказать, — заговорил он, не зная еще, что отвечать ей, но стараясь в то же время сколько-нибудь овладеть собою, встряхнуться, подбодриться и взять прилич-

но независимую ноту. — Письма эти, — продолжал граф, — выпрямляясь грудью вперед, с достоинством светского человека, и заложив, «par contenance», руку за борт своего застегнутого по-парижски сюртука, — письма эти... Видите ли, если вам угодно будет уделить мне полчаса на откровенный разговор entre quatre yeux, я вам все объясню и... смею думать, вы не бросите в меня камень, когда узнаете.

— Я желаю только знать, где эти письма? — повторила еще настойчивее Тамара.

— Письма у меня, положим, но... мне необходимо прежде объяснить вам...

— У вас? — перебила его девушка, — В таком случае, возвратите мне их сейчас же.

— Письма, можете быть уверены, — с достоинством заявил Каржоль, — будут возвращены по принадлежности, я прошу вас не сомневаться в этом.

— Они должны быть возвращены мне, немедленно же, я этого требую! — настойчиво и властно подтвердила Тамара.

— К сожалению, — возразил граф окончательно закутываясь во все неприступное ве-

личие своего достоинства, — при всем желании сделать вам угодно, я не в состоянии исполнить это сейчас же: они еще нужны мне, и повторяю вам снова, что если вы уделите мне хоть полчаса для откровенного разговора, то сами придете к убеждению, что я прав, поступая таким образом... Вы сами первая пожалели бы, если б я отдал эти письма теперь же... Умоляю вас, Тамара, прежде всего объясниться со мною!

Но на девушку нимало не подействовали эти горячо и столь благородно произнесенные фразы, хотя, возвратив себе свое самообладание, Каржоль и рассчитывал поколебать ими в свою пользу Тамару.

— Если в вас остается хоть капля совести и чести, — заговорила она тем же ледяным тоном, — вы сию же минуту отдадите их мне, из рук в руки, — понимаете? — Я напоминаю вам, граф, о вашей чести.

— Напрасно, милая! не возвратит! — вмешалась в разговор Ольга. — Они нужны ему для развода, как доказательство моей будто бы неверности.

— Vous avez dis, madame! — с отменной га-

лантностью сделал ей граф комплиментное движение рукой и корпусом, как бы отдавая этим полную справедливость ее словам, и затем обратился к Тамаре:

— Ольга Орестовна отчасти облегчила мне задачу, потрудившись объяснить вам за меня, для чего собственно нужны мне ее письма, — сказал он. — Против этого объяснения я ничего не имею, хотя многое мог бы к нему еще добавить, что, надеюсь, окончательно оправдало бы меня в ваших глазах, но во всяком случае, могу дать вам слово, что по миновании надобности, письма тотчас же будут возвращены ей, вместе с бумажником и прочим.

— А, так?! — выступила вперед Ольга. — По миновании надобности? — Ну, так знайте же, милостивый государь! — обратилась она к нему решительно и веско. — Бумажник, который вы мне сейчас показывали, был подарен мною вовсе не Пупу, и я не знаю, на каких основаниях угодно вам утверждать противное.

Каржоль выпучил на нее удивленные глаза, недоумевая, к чему бы мог клониться этот странный изворот его супруги.

— Не Пупу? — проговорил он. — Так кому же?

— Вам!

— Мне?!?

— Да вам! — уверенно и смело бросила она ему это слово, глядя прямо в глаза с такою твердою наглостью, которая изумила самого Каржоля. — Бумажник был подарен мною вам самим, на память, — продолжала Ольга тем же твердо убежденным, доказательным тоном. — Карточка моя нарочно снята мною для вас же, по вашему собственному желанию, — да иначе, как для мужей, такие карточки и не снимаются. Надпись на ней посвящена мною вам же, в память дня нашей свадьбы, — понимаете? — и письма все писаны тоже к вам, как мужу, уже после нашего брака. Попробуйте-ка доказать мне противное!

Такой неожиданный оборот дела совершенно огорошил Каржоля, так что он даже обозлился в душе, но все-таки постарался выдержать свое напускное наружное спокойствие, сознавая, что оно более всего необходимо ему в таких исключительных обстоятельствах.

— Trop d'honneur, madame, trop d'honneur! — иронически поклонился он ей. — Но вы забываете одно: в этих письмах я нигде не назван по имени, — там везде стоит или «mon Apollon», или «mon Poupitchik», а меня, кажется, зовут Валентином, если вам угодно вспомнить.

— Нет письма писаны к вам, к вам, милостивый государь, и ни к кому другому! — с настойчивым убеждением подтвердила Ольга. — «Poupitchik», это именно вы, — вы мой Пупчик!.. «mon Apollon» cest de meme vous, monsieur! — Кому ж не известно, что нежные супруги сплошь и рядом дают друг другу разные уменьшительные клички? Ну, мне пришла фантазия звать вас Пупчиком, — почему бы нет? — это такая распространенная кличка! И что ж тут удивительного, если я употребляла это ласкательное словцо и в нашей интимной переписке?! — Самое естественное дело!.. Точно так же, в переносном смысле, я могла величать вас и олимпийским богом, — «mon Apollon, mon idole, mon dieu», — est-ce qu'un homme aussi beau, que vous ne pourrait etre baptise d'un nom pareil?

И откинувшись слегка назад, она остановилась в несколько театральной позе, с указывающим на него жестом простертой вперед руки.

Каржоль чувствовал, что это с ее стороны не более, как буффонада, самая язвительная насмешка, заранее торжествующее над ним издевательство, и в то же время он понимал, что наглое объяснение, изворотливо приданное Ольгой ее письмам, не только низводит их криминальное значение до нуля, но и самого его может поставить перед судом в крайне глупое, смешное и нравственно даже некрасивое положение. Однако же, несмотря на это, граф и тут не воздержался от последней попытки увернуться из-под ее неожиданного ловкого удара, хотя попытка эта моментально вспыхнула в нем чисто рефлексивным образом, не столько из-за каких-либо дальнейших видов на Тамару, сколько из злости против Ольги, чтобы хоть чем ни на есть досадить и отомстить ей за ее издевательства и тем поддержать, хотя бы по внешности, пред ней и Тамарой свое шельмуемое личное достоинство.

— Все это, может быть, очень остроумно, — иронически согласился он, стараясь делать, как говорится, *bonne mine a mauvais jeu*, меж- тем как нижняя губа его уже дрожала от внут- реннего волнения и мускулы лица начинали подергиваться порою нервною судорогой, в ви- де не то гримасы, не то улыбки. — Пусть так, но вы не разочли однако того, что я могу фак- тически доказать, как поручик Аполлон Пуп был доставлен мною 31 августа в радишев- ский госпиталь и сдан на руки сестре Тамаре, как затем я присутствовал на его похоронах, и как она вручила мне при этом его бумаж- ник. На все на это найдутся свидетели-оче- видцы — их можно будет разыскать — и из них я прежде всего мог указать на самую же госпожу Бендавид, да и смерть поручика Пу- па, конечно, занесена в регистры госпиталя.

— А, вы намерены выставить свидетельни- цей Тамару? — с живостью подхватила Оль- га. — Хорошо-с!.. А если эта свидетельница, — размеренно продолжала она с коварною вес- костью, дружески обняв и кладя на ее плечо руку, — если эта свидетельница скажет, что предсмертная воля поручика Пупа заключа-

лась только в том, чтобы переслать в полк оставшиеся у него пятнадцать золотых, для раздачи людям его взвода, и что она исполнила эту волю, немедленно же передав кошелек начальнице общины, которая, конечно, тоже не откажется подтвердить этот факт, в случае надобности, но что никакого бумажника с письмами покойник ей не оставлял и ничего больше не поручал?.. Ну-с, как же тогда будет?

Граф пытливо взглянул на Тамару, желая прочесть в ее лице — точно ли она в состоянии сделать это? И неужели обе они обо всем уже переговорили и окончательно стакнулись между собою? Неужели он не обманулся в роковом для себя значении того убийственного взгляда Тамары, которым обдала она его сегодня при встрече, и точно ли в ней взаправду исчезла последняя искорка теплого, доброго чувства к нему, и он не встретит в ней больше никакого участия, ни малейшей поддержки себе? Но лицо девушки оставалось все так же холодно и строго, — оно даже поразило его своим бесстрастным равнодушием. И что за странное молчание с ее сторо-

ны?! Этим своим молчанием она как будто соглашается с Ольгой, она не протестует, она тоже против него, она — его враг, союзница его супруги... Господи! да где же прежняя Тамара?! Где она?..

— Что же вы замолчали, граф? — ядовито обратилась к нему Ольга, как бы поджигая и дразня его. — Я вас спрашиваю, как же будет, если вы нарветесь на такое заявление вашей свидетельницы? — признаюсь, мне очень любопытно.

— Погодите торжествовать, сударыня! — с едкою горечью, уже заметно спустивши тон, возразил ей Каржоль, побуждаемый, однако, все тем же чувством злобной досады и желанием отместки ей за все ее издевательства. — Погодите!.. Покойник мог передать мне письма и ранее, хотя бы в то еще время, как я вез его в госпиталь.

— Ах, так?

— Да, он мне передал их вместе с бумажником на дороге, иронически подтвердил ей граф в ее же уверенном тоне.

— Да?.. Ну, в таком случае, я стою на прежнем и утверждаю, что письма писаны не к

нему, а к вам, — окончательно порешила Ольга. — Показание ваше совершенно голословно, и никакие ваши адвокаты свидетелей к нему не подыщут!.. И вы — вы, столь «обожаемый супруг», без стыда и совести решитесь воспользоваться самыми заветными письмами своей жены, писанными к вам в самом разгаре ее любви, чтоб извратить их в доказательство ее мнимой неверности!.. Ха, ха, ха!.. Попробуйте-ка сделать это, рыцарь без страха и упрека! — Да вы себя шлепнете в общественном мнении так, что вам никогда уже не смыть позора этого чудовищного поступка! Все порядочные люди будут за меня, вся печать закричит об этом!.. Попробуйте!

Каржоль, как затравленный заяц, бессильно поник, наконец, головою и тупо глядел в землю, опершись руками на спинку легкого золоченого стула.

Несколько мгновений прошло в молчании, исполненном победоносного торжества для Ольги и тяжелой удрученности для окончательно разбитого Каржоля. Битва, очевидно, была им проиграна. Последняя надежда на Тамару исчезла, и он убедился наконец в

истине, которой упорно не хотел поверить до последней минуты: теперь уже ясно, что прежней любви не осталось в Тамаре и тени, что он для нее уже совершенное ничто, и никогда, ни при каких обстоятельствах, не воскреснет в ее сердце. Из-за чего ж ему, в таком случае, городить весь этот огород, строить все эти сложные махинации, бороться, добиваться развода, стремиться к невозможному?.. К чему, когда все уже кончено, все рушится, все лопнуло, как мыльный пузырь?! — Не стоит!.. Да и в нем самом нет больше ни прежней энергии, ни охоты продолжать эту борьбу, раз уже им признана вся ее бесцельность. Он устал наконец, измочалился, истрепался весь в этой лихорадочной суতোлке, и теперь ему хотелось бы только успокоиться и забыться. — «И вот вам женщины! Верь в них после этого!» — А уж он ли не верил в любовь Тамары! Он ли не делал все, чтобы эта любовь ее увенчалась наконец полным счастьем!.. И вот благодарность!

Общее тяжелое молчание было наконец прервано Тамарой.

— Итак, граф? — обратилась она к Каржо-

лю все тем же ледяным тоном, — спрашиваю в последний раз, угодно вам возвратить мне письма?

Он точно бы очнулся при этом вопросе, бессмысленно как-то посмотрел ей в лицо и затем молча достал из бокового кармана бумажник и молча вручил его Тамаре.

— Возвращаю тебе по принадлежности, — передала она его Ольге. — Посмотри, все ли? — я его никогда не раскрывала и не знаю, что там такое.

Ольга наскоро пересчитала и проверила все письма и записочки и, уложив их опять в бумажник, немедленно же опустила его к себе в карман.

— Все, кажись, в целости, — успокоительно заявила она Тамаре.

— Очень рада! — отозвалась девушка. — Прости еще раз мою вину и прощай, дорогая!

— Куда же ты? — встрепенулась Ольга. — Останься, пообедаем вместе... Успеешь еще!

— Некогда, милая, после завтра уже еду. Надо сделать еще кое-какие покупки, приготовиться, — хлопот полны руки...

— Разве ты уже покончила? — удивилась

Ольга. — Так скоро?

— Все, все уже! И готовый контракт подписала, и подъемные получила — у них это живо! Да и чего же медлить? — чем скорей, тем лучше!

— Ну прощай!.. Сердечное спасибо за услугу!

И Ольга от души расцеловалась с нею, на этот раз уже вполне искренно и с неподдельным благодарным чувством.

— А вам, граф, скажу одно, — спокойно и беззлобно обратилась Тамара к Каржолу. — Упрекать вас пришлось бы слишком много и за многое... поэтому я предпочитаю вовсе не делать никаких упреков — Бог вам судья!

— Но я любил вас, Тамара! — патетически даже со слезами в голосе воскликнул вдруг Каржоль, которому ее смягчившийся несколько тон сейчас же подал повод восстановить хоть сколько-нибудь в ее глазах свой нравственный облик. «И в самом деле, подумалось вдруг ему, если уж Ольга так его презирает, то пускай хоть Тамара не думает о нем так дурно, тем более, что он вовсе не так черен душою, как им кажется, благодаря это-

му несчастному стечению независящих от него обстоятельств. По совести же, он себя, ей-Богу, ни в чем обвинить не может!»

— Любили? — горько усмехнулась девушка на его возглас. — Это, однако, не мешает вам любить и разных Мариуц в то же время, — потеря, стало быть, не особенно велика для вас.

При имени Мариуцы Каржоль вдруг вздрогнул, и лицо его вспыхнуло краской смущения. — «Как! неужели она и про Мариуцу знает?!» — Этого последнего удара граф никак уже не чаял, и он поневоле заставил его в душе сознаться самому себе, что отношения его к Мариуце, про которые он как-то совсем позабыл теперь, не придавая им особенного значения, делают его, пожалуй, несколько виноватым перед Тамарой, но не на столько, однако, чтобы он никогда уже не мог подняться ни в ее, ни в своих собственных глазах, потому что Мариуца, в сущности, совершенно пустяк и не стоит даже серьезного разговора.

— Не презирайте меня, по крайней мере! — продолжал он в том же патетическом роде, но уже упавшим голосом. — Время, быть

может, оправдает меня и докажет вам, что я не так виноват, как кажется, — я только несчастен... Сами обстоятельства так сложились, а я... Неудачник я, — вот в чем вина моя!..

Он невольно расчувствовался при этом сам над собою, и на глазах его вдруг показались крупные слезы.

— Да, я несчастен, Тамара, глубоко несчастен, верьте мне хоть в этом!.. Хоть этим слезам моим поверьте — они искренни! — говорил он, чувствуя себя в самом деле несчастным, незаслуженно гонимым человеком, у которого все, все уже отнято и все потеряно.

— Не презирать вас, ни помнить на вас зла я не стану, — продолжала девушка. — Я помню, что, благодаря вам, стала христианкой, хотя, конечно, вы сами не могли предвидеть, к чему оно приведет... Но, во всяком случае, спасибо вам за это и... на этом и кончимте!

— Нет! дайте мне возможность оправдаться перед вами! — с новым жаром воскликнул Каржоль. — Позвольте мне хоть написать к вам! Умоляю вас!..

— Лишнее, граф, — я ни в чем не обвиняю

вас больше. Поблагодарите лучше Бога, что все кончилось так, как теперь: оно лучше и для вас, и для меня, поверьте!.. Одно скажу: постарайтесь поскорее вычеркнуть меня из вашей памяти, как и я, в свой черед, постараюсь забыть вас. Прощайте!

И Тамара, пожав еще раз руку Ольги, удалась из гостиной, по-видимому, так же спокойно, как и вошла в нее.

XLIII. ПРЕЛИМИНАРЫ И КАПИТУЛЯЦИИ

Вслед за ней и Каржоль взялся было за шляпу.

— Куда же вы, граф?.. Оставайтесь, мне еще надо поговорить с вами, — довольно любезно предложила ему Ольга.

— О чем говорить нам больше! — с горькой усмешкой пожал он плечами.

— Как знать. — Может быть, до чего-нибудь и договоримся, — отчасти загадочно улыбнулась она, опускаясь в кресло. — Присядьте и постарайтесь спокойно выслушать и взвесить то, что я скажу вам.

Он молча покорился ее предложению и сел, все с тем же удрученно усталым, апатичным видом, который, казалось, говорил: все равно уж, как ни бей, больнее не ударишь!

— Надеюсь, — начала Ольга, — теперь вы убедились окончательно, что Тамара для вас потеряна?

— К несчастью! — согласился граф со вздохом.

— А может, и к счастью, напротив. Почему знать! — возразила она с той же загадочной улыбкой. — Вы друг другу не пара, это ясно, и миллионов ее вам, все равно, не видать, как ушей своих, хоть бы вы на ней и женились. Но, по крайней мере, теперь вы видите, что я была права, когда убеждала вас бросить эту нелепую вашу затею с разводом?

— Может быть, — уклончиво согласился граф.

— Да не «может быть», а так! Это верно! — подтвердила Ольга таким тоном, как будто желала внушить Каржолу, — ты, мол, батюшка, не виляй, меня не проведешь, да и не к чему! — Ну, и что же? — спросила она, — намерены вы продолжать еще дело?

— Н...не знаю, право. Я ничего еще не решил себе.

— Так хотите, я решу за вас?

— То есть, как это? — взглянул на неё граф с недоумением.

— А так, что всю эту глупость надо бросить сейчас же, понимаете? — немедленно! — авторитетно и решительно, как бы тоном приказания, сказала Ольга.

— И что ж затем?

— А затем, взамен развода, я имею предложить вам нечто такое, что — надеюсь — устроит вас несравненно лучше.

Каржоль тотчас же поднял голову и, как лягавый пес, насторожил уши.

— Прежде всего, — начала она, — скажите мне откровенно, неужели вам не надоело это вечное мыканье по свету, в погоне за какими-то призраками и фантазиями, которые никак не даются вам в руки? Неужели вы еще не устали, не разочаровались? Или жизнь не достаточно еще вас побила и проучила?

— К чему вы меня спрашиваете об этом? — проговорил он с горечью и грустью.

— К тому, что смотря по вашему «да» или «нет», я буду знать, стоит ли предлагать вам то, что я думаю.

— Что ж отвечать вам на это? — пожал граф плечами. — Мне кажется, ответом может служить та сцена, свидетельницей которой вы сами только что были. — *Est-ce que vous n'etes pas encore persuade que j'ai perdu le combat et que je suis vaincu?*

— Да, я это видела и даже пред-видела. Ста-

ло быть, вы сдаетесь?

— Что ж еще остается мне?! — печально усмехнулся он, склоняя голову.

— Думаю, что ничего больше. И это, с вашей стороны, совершенно искренно?

— Полагаю, лгать мне более нет нужды, и наконец, письма у вас в кармане, — это вам лучшее доказательство.

— Правда и то, — согласилась Ольга. — В таком случае, и я буду с вами откровенна.

Видите ли, в чем дело...

И на минутку она приостановилась, сообщая про себя, с чего бы начать половчее, но тут же решила себе, что лучшим дипломатическим приемом в данном случае будет плата за откровенность — откровенностью, тем более, что в случае упорства или отказа с его стороны, у нее есть еще в запасе и одна существенная угроза.

— Вот уже два года, что я замужем, и живу на положении какой-то соломенной вдовы, — серьезно начала Ольга. — Не скрою, положение это довольно-таки странное, двусмысленное, — для меня, по крайней мере. По моим делам и отношениям, мне совсем не удобно,

чтобы в свете смотрели на меня, как на какую-то не то разводку, не то сепаратку... Я все не желаю, чтоб на вопрос обо мне, какая-нибудь графиня Дора или княгиня Зина, которые нисколько не лучше меня, подымали нос и делали сомнительную гримаску, или сухо отвечали бы «Je ne la connais pas». Таким положением может бравировать какая-нибудь авантюрьерка или кокотка, но я ни то, ни другое, и для меня оно неудобно. Раз, что я ношу имя, которое дает мне право на известное положение в обществе, и я желаю, чтобы все двери этого общества были открыты мне, на правах равной. Мне так нужно, — у меня есть свои виды и цели, которые по моим соображениям, требуют этого, и если разные светские и сановные мужья у моих ног, то этого мне еще не достаточно: я желаю, чтоб и их жены от меня не отворачивались... Как видите, я высказываюсь пред вами довольно откровенно? — улыбнулась ему Ольга с кокетливо подкупающей грацией.

— Кажется, — согласился граф безразличным тоном, думая про себя: к чему это она клонит, однако?

— Помнится мне, — продолжала Ольга, — что в день нашей свадьбы, вы, после венца, предлагали мне забыть все прошлое, все горькое и начать новую жизнь вместе, как следует... Если помните, я не отвергла вашего предложения безусловно, но тогда оно казалось мне несвоевременным... Мне думалось, что надо прежде дать всему улечься, успокоиться, придти в себя, даже проверить самих себя, а для всего этого нужно было время, и я отвечала вам, что пусть пройдет год, другой, и тогда мы посмотрим... не так ли?

— Да, я искренно предлагал вам это, — согласился граф, — но вы-то, искренно ли вы давали мне взамен эту отсрочку?...

— Я не совсем понимаю ваш вопрос, — слегка нахмурясь Ольга.

— Ces malheureuses lettres, qui sont la, dans votre poche, madame, vous l'expliqueront bien ce que je veux dire! — пояснил он ей с выразительною горечью.

Лицо Ольги передернулось досадливою гримаской.

— Оставимте наше прошлое! — предложила она. — Ни вам до моего, ни мне до вашего

нет дела!.. Я вас не спрашиваю, как жили вы и что делали за это время, — надеюсь, чувство деликатности и вам должно подсказать то же самое.

Каржоль молча поклонился в знак согласия. Раз, что взывают к чувству его деликатности, может ли он не согласиться!

— Итак, — продолжала она, — два года назад, я предоставила наш супружеский вопрос времени. Теперь, мне кажется, время это наступило. Мне надоело жить в фальшивом положении, мне — повторяю вам — это не удобно по многим причинам и многому мешает... а потому теперь уже я сама, в свой черед, спрошу вас, угодно вам жить со мною на тех условиях, какие я вам сейчас предложу? И если да, то эту «новую жизнь» мы можем начать немедленно.

— Надо знать ваши условия, графиня.

— Ah, merci bien! Вы в первый раз еще, вместо «сударыня», удостоили назвать меня «графиней». — Принимаю к сведению, — заметила Ольга в виде любезной шутки, но не без колкой иронии. — Итак, — продолжала она, — мои условия вот в чем: для света, для

общества, partout et pour tous, вы — мой законный муж и сожитель; это ваша общественная роль, — понимаете?... До ваших будущих грешков, de vos petits amours мне нет дела, я охотно буду смотреть на них сквозь пальцы, но при одном лишь условии, чтоб вы не слишком афишировались ими: les convenances et les apparences avant tout, это помните. Наша супружеская внешность в глазах света должна быть если не безупречной, то, по крайней мере, не подавать поводов ни к каким лишним толкам и пересудам. Это должно быть совершенно приличное супружество, — мне так нужно. В состоянии вы выполнить такое условие?

— В нем нет ничего трудного, — согласился граф.

— Прекрасно, в таком случае, я принимаю вас к себе на житье, моя квартира достаточно просторна для нас обоих; у вас будет свой кабинет и своя отдельная спальня; остальные комнаты — общие, за исключением моей спальни и будуара, туда «вход воспрещается». Мой стол (повар у меня очень хороший) всегда к вашим услугам, экипаж тоже, в те дни,

впрочем, когда я сама им не пользуюсь; ваш личный камердинер будет для вас нанят, — таким образом, со стороны удобств домашней жизни вы совершенно обеспечены. Светские знакомства должны быть у нас общие; впрочем, я охотно готова принимать и ваших собственных приятелей, если только это люди совершенно приличные. В воспитание нашего ребенка вы вмешиваться не будете, это уже мое дело, а за сим, во всем остальном вам предоставляется полная свобода.

Согласны вы на такие условия?

— То есть, другими словами, я должен поступить к вам на содержание, чтоб служить для вас «светскими ширмами», не так ли? — спросил граф очень серьезно и сдержанно, но с таким оттенком, чтобы дать ей почувствовать, насколько ее предложение возмущает в нем внутренне все чувства порядочности и человеческого достоинства.

— Не торопитесь оскорбляться, — предупредила его Ольга, — и позвольте в свой черед спросить вас: как вы полагаете, если бы вам удалось жениться на Тамаре и заполучить ее миллионы, вы бы не жили на ее со-

держании?

— Это совсем другое, — возразил граф. — Если бы я женился на Тамаре, она, полагаю, не поставила бы мне условий насчет своей спальни, куда вход для меня, конечно, не «воспрещался» бы, и я был бы ее мужем как для света, так и для дома, а это уже исключает роль ширмы.

— Вы слишком много хотите, граф, и при том сразу, — лукаво улыбнулась Ольга. — Нам надо еще привыкнуть друг к другу. Впрочем, — продолжала она, — могу вас уверить, что «ширмой» в том смысле, в каком вы полагаете, вам быть не придется; я не сделаю ничего, за что вам пришлось бы краснеть, и не скомпрометирую ваше имя, лишь бы вы сами его не скомпрометировали! Это вовсе не в моих расчетах, да и дела мои, наконец, слишком серьезны для этого. Конечно, у меня есть поклонники, но у какой же красивой женщины их нет? — это еще ровно ничего не доказывает, и при том же мои поклонники — это, по большей части, или «государственные старички», как я их называю, люди *hors de soupçon, grace a leur ramollissement*, или дель-

цы de la haute finance, из мира железнодорожников, концессионеров, разных прожекторов и учредителей, которые если и ухаживают за мной, то вовсе не с амурными, а с чисто деловыми целями, — стало быть, опасаться вам нечего. Со временем, я рассчитываю, что вы, в некоторых случаях, можете быть для меня даже хорошим помощником, и тогда мы, пожалуй, будем делиться барышами. Вы видите, я ставлю вопрос на совершенно деловую почву и, в сущности, предлагаю вам роль компаньона в деле, которое мною поставлено уже на довольно твердую ногу.

— Но вы, кажется, забыли, Ольга Орестовна, мои средства, — я не имею достаточно денег, чтобы быть дольщиком таких предприятий, — уклончиво возразил граф. — Не расстрой вы моего брака с Тамарой, тогда другое дело: и ее капиталы, и сам я — все это могло бы быть к вашим услугам. А теперь что я могу принести вам, кроме лишней обузы? Ваше состояние мне известно, оно не настолько велико, чтобы вы не стесняясь могли содержать и себя, и весь дом, да еще и мужа на придачу. А не имея собственных средств, даже на кар-

манные расходы, вечно глядеть все из ваших рук, выпрашивать у вас чуть не каждую копейку, — это было бы для меня слишком тяжело и стеснительно.

— Во-первых, — приступила она к объяснению, — никаких особых средств и капиталов от вас не требуется; во-вторых, хотя мой капитал, что получила я в приданое, еще и существует, но он отчасти уже израсходован на всю эту обстановку, какую вы видите и которая мне совершенно необходима, а затем, остальную его часть я отделила в неприкосновенный фонд, на всякий случай. — Нельзя же тоже, чтобы и наш ребенок, в случае моей смерти, остался ни с чем, а потому на этот мой капитал я вовсе не рассчитываю. — У меня есть свои особые, деловые источники, которые дают мне порядочные средства, на которые, собственно, я и живу. Что же касается до ваших личных средств, то об этом я уже подумала раньше и могу предложить вам вот что: я предоставляю вам хорошее место, — на первый случай, хотя бы в роде члена правления в каком-нибудь кредитном или железнодорожном обществе, где вы, ничего не делая,

будете получать тысяч пять-шесть в год содержания, — довольно с вас этого?

— На первый случай, еще бы! — согласился граф. — Совершенно довольно!

— А затем, я полагала бы, — продолжала Ольга, — через кого-нибудь из моих милых государственных старичков определить вас на службу. Нельзя, знаете, чтобы человек в вашем положении, с вашим именем, с вашими светскими достоинствами, чтобы мой муж, наконец, оставался без всякого служебного положения, — *eё a nous rose*, *шоп cher* и пренебрегать этим не следует.

— Да, но какое же место я могу получить! — усомнился граф с искренностью, делающею честь его самооценке. — Чин у меня небольшой, образование хотя и лицейское, но я так давно уже не служу, что трудно рассчитывать на что-нибудь порядочное, а тянуть лямку канцелярского чиновника, — на это меня не хватит.

— Об этом не заботьтесь, — успокоила его Ольга; — ведь вам не служить, а лишь бы числиться; вам даже и жалованья никакого не нужно, при хорошем частном месте. Чины

вам, все равно, будут идти своим чередом, ордена то же, — чего же более?! Одним словом, если вы будете пайнъка, я определю вас в одно из министерств, — лучше всего бы, конечно, chez mon vieux prince, по иностранным делам, — там можно уже ровно ничего не делать, а между тем служба на виду, иностранные ордена идут чуть не каждый год, — все это что-нибудь да значит! — d'autant plus que je veux voir mon mari bien decore.

Граф молча поклонился ей с довольною улыбкой, — такая перспектива начинала ему нравиться.

— Но это еще не все, — продолжала Ольга. — Через год, много через два, я постараюсь доставить вам придворное звание, я сделаю вас камер-юнкером — это мне устроить легче легкого... Оно хоть и не Бог-весть что, камер-юнкерство, но все же, мундир, визитная карточка, проезд ко двору. — Я могу тогда тоже быть представленною, — это не мешает в жизни. А со временем, будьте уверены, проведу вас и в камергеры, и жизнь ваша, право, будет не хуже других!.. Угодно?

— Н...надо подумать, — ответил Каржоль,

внутренно колеблясь.

— Как?! — вы еще собираетесь думать? — от всей души удивилась Ольга.

— Непременно, и как же иначе?.. Оно, конечно, очень заманчиво, но все же...

— Ну, так я вас предупреждаю, — перебила она, сразу переменив свой дружески ласковый тон на решительный и холодный, — жить с вами порознь в одном городе мне совершенно неудобно. У меня свои избранный круг знакомства, своя недюжинная обстановка, а вы там будете жить в каких-то труппных номерах, тереться в разной грязи и знатья черт знает с кем, — все это будет только компрометировать меня и делать наши отношения вечною темой для злословия. Я этого не желаю. Будет или по-моему; или вы должны уехать навсегда из Петербурга, — одно из двух. И знайте наперед, — прибавила она весьма внушительно и твердо — если не уедете сами, добровольно и немедленно, то через неделю вас вышлют отсюда с жандармами, и вы очутитесь в каком-нибудь дальнем захолустьи, под надзором полиции. — Хотите вы этого?

— Как! Схватить человека и выслать ни за что, ни про что? — возмутился граф. — Да что это вы мне второй раз уже грозите все высылкой да высылкой?! Мы, славу Богу, еще не в земле кафров или готтентотов!

— Ну, это уже мне знать, где мы и будет ли за что!.. Только будьте уверены, что мои друзья не затруднятся сделать для меня такую безделицу и что с моей стороны это вовсе не пустая угроза, — я не шучу, граф!

— Да и я не шучу, графиня! Господь с вами, я вовсе и не думаю отказываться от ваших предложений, и если сказал, что надо еще подумать, то это лишь в том отношении, что мне хотелось бы несколько более выяснить... comment vous le dire...ma position intime aupres de vous, mon droit de mari, — voila ce que je veux savoir! Неужели же, в самом деле, живя под одной кровлей, мы навсегда останемся чужды друг другу pour toutes les jouissances conjugales!? Это было бы жестоко, хуже всякой пытки — жить с прелестною женщиной, называться ее мужем и не сметь прикоснуться к ней!.. Ольга! Вспомните наконец наше хорошее прошлое, ведь были же в нем радости —

и какие!.. Ведь я же вам нравился когда-то, и я же любил вас!.. Скажу более: вы единственная женщина, которую я любил в своей жизни, единственная, какую я в состоянии еще любить, и...если хотите знать всю правду, я не переставал любить вас, — любил и ненавидел в одно и то же время! Я и до сих пор люблю вас в глубине сердца!

— А Тамара?., а Мариуца? — лукаво и недоверчиво усмехнулась Ольга.

— Оставьте, в самом деле, — разве можно все это брать в серьезную сторону! — возразил Каржоль в свое оправдание, солидно логическим и убеждающим тоном. — Мариуца — это не более как мимолетное увлечение, а Тамара... Тамара даже и не увлечение, а просто расчет, неудавшаяся комбинация, и только.

— Вот как!? — состроила себе Ольга приторно удивленную физиономию. — А кто же, скажите пожалуйста, полчаса назад, патетически восклицал перед нею, что любит, ее, и со слезами умолял не презирать его? Кто-же это?

— Oh, madame, mais eë nest quune maniere

de pareer! ce sont des paroles! Надо же было кончить с ней сколько-нибудь приличным образом, согласитесь сами.

И насколько искренно, полчаса назад, Каржоль плакал перед Тамарой и молил ее поверить хоть этим слезам его, насколько же искренно и убежденно произносил теперь свою последнюю фразу. По его натуре, и то и другое было для него совершенною правдой в обе данные минуты. Как тогда, так и теперь, он не лгал перед самим собою.

Ольга даже от души рассмеялась при этом.

— Как же вы хотите, — сказала она, — чтобы я после этого тоже брала au sérieux все ваши уверения?!

— О, это совсем другое дело!

И граф с искренним жаром, убежденно принялся объяснять и доказывать ей всю великую разницу между его чувством к ней и к другим женщинам, попадавшимся ему на жизненной дороге, — чувством, которое даже в самые враждебные минуты, несмотря на всю его злобу и ненависть к ней, каждый раз пробуждалось и пробуждается в нем, наперекор всему, какою-то даже болезненною стра-

стью, при одном только виде Ольги, при первом прикосновении к ней. Он и ненавидел-то ее, и мстить-то желал ей именно потому, что любил ее, потому что она для него какая-то роковая женщина, — и вот почему жить с ней и не обладать ею, не сметь даже переступить за порог ее спальни было бы для него несносным мучением, адскою пыткой, из-за страха которой он невольно отступает даже перед такою заманчивой и блестящей перспективой, какую открывает ему Ольга.

— Ну, хорошо, — согласилась она. — Вопрос о наших интимных отношениях я оставляю пока открытым, — это будет зависеть от того, насколько вы будете их стоить... Я не говорю ни да, ни нет, а там, со временем, посмотрим.

— О, вы меня воскрешаете! — стремительно бросился к ней граф, ловя и целуя ее руки. — Вы подаете мне надежду, — я счастлив, я весь ваш и навсегда! Располагайте мною, как знаете, делайте из меня, что хотите. Я ваш раб, ваша собака!..

— Значит, вы принимаете мое предложение? — деловито спросила Ольга, высвобож-

дая из-под его поцелуев свои руки.

— Безусловно! — воскликнул он в полном восторге.

— В таком случае, можете перевозить свои чемоданы, — разрешила она самым благосклонным образом. — К завтрашнему дню комнаты будут для вас очищены, а пока поезжайте в какой-нибудь хороший мебельный магазин и выберите себе приличную обстановку для кабинета и спальни. Счет прикажите доставить ко мне, я заплачу, что будет стоить.

Каржоль запротестовал было с чувством собственного достоинства, что это-де он может сделать и на свои деньги, но Ольга не захотела и слушать.

— Что раз я сказала, то так, — заметила она ему тоном, не допускающим возражений, — и если вы не желаете, чтобы между нами выходили неприятности, вы никогда не будете мне прекословить, — примите, мой друг, это к сведению.

После этих слов, Коржоль сразу почувствовал, что он попал к ней под башмак, в безусловное подчинение. Но, к собственному его

удивлению, сознание это нимало даже не огорчило его. — Что ж, может, оно и к лучшему, — подумалось ему, «по размышлении зрелом». — «Да с нашим братом иначе и нельзя, ценить не будем. А зато уж за плечами такой женщины, как за каменной стеной можно жить спокойно!»

Он только позволил себе, после этого, в ее же интересах, выразить свое сомнение, удобен ли будет ей, по отношению к своим уважаемым друзьям и знакомым, такой внезапный переезд его в дом? Не следует ли сначала подготовить их немножко к такому экстраординарному событию, а то, как бы оно не вызвало разных неосновательных комментариев и недоумений — зачем и почему, мол, в самом деле, человек вдруг ни с того, ни с сего, точно с неба свалился?!

Но Ольга возразила ему, что, напротив, если уж сходитьсь, то именно теперь, а не позднее, потому что теперь самое благоприятное время для этого, она только что вернулась из-за границы, а он с войны; знакомые ее, большей частью, еще не собрались к зимнему сезону, а когда соберутся, то эта их супружеская

реюнион будет уже совершившимся фактом, который не возбудит ни в ком особенного удивления, ни особенных толков в ее обществе; все найдут ее самым обыкновенным делом, тем более, что война — это такая веская и законная причина для продолжительного отсутствия мужа! — Словом, toutes les apparences seront sauvees, — в этом граф может быть совершенно спокоен.

И он успокоился, отдав в душе должную справедливость сообразительности и находчивости своей супруги. — «Нет, за нею, действительно, не пропадешь! Это из ряду вон женщина!»

Давно уже не чувствовал он себя так хорошо, так спокойно и в таком отличном расположении духа, как сегодня, отправляясь, по поручению Ольги, выбирать себе мебель. — «И в самом деле», — думалось ему, «из-за чего человек столько лет мытарился в нелепой погоне за каким-то мечтательным, призрачным счастьем, когда настоящее-то самое реальное счастье и благоденствие — вот оно, тут, под боком!.. Да и надоело уже ему наткаться в жизни на одни только барьеры да капканы,

встречать одни лишь неудачи да прорухи и вечно оставаться в дураках! — Нет, довольно уже!.. Basta!.. Жизнь изрядно-таки поколотила его, намаялся он, настрадался, устал... теперь ему хочется только покоя и комфорта. А тут вдруг и покой, и комфорт разом!.. И повар, говорит она, отличный, и содержание в шесть тысяч от какого-то там «Правления», и камер-юнкерский мундир в перспективе... И будет он, наконец, как все, — чего же еще ему надо!.. И если эти «все» ни за что, ни про что пользуются такими благами, то почему ж бы он один был лишен на них права! Разве же он не такой «как все»? Чем он хуже их и чем они выше его? — Все такие же дети своего века, — худы ли, хороши ли, но они так созданы, сама жизнь сделала их такими.

И вот живут же, пользуются!.. Неужели он один должен быть исключением?! — Нет, и по своему рождению, и по своему воспитанию, — словом, по всему решительно, он имеет полное право на свою долю в общем пироге избранных, — право на обеспеченное содержание, на приличное и солидное положение в обществе — естественное право *detre*

comme tous, — c'est-a dire, comme tous les gens comrae il faut — потому что со всеми «иными» не может же он считаться!.. И судьба наконец-то готова отдать ему должное, что с ее стороны будет только простая справедливость, не более, за все его испытания и неудачи. Нет, вот оно, истинное-то счастье, — это подле умной женщины. А он, дурак, искал каких-то жидовских миллионов в тумане и все ждал, скоро ль придет к нему счастливая талия! — Ан глядь, — талия- то подошла вдруг оттуда откуда, никогда и не чаял!.. Et cest toujours la femme!.. Tout dans la femme, tout par la femme et tout pour la femme, — cest de la philosophie ca!

Все эти соображения и мысли погружали его даже в сладостно размягченное, елейное умиление, и он, за первым своим «домашним» обедом en tete a tete, к которому удостоила пригласить его сегодня Ольга, не воздержался, в отзывчиво сердечном порыве к откровенности, сочувствию и дружбе, чтобы не поделиться с нею, как с «женой», этими своими мыслями, высказав ей при этом, что в конце концов, после всех своих шатаний, толь-

ко теперь уразумел истинное свое назначение, — это именно, быть мужем такой женщины, как Ольга.

— *Chaque vilain trouve sa vilaine, mon cher!* — ответила она ему на это, в виде шуточного нравоучения, быть может, и не подозревая, что на этот раз сама истина глаголет ее устами.

XLIV. В НОВЫЙ ПУТЬ

Возвратясь домой в несколько возбужденном состоянии от всей этой сцены, какую сопровождалось ее последнее свидание с Каржолем, и от радостного сознания, что, слава Богу, все уже кончено и с ним, и с письмами, Тамара сгоряча, под первым, не остывшим еще, впечатлением, принялась писать к Атуруину. В подробном и длинном письме она изложила ему, на первом плане, это крупное событие своей жизни и затем рассказала все, что случилось с нею после их разлуки. Радостное чувство, порождаемое сознанием своей окончательной свободы от нравственных пут Каржоля, невольно переливалось и в ее письмо, сказываясь чуть не в каждой его строчке, даже в ее нервном, порывисто быстром, на этот раз, почерке. Теперь она вольна располагать собою как хочет! И если Атурин не забыл ее, если он все тот же, то одно его слово, один призыв — и она тотчас же бросит все и примчится к нему хоть на край света, и всю, всю себя, всю жизнь свою, всю свою душу отдаст ему и посвятит на все доброе, разумное и

честное, что только он ей укажет!

Письмо свое она не успела закончить и отправить в этот же день, потому что пришла Любушка Кучаева и стала торопить ее в «город», за необходимыми покупками к дороге, так как обе они еще вчера вечером условились между собою ехать в Бабьегонск вместе, на половинных расходах, и все покупки свои, заодно уже, делать вместе. — Любушка ведь уж гораздо вернее, чем кто-либо знает, где, что и как купить лучше и дешевле, она умеет и выбрать, и поторговаться, а без нее Тамару, пожалуй, надуют, возьмут втридорога и подсунут какой-нибудь гнили из залежалого. Времени остается им немного, а потому ехать, ехать и ехать сейчас же! Корреспонденции свои можно кончить и потом, на досуге. — Словом, она заговорила, заторопила и затормошила Тамару так, что той оставалось только, чтоб не расстраивать компанию, поскорее сложить свой бьювар и беспрекословно следовать за энергичною Любушкой. Вечером тоже не удалось окончить письмо, потому что к Любушке пришли гости, какая-то ее подруга да две родственницы, и все они вместе

чай пили и заболтались. На другой же день утром, после здорового, крепкого сна, проснувшись уже с успокоенными нервами, когда весь первый пыл и вся резко яркая сторона вчерашних впечатлений успели уже поохладиться и несколько сгладиться, а приподнятое, возбужденное настроение духа улеглось и заменилось более ровным, обыденным своим состоянием, Тамара снова взялась за письмо, чтобы продолжить его, но предварительно перечитав все страницы, осталась им не вполне довольна. Общий тон его показался ей теперь чересчур уже порывистым и страстным; но это бы еще ничего, а главное то, что на более спокойный, более рассудочный взгляд, у нее явились некоторые рефлексивные соображения, критическая проверка самой себя и взвес уже сложившихся известным образом обстоятельств, которые она вчера упустила как-то из виду, но с которыми во всяком случае приходится считаться.

Прежде всего, ей показалось, это этим письмом своим она сама теперь как будто навязывается Атуруину, как будто ловит его на сорвавшемся когда-то у него слове и желает

воспользоваться им только потому, что у нее окончательно лопнуло дело с Каржолем. Не вправе ли он будет подумать о ней именно это?.. Отчего же раньше не вздумалось ей писать к нему! Разве для этого не нашлось бы достаточной темы и материала? — Но нет, она пишет только теперь, то есть, после того уже, как порвала с графом. Тут, дескать, сорвалось, — не клюнет ли там? Не удалось же быть «графиней» с громким именем Каржоль де Нотрек, можно в крайности помириться и со скромной кличкой «madame» Атуриной. Но ведь «madame Атуриной» она могла бы давно уже быть, если бы хотела. Отчего же она тогда отклонила простое, честное предложение этого самого Атурина? Из-за гордого побуждения остаться педантически верно своему слову, вопреки всему и несмотря ни на что! Да, это так кажется ей, и она знает, что это так, — ну, а он? почему он непременно должен думать то же самое? Потому, что ей так угодно?.. А не могло ль бы ему придти в голову, что отказ ее, пожалуй, был основан на более своекорыстных расчетах, на том, что Каржоль казался ей все-таки более «выгодным» женихом

и что хотелось, к тому же, быть графиней?

Почему она остановила Атурина и не захотела его слушать, когда он, при последнем свидании в госпитале, пытался было разоблачить ей, кто и что такое этот граф Каржоль? — Не вправе ли он был после того думать, что именно поэтому?.. А теперь вдруг к нему, — теперь и он хорош, как пришла крутая минута!.. И почему она так уверена, что Атурин непременно должен и до сих пор считать ее за высокоидеальную, безупречную личность? Разве она этими своими поступками не давала сама ему повод подумать о ней и противное? Если он никогда ни малейшим намеком не высказывался ей в таком смысле, то не следует ли скорее отнести это к чувству его деликатности? И если даже в последнюю минуту разлуки он напомнил еще раз свои слова, прося рассчитывать на него, что бы ни случилось с нею в жизни, то не был ли это просто порыв великодушия, под влиянием увлечения ею, которое теперь, может быть, уже и остыло? — Ведь она не оставила ему ни малейшей надежды; она даже не в переписке с ним, и потому не знает ни что он делает, ни

что думает, ни что чувствует. Очень может быть, что он считает ее уже замужем и потому постарался убить свое чувство; может быть, даже нарочно сошелся с другою женщиной, чтобы скорей заглушить его... Да и почему бы, в самом деле, не могли образоваться у него за это время отношения к более достойной девушке или женщине, на которой он мог бы жениться? Что ж тут невозможного! — Свет не клином сошелся, а он свободен...

Но если бы даже и не так, то все-таки, получив ее письмо, в каком нашелся бы он положении? — Человек прочно оселся уже в Болгарии, служит, работает там, занят своими делами; у него, без сомнения, уже образовались там свои служебные и житейские отношения, установилась определенная жизнь, есть известные виды и цели, — и вдруг, из-за ее письма, бросить все это и лететь к ней! — Да легко ль бы ему было это, раз что у него жизнь сложилась уже совсем иначе, и притом так что она, Тамара, не входит более в расчеты и планы этой жизни?..

Но, наконец, пускай он все тот же, что прежде, и все так же любит ее, — и вот, она

пишет, что готова лететь к нему хоть на край света, по первому его отклику. Хорошо, но с чем же это полетит она? на какие средства? — С бабьегонским местом, конечно, пришлось бы немедленно же покончить, нарушить только-что подписанное условие, возвратить подъемные деньги, которые уже тронуты ею, и остаться лишь при своих собственных тридцати с чем-то рублях, на которые не далеко уедешь. Заработать не на чем, достать негде, занять не у кого, — да и кто даст ей! — Пришлось бы, значит, просить у того же Атурина, — пришлите, мол, на выезд, если желаете меня видеть, — но ведь это уже ни на что не похоже!.. И выходит в конце концов, сугубая и самая бесцеремонная с ее стороны навязчивость. Нет, этого она не сделает!

Раз, что она не хотела воспользоваться своим счастьем тогда, когда оно само шло и просилось к ней в руки, когда одного ее «да» было достаточно, чтоб это счастье прочно установилось для обоих навеки; раз, что она так решительно отвергла его в ту пору, — теперь уже собственная гордость ее и самолюбие не позволяют ей, словно бы малодушной и ка-

признай девчонке, искать и добиваться его возврата. Что с возу упало, то пропало, говорит пословица. Пускай даже это ложная гордость и фальшивое самолюбие; пускай она сама чересчур мнительна и склонна на все скептически, даже преувеличивать все в дурную или мрачную сторону (что ж делать, таков уже ее недостаток!), но уже один тот факт, что из ее отношений к Атурину ничего не вышло, и что она не захотела или не сумела взять и его, и с ним свое собственное счастье, когда они сами давались ей, — одно уже это доказывает ясно, что, значит, ей не судьба быть за этим человеком. А не судьба — это то же, что не Божья воля. Значит, она не была достойна такого счастья. Стало быть, нечего ей и теперь самопроизвольно насиловать жизнь, вопреки обстоятельствам, слагающимся совсем не так, как ей хотелось бы. И вспомнилась ей тут хохлацкая поговорка, которую не раз приходилось слышать в родном Украинске, — «нехай буде що буде, а буде то, що Бог дасть!» — Пусть так! Он знает лучше, куда и зачем ведет ее...

И письмо так и осталось недописанным в

ее бюваре.

Через день она уехала вместе с Кучаевой в
Бабьегонск.

Примечания

И. С. Аксаков. Речь в заседании Моск. Славянск. Комитета 24-го октября 1876 г.

[^^^]

Пункт 3-й условия «Товарищества» с главным полевым интендантством, заключенного 16-го апреля 1877 г.

[^^^]

3

А именно, пункт 6-й условия, заключенного «Товариществом Греггер, Горвиц и Коган» с полевым интендантством действующей армии 16-го апреля 1877 г.

[^^^]

Пункт 9-й условия «Товарищества» с полевым интендантством, заключенного 16-го апреля 1877 г.

[^^^]

5

Интересу — мужской кафтан, тульпан — женский головной убор.

[^^^]

6

Главная улица Букарешта.

[^^^]

Тютюн — простонародный табак вроде махорки.

[^^^]

Прошу, пожалуйста.

[^^^]

Входите.

[^^^]

10

Эй, кто там?! Чиновник! Курьер! Поди сюда!

[^^^]

Подай этим господам дульчац и ракии.

[^^^]

Главноуполномоченный от Красного Креста.

[^^^]

Фордек — складной подъемный верх у экипажа.

[^^^]

Благодарю.

[^^^]

Председатель Одесской следственной комиссии.

[^^^]

В известной речи своей, произнесенной 22 июня 1878 года в Московском славянском благотворительном обществе.

[^^^]